

ВИДЪ ЛИПАТОВ

ЛЕС
НА
ЛУЖАЙКЕ

Виль Владимирович Липатов

Лев на лужайке

На белом коне?

(предисловие)

«Однако помирать пора, надо роман писать!» – с усмешкой сказал Виль Липатов дочери весной 1978 года. Писатель уже знал свой срок пребывания на земле – не более 15 лет, как сказали врачи. То ли они лукавили, то ли смерть, но срок оказался длиною всего в два года. Роман «Лев на лужайке», начатый в 1978 году, Липатов дописывал в 1979-м в больнице, откуда не вышел. Успел все-таки поставить точку, обогнав смерть! На отработку времени не было – и мы сегодня читаем практически первый и последний вариант романа, чего с Липатовым никогда не бывало. Обычно он сдавал в печать третий...

Писатель торопился написать, но общество не спешило публиковать: десять лет роман лежал «невостребованным» в ящике стола. А ведь этот роман – из разряда злободневных, своевременных книг. Время требовало его, но время всегда во множественном числе. Господствующее время в конце 70-х уже беременно новым временем, но до срока оставалось шесть лет «застоя» плюс... четыре года перестройки! И вот мы прочли наконец, десять лет спустя, в 1989 году сначала в журнальном сокращенном варианте первую часть в «Знамени», вторую – в «Журналисте».

Почему роман публиковался частями? В редакции «Знамени» мне довелось услышать, так сказать, неофициальную мотивировку: вторая часть, мол, «сырая» и гораздо слабее первой. Но теперь, когда издательство «Молодая гвардия» выпустило роман полностью, читатели могут сами судить о последнем романе Вилия Липатова.

Все действие первой части романа разворачивается в Сибири, в таком, же славном городе, где сам Липатов учился в пединституте и работал в газете, а вторая часть – насквозь московская, поскольку герой Липатова, москвич, возвращается в свой родной город «на белом коне». Пожалуй, из сказанного можно сделать вывод, будто путь журналиста Никиты Ваганова (главного героя) внешне, в самых общих чертах, совпадает с дорогой самого автора – это путь из Сибири в Москву. Но не случайно Липатов пустил своего героя по тропе журналистики, то есть по той тропе, с которой сам-то свернул на писательскую дорогу. Не зря в редакции сибирской газеты Никита, блистая статьями и «отчерками», выживает с должности собкора московской газеты Егора Тимошина, увлеченного сочинением романа о походе Ермака в Сибирь. Выбор сделан, одному – роман, другому – карьера! Разумеется, карьера благородная, ради «власти над делом».

А между тем за десять лет до романа «Лев на лужайке» Виль Липатов написал небольшую повесть «Выборы пятидесятого» (четыре авторских листа всего!), герой которой, тоже журналист сибирской газеты, Владимир Галдобин только еще задумывается, какую ему дорожку выбрать: писать ли романы, стать ли главным редактором «Правды»? В этом выборе профессии – выбор судьбы. Идти ли в ногу со временем, хотя бы и правофланговым, или же занять позицию независимого мыслителя и летописца? Сам Липатов, выбрав писательскую судьбу, все-таки до конца дней своих писал статьи и очерки...

Итак, сам сделавший «карьеру» писателя, последний свой роман Липатов вновь посвятил карьере журналиста.

Но возникает любопытное противоречие. «Застой», а Никита Ваганов делает деловую карьеру! При всех своих способностях к интриге он прежде всего – журналист, чье перо верно и талантливо служит общественным интересам. Возможно ли это в те-то времена?! Один главный редактор, прочитав «Льва на лужайке» еще в рукописи, отказался печатать роман. Причину отказа сформулировал примерно так: «Здесь воспевается то самое время, которое мы теперь разоблачаем как „застой“!»

А был ли «застой»-то? Разумеется, был. Но я уже говорил выше: время не имеет единственного числа. Период с октября 1964-го по апрель 1985-го был и «застоем», и регрессом, но был и временем бурного развития. Например, наряду с «разрядкой» шло необычайно быстрое наращивание военной мощи, страна на глазах превращалась в великую военно-морскую державу, чьи грозные ультрасовременные надводные и подводные корабли начали бороздить моря и океаны всего мира! Да, расход не по доходу, но тогдашний Генсек под бурные аплодисменты тогдашнего Верховного Совета заверял нас, что на оборону тратится ровно столько, сколько нужно, – ни рубля больше!

А разве не пережила страна бурного роста добычи нефти и газа?! А вырубка лесов разве не достигла катастрофических размеров?! Нет, что ни говорите, а толковому журналисту было на чем отточить свое перо с пользой для дела, то есть для государства. Иначе говоря, Никита Ваганов вполне мог делать и сделать карьеру на правде. И если за правду его все время повышают и повышают, ценят и уважают «верхи», то, значит, «верхам» требовалась правда, да еще и талантливо, то есть сильно написанная? Требовалась! Только какая правда и какая критика требовались? Сегодня нередко можно прочесть детски наивные суждения о «застое», из коих следует, будто «верхам» требовался именно и только «застой». Это не совсем так. «Верхи» требовали развития экономики при отсутствии развития общества – вот в чем разгадка того времени, на мой взгляд. Потому-то «отчерки» Никиты Ваганова, правдиво показывавшие как плохую, так и хорошую работу, были очень кстати. Тем более что Никита точно знал, с какого уровня начинается слой «неприкасаемых», и не переходил эту невидимую социальную границу. Никита был УДОБНЫМ ПРАВДОЛЮБЦЕМ – вот в чем дело! Но если так, тогда нам придется вернуться к старой и давно осужденной теории разделения правды на правду маленькую и правду большую. И, конечно, отнесем Никиту к талантливым рыцарям правды маленькой.

А вот его литпредтеча из повести Липатова «Выборы пятидесятого», Владимир Галдобин, тоже талантливый журналист, – тот в сталинские времена делал свою карьеру на лжи! Для Галдобина существовало только начальство и то, что угодно прочесть начальству. Правда и народ? Эти слова Галдобин презирал.

Да, маленькая повесть о журналисте Владимире Галдобине, повесть 1968 года, сегодня, после «Льва на лужайке», читается как антинабросок ко «Льву...». Тема журналистской карьеры была взята в работу Липатовым в 60-х годах как тема о временах культа личности, первоначально отлившаяся в повесть, чтобы после десятилетнего срока, обернувшись темой карьеры на правде, стать большим романом. Но не ищите повесть «Выборы пятидесятого» в каталогах – эта повесть пока еще не напечатана. И если даже в годы перестройки журнал «Дружба народов» не смог найти для нее места, то уж в 1968 году, когда тема культа была закрыта, не могло быть и речи о публикации этой повести. Липатов как-то «выпал из времени», вдруг написав картину выборов в Верховный Совет в марте 1950 года. Любопытно! Особенно на фоне нынешних выборов.

Понятно, что Липатов писал эту повесть в стол, но сегодня нам надо ее прочесть. Чтобы нагляднее стало, как принципиально изменилась партия, как она изменила ситуацию в стране. Повесть о судьбе молодого человека, молодого гражданина, молодого журналиста, о

котором кто-то метко сказал: он в постели – мужчина, а в газете – проститутка. Да, проститутка в штанах! Не редкое по тем, сталинским, временам явление. Но – талантлив Володя, а талант – редкость, его беречь надо, как известно. Его и берегут, и ценят в газете. Еще бы! Талантливые литпроститутки на дороге не валяются, они позарез нужны всем управленцам – и главному редактору газеты, и секретарю обкома, а даже начальнику местного КГБ! Да, без услуг таких «подручных партии» обойтись административно-командная система не может никак.

Вот и пришло время сказать прямо: повесть «Выборы пятидесятого», написанная, можно сказать, на последнем вздохе «оттепели» и в самом начале «застоя», когда уже нельзя было публично разоблачать сталинизм, – повесть, которая писалась Липатовым «в стол», никогда не предлагалась им к печати: ни у нас, ни за границей. Эта маленькая и простенькая вещица похожа на пластиковую бомбу, которая так и не взорвалась. Эта повестушка смелее и откровеннее в анализе нашего общества времени сталинизма, чем большой и сильный роман «Лев на лужайке» о нашем обществе времен брежневского «развитого социализма».

Впрочем, время «застоя» сказалось на «Льве на лужайке» еще и тем, что из романа скрупулезно убраны все конкретные приметы времени. Перед нашими глазами проходит яркая в короткая жизнь Никиты Ваганова, чуть более двадцати пяти лет, на протяжении которых он делает свою головокружительную карьеру. Мы знаем все о том, что происходит с ним и в его душе, но мы не знаем ничего о том, что происходит вокруг него, – в романе нет даже в подтексте хотя бы намек на сталинизм, «оттепель», октябрьский 1964 года переворот в Политбюро, начало и крах экономической реформы 1965 года и т. д. В романе о блестящей деловой карьере журналиста (журналиста!) нет ни отзвука Истории! В этом – своеобразие романа, тут уже и тяжелая печать времени, но тут и тяжелая правда: в обществе «застоя» не происходит ничего исторического, нет движения! Нет истории ОБЩЕСТВА, но есть история талантливого ЧЕЛОВЕКА. Так видел тогдашнюю нашу жизнь Липатов, так и показал ее.

Виля Липатова всю жизнь волновали судьбы молодых и талантливых людей. В разных произведениях писатель «проигрывал» разные варианты их судеб, но итог оказывался всегда один и тот же: энергия молодости и таланта входила в конфликт с жесткой административно-командной системой. Евгений Столетов, чья инициатива была поддержана друзьями и высмеяна райкомом, погиб «в результате несчастного случая». Я сильно подозреваю, что автор романа «И это все о нем» четко понимал: Евгений Столетов был обречен на поражение самой системой. Но доводить дело до такого финала Липатов не стал. Еще одна драма – Игорь из романа «Игорь Саввович», молодой талант, увядший на корню в условиях порочного общества «застоя».

Может показаться, что Никита из «Льва на лужайке» – исключение, ибо он добился всего, чего желал добиться. Но это – внешний успех, а что внутри, в душе Никиты? Ведь талант, делающий карьеру и ограниченный возможностями «застоя», – это, конечно же, если и движение, то не более чем бег белки в колесе. Никита все более понимает всю бессмысленность своего воистину трудового подвига. Жизнь прожита, по-видимому, не так. Манящий мираж «власти над делом» рассеивается, а где искать смысл жизни, когда печатное слово, единственное оружие журналиста и писателя, подотчетно не народу, а – начальству?!

Впрочем, о народе Никита Ваганов просто не думает. А его литературный предтеча Володька Галдобин из повести «Выборы пятидесятого» писал о народе презрительно и цинично в халтурном очерке под кричащим заголовком «Патриотка». Когда-нибудь читатель прочтет и эту повесть и увидит, что она кончается потрясающе: сначала идет картина страшного, низкого, залитого водой подвала, в котором живет (и славит Сталина) старая работница завода, а затем – и это венчает повесть! – идет так называемым «высоким подвалом» в газете романтический «отчерк» о ее жизни, лихо накатанный журналистом Галдобипым. Этот творческий процесс, эту переработку страшной правды в лживую красивую картинку можно изучать в школах и гуманитарных вузах как творческий процесс и пародийный образец так

называемого социалистического реализма!

Да, «Лев на лужайке» в остроте социального разоблачения проигрывает повести «Выборы пятидесятого». Зато поздний роман Липатова резко выиграл в герое, в емкости авторских раздумий, в уровне того познания души человеческой, что мы обычно именуем художественностью.

«Лев на лужайке» – сложно выстроенное, чрезвычайно любопытное само по себе и поучительное по «переключке» с повестью «Выборы пятидесятого» произведение. Роман как бы вырос из повести, но при этом явного антигероя («проститутка в штанах») сменил реальный герой эпохи «реального социализма».

Произошла и еще одна странная и важная трансформация. Если повесть уже с самого названия точно определяет время действия (1950 год), то в романе нет абсолютно никаких указаний на даты – никаких! По-моему, это не случайность, а сознательный выбор автора: между исторической хроникой и романом Липатов выбрал роман. Таков был его последний писательский выбор перед лицом Вечности. Выбор, который заставляет задуматься: не упускаем ли мы веское, но скромное Вечное, беря в расчет лишь суету нескромного Своевременного?

Генрих Митин

Лев на лужайке

Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит... Габриэль Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества»

Четыре пустячные вещи, четыре неприметных обстоятельства сыграют в жизни Никиты Ваганова символическую, но от этого не менее реальную роль, чем, скажем, упавшая на ногу кувалда. Дело кончится зеленым синтетическим ковром с белесыми разводами – не последним мистическим символом в череде событий. Лев на стене, лев на шаре, лев на лужайке и, наконец, рука, не поданная ему Иваном Мазгаревым. На синтетическом ковре приговоренный Никита Ваганов будет думать о чем угодно, кроме промозглого утра в далеком городе Сибирске, с его грязными уличными фонарями, весенним гололедом, скрежетом дворничьих скребков, гудками карандашной фабрики... Только за несколько часов до смерти он ярко, как при свете магния, поймет, что Иван Иосифович Мазгарев, человек завидно правильный и чуть ли не святой, возле здания областной газеты «Знамя» намеренно не подал ему единственную левую руку. Это видение – сизый от мороза город, лицо Мазгарева и его недвижная рука – сопровождает Никиту Ваганова в темень небытия.

Эпизод с Мазгаревым он вспомнит так поздно потому, что в тогдашнем жадном стремлении вперед и вверх откладывал в памяти только сверхважные, узловые, глобальные события и предметы, не оставляя в туге сжатой жизни места для пустяков, – какое ему было дело до того, что праведник Мазгарев не подал ему руки? Смерть всех выравнивает – короля и мусорщика, смерть делает в одно мгновение нелепым и жалким стремление к карьере, женщине, курению, алкоголю, кофе – тысяче других проявлений человеческих страстей. Ожидая первого слова главы консилиума, академика с мировым именем, Никита Ваганов, редактор популярной центральной газеты «Заря», уже месяц зная, что скажет всемирно известный, хорошо подготовился к смертному приговору и даже испытывал любопытство к той несурянице, которую произнесет глава консилиума. Кстати, и весь профессорский синклит

зря прятал глаза: больной Никита Ваганов, как всякое живое существо, смерти боялся, но она пришла за ним, когда он достиг всего, чего хотел; к большему он никогда не стремился, то есть занял под солнцем заветное место; дальше шла только – ранняя или поздняя – смерть. Речь теперь могла вестись только о сроках – раньше или позже; какая безделица, если Никита Ваганов достиг, казалось, невозможного! Он страстно хотел быть редактором «Зари» и стал им, ни разу в жизни не задумавшись, что произойдет, когда он сядет в долгожданное кресло. Произошло то, что бывает с ребенком, когда он забрасывает в угол «отыгранную» игрушку.

На зеленом ковре, внутренне посмеявшись над нерешительностью консилиума, Никита Ваганов вспомнит свою любовь «длиною в прожитые годы», и это воспоминание теплой волной нежности разольется по его невесомому, желтокожему телу с потемневшими ногтями на руках и ногах. Пожалуй, только это воспоминание позовет властно и тоскливо в прошлое, нагонит смертный страх, по ощущениям похожий на холодный, приставленный к горлу нож, и это будет то прошлое, о котором он сейчас не хотел бы помнить, но оно не уходило и не ушло даже тогда, когда заговорил профессорский синклит.

– Ну, что мы вам скажем, голубчик, – прошепелявил академик. – Ну, жить вы будете долго и, надеемся, счастливо!

– Да, интересная форма...

– Единственное, что Никите Борисовичу нужно, – это бифштексы в гомерическом количестве! Забывайте брюхо, дорогой!

– Я думаю, товарищи, что режим должен быть щадящим...

Кто не умеет врать, так это врачи.

Они могли бы и не стараться: стоящий на зеленом с разводами синтетическом ковре Никита Ваганов прочел на русском и английском почти все книги о своей болезни, но он молчал, не в силах вернуться из прошлого в комнату с неумело врущими медицинскими светильниками. Странно, что за считанные минуты он не вспомнит из прошлого только единственное...

Никита Ваганов так и не вспомнил льдистого, с пронизывающим ветром утра, когда Иван Мазгарев – нарочно или по рассеянности – не подал ему руку...

Часть первая

В Сибирске и поблизости

Глава первая

I

Весна подкрадывалась незаметно, как домушник к плохо закрытой двери; температура изо

дня в день поднималась на несколько градусов, но в середине мая вдруг прошел дождь со снегом, всю ночь рвался в окна – ему хотелось тепла. Утром же грянул мороз, превратив город Сибирск в добротный каток. Вспоминались «Серебряные коньки», хотелось, красиво заложив руки за спину, пронестись вдоль и поперек города, неожиданного от смеси бывших дворянских и купеческих особняков с четырехэтажными домами известной по всей стране архитектуры и кичащегося ультрасовременным Дворцом бракосочетаний, высотной гостиницей, Домом политического просвещения и театром, в антрактах похожим на стеклянный улей.

Возле здания областной газеты «Знамя», где Никита Борисович Ваганов работал специальным корреспондентом, тускло светили грязные фонари, противно подвывал мотором буксующий грузовик с дымящимся бетоном в кузове, на почтамте часы показывали между тем правильное время, хотя по своей природе на почтамтах областных городов электрические часы должны безбожно врать; дисциплинированные и предельно обязательные люди, Ваганов и Мазгарев ежедневно встречались возле витрины с газетой «Знамя» без десяти девять. Встреча обычно происходила так: младший по возрасту почтительно здоровался (Ваганов ценил Мазгарева), заведующий отделом пропаганды Мазгарев весело отвечал и тут же протягивал руку для пожатия. Это стало ритуальным, и именно по этой причине Ваганов решил не заметить спрятанную за спину руку Мазгарева... Лицо у заведующего отделом пропаганды было круглое, румяное, сероглазое; только при внимательном и целенаправленном разглядывании можно было понять, что луноподобное лицо Мазгарева – целостно, волево, бесстрашно. Воевал Мазгарев смело, но только в День Победы всю грудь его покрывали ордена и медали.

– Доброе утро, Иван Иосифович!

– Доброе утро, Никита!

Между ними существовало и «ты» и «вы», все зависело от обстановки: при свидетелях обращались друг к другу на «вы», наедине – на «ты», и ничего обидного или ущербного для Никиты Ваганова в такой «разблюдовочке» – одно из любимых словечек Никиты Ваганова – не было. Он вообще охотно пользовался жаргоном, что помогало казаться несерьезным.

– Холодновато! – пожаловался Никита Ваганов, не подозревающий, что за неподаной рукой Мазгарева таится опасность, да и не шуточная. Никита Ваганов знал, что Мазгарев способен не только мягко улыбаться, но все-таки недооценил зав.отделом пропаганды, и все это потому, что в круглое лицо Мазгарева смотрелось легко и просто, как в детское. Лицо Мазгарева – несомненно доброго и благорасположенного человека – независимо от хозяина выражало то, что хотелось собеседнику: добро – так добро, веселость – так веселость, скорбь – так скорбь. «Хороший он мужик, если бы не ходил в энтузиастах!» – подумал Никита Ваганов, даже не допускающий мысли, что скоро Мазгарев поднимется стеной против его стремительного движения вперед и вверх.

– А и верно: холодновато! – подумав, мягко согласился Мазгарев, вынимая из-за спины единственную руку и упрятывая ее в карман куртки, но и на это Никита Ваганов не обратил внимания, и, наверное, потому, что этой льдистой и ветреной весной разворачивались самые главные события в его короткой, но напряженной жизни, хотя он и сам не понимал еще, что события эти – главные, решающие, корневые, если можно так выразиться. Ему же казалось, что он жил просто – весело, забавно, трудно – и поэтому прекрасно. Никите Ваганову совсем недавно исполнилось двадцать пять лет – не тот возраст, когда к цели движешься с апробированно верным оружием.

– Ну, пошли, Иван Иосифович! * * *

... Они вместе зайдут в редакцию, улыбнутся друг другу, расходясь по кабинетам, и только

через несколько месяцев Никита Ваганов поймет значение того утрешнего происшествия. «Спасите наши души!» – сохраняя всегдашнее чувство юмора, подумает он, когда Иван Мазгарев попытается поставить капкан на его пути вперед и вверх. Капкан только лязгнет, пребольно защемит нежную икру, но вскорости разожмет стальные челюсти – игрой, впрочем, это не назовешь, но нет худа без добра: великой школой станет для Никиты Ваганова урок, преподанный добрейшим и великодушнейшим Иваном Иосифовичем Мазгаревым... * * *

– Пока! – находясь уже в своем кабинете, все еще прощался Ваганов с Мазгаревым. – Все ваши невысказанные пожелания исполнятся. Бу сделано!

Никита Ваганов от природы и, надо полагать, от ума был склонен к юмору; из десяти его фраз две – и то редко! – оказывались серьезными. Легкие, равно как и тяжелые события в своей недолгой жизни он неизменно сопровождал шуткой, готов был всегда на незамысловатую остроту, проделывая все это с траурным или по крайней мере пресерьезным лицом. С женщинами Никита Ваганов тоже никогда не разговаривал серьезно, подражая герою чеховской «Дамы с собачкой», он шутливо называл их «низшей расой».

В собственном кабинете с соответствующей табличкой на дверях – дескать, здесь именно находится специальный корреспондент областной газеты «Знамя» – он небрежно бросил на диван финский плащ на теплой подкладке, причесался перед темным стеклом книжного шкафа, внимательно рассматривая свое лицо – значительное и в очках очень доброе, такое доброе, что сестренка Дашка до сих пор звала его Айболитом. Стройный и высокий, он был в светло-сером тоже финском костюме, придававшем ему, Айболиту, недостающие строгость и солидность. Несменяемый костюм проживет еще два года, а плащ вместе с Никитой Вагановым доживет до собкорства в центральной газете «Заря», и хозяин волей-неволей уверует в добрые намерения плаща, будучи суеверным, как завсегдатай бегов, ставящий то на фаворитов, то на темных лошадок. О, финский плащ на теплой подкладке!

В кабинете было тихо и тепло. Редакция наполнится специфическим шумом и говором минут через двадцать пять; к десяти часам – ни минутой позже – придет на черной обкомовской «Волге» собственный корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Тимошин – такой же святой человек, как и Мазгарев, а возможно, еще праведнее. Минут через десять после десяти прибудет редактор газеты «Знамя» Кузичев, безоговорочно принятый Никитой Вагановым человек, отвечающий ему дружбой и доверием.

В этот час Никита Ваганов заставлял себя не думать о корреспонденте центральной газеты «Заря» Егоре Егоровиче Тимошине, но, естественно, думал только о нем, не понимая, что вот это и есть угрызения совести, которых у Никиты Ваганова никогда не бывало. Со школьных лет он делал, что ему положено, и не делал запрещенное. Одним словом, он всегда был в ладу со своей совестью, но не знал, что это так. В неотступных думах о Егоре Тимошине вдруг мелькнуло, с какой брезгливостью невеста Никиты Ваганова подкрашивает веки в угоду будущему мужу. Жениться на Нике можно было и даже должно: за такой женой, как за каменной стеной. Никита Ваганову в его стремлении вперед и вверх нужен был прочный тыл, а весь город Сибирск считал, что Никита Ваганов собирается жениться на Нике Астанговой из-за отца ее – главного инженера комбината «Сибирсклес», который откроет ему свой кошелек и двери квартиры с самыми высокими потолками.

Ох, как все было бы просто: «Кто ищет, тот всегда найдет!» Покамест же существование Никиты Ваганова согревала уборщица тетя Вера, которая ненавидела его люто по необъяснимой причине.

– Ноги надо вытирать, гражданин!

– Я вытер, тетя Вера!

– Для отводу глаз... Для издевки!

– Тетя Вера, вот я еще раз вытер ноги...

– Я при чем! Да ты хоть сто раз их вытри – будут грязные... Иди, иди! Нечего на меня глядеть сродственными глазами – шпарь, шпарь в свой кабинет.

Он кайфовал и потешался над воркотней тети Веры, но она-то совершала поступки: не убирала его кабинет, возле которого высилась горка заметенного от других дверей мусора. Настольная лампа в кабинете серела от многодневной пыли, корзина для ненужных бумаг давно скрылась под бумажной горой, стекла в окнах не протирались с прошлой весны, на полу не было ни коврика, ни дорожки, и тетя Вера заревела бы от горя, если бы узнала, что именно таким и хотел видеть свой кабинет Никита Ваганов. Груды бумаг, книг, брошюр, всегда горящая настольная лампа – все необходимые аксессуары кабинета по уши загруженного делами человека.

Сегодня Никита Ваганов – от льдистого утра, наверное, – посмотрел на свой кабинет незашоренными глазами и вдруг подумал: «Торговали – веселились, подсчитали – прослезились!» Так быстро менялось у него настроение, хотя нервы были крепкими. На свалку автомобилей, с которых фанатики-автолюбители снимали все, что возможно, походила теперешняя жизнь Никиты Ваганова, а может быть, и на лопнувший воздушный шарик, и только потому, что стоит он и стоит на одном месте, пальцем о палец не ударяет, чтобы сделать жизнь другой – убыстренной, точно направленной. Ощущение тупика, впрочем, часто мучило его: остановили, схватили за локти, приставили спиной к стене, велели опустить голову, чтобы не смотрел на истязателей вопрошающими глазами... Ощущение тупика, серости и бессобытийности этого утра, как воспоминание, пройдет через всю жизнь Никиты Ваганова, а оно было значительным и важным для дальнейших событий: таким оно окажется серьезным, что много лет спустя, разглядывая ворс синтетического ковра, он мысленно сравнит события льдистого дня со взлетной дорожкой аэродрома, которую начинает исподволь, но уже верно пробовать колесами сверхмощный реактивный лайнер. Он уже вырулил на взлетный рубеж, уже турбины надсадно режут, но ничего пока не происходит – это затишье перед бурей, проба тормозов и моторов перед стремительным взлетом под самые высокие звезды. Чтобы понять это, Никите Ваганову понадобятся годы, он сам научится создавать атмосферу глухого тупика, серости, затишья, чтобы все кончалось благодатным для него взрывом... А вот сегодняшним утром, в пустой еще и гулкой от этого редакции, Никита Ваганов брезгливо придвинул к себе серую газетную бумагу, как термометр встряхнул автоматическую ручку и занял самую удобную для письма позу. «Не для себя ли на этот раз я таскаю из огня каштаны...» – подумалось ему, но творческого вдохновения он не почувствовал, и не только потому, что предстояло разнести в пух и прах руководство Тимирязевской сплавной конторы, в которой все, начиная от директора Майорова и кончая трактористами, были его хорошими знакомыми. Он лениво написал заголовок «Былая слава», трижды подчеркнул его, поморщился и легонечко вздохнул, что с ним происходило всякий раз перед превращением в быстродействующую и хорошую машину для изготовления статей, очерков, корреспонденции, фельетонов и так далее. Минут через десять после появления заголовка Никита Ваганов полностью отключился от того, что называлось редакционным заданием, а еще минут через десять Никита Ваганов испытал сладостное, лихорадочное состояние, похожее на легкое опьянение. Так было всегда, работа делала Никиту Ваганова счастливым, и много лет спустя, зрелым и умеющим зрело думать человеком, Никита Ваганов скажет себе твердо: «Ты был счастливым! Самое большое счастье дала тебе не любовь и обеспеченная жизнь, не вино и дружба, даже не стремительный взлет по служебной лестнице, а работа и счастье от умения работать!»

Пришло к десяти часам все редакционное стадо, разбрелось по клетушкам-стойлам, заперся в кабинете-крепости на вид суровый редактор Кузичев, подкатил на черной, совершенно новой «Волге» корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Егорович Тимошин и особой походкой – «утцом» – пробрался в свое стойло, стараясь никого не встретить на пути – он всегда боялся лишиться думающего, сосредоточенного состояния. Все в редакции знали, что

Егор Тимошин четвертый год пишет роман «Ермак Тимофеевич».... Одним словом, произошло еще много разных событий, пока Никита Ваганов исписывал серые листы газетной бумаги мелкими, полупечатными, отдельно стоящими друг от друга буквами: просунула голову в двери Нелли Озерова – любовница, но тут же скрылась, вошла и молча положила на стол гранку ответственный секретарь газеты «Знамя» Виктория Бубенцова, притащился толстый, шумный, веселый заведующий отделом информации Борис Гришков, но тоже скоро «смотался», говоря, что имеет дело с умалишенным.

Около двенадцати часов дня Никита Ваганов поставил вызывающе жирную точку в конце статьи «Былая слава», вытягиваясь и потирая сладко ноющий позвоночник, подумал, что после публикации статьи директор Тимирязевской сплавной конторы Майоров вволюшку хватит несчастий – партийный билет у него не отнимут, но одними комиссиями вымотают душу, да еще и будут прозрачно намекать, что товарищу Майорову некоторое время неплохо было бы поработать начальником сплава участка, – от таких штук человек плохо спит. Сладкую жизнь Володьке Майорову, знакомому Никиты Ваганова, устроит директор комбината «Сибирсклес» Арсений Васильевич Пермитин – кандидат в члены бюро Сибирского обкома партии. Однако Никита Ваганов, жалея Майорова, хотел бы знать, как все это следует расценивать. Во-первых, почему редактор «Знамени» Кузичев приказал разделать под орех Майорова, фаворита директора Пермитина, и, во-вторых, одновременно с этим в промышленном отделе создавался панегирик директору Ерайской сплавной конторы – открытому фрондеру Шерстобитову, на последнем партийно-хозяйственном активе заявившему, что Пермитин – Пермитин! – достиг высшей точки некомпетентности в руководстве лесной промышленностью области.

– Сие загадочно, – вслух сказал Никита Ваганов, затем поднялся и несколько минут постоял в неподвижности. Оказалось, что Никите Ваганову сейчас хотелось разговаривать, смеяться, шутить, словоблудить, одним словом, общаться с человечеством, и, как по волшебству, в кабинет второй раз просунула голову литсотрудница промышленного отдела Нелли Озерова, небольшая голубоглазая блондинка со зрелыми детородными бедрами – мужчины от нее шалели.

– Поставил точку? – не поздоровавшись, радостно спросила Нелли Озерова, так как всегда была в курсе дел Никиты Ваганова, хотя он сам ей ничего не рассказывал. Он здраво объяснял глобальную осведомленность Нелли Озеровой: она его любила, но – вот курьез – замуж за Никиту Ваганова выходить категорически не хотела. Она давно решила стать – и стала ею – женой Зиновия Зильберштейна – теперь удачливого ученого, а в будущем – академика. Он занимался жучками, имеющими какое-то важное значение для сельского хозяйства.

– Ты меня любишь? – внезапно спросила Нелли.

Он мгновенно ответил:

– А как же!

– Никита, не надо! – жалобно попросила Нелли. – Подари мне хоть одну нормальную минуту.

Кто знает, как она поняла, что Никита Ваганов, по-звериному быстро отдохнувший от рабочего перенапряжения, накачивает себя «юмором и сатирой», чтобы жить внешне обычной, веселой, шутливой, легкомысленной жизнью, – но это для стороннего и непроницательного наблюдателя. Остановленный Нелли, он лениво сел на диван-клоповник, пальцем показал Нелли, чтобы она заняла его рабочее место: они не должны были сидеть рядом – и в силу наличия невесты, Вероники, и в силу того, что всякая тайная любовница надежнее, интереснее и долговременнее, чем легальная.

– Иду навстречу пожеланиям трудящихся! – проговорил Никита Ваганов своим обычным

бархатно-ленивым голосом. – Могу быть серьезным, как катафалк. Имеются насущные вопросы? Необходимо разрешить мировую проблему? Гложет червяк?

Болтовня Никиты Ваганова объяснялась не просто: он включил на полную катушку «механизм думанья», сейчас, решая самый важный для себя вопрос, и в этих мыслях, естественно, не было места для Нелли Озеровой. Она оставалась лишь внешним раздражителем которым был занят только его речевой аппарат, вот он и бормотал-болтал-острил, несомненно, являя собой интересный для психиатра пример, когда аппарат мышления предельно далек от внешних проявлений.

– Если не червяк, так что? Неувязки? Козни? Внутреннее несогласие с самой собой? Сломанный замок на модных сапогах?

Никита Ваганов напряженно думал сейчас о собственном корреспонденте центральной газеты «Заря» Егоре Тимошине, не подозревавшем, что судьбе-распорядительнице почему-то было надобно, чтобы в городе Москве в строго определенное мгновение родился Никита, сын Бориса Ваганова, а сам Тимошин, в свою очередь, проделал все для того, чтобы в городе Сибирске встретиться с этим самым Никитой Вагановым.

– Молчать будем? Смотреть на мой цветущий рот? Не спускать глаз со шрама на руке? А известно ли вам, что я считаю женщин ярким бантиком на холщовой робе труженика...

Если Никита Ваганов мог безостановочно болтать, то Нелли Озерова была способна молчать часами, улыбаясь мило. И не видя сейчас ее всамделишную, он думал, что скоро некая Нелли Озерова понадобится ему в очень важном деле, таком важном, что важнее теперь ничего не было и быть не могло: жизнь Никиты Ваганова зависела от этого, жизнь, которую он собирался сделать долгой и счастливой, и у него все было, чтобы исполниться этому желанию.

Голубоглазая Нелли Озерова притворно вздохнула:

– Не хочется ехать в командировку... Турсук и Шебель!

Звала, опять звала... Пробирается за полночь в мерзкой районной гостинице, пропахшей хлорной известью и краской, из одной дрянной комнаты в другую, лезть к Нелли под одеяло на такую скрипучую кровать, где и с боку на бок перевернуться – значит вызвать аккорд заржавевшего железа... Нет, это сегодня, когда рядом сидит и пишет Егор Тимошин, не жизнь для белого человека! А ведь в недалеком прошлом те же самые Турсук, Шебель, Пашево, Красный Яр, Косошеево поочередно предлагали свои кровати Ваганову и Озеровой, чтобы во второй половине следующего дня всей области было известно о металлическом скрипе. Как и положено, скрип шебельских и турсукских пружин доходил до ушей невесты Никиты Ваганова – дочери могущественного в области главного инженера комбината «Сибирсклес» Габриэля Матвеевича Астангова.

– Турсук и Шебель, – задумчиво повторил Никита Ваганов...

Он родился и вырос на кроватях с пружинами, хотя в столице уже появились и входили в моду диваны-кровати, просто кровати на поролоне и прочих прелестях. Пятеро в двух комнатных, пятеро на тридцати шести квадратных метрах, включая двух особ женского рода и впавшего в маразм деда по отцу; по ночам пружинные кровати вздыхали, разговаривали друг с другом; скрип кроватных пружин сопровождает и будет сопровождать Никиту Ваганова всю жизнь, всякий скрип, похожий на кроватный, неизменно вызывает у него аллергический приступ – на теле расцветают алые лепехи крапивницы. Шебель и Турсук! Нет, голубушка, лучше послать к черту эту самую любовь, если кроватный скрип слышен по всей области, да к тому же сегодня, когда редактор газеты «Знамя» Кузичев, кажется, начинает предельно опасную игру с Пермитиным.

– Шебель и Турсук! Ешьте, люди, свежий лук! * * *

... Голубоглазая Нелли Озерова, женским своим чутьем поверившая в избранность Никиты Ваганова, почувствовавшая, что ему тесно, как клетка, любые рамки достигнутого, проникшая в его сущность, загадочную часто и для самого Никиты Ваганова, всю свою оставшуюся жизнь будет испытывать добровольные муки любви, кусать по ночам подушку при мысли о том, что Ваганов, спящий сейчас на плече жены, ее любит больше, но она панически боялась стать его женой, бабьим чутьем понимая, что Никита Ваганов – это бочка с порохом, которая рано или поздно взорвется... * * *

– Никита!

Не звала – просила милостыню. Какие бы духи ни употребляла Нелли Озерова, пахло от нее первосентябрьским новым школьным портфелем, детством, вспоминался Никите Ваганову отец, этот тихий и бедный школьный учитель, умеющий только для старшего сына придумывать головокружительные взлеты, для себя же считающий покупку автомобиля вершиной горного хребта.

– Никита, скажи хоть что-нибудь!

Он ответил:

– В принципе я не против, но не в этот раз, черт возьми, не в этот!

– Что-нибудь случилось? Не пугай меня!

– На Шипке пока все спокойно. Хочешь поцеловаться?

– Конечно!

– В темпе, Нелька, в темпе!

Отчего все-таки от нее пахло новым школьным портфелем, если она его не имела, отчего этот запах почти уничтожил запах арабских духов? Эх, как хорошо, молодо и волнующе пахло от этой красивой женщины с лживыми глазами, которые становились правдивыми, честными, доверчивыми только для одного человека на свете – Никиты Ваганова... Много лет спустя, проходя пешком по Столешникову переулку к фирменному магазину «Табак» за коробкой кубинских сигар, без всякой причины, без малейших признаков ассоциаций Никита Ваганов подумает, что его и Нелли Озерову связывает и связывала не только любовь, а нечто большее, значительно большее, похожее на генетическое родство...

– Я пойду, Никита! Шеф велит перед командировкой обговорить ее в обкоме.

– Шеф прав. Иди, Нелька.

Надо быть магом и волшебником, чтобы знать, отчего в это утро Никита Ваганов решил в очередной раз повидаться с корреспондентом столичной газеты «Заря» Егором Тимошиным, и все это время – пока лихорадочно и сладостно писал, пока болтал и целовался с Нелли Озеровой – незаметно для самого себя прикидывал конспект предстоящего разговора, обдумывал шуточки и хохмочки, подходы и уходы, откровения и умолчания, правду и ложь. Надо быть богом, чтобы уловить связь между утренней встречей с Иваном Мазгаревым, когда Никите не протянули руки, и походом в кабинет собственного корреспондента столичной газеты. Тем не менее связь, непонятная самому Никите Ваганову, существовала, и минут через пять Никита Ваганов, сдав статью в машбюро, пошел в отъединенный и странный кабинет Егора Тимошина... Шагал Никита Ваганов в своей любимой манере: локти прижаты к бокам, пиджак широко распахнут, тело тяжело раскачивается, словно под порывами шквального ветра, – такая походка несколько позже станет модной среди молодых людей

определенного типа.

II

Собственный корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Егорович Тимошин был человеком ровной трудовой биографии, когда количество естественно переходит в качество, так просто и естественно, как вращение Земли. Думая об этом, Никита Ваганов признавал право на существование двух жизненных путей – тимошинского и другого, когда все форсировалось, точно топка паровоза на крутом подъеме, но он считал, что дело, собственно, не в том, как ты движешься вперед и вверх, а в самом процессе, в ощущениях, в жизненном тоне, низком в первом случае и окрыляющем – во втором. Известно, что редиска растет ботвой вверх, но и для знающего и не знающего это человека вкус редиски неизменен, редиска есть редиска.

Что касается Егора Тимошина, то он был тот лежач камень, под который вода не течет.

– Здорово, здорово, Егор! Будем помнить, что не вопросы губят, а ответы. Занесите это в вашу книжку, мистер Тимошин.

Сделав два шага, Никита Ваганов остановился. Это тоже входило в число его приемов, манер, став привычкой. Он должен был постоять несколько секунд возле дверей, чтобы будущий собеседник хорошенько разглядел его, разобрался в настроении гостя, определил, если это возможно, предлагаемую гостем цель визита. Сам Никита Ваганов радовался, когда успевал рассмотреть пришедшего, дабы не начинать беседу так, за здорово живешь.

– Садись, Никита! – не потрудившись рассмотреть Ваганова, пригласил собкор центральной газеты. – Уже понатрудимшись?

– Накорябавшись.

«Нет, не врут люди! – уверенно подумал Никита Ваганов, увидев глаза Егора Тимошина, обведенные синими кругами. – Он на самом деле пишет роман, роман называется именно „Ермак Тимофеевич“ и будет такой же добросовестный и порядочный, как сам Егор Тимошин». Потом Никита Ваганов уже рассудочнее и медленнее подумал, какое это было бы счастье, если бы Егор Тимошин буквально на днях кончил свой роман, сделался бы профессиональным писателем и вообще исчез с газетного горизонта к... известной матери. «А хочешь, хочешь жить с чистыми руками!» – поддразнил Никита Ваганов себя, еще подробнее рассматривая утомленное лицо Егора Тимошина, который – трудно поверить! – дважды отклонил предложение работать в аппарате столичной газеты «Заря», отказался от корреспондентства в Болгарии и совершил еще какие-то нечеловеческие подвиги того же порядка.

– Что новенького на территории Франции, Голландии, Швейцарии и Лихтенштейна? – спросил Егор Тимошин, так как Сибирская область занимала именно такую территорию. – Нет ли любимого мной и презираемого тобой мелкого и сухого факта?

Предоставленный самому себе, свободный до головокружения, с начальством, отдаленным от его рабочего кабинета на пять тысяч километров, с ненормированным рабочим днем, такой человек мог себе позволить говорить без спешки, витиеватыми фразами, добродушно при этом щуриться на этот безумный и прекрасный мир. «Живет в кайфе!» – благодушно подумал Никита Ваганов... Ровно через двадцать один год он вспомнит квадратный и крохотный кабинет Егора Тимошина, карту Сибирской области на стене и неожиданно

серьезный разговор, составленный из шуток-прибауток, улыбок, то есть прошедший в самой удобной манере для Никиты Ваганова. Обмен фразами запомнился почти стенографически.

ВАГАНОВ. Значит, нуждаетесь в маленьком сухом, но верном факте? Надеетесь, сударь мой, что за фактиком непременно потянется цепочка фактов?

ТИМОШИН. Не надеюсь – уверен.

ВАГАНОВ. А что мы за это будем иметь?

ТИМОШИН. Фамилию. Одну фамилию.

ВАГАНОВ. Ого! Аля-ля! Значит, вам известно, мил-сударь, что дай мне фамилию, и я сделаю или конфетку, или карачун? Ухватили мой творческий метод?

ТИМОШИН (серьезно, уважительно). Ты все делаешь качественно, Никита.

ВАГАНОВ. Мерси! (Смеется.) Кажется, где-то в недрах целой системы созревает для тебя не один и не сухой факт...

Да, это было в те времена, когда Никиту Ваганова, как преступника на место преступления, ежедневно тянуло в кабинет Егора Тимошина, чтобы разнюхать, знает ли он хоть что-нибудь о вырубке огромного кедровника и о преступной махинации с утопом древесины в комбинате «Сибирсклес»? Он, собственно, тогда и сам не верил, что государство можно обмануть так нахально и просто: украсть сто пятьдесят тысяч кубометров леса из четырех миллионов – отъявленный скептик рассмеется недоверчиво! Егор Тимошин входил в число ревностных оптимистов, но все-таки Никиту Ваганова тянуло в кабинет Тимошина, день считался напрасно прожитым, если он не видел слегка располневшее лицо с крупными белыми зубами и медленной-медленной улыбкой, которая успокаивала Никиту Ваганова ровно на сутки. О, как боялся он, что какой-нибудь доброхот, реально оценив крупность дела, исписав целую ученическую тетрадь, постучится в двери корреспондента центральной газеты!

– Твой последний очерк был хорош! – сказал Егор Тимошин. – Редактор мне по секрету сказал, что не мог сократить даже трех строчек... Молодец, Никита, ей-ей, молодец! * * *

... Через десять лет Никита Ваганов напишет прекрасную статью о роли некрупных, но многочисленных фактов в журналистской работе писателя и журналиста Егора Егоровича Тимошина, только в самом конце статьи мельком проговорив, что «возможна и другая концепция отношения к факту и определению его значимости», а лет пять спустя, после статьи о Тимошине, университетский товарищ Никиты Ваганова – соперник, злой и умный соперник – Валька Грачев опубликует тоже хорошую и умную статью о своеобразном использовании фактов в работах выдающегося журналиста Н. Ваганова... * * *

Егор Тимошин вздохнул.

– Утром был в обкоме, – сказал он. – Положение тяжелое, особенно с картошкой... Ну а леспромхозы? К Новому году, как обычно, наверстают упущенное? А?

К пятидесяти двум годам Егор Тимошин завел и вырастил троих детей, похоронил жену, сошелся с женщиной-врачом, которая всеми силами пыталась спасти первую жену; с ней завел еще одного ребенка, и все было прекрасно: семья оставалась единой и теплой, управляемая мягко и ненавязчиво новой женой и матерью. Сам Егор только медленно-медленно улыбался и помалкивал, и, судя по всему – железной нервной системе, несуетности, добродушию, – Егор Тимошин должен был прожить долго.

– Преодолевать трудности, созданные нами же, мы прекрасно умеем! – негромко сказал Никита Ваганов. – Пустой мешок не заставишь стоять.

Ни слова всерьез, ни фразы без шутки или попытки шутки – так жил Никита Ваганов, никогда не разговаривающий ни с кем серьезным тоном, но везде, начиная со школы и кончая газетой «Знамя», его считали человеком предельно серьезным: вот еще одно доказательство того, что репутация создается не речами, а поступками, которые у Никиты Ваганова были только серьезными и крупными. Таким образом, «выкаблучиванием» Никита Ваганов никого обмануть не мог, исключая Егора Тимошина, который, будучи ленивым карасем, не только добровольно проглотит крючок жестокого удильщика, но так и не поймет распределения ролей.

– Мне, поди-ка, надо иттить! – зевая, сказал Никита Ваганов. – Известно ли тебе, что четырехлетний ребенок задает в день в среднем четыреста тридцать семь вопросов?

Завершением длинной цепочки сложных ассоциаций была мысль Никиты Ваганова о том, что ему в жизни не просто везет, а выпадают самые крупные выигрыши в этой заведомо проигрышной лотерее. Ничего нет удивительного в том, что Никита Ваганов – цветущий и жизнестойкий – в двадцать пять неполных лет считал человеческое бытие проигрышной лотереей – он понял это, кажется, на двенадцатом году, увидев в сиреневых кальсонах своего бедного отца, невезучего школьного учителя, живущего одной неисполнимой мечтой – купить автомобиль. День, когда двенадцатилетний Никита Ваганов скажет себе: «Проигрышная лотерея!» – запомнится на всю жизнь, но было бы ошибкой думать, что именно в этот день родился пессимист, выбирающий между кабаком, камерой следователя или каморкой ночного сторожа. Наоборот, именно в этот момент появилось то, что сейчас именовалось длинно и торжественно – специальный корреспондент сибирской областной газеты «Знамя» Никита Борисович Ваганов...

III

Итак, специальный корреспондент сибирской областной газеты «Знамя» Никита Ваганов стоял в приемной редактора Кузичева и размышлял, войти или не войти в святилище, так как это было еще в те дни, когда Никита Ваганов порой сомневался в редакторе Владимире Александровиче Кузичеве: вопреки всем обстоятельствам все-таки не верил, что редактор в трудную минуту протянет ему руку и поможет подняться на первую ступеньку – самую главную! – головокружительной карьеры. Да, это самое тяжелое – первый шаг. И Никита стоял в приемной с таким напряженным лицом, точно делал решающий ход в партии мирового шахматного первенства. «Знает – не знает!» – гадал он, уже почти месяц подозревающий, что редактор «Знамени» Владимир Александрович Кузичев пронюхал об афере с лесом, произведенной руководством комбината «Сибирсклес» весной и осенью прошлого года... но...

Никита Ваганов не вошел в кабинет редактора «Знамени». Удивленной секретарше Нине Петровне он сказал протяжно и наставительно: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» – подмигнул ей, сделал губы ижицей, после чего выбрался из приемной, вспоминая бог знает по какой ассоциации кипплинговское: «Ты и я – стая!» Заметим, что он не знал точно, как поведет себя редактор газеты «Знамя» Кузичев, член бюро обкома, в деле об утопе древесины и варварской вырубке кедровников, но уже догадывался – звериным своим чутьем, – что Кузичев останется Кузичевым, человеком честным – к честным и добрым – к добрым.

Редакционный коридор жил обычной жизнью редакционного коридора; пробегали с гранками или с черновиками в руках сотрудники «Знамени», шлялся по коридору метранпаж; рассыльная Груша – девушка образованная и эмансипированная – прислонившись к стенке,

читала учебник русского языка; сидел на подоконнике Володька Фогин – тщеславный малый с лошадиным лицом, работающий литсотрудником в отделе информации, которым командовал сам Боб Гришков – фигура важная. В дверную ручку кабинета Ивана Мазгарева была сунута свежесверстанная полоса, что значило: Мазгарев отбыл для поисков проверочного материала в университетскую библиотеку.

В промышленном отделе газеты сидели трое: заведующий отделом Яков Борисович Неверов, Борис Яковлевич Ганин и Нелли Озерова. Окрещенные Никитой Вагановым «неграми», они и на данном, так сказать, этапе создавали непреходящие ценности. Заведующий отделом создавал передовую статью под свежим заголовком «Дню рыбака – достойную встречу», Борис Ганин с кислой физиономией писал очерк о каком-то начальнике – это он-то, известный противник начальства всех мастей и рангов; Нелли Озерова, гениальный организатор авторского материала, правила очередную статью под рубрику «На экономические темы». Шариковая ручка свистела, бороздя дрянную газетную бумагу, глаза Нелли светились творческим восторгом.

– Негритосам привет! – произнес Никита Ваганов после того, как с комфортом устроился на знаменитом дерматиновом диване. – Вы знаете все и еще немножко, Яков Борисович! Скажите нам, пожалуйста, кто изобрел шариковую ручку?

– Империалисты всех мастей! – мгновенно включился в игру заведующий промышленным отделом. – Чтобы не брызгали чернила, когда пишут клеветнические статьи.

Воплощением невинности, скромной красоты и трудолюбия была Нелли Озерова, как Гретхен с немецких солдатских открыток. * * *

... Она, любовь Никиты Ваганова длиною в жизнь, родит от него ребенка, естественно, утверждая, что это ребенок ее мужа Зиновия Зильберштейна – крупного ученого, раньше Никиты Ваганова сделавшегося москвичом, а в конце концов – академиком, как и рассчитывала Нелли Озерова. Он будет даже выступать в газете «Заря» с блестящими статьями по вопросам сельского хозяйства. Зиновий Зильберштейн – обманываемый муж – всегда был и будет отгороженным от жизни книжным червем. Сына Нелли Озеровой родной отец не оставит без помощи и поддержки на протяжении всей своей жизни. Никита Ваганов сделает маленькое усилие, и инженер Владислав Озеров – мать ему даст свою девичью фамилию – станет начальником гигантского цеха и секретарем комсомольской организации на гигантском заводе, потом – следствие второго толчка – уйдет в заместители главного инженера. В отроческие годы сын Нелли Озеровой и Никиты Ваганова будет иметь модные джинсовые костюмы, батники, дубленки, магнитофоны, прекрасное теннисное снаряжение и так далее и тому подобное. Короче, он будет жить нисколько не хуже, чем дети Никиты Ваганова от законной жены Ники Астанговой... А сегодня Никита Ваганов не знает, что будет любить Нелли Озерову всю жизнь... * * *

– По той же причине шариковые ручки пришлись по душе Бореньке Ганину! – торжественно заявил Никита Ваганов, зная, о ком и что пишет Ганин. – Интересно знать, какого директора он сейчас снимает с работы, не брызгая чернилами? Боря, отзовись!

– Мешаешь! – лениво откликнулся полный и рыжий Борис Ганин. – Прерываешь крылатый полет моей творческой мысли, а сам, конечно, уже отписался... Ну, угробил Володьку Майорова?

Погладив себя по животу, Никита Ваганов важно ответил:

– Мы не угробили! Мы их учим жить. Мы не какой-нибудь там кровосос Ганин, который отнимает партийные билеты и сеет по сибирской земле детей, протягивающих исхудалые ручонки к своим еще вчера титулованным папам... Нелли, он зверь, этот Борис Ганин, не правда ли?

Нелли Озерова нежно ответила:

– Нет, он хороший и добрый! Боря, я – твой союзник!

Заведующий отделом Яков Борисович Неверов сказал:

– Вы не поверите, Никита, но «Я наоборот» пишет хвалебный очерк о директоре сплавной конторы...

«Я наоборот» – так Яков Борисович Неверов назвал Бориса Яковлевича Ганина; и эта кличка закрепилась за обоими.

Никита Ваганов принялся внимательно изучать полного, рыжего и низкорослого Борьку. Лицо горело, глаза пьяно влажнели, руки от возбуждения подрагивали – такого еще не бывало в обозримом прошлом. Снимал с работы директоров и всякое начальство Борис Ганин с холодной головой и стальными руками. Никита Ваганов как бы между делом продолжил:

– Боря, я знаю, кто герой! Это Александр Маркович Шерстобитов?

О! Да, да и еще раз да! На самом деле сильная личность, на самом деле глыба, на самом деле директор милостью божьей, но кто первым навел Ганина на Шерстобитова и почему навел в то же время, когда Никита Ваганов собирался в статье «Былая слава» смешать с опилками директора другой – в принципе неплохой – сплавной конторы? Была, была связь между этими двумя событиями! Ох, как легко остаться в дураках! А почему Никита Ваганов все-таки выжидал, хотя мог бы уже снимать прохладные сливки с известного одному ему дела...

– Батю-ю-ю-ю-шки энд мату-у-у-у-шки! – произнес Никита Ваганов.

Мысль работала лихорадочно, а поэтому плохо и примитивно. Не значило ли все это, что события уже происходили, а не собирались происходить, как думал пять минут назад Никита Ваганов. Машина, получается, вращалась на полном ходу, а он, Никита Ваганов, весенним теленком разгуливал по кабинетам, простаивал в нерешительности возле редакторских дверей, болтал как ни в чем не бывало с Егором Тимошиным. Преступная и расслабляющая нерешительность, интеллигентское самокопание, размягчение воли, слабинки характера, потеря бдительности – так можно пропустить и тот час, когда небо осыплют алмазы и в парках закрутятся карусели!.. Скоро, буквально через сутки, выяснится, что Никита Ваганов ничего не пропустил, ни на секунду не опоздал, он, если хотите, сделал несколько опережающих события шагов...

– Боря, дорогой Боря! – проникновенно сказал Никита Ваганов. – Лучше возьми нож и зарежь Шерстобитова, чем публиковать о нем очерк... Смилостивься, Боря! * * *

... Именно после опубликования очерка звезду Александра Марковича Шерстобитова на некоторое время прикроет облачко, и по элементарно ясной причине. Газета с очерком ляжет утром на стол директора комбината «Сибирсклес» Арсентия Васильевича Пермитина, он прочтет его, рассвирепев до неистовости, немедленно свяжет логической нитью два события: хвалебную оду Шерстобитову и разгром Майорова – любимца. Позиция областной газеты «Знамя» обнажится, действия редактора Кузичева окажутся точно направленными. В статье о Владимире Майорове будут употреблены эпитеты «сговорчивая беспринципность», «бесхребетность», тогда как в очерке о Шерстобитове рассыпаны эпитеты: «честный», «принципиальный», «неподкупный».

– Прогоните меня! – жалобно попросил Никита Ваганов. – Мне надо трудиться!

– Иди прочь, Ваганов! – обрадовался Ганин. – Знаешь, иди себе, иди, иди, иди...

Никита Ваганов пошел прочь из промышленного отдела областной газеты «Знамя», чтобы уже в своей комнате, хорошенько и окончательно все продумав, принять решение. Решение твердое и безоговорочное... Он поднял телефонную трубку, набрал номер:

– Здравствуй, Ника! Рад слышать тебя... Знаешь что, старушка, пожалуй, сегодня я буду свободен, и если ты не раздумала... Ах, вот как? Сегодня ты не можешь? Отлично! Значит, завтра и на прежнем месте. Лады? Целую! * * *

И опять минут семь Никита Ваганов простоит перед дверями кабинета редактора «Знамени» В. А. Кузичева, размышляя, войти или не войти, хотя казалось, что колебаний не должно быть. А он не решался, хотя было и заделье. Но все-таки неплохо было бы знать, почему «Знамя» хвалит Шерстобитова? Пошлый детективный сюжет. Есть две версии. Первая: редактор не знает об утопе древесины. Вторая: редактор хочет смести с лица земли Пермитина, так как «панама» с лесом – дело рук только и только одного Пермитина. Значит, бюро обкома не знает о преступном утопе, а редактор Кузичев знает, и Пермитина, эту грубую скотину, он не выносит, как всякий нормальный человек. Ох, эти две версии!

Никита Ваганов медленно открыл двери редакторского кабинета:

– Разрешите, Владимир Александрович!

– Входите.

– Здравствуйте, Владимир Александрович!

– Здравствуйте! Садитесь.

Описать кабинет редактора Кузичева невозможно: нет ничего такого, что бы отличало этот кабинет от тысячи других кабинетов руководителей. Стол, второй стол для заседаний, кресло, стулья, портреты, стальной сейф, пять телефонов, запах бумаги и живых цветов в горшочках, встроенные шкафы и стеллажи... Трудно описать и самого Владимира Александровича Кузичева. Редактор. За шестьдесят, лысина, высокий и узкий лоб, темно-серый костюм, красивый галстук... И все это покрыто сизым, плотным, уже неподвижным табачным облаком, в сто раз злейшим, чем табачное облако ресторана «Сибирь». Отчаянно борясь за себя, любя газету, предпринимая порой героические усилия для того, чтобы усидеть в редакторском кресле отседающих малоперспективных товарищей, редактор Кузичев и палец о палец не ударял для того, чтобы сберечь собственную жизнь. Он выкуривал до трех пачек сигарет «Новость» за день, лишал себя свежего воздуха, так как редко ездил на дачу, а если и ездил, то не гулял. Он питался плохо и нерегулярно, он всю свою жизнь проводил за столом, унавоженным рукописями, гранками, полосами, письмами трудящихся и прочей редакционной бумагозеей. У Кузичева от всего этого бледное лицо, хриплый голос, вялые движения.

– Владимир Александрович, статья о Майорове...

Редактор ответил:

– Я прочел статью. – Он снял очки, откинулся на спинку кресла. – Понимаете, Ваганов, меня устраивает ваша манера критического разбора...

Порывшись в бумажном засилье, редактор довольно быстро нашел статью, расправив, пробежал глазами. Веки у него посинели и отекли, руки дрожали, как с похмелья, хотя ни вчера, ни позавчера, по сообщениям редакционной молвы, Кузичев не пригубил и рюмки.

– Вы не разносите, не черните, не угрожаете. Это хорошо, Ваганов! Вы разбираете ошибки, даете оценку стилю руководства, указываете на способы исправления ошибок... Да, статья

требует оргвыводов... Спасибо, Никита Борисович!

– Спасибо за поддержку, Владимир Александрович! – после паузы сказал Никита Ваганов. – Ну что же? Корабли сожжены... До свидания, Владимир Александрович!

– Счастливо, Никита!

Вот так статья ушла в жизнь, в судьбу Никиты Ваганова, в его карьеру... «Пойду дразнить секретариат!» – игриво подумал он.

Виктория Викторовна Бубенцова была ответственным секретарем газеты «Знамя», записной склочницей и сплетницей за номером два, так как первое место держала в редакции по всем показателям Мария Ильинична Тихова – женщина, по толщине равная Бобу Гришкову, но прозванная москвичами-практикантами «Электричкой» за резвость на поворотах и при торможении. Именно сегодняшняя ситуация была для Никиты Ваганова бесценным кладом, чтобы удовлетворить чувство мести, накопившееся за первые месяцы работы под началом В. В. Бубенцовой. Она изводила молодых журналистов до слез, до истерик! С ней и двух слов сказать нельзя без риска быть заподозренным: в неуважении к секретариату, в неуважении к редактору, в неуважении к социальному значению газеты, в групповщине и, наконец, в попытках стать над коллективом или в желании отделиться от коллектива и так далее. Вот такова Вика Бубенцова – тридцатилетняя стройная женщина с некрасивым лицом.

– Секретариату пламенный привет! Виталика, тебе не кажется, что дятел имеет вопросительный вид?

Бледные щеки медленно покраснели, короткие губы обнажили ряд крупных здоровых зубов, рука прижалась к острой, по-настоящему красивой груди. А глаза, глаза – электрические лампочки, а не глаза! Эх, если бы Бубенцова не боялась Никиту Ваганова, что осталось бы от него за «дятла»? – мокрое пятно на серой мостовой. Но она, дорожающая своим служебным местом больше, чем прекрасной фигурой, завербовавшей ей в постоянные любовники литсотрудника отдела партийной жизни Леванова, боялась Никиту Ваганова. Умные женщины быстро понимают, что за зверь мужчина, когда приходится сталкиваться с ним в конфликтной ситуации.

У нее был огромный, непомерно огромный нос, и Никита Ваганов, открыто оскорбляющий женщину, чистой свою совесть считать мог только потому, что Бубенцова терроризировала всю редакцию, особенно молодых и неопытных сотрудников. Она с них три шкуры сдираала, она их делала мокрыми мартышками, гоня по пять раз в отдел и к себе из-за одной, только на ее взгляд, неудачной фразы. Она не пропускала работы молодых, она могла нарочно подпортить хороший фельетон старейшего в редакции работника – фельетониста Евг. Попова, она способна была на убийство, эта Бубенцова. Но в целом она была хорошим работником – это надо признать.

– Считаешь себя неуязвимым, Ваганов? – тихо и медленно спросила Бубенцова. – Думаешь, до тебя нельзя рукой достать? Не ошибись, Ваганов!

Он умоляюще протянул руки:

– О, лучшая из ответственных секретарей, я пламенею!

Таких, как Вика Бубенцова, полагалось слегка убивать; дятлоподобная недавно зарезала на корню очерк Нелли Озеровой, хороший очерк, написанный втайне, естественно, самим Никитой Вагановым. Бубенцова издевалась над Нелли Озеровой часа два, разбирая очерк по слову, каждое подчеркнула красным карандашом, остолбила вопросительными и восклицательными знаками, хотя наверняка узнала по стилю вагановскую руку... Впрочем, Виктория Викторовна Бубенцова не относилась к числу тех людей, которые оказали заметное

влияние на дальнейшую жизнь Никиты Ваганова.

– О, лучшая из секретарей, я пламенею и падаю! С такой, как у тебя, фигурой, Вика, не работают в секретариате, ей-богу, клянусь потрохами. Будь я романистом, сказал бы: от твоей талии у меня сохнет во рту. – Он осмотрелся, показывая, что не хочет, чтобы их подслушивали. – Жизнь за ночь с тобой, а, Вика? Залобзаю твою восхитительную грудь, ей-ей! Ась?

Он мощно оскорбил Бубенцову, проехавшись по ее дятлоподобному лицу, но треп о действительно прекрасной фигуре сделал свое дело: злая, как упырь, женщина сверкала черненькими, действительно как у дятла, глазами, но таяла, видит бог, таяла оттого, что такой молодец, как Никита Ваганов, был не прочь забраться к ней в постель.

– Я работаю! – прохрипела она, искуривающая за день больше пачки сигарет. – Не мешай, Ваганов.

– Хорошо! Созидайте.

– Ваганов!

– Созидайте, созидайте!

– Иди прочь, Ваганов!

– Ушел прочь.

Легко сказать ушел, а куда? Ведь сейчас была у Никиты Ваганова минута передышки, отдыха, а главное – думанья, напряженного думанья, когда от принятого решения зависела – ни мало ни много – вся дальнейшая жизнь, – это он прошептал себе под нос, Никита Ваганов, стоя в редакционном коридоре.

IV

Навещать редактора газеты «Знамя» журналист вагановского чина должен был каждый день, хотя этого не требовал сам редактор Владимир Александрович Кузичев. Редкостное явление, когда о редакторе областной газеты можно сказать, что он хороший человек, и при этом не покривить душой, но это было так и только так: доброжелательный и мягкий, работающий и справедливый, стремящийся к правде и добивающийся правды Кузичев. Наверное, поэтому в его приемной могла сидеть секретарша-уникум, некая Нина Петровна, сорокалетняя девственница, начисто лишенная главного качества большинства секретарш – влюбленности в шефа. Она пускала к Владимиру Александровичу Кузичеву любого человека в любое время суток и только фыркала, чтобы не стучали каблуками по хорошо натертому паркету – такая была чувствительная.

– У себя, у себя! – зловредно поджимая губы, говорила она всем. – Куда ж ему еще деваться!

Кузичев! Он сыграет выдающуюся роль в судьбе Никиты Ваганова: только человек его доброты сделает впоследствии то, чего не сделал бы ни один редактор... Никита Ваганов мило улыбнулся; ведь это были дни, когда специальному корреспонденту «Знамени» Никите Борисовичу Ваганову не спалось и не гулялось: события должны были произойти скоро, буквально на днях, и он жил напряженно, нервно, взвинченно, хотя внешне это никак не проявлялось и проявиться не могло – он был слишком сильным человеком, чтобы отпустить тормоза. Пожалуй, только слегка похудело его лицо в больших очках – доброе при очках, –

пожалуй, стремительнее и энергичнее стала походка. Одним словом, назревали события, обязанные вознести Никиту Ваганова до статуса собственного корреспондента газеты «Заря»... * * *

В утро, когда трижды прокричал петух, когда долгожданное начинало свершаться, Никита Ваганов пришел на работу поздно, в двенадцатом часу, так как всю ночь работал. Он поднялся на второй этаж, прошел по безлюдному коридору и только в конце его встретил секретаршу редактора Нину Петровну. Она ойкнула, прижала руки к груди и начала смотреть на Никиту Ваганова как на заезжую знаменитость, как, например, на киноактера Вячеслава Тихонова. Разглядывала очки и губы, подбородок и галстук, прическу и уши. Он разозлился:

– Раздеться?

Она никак на это не ответила, и Никита Ваганов понял, что на его статью «Былая слава» о директоре Тимирязевской сплавной конторы Майорове кто-то и где-то громко отреагировал. Ойканье и рассматривание Ваганова редакторской секретаршей значило: события уже начали вершиться, происходить с громадной скоростью, статья «Былая слава» – вот первая ступенька Никиты Ваганова вперед и вверх! Наконец секретарша Нина Петровна протяжно и восхищенно сказала:

– Владимир Александрович просил зайти, как придете.

Редактор «Знамени» монотонно расхаживал по кабинету; это не значило вовсе, что он нервничал, – Владимир Кузичев вообще любил разгуливать по кабинету: сидящий без воздуха и прогулок, он разминался, гуляя по ковровой дорожке.

– Садитесь, Никита Борисович! Есть разговор.

Собственно, неизвестно, что произошло бы с Никитой Вагановым, если бы редактор Кузичев обдуманно и ловко не начал борьбу с директором комбината Пермитиным. Пермитин надоел, он сидел в печенках, он мешал области работать и жить, а область была типично сибирской, лесной, и газета «Знамя» писала преимущественно о лесной промышленности, не зная, как угодить самодуру Пермитину: хвалишь – захваливаешь, критикуешь – мажешь дегтем. Бог знает, чего хотел от газеты невежественный директор комбината, и терпение Кузичева в один прекрасный день и час лопнуло. Сейчас он сказал:

– Пермитин хочет выставить статью о Майорове на бюро обкома, понимаете, а? Каково, а?

Никита Ваганов спросил:

– На каких же основаниях?

Кузичев улыбнулся.

– Вы льстите Пермитину.

Редактора следовало понимать просто: для Пермитина основания не существовали, для него ничего не существовало, кроме собственной ярости, ярости быка, увидевшего красную тряпку. Он на бюро обкома партии впервые потерпит поражение, впервые кресло под ним пошатнется и заскрипит; этого и хотел, этого и добивался редактор «Знамени» Владимир Кузичев – человек хороший.

– Я думаю, что на заседание бюро обкома нужно пойти и вам, Никита Борисович. Я уже договорился.

– И когда это произойдет?

– Через неделю, в среду! Пермитин оперативен. Начало в девятнадцать ноль-ноль... И вот что, Никита Борисович, давайте-ка еще раз пройдемся по статье. Возможно, вам не только придется отвечать на вопросы, но и держать при себе за-щи-ти-тельную речь. Минуты на три. Понимаете? Написать надо коротенько.

– Угу.

Кузичев сел, взял газету со статьей, молча – это заняло много времени – в сто пятый раз перечитал ее и уж после этого с ухмылкой сказал:

– Бронированная статья, непробиваемая!

Восторженное отношение редактора Кузичева к спецкору пугало Никиту Ваганова, как только он представлял лицо Кузичева, недоуменно переспрашивающего: «Вы хотите уйти из нашей газеты?»

– И все-таки пройдемся по статье, Никита Борисович. Есть одно уязвимое место. Вы пишете, что в конце апреля Майоров работал методом штурмовщины, бросил на лесосеку даже конторских служащих, но вы-то знаете, что десять дней Майоров бюллетенил. Так?

– Так, Владимир Александрович, но имя Майорова в мартовских-апрельских событиях и не упоминается. Плох тот руководитель, которого нельзя заменить.

– Совершенно правильно! Но мы с вами понимаем, а он... Слушайте, я порю дичь! Вы правы: козырь заменимости у нас в кармане!.. Поехали дальше. Как мы ответим на обвинения по тону и содержанию последнего абзаца, где читаем: «Есть руководители и руководители, есть выполнение и выполнение – неужели товарищ Майоров не чувствует разницы? Или былая слава зашорила ему глаза? Кстати, руководству комбината надо разобраться, как все-таки был выполнен годовой план отстающим предприятием». Я хотел это выбросить еще в гранке, но... пожалел.

Они сейчас, когда Кузичев понял, что Ваганов все знает, были сообщниками, заговорщиками, они одинаково не любили Пермитина, не хотели, чтобы такой человек возглавлял лесное дело в Сибирской области, они боролись с невежеством, волюнтаризмом, диктатом, произволом – бог им в помощь. Моментов дружеского отношения редактора к специальному корреспонденту в практике было много, но, пожалуй, сегодняшний день был наивысшей точкой сближения таких разных людей, как Кузичев и Ваганов. Они и дальше пойдут рука об руку в борьбе с Пермитиным, который, естественно, легко пасть не захочет.

– Не надо отказываться от последнего абзаца! – насмешливо сказал Никита Ваганов. – Вы меня за дурачка считаете, Владимир Александрович, если думаете, что у меня нет в записке факта.

– Какого факта?

– О зазнайстве Майорова.

– Ах, вот как! Расскажите.

Никита Ваганов зачем-то наморщил лоб, подумал и сказал:

– На февральской планерке Майоров заявил: «Нам все простят – мы неприкасаемые!»

– Он так и сказал?

– Так и сказал, дурачок! Его предупредил главный технолог о неподготовленности лесосек, главный механик настаивал на необходимости профилактики, начальник производственного

отдела говорил о лесовозной дороге, а он, дурачок: «Мы – неприкасаемые!»

Редактор Кузичев потирал руку об руку.

– Кто вам об этом рассказал?

– Вы лучше спросите, кто мне об этом не рассказывал? Майоров зарвался, что там говорить. Молодой! Неопытный!

Владимир Яковлевич Майоров не был близким другом Пермитина, он «не носил за ним горшок», как это делали директора некоторых сплавконтор. Володька Майоров, с которым Никита Ваганов игрывал в преферанс, жил широко и независимо, но вот Арсентий Васильевич Пермитин барской прихотью любил Майорова, покровительствовал ему, считал своим поклонником – тем хуже для Пермитина.

– Нет, вы определенно молодец, Никита! – искренне восхитился редактор Кузичев. – Вам палец нельзя класть в рот.

– Спасибо!.. Знаете, Владимир Александрович, а ведь у меня есть и еще факты по последнему абзацу.

Кузичев предостерегающе поморщился:

– Нэ трэба больше сегодня фактов, Никита! «Мы – неприкасаемые!» – этого вполне достаточно... Как очерк о Клавдии Манолиной?

– Готов. Но я его не буду сдавать в секретариат.

– Это почему, Никита Борисович?

– Устал от Бубенцовой. Я на нее трачу больше сил, чем на сам очерк, Владимир Александрович. Морщится, кривится, придирается к каждой запятой, не выпускает из рук красный карандаш. А я не люблю красный карандаш! Вот вы работаете простым карандашом!

– Никита Ваганов замолк, усмехнулся, вдруг стал серьезным. – Ваш карандаш при случае можно и потереть резиночкой, а от ее карандаша нет спасения – протрешь бумагу до дыр. Короче, не отдам очерк в секретариат! Он слишком трудно мне достался. Пардон! Мерси! Спасибо!

Никита Ваганов не упустил случая для осуществления давнишней мечты о привилегии сдавать материалы в набор без секретариата: естественное стремление для такого журналиста, как талантливый и работоспособный Никита Ваганов. Пока редактор молчал, сосредоточенно разглядывая шариковую ручку, Никита Ваганов повторил:

– Лучше сожгу очерк о Клавдии Манолиной, чем отдам Бубенцовой на издевку и поругание. Терпенье лопнуло.

Редактор Кузичев рассеянно ответил:

– Сдавайте сами очерки в набор, Никита! – И вдруг воодушевился: – Вообще я вас отделяю от секретариата. Теперь вы спецкор не при секретариате, а при ре-дак-тора-те! – Он вызвал к жизни секретаршу Нину Петровну. – Товарищ Мишукова, записывайте.

Пока редактор Кузичев диктовал приказ по редакции, Никита Ваганов думал не о бюро обкома партии, а о Нике, своей будущей жене Нике, и Нелли Озеровой. Какие они все-таки разные, абсолютно разные! Сейчас Ника Астангова была обеспокоена состоянием здоровья отца, тревожилась и переживала, не подозревая, что объясняется все просто: отец замешан в афере с утопом леса. Что касается Нелли Озеровой, то она процветала после того, как

Никита Ваганов написал за нее очерк, хороший и даже чуточку невагановский, чтобы не заметили. В редакции, понятно, руку Ваганова два-три человека знали, но на летучке Нелли Озерову хвалили напропалую, возносили до небес за наконец-то прорезавшийся божий дар изображать и отображать. * * *

... Впоследствии, когда Нелли Озерова станет работать в газете «Заря», Никита Ваганов за любовницу очерки писать не будет – не оттого, что пожалеет время, а потому, что Нелли Озерова за годы адского труда наловчится делать удобоваримые вещи. Бесталанная, но умная, она овладеет всей системой газетных штампов, мало того, будет использовать их умело, чисто, так, что комар носа не подточит. У нее будут две-три истинные, неподдельные удачи, которые и позволят впоследствии редактору «Зари» Ваганову сделать ее редактором отдела писем, но не членом редколлегии. Он этого не допустит... * * *

– Не забудьте о бюро, вернее, о дате. В среду, в среду без четверти семь мы выезжаем, – сказал редактор Кузичев. – Прошу вас, Никита Борисович, быть точным, а теперь вы свободны. – Это прозвучало слишком сухо для усилившегося сообщничества, и редактор добавил: – На белом коне, на белом коне, Никита!

И вот это нечаянное «на белом коне» в устах редактора, не имеющее никакого отношения к ностальгическому стремлению Никиты Ваганова вернуться в Москву, словно подстегнуло его. Он решительно вынул из кармана сложенные вдоль несколько страниц и протянул их редактору газеты «Знамя».

– Перелистните на досуге, Владимир Александрович.

V

В следующую среду, когда до заседания бюро обкома партии оставалось несколько часов – время длинное, огромное, если чего ожидаешь, Никита Ваганов, смелый до безрассудства молодой человек, хотевший или всего, или ничего, не ждал, пригвожденный к редакции, когда начнется бюро обкома. Все отпущенное ему время Никита Ваганов провел с громадной пользой. Во-первых, он воспользовался самостоятельным правом сдавать материалы в набор, для чего быстренько спустился в типографию, нашел знакомого линотиписта Ваську, попросил его набрать очерк о Клавдии Манолоиной немедленно, сейчас же, пообещав «на бутылку»; напевая, поднялся наверх и отправился прямо-прямохонько в кабинет собственного корреспондента «Зари» Егора Егоровича Тимошина, у которого не был давно, примерно дня три. И не потому, что не хотел видеть Тимошина, а потому, что заставлял себя не заходить в тимошинский странный кабинет – голый, пустой и гулкий, не похожий ни на какие другие кабинеты, а похожий только и только на самого Егора Тимошина, человека спокойного, медленного, иногда увлекающегося. Вот эту черту – способность увлекаться – надо было всегда иметь в виду, когда речь заходила об Егоре Тимошине.

– Здорово бывали, Егор!

– Привет, Никита! Восседай на диван, но бережно: торчит какая-то пружина.

Пружина торчала давно, полгода, но Тимошин есть Тимошин. Он пишет, ох, пишет, роман на историческую тему, роман якобы о заселении Сибири, якобы с великолепным выходом в настоящее, то есть имеющий параллель с великими сибирскими стройками, преобразованием Сибири, – и все в таком же духе! Но вот пружина из дивана высовывалась давно, впрочем, может быть, так и полагается жить романистам, воспевающим прошлое: медленно, созерцательно, философски-отстраненно от всяческих пружин и прочей мелочи.

– Делать мне не хрена, вот я и забежал на огонек, – сказал Никита Ваганов. – Запросто можешь выставить за дверь, пойду шакалить по другим кабинетам.

Егор Тимошин укоризненно сказал:

– Вместо того чтобы шакалить, писал бы очерк для «Зари». Где твой старец Евдоким – паромщик и солдат?

Никита Ваганов ударил себя кулаком по груди, затем полоснул ладонью по горлу.

– Гад буду!

И вынул из кармана пиджака очерк, напечатанный на тонкой папиросной бумаге и озаглавленный лихо – «Соединяющий берега».

– Посиди, Никита! – обрадовался Егор Тимошин. – Я немедленно прочту.

– Вот этого ты не сделаешь! – ответил Никита Ваганов. – Терпеть не могу, когда при мне читают Никиту Ваганова. Я буду страдать. Ты этого хочешь, а, Тимошин?

– Я этого не хочу, Ваганов!

– Тогда пойдем по линии легкого трепачика... Начинаю! Боб Гришков отмочил номерочек.

– Что же он совершил?

– Кошунство! Проспал ночь на чужом диване. Мало ему дивана в отделе информации, так они, забредши в открытый кабинет мистера Левэна, легши на диван, проспавши до прихода мистера. Те были пришедши в отчаяние.

– Отчего?

– Боб Гришков проспавши на рукописях. Они их сунувши под головку и на них проспавши. Скандал! Мистер Левэн, надо сказать к их чести, еще не пожаловавшись редактору, но собиравшись. – Он плотоядно потер руки. – Предвижу ве-е-е-селую редколлегию! Пойдешь? Я предупредю.

– Брось трепаться, Никита!

– Я сроду не треплюсь. Чистая правда. Проспавши на рукописях, но не описавши, что случается, как говорят.

Егор Тимошин возмутился:

– Клевета!

– Совершенно с вами согласен, но... Я в порядке буйной фантазии. Это разрешается.

Почему-то Никиту Ваганова именно во время этого дурацкого трепачика так и подмывало спросить, верно ли, что Егор Тимошин пишет исторический роман о заселении Сибири. По внешности Егора Тимошина версия о романе была правдоподобной – фундаментальный, несуетный, серьезный. Этот загадочный роман еще долго будет фигурировать в слухах и сплетнях об Егоре Тимошине, но правда выяснится поздно, очень поздно. Написать роман о заселении и освоении Сибири – об этом можно было только мечтать, так понимал дело Никита Ваганов. Он насмешливо продолжал:

– У мистера Левэна погибши передовая статья с броским заголовком «Организационной работе – новые высоты!». Сказывали, что потерялся абзац огромной важности. Боб

Гришков его заспал, как мать засыпает робеночка. Скандал!

Егор Тимошин хохотал и вытирал слезы. Он был охоч посмеяться, и Никита Ваганов не давал пощады собкору «Зари», глушил его, как сонную рыбу толлом.

– Скандал! Редактор Кузичев потребовавши передовую статью, а абзац корова языком слизнула, а мистер Левэн, вложивши в абзац всю душу, его восстановить не могут. Оне не помнют, чем кончается фраза: «Организовав организационную работу так, что работа находится на высоте, необходимо...» Так вот, они не помнют, что «необходимо»... Редактор им пригрозивши. Редактор им сделавши четыреста сорок третье серьезное предупреждение.

Никита Ваганов наслаждался трепом.

– Никита, ох, Никита, ты, конечно, все врешь, Никита!

– Кто врет? Я вру! Ах, оставьте меня вдовой! Счас позову Боба, и они сами будут рассказавши, как заспали абзац. – Никита Ваганов вдруг сделался важным, надулся индюком.
– Боб Гришков знают, какой это был абзац.

– Ох, Никита, ох, Никита! Как, ка-а-а-к кончалась фраза?!

– Они сложно кончавши: «...необходимо, преодолевая трудности, находиться на высоте с пониманием того, что высота требует постоянной, кропотливой, тщательной, повседневной работы». Уф! Мы вспотевши от напряжения. Мы сказавши, как кончается фраза мистеру Левэну, а оне говорят: «Опрощаете! Было значительнее и шире! Упрощаете!» Скандал!

Это был предпоследний раз, когда Никита Ваганов хорошо и легко чувствовал себя в кабинете Егора Тимошина. Короткое время спустя он уже не будет хохмить и забавляться, его будет терзать и заживо пожирать совесть – эта ненужная приставка к человеческой сущности. Он будет мучиться, хотя мог бы не мучиться, если бы призвал на помощь элементарный здравый смысл, разложил бы случившееся на полочки простейшей логики, но он будет страдать больше Егора Тимошина, несравненно больше, и думать о том, что Раскольниковы до сих пор бродят по Руси, переживающей научно-техническую революцию.

Сегодня Никите Ваганову было легко и даже весело в кабинете, странном кабинете Егора Тимошина, так похожем на своего хозяина.

– Ты все наврал, Никита, ты все наврал, да, Никита?

За пятьдесят было Егору Тимошину, но он иногда был ребенком, наивным ребенком – приятная черта, дьявол его побери! И смеялся, как он смеялся! Любо-дорого было хохмить на слуху у такого человека, одно сплошное удовольствие, наслаждение. В своем рациональном, давно обдуманном, решенном и выверенном стремлении вперед и вверх Никита Ваганов чуть ли не решающую роль отводит Егору Тимошину, но он заранее казнится, страдает и кается. Впрочем, в иные минуты и часы Никите Ваганову кажется, что он нарочно преувеличивает свое преступление, чтобы сладостно кататься слоеным пирожком в масле собственной честности. Как здесь не вспомнить Достоевского!

– Все чистая правда, Егор! – сказал Никита Ваганов. – Все правда, кроме содержания фразы. Она чуточку иная, но, поверь, уровень такой же. Он ведь бездарь, Леванов!

Это было неправдой. Василия Семеновича Леванова, литературного работника отдела партийной жизни, бездарью назвать мог только Никита Ваганов – блестящий журналист. Да, по сравнению с Никитой Вагановым литсотрудник здорово проигрывал, но был толковым журналистом, а вот тот факт, что Никита Ваганов считает Василия Леванова бездарью, будет опасным для первого. Это выяснится очень скоро, а пока Никита Ваганов держит Леванова в

бездарях, не считает его и за человека, высмеивает и разыгрывает. Это ошибка. Позднее Никита Ваганов получит веский удар от «бездарного» Леванова и на всю жизнь запомнит урок: нет людей неопасных! Все зависит от места, времени, действия. Иногда под серой оболочкой кроется такая центростремительная сила, что приходишь в изумление: «Да не может быть?!» А вот может быть и даже очень может...

– Я прочту твой очерк, Никита! – отсмеявшись, сказал Егор Тимошин.

Егор Егорович Тимошин очерки писал редко, но по-своему неплохо. Это были только исторические очерки, очерки, когда факты и фактики из жизни какого-то человека составлялись в картину, иногда впечатляющую. Одним словом, Егор Тимошин охотнее писал все что угодно, кроме очерков о современности, и Никита Ваганов здесь тоже считал себя очастливленным. Мог же ведь работать собственным корреспондентом «Зари» не Тимошин, а какой-нибудь сильный очеркист, который не пустил бы на страницы газеты Никиту Ваганова. А Никита Ваганов за год с хвостиком опубликовал в центральной газете четыре очерка, по словам Егора Тимошина, принятых редактором «Зари» под аплодисменты. В газете «Заря» теперь хорошо знали Никиту Ваганова, а очерк о паромщике, как и предполагал Никита Ваганов, ожидал триумф. Старик Евдоким Иванович был на фронте разведчиком, совершил дальний рейс в тыл врага, заслужил большой орден, счастливо окончил войну – вернулся даже нераненым – и о нем забыли. Не каждый день встречаются Герои Советского Союза, получающие награду через двадцать лет после войны... Так и произойдет, очерк будет встречен восторженно, пойдут многочисленные письма трудящихся, очерк откроет тоненькую, пока еще первую книгу Никиты Ваганова, которая выйдет в издательстве «Зари» под заголовком «Соединяющий берега», и эта книжка будет тоже встречена хорошо – небольшой рецензией на страницах самой «Правды»...

– Читай очерк, Егор, а я поплетусь. У меня сегодня какое-то игривое, жеребьячье настроение.

В предвкушении глобальной удачи настроение было легким, хорошим, почти восторженным, и, выйдя из кабинета Тимошина и встретив в коридоре Василия Леванова, литературного сотрудника партийного отдела, Никита Ваганов прореагирует на него радостно, то есть возьмет мистера Левэна за локоток и скажет:

– Рад видеть вас, Василий Семенович! Чы-ри-звы-чай-но! Как дельишки?

Человек с бледным лицом, с залысинами на высоком челе, тонкий, стройный, прекрасно играющий в пинг-понг и способный над одним газетным материалом работать месяц, ответит спокойно и доброжелательно:

– Порядок. А ты чего такой возбужденный, Никита? Уши пылают.

Никита Ваганов досадливо махнет рукой:

– Засиделся у Тимошина. Обхохотались.

После этих слов они разойдутся, разойдутся без всяких осложнений, каждый в свою нору-кабинет, и Никита по-прежнему не будет подозревать, какую роль сыграет в дальнейших событиях Василий Леванов.

VI

И было лето, жаркое лето. Расплавился и прогибался под каблуками асфальт, никли тополя, прятались воробьи и сороки; на решетках парка лежал тусклый отблеск солнца, троллейбусы

задыхались, асфальт под их колесами липко шелестел, а небо было таким безоблачным, таким белесым, что троллейбусные провода не виделись, исчезли. Было жарко, очень жарко, а вот Никита Ваганов и в ус не дул. Они – Никита Ваганов и его невеста Ника Астангова, – рассчитав время до заседания бюро, уехали на пляж, вынули из багажника «Москвича» небольшой брезент, закрепили его на колышках и лежали в сладостной тени, подремывая, изредка обмениваясь словами.

На фигуру Ники смотрел весь пляж, да и было на что посмотреть, черт побери! Может быть, лицо Ники, восточное лицо, было на любителя, но фигура – юнцы обмирали и переставали дышать. Итальянской была у нее фигура, вернее такой, какие любят итальянские кинорежиссеры и рыщут в поисках молодых красавиц, так как южные женщины фигуру сохраняют недолго. Точно так же произойдет и с Никой – она скоро располнеет, здорово располнеет! А жаль! Нелли Озерова до старости сохранит тонкую талию, юную грудь и детородные бедра!

– Тебе не жарко, Никита?

– Мне хорошо, Ника.

Никита Ваганов лежал на спине, закрыв глаза, руки сложив на груди, согнув колени. Он ни о чем конкретном не думал, но в то же время думал, что ему действительно хорошо, по-настоящему хорошо лежать подле Ники, от фигуры которой не отводил глаз весь пляж.

– Надо еще раз выкупаться, – лениво сказал он.

– Позже! – откликнулась Ника.

У нее был красивый голос – низкий и темный, как бы ночной, чуточку душный. Красивая фигура, красивый голос, красивое – на любителя – лицо, доброта, хозяйственность, мягкость – все это было у Ники, состояло при ней, и Никита Ваганов уже три раза за неделю думал о том, что ему надо не размышлять, а просто взять да и жениться на Нике Астанговой, что лучшей жены он не найдет, да и искать не станет – занятой человек. Что касается Нелли Озеровой, то она от своего верного и перспективного «господина научного профессора» никогда не уйдет – тоже неплохо при условии, что Нелли останется верной и долговременной любовью Никиты Ваганова, такой длинной, как его жизнь.

– Почему бы нам не искупаться сейчас, Ника?

– Давай искупаемся.

Он хорошо улыбнулся... Вот так, со временем, будет всегда, то есть Ника пойдет навстречу всем его желаниям, станет делать это неизменно; правда, сначала взрывы будут – редкие, но зато громоподобные, а дело кончится рабским, восточным, полным подчинением. И она будет ощущать себя счастливой женой, по-настоящему счастливой женой, вплоть до того дня, когда профессорский синклит не объявит свое трусливое решение, но имея привычки общаться с такими людьми, как Никита Ваганов. Ему не нужна была сладкая ложь, он привык знать о себе правду, правду и только правду, какой бы она ни была...

Безвозмездно светило солнце, катилась на север Сибь, синел, или, вернее, зеленел кедр на горизонте, серели башни хлебного элеватора, похожего на обойму патронов, – все было на месте, и жизнь била ключом, била мощным ключом: хотелось обнять сразу и башни, и кедрачи, и стальную излучину реки, и речной порт с его реактивным гулом, и спрятавшееся в белесости от самого себя солнце...

– Вот что, Ника, вот что! – тихо сказал Никита Ваганов. – Давай, как говорится, оставим факсимиле в загсе. А?!

Сначала показалось, что Ника не поняла слов Никиты Ваганова, пропустила их мимо ушей, но Ника, вздохнув, тихо сказала:

– Мне будет трудно с тобой, Никита, очень трудно! Нам обоим будет нечеловечески трудно.

Он тоже помолчал, затем спросил:

– Однако идея здоровая?

Она ответила:

– Конечно. А ты уверен, что любишь меня?

– Да. Я тебя люблю. А ты?

– Я люблю тебя, Никита, люблю и согласна хоть завтра...

– Завтра невозможно, Ника. Теперь брачующимся дают время одуматься, но заявление мы подадим завтра...

Полчасика походили они по берегу Сиби, на них смотрели еще охотнее и настырнее прежнего. Но их ждала неприятность: пока они гуляли, украли вельветовые туфли Никиты Ваганова. Сначала он рассердился, потом захохотал, представив, как пойдет босым по коридору своей коммунальной квартиры. Улица ему была не страшна: будущая жена сидела за рулем собственного «Москвича», купленного не на свои и не на отцовские деньги, а на бабушкины. Бабушка Ники много лет складывала на сберегательную книжку довольно большую пенсию, ведя хозяйство сына Габриэля Матвеевича Астангова, кормилась и одевалась на деньги сына, так как была восточной матерью, а он восточным сыном. Все сбереженные деньги бабушка отдала внучке, она их и копила для нее, для ее семейной жизни, для любой ее прихоти.

– Украли – хорошая примета! – сказал Никита Ваганов и охнул: – Mamочка родная, а где мои часы, мои замечательные часы «Победа» еще школьных времен?

Часы тоже украли. Никита Ваганов совсем развеселился. Упал спиной на песок, смеясь беззвучно, заявил, что бог – молодец. Часы давно надо было сменить, туфли жали и мозолили пятку. Воры, говорил Никита Ваганов, круглые идиоты, если увели часы, за которые не дадут и на бутылку. А туфли, хоть и венгерские, но самые дешевые из всех венгерских туфель!

– Что украли – хорошая примета! – повторял восторженно Никита Ваганов. – Ах, куда смотрели товарищи воры? Почему они не увели предельно длинную юбку моей будущей жены? Ой! Я, кажется, не ахти как тактичен? Это предельно плохо для молодого мужа, с которым жене будет и без того трудно... * * *

... Эта глупышка будет считать себя счастливой, очень счастливой женой, когда жизнь Никиты Ваганова, крутые горки и глубокие ямы укатают ее до полного равновесия, до того, что она будет часто и искренне говорить о своем семейном счастье, но это произойдет не скоро, не сразу, а постепенно – камешек за камешком, шаг за шагом... Сейчас Никита Ваганов долго резвился по поводу краденых вещей, так и этак поворачивал тему, пока не обыграл ее полностью. Затем он лег на песок животом, взял в зубы травинку и многозначительно замолчал, длинно и важно поглядывая на будущую жену.

Ника Астангова еще только начинала понимать, что ей сделали предложение, что она ответила согласием на это предложение, и ей скоро придется менять фамилию, привычки, пристрастия, быт, еду и питье – все менять ради мужа, Никиты Ваганова, человека требовательного в крупном и совершенно безразличного к мелочам быта, то есть, в

сущности, удобного мужа. Это поймет не сразу, а сейчас продолжает думать, как ей трудно и тяжело придется на посту жены Никиты Ваганова. Это было видно по ее застекленевшим глазам и тоненькой складочке на лбу.

VII

За час до бюро обкома партии Никита Ваганов без всякой причины, просто так, на огонек, зашел в промышленный отдел газеты «Зиамя», где все были на местах. И Яков Борисович Неверов, и Борис Яковлевич Ганин, и Нелли Озерова. Он сел на диван, мрачно сложил руки на груди и стал исподлобья смотреть на мрачного Бориса Ганина, который был мрачен давно и глобально, а здесь еще и накладка: его крупный и сильный очерк о директоре сплавконторы Александре Марковиче Шерстобитове до сих пор лежал набранным в секретариате. Редактор Кузичев не ставил его в номер и не мог поставить раньше, чем отзаседает бюро обкома по статье Никиты Ваганова «Былая слава», рассказывающей об ошибках и упущениях директора Владимира Яковлевича Майорова. Редактор замариновал очерк о Шерстобитове, попрिдержал, чтобы дать сразу же после битвы за статью «Былая слава», – почему такую детскую головоломку не мог решить симпатичный парнюга Борис Ганин, с которым у Никиты Ваганова, как и с Бобом Гришковым, были славные отношения, не обремененные признаниями и дружескими излияниями, необходимостью повседневно поддерживать связь.

– Моменто мори! – провозгласил Никита Ваганов. – Латинское изречение, которое можно перевести как «Мойте руки перед едой!». Не слышу в ответ обычного бодрого смеха товарища Бориса Яковлевича, а также Якова Борисовича. Варум? Переводится как «Не горюйте», очерк об Александре Шерстобитове пойдет. Это я понял давно. Очерк пойдет, но не сразу, хотя... – Он поджал губы. – Хотя – шеф может дать срочную команду опубликовать по-ло-жи-тельный очерк о человеке

положительном . Ит ыз? Что означает: «Меня нет среди вас!»

На заседании бюро обкома, где одним из вопросов было обсуждение выступления областной партийной газеты по директору Тимирязевской сплавконторы Майорову, царили покой и порядок, было так тихо и так шелестели вентиляторы, что вспоминались пульта управления крупными электростанциями. Первый секретарь обкома, который вскоре должен был уходить на другую работу, – сменит его Сергей Юрьевич Седлов, – этот первый секретарь поступил неожиданно: попросил первым выступить автора статьи Никиту Ваганова, хотя полагалось бы выслушать претензии кандидата в члены бюро обкома товарища Пермитина, по настоянию которого вопрос о выступлении газеты был вынесен на бюро.

В зале заседаний зигзагом стояли маленькие столики, накрытые стеклами, громадные окна были вымыты до сияния, пахло мастикой и коврами. На Никите Ваганове были светлые брюки, черная рубашка, кожаная куртка, уже модная в то время среди писателей, журналистов, художников, одним словом, служителей муз. Он поднялся, посмотрел на редактора Кузичева – редактор одобрительно смежил ресницы – и перевел взгляд на Пермитина, красного и надутого от злости, разгневанного тем, что первое слово было предоставлено не ему, Пермитину. Ох, он был еще предельно опасен, какая толстая стопа бумаги лежала перед ним, как переглядывался он с еще верными ему работниками обкома! «Бог не выдаст, Пермитин не съест!» – зло подумал Никита Ваганов, чтобы быть на самом деле злым и нахальным, – иначе пропадешь, пропадешь иначе, мальчишечка! Ему нравилось, как члены бюро смотрят на него, такого молодого и непривычно одетого для строгой атмосферы заседания. Они, члены бюро, смотрели мягко, понимающе и одобрительно: «Ничего, ничего! Не надо робеть, и все будет хорошо!» Пермитина не любили

в обкоме.

– Владимир Яковлевич Майоров – хороший директор и человек! – позорно пошатнувшись голосом произнес Никита Ваганов. – Если бы он не был таким, вряд ли следовало писать статью о теперешнем, наверняка временном отставании тимирязевцев. За крупные ошибки его надо было бы просто снимать. – Он простецки улыбнулся. – Понимаете, я верю в Майорова! – Он прижал руки к груди чисто мальчишеским жестом. – Знаете, товарищи, мне больше нечего сказать...

Редактор Кузичев ясно улыбался, благодарный Никите Ваганову за то, что именно так и надо было говорить, так и надо было вести себя на заседании бюро обкома автору статьи о Владимире Майорове. Одновременно с этим он впервые подумал о Никите Ваганове как о предельно ловком и расчетливом человеке. И актер он был превосходный: чего стоили руки, по-мальчишески прижатые к груди. Когда первый секретарь решил выслушать Пермитина, кандидат в члены бюро повел себя глупо и непристойно, как выражаются китайцы, потерял лицо. Разгневанный, ненавидящий всех и вся, взвинченный, он начал с того, что объявил статью клеветнической. Как только он употребил это слово, редактор газеты «Знамя» Кузичев откинулся на спинку стула, зевнул и закрыл глаза – отдыхал.

Пермитин сказал:

– Статья клеветническая и несвоевременная для данного момента лесозаготовок! Что это получается, товарищи? Областная партийная организация перешла на новый этап борьбы за перевыполнение плана, а партийная газета критикует лучшего директора сплавконторы. – Он вскинул руку. – Да! Значительно перевыполнив план прошлого года, тимирязевцы сейчас временно отстали, но они имеют громадные производственные ресурсы и к концу года займут одно из первых мест. Да! Да! – Он повернулся к редактору Кузичеву. – Вы неправильно понимаете роль партийной печати, товарищ Кузичев! Печать существует не для того, чтобы ставить палки в колеса, не для того, товарищи члены бюро...

И потекла словесная жижа, потекли призывы и заклинания, обвинения и упреки в несуществующих грехах – поток демагогии, лжи и патоки. Пермитин истекал словами, нескончаемыми фразами, и члены бюро, и Никита Ваганов слушали его с молчаливым, тщательно затаенным отвращением, с желанием, чтобы Пермитин провалился в тартарары, исчез, испарился, растаял в свежем воздухе, что притекал в распахнутые окна. Он закончил через семь минут, а показалось, что говорил Пермитин день, сутки, месяц, вечность... * * *

... Много лет спустя, вспомнив выступление Пермитина, его рычащий голос, размахивание руками, вспомнив, как он облизывает губы, как жадно пьет воду и как смотрит на окружающих, Никита Ваганов, внутренне веселясь, найдет способ разделаться с одним из своих заместителей, которого долго, очень долго не мог убрать, хотя заместитель был объективно вреден для газеты «Заря». Его Никита Ваганов заставит выступить вместо себя в отделе пропаганды и агитации ЦК партии, и этого будет вполне достаточно, чтобы в отделе схватились за голову: «Кого мы поддерживаем?» Вообще, надо заметить, что Никита Ваганов оснаститесь таким опытом и таким знанием жизни, работая в газетах «Знамя» и «Заря», что ему и черт с клюкой не будет страшен. Все, что происходит с ним сейчас, в будущем используется больше чем полно. И когда он впервые услышит «прагматик» по отношению к себе, он будет вспоминать о Сибири, о прекрасной молодости...

А сейчас Пермитин закончил выступление, выпил еще стакан воды, и только после этого тяжело шмякнулся на свое постоянное место. Первый секретарь обкома партии после длинной паузы спросил:

– Не может же быть статья целиком и полностью клеветнической? Может быть, вы укажете конкретику, Арсентий Васильевич?

– Мелочиться не стоит! – ляпнул Пермитин. – В статье написано, что Майоров руководил штурмом, а он в это время был на бюллетене. Не вранье?

– Нет! – быстро ответил Никита Ваганов. – Он был болен, но не выпускал из рук телефонную трубку. Это раз. А во-вторых, штурмом бестолково руководила вся дирекция. Плох тот руководитель, у которого плохие помощники. – Никита Ваганов повысил голос, и он хорошо звучал. – Скажу вам больше... – Он сделал паузу, посмотрел на редактора Кузичева, который тоже не знал, какой еще факт против Майорова приберег Никита Ваганов. – Скажу вам больше, товарищ Майоров с температурой тридцать восемь выезжал на лесосеку.

Первый секретарь обкома партии задумчиво глядел в угол зала. Он уезжал из области, решение о его переводе уже состоялось, но он вел бюро обкома и должен был вести его дальше, хотя все было ясным, как божий день. Первый секретарь обкома сказал:

– Считаю реплику товарища Ваганова серьезной. Что еще, Арсентий Васильевич?

– Я же говорил: вся статья клеветническая!

– Как видите, не вся!

– Мелочи! Пустяки! Бюро должно прислушаться к моей основной мысли. Не время для таких статей, не вре-е-е-мя! Мы бьем по рукам лучших работников – это что-то не похоже на партийные установки!

– Ну а по существу?

– По существу клеветническая статья!

– Ну, Арсентий Васильевич, полно же вам! Нужны и факты.

– Фактов сколько угодно! Почему не сказано, что тимирязевцы выполнили план по сортаментам?

Первый секретарь посмотрел на Никиту Ваганова.

– План по сортаментам не выполнен, – сказал Никита Ваганов и неожиданно для себя сделал то, что останется в памяти членов бюро обкома. Он еще раз повернулся к Пермитину и улыбнулся по-доброму, открыто и ясно. – Арсентий Васильевич, мы с вами не в равных положениях! Вы – созидаете, я – уничтожаю. Ну, ведь действительно легче набрать полную суму обвинений, чем кошелек – добра.

«Умный парень! Славный парень!» – вот что читалось на лицах членов бюро обкома, дружно повернутых к Никите Ваганову, и сразу после этого Арсентий Васильевич Пермитин начал притихать: понял наконец-то, остолоп проклятый, что никогда не взять ему крепость – редактор Кузичев плюс спецкорреспондент Никита Ваганов. Именно с этой минуты и началась езда под гору, медленное, но верное сгибание, в сущности, несгибаемого Пермитина...

Так оно и было. Именно с бюро обкома партии, с этой минуты начнется отсчет времени, положенного Пермитину судьбой на партийных весах. Вместо шага вперед сделал шаг назад и покатился вниз, вниз, вниз, тогда как Никита Ваганов пойдет вперед и вверх, и точкой отсчета его побед можно, пожалуй, считать вот это заседание бюро обкома.

В редакцию они шли пешком, редактор и Никита Ваганов, и последнему – железный характер! – удавалось делать вид, что он и не слышал о девятнадцати страницах текста, которые он отдал редактору.

– Варум? Что значит «Ночью все кошки серы», – бормотал Никита Ваганов. – Второй перевод: «Не ходите, девки, замуж...» Ит ыз! Что значит: «На чужой каравай свой рот не разевай!»

Редактор молчал. Только у дверей своего кабинета молча пожал руку Никиты Ваганова. Редактор был бледен, как свежий снег, – вот чем обычно кончались для Кузичева заседания бюро обкома партии. Никита Ваганов постарался, чтобы в ответном рукопожатии было побольше тепла.

«Камикадзе!» Это прозвище Никита Ваганов дал директору комбината Пермитину после заседания бюро и специально громко дважды повторил его в курилке. В этот же день «Камикадзе» просочится из редакции газеты «Знамя» на волю – в кабинеты разных учреждений. Оно дойдет и до первого секретаря обкома партии, собирающегося покинуть Сибирскую область ради другой, более ему близкой области; оно дойдет до ушей и нового первого секретаря, который скажет: «Вы действительно камикадзе, Арсентий Васильевич, если сами бросаетесь в омут головой. Автор статьи поймал вас за руку...»

VIII

Никита Ваганов шел на свидание с Никой Астанговой, ничего особенного от этого свидания не ждал: прогулка по городскому парку, поцелуи в темных аллеях, длинное провожание и опять поцелуи – самые сладкие, в подъезде. Шел он неторопливо, осматриваясь по сторонам и радуясь тому, что вот шел, ни о чем не думал и осматривался по сторонам – легкомысленное у него было настроение. Потом стал думать о том, что Вероника Астангова – он на ней женится – в сущности, ему совсем непонятна, а у него нет желания разбираться в этом: для чего, если он на ней обязательно женится. С годами он разберется в жене – поймет, что у нее все по-своему, на восточный лад красиво: глаза, губы, нос, подбородок. Сейчас же Никита Ваганов идет на встречу с девушкой с обычным восточным лицом, но сексапильной фигурой, хотя Ника Астангова в любом виде умудряется выглядеть целомудренной... Она будет Пенелопой, она будет волчицей хранить семейное логово, она однажды объявит войну не на жизнь, а на смерть мужу, будет воевать до крови, но сломится, чтобы превратиться в типичную восточную жену – расшнуровывающую ботинки мужу и надевающую на его ноги туфли с загнутыми по-восточному носами...

– Здравствуй! Я соскучилась, Никита! Можешь поцеловать меня всенародно, сегодня я не боюсь посторонних глаз.

Она на самом деле стеснялась целоваться на людях, но вот двадцать третьего июня отчего-то не захотела стесняться. Может быть, потому, что на дворе от вчерашней жары не осталось и следа: было не жарко, было приятно тепло, пахло поздно собирающимися в Сибири силу тополями, летел с них невесомый пух, улица от женского многолюдья цвела, как оранжерея, кофточками, юбками, накидками, пестрыми платьями. На реке погуживали пароходы; автомобили тоже яркие, разноцветные, – одним словом, возле почтамта, где они встретились, жил летний вечерний уют и тихая радость, наверное, объяснимая чем-то, но не нуждающаяся в объяснениях.

Ника была в зеленом, тесно облегающем костюме, тяжелый пучок черных волос заставлял держать голову высоко, глаза, как всегда, блестели; девушка не пользовалась косметикой – это закрепится на долгие-долгие годы, и только много позже она станет замазывать морщины кремами и пудрами.

Они шли по проспекту, болтали чепуху. Сначала Никита Ваганов рассказал ядреный анекдот,

потом Ника рассказала этакий «профессорский», потом оба сообщили, что на их рабочих местах – порядок. Ника первый год работала в школе. Никита Ваганов сказал:

– Поздравь меня, разговелся... Схарчил директора Тимирязевской сплавконторы Володичку Майорова. Чтой-то зело и долгосрочно зазнался... Ваши папаши, впрочем, будут довольны. Оне не любят почивших на мраморе.

Подумав, Ника ответила:

– Ты прав, пожалуй! Надеюсь, статья написана без разбойного свиста?

– Не могу знать! Статья написана в духе Ник. Ваганова.

Несколько месяцев назад Ника, с ее грандиозно развитым чувством справедливости, обрушилась на фельетон Никиты Ваганова «Эфирное руководство» – о том, что дирекция Пашевского леспромхоза руководит лесопунктами исключительно по рациям и телефонам. По сути фельетона Ника не имела претензий, но ее возмущал разбойный стиль и людские характеристики, выполненные еще и гротескно. Слушая поток возмущенных эпитетов, Никита Ваганов наслаждался. Тогда Ника и назвала его «соловьем-разбойником» и была совершенно права: он писал фельетон «Эфирное руководство» с чувством садистского наслаждения.

– Как ты сказал? – переспросила Ника. – Статья написана в духе Ник. Ваганова? Какого, позволь узнать?

Он ее успокоил:

– Обычного!

... Фельетон «Эфирное руководство» был исключительным явлением в газетной практике Никиты Ваганова. Что бы он ни вытворял в жизни, в какие тяжкие ни пускался, каких козней ни строил, статьи, фельетоны, очерки и зарисовки Ник. Ваганова всегда были, есть и будут умными, непредубежденными, далекими от слов поэта: «...добро должно быть с кулаками...» Никита Ваганов умел, умеет и еще будет уметь не показывать кулаки, одним словом, журналистская практика характеризует Никиту Ваганова как человека порядочного. Он – талантливый, по-настоящему талантливый журналист, а талант мешает быть злым, суетным, мстительным, исключая экстремальные ситуации... На факультете журналистики Московского университета в недалеком будущем начнут изучать работы Никиты Ваганова...

– Наверное, я никогда не привыкну к школе! – вдруг пожаловалась Ника. – Такой шум...

Никита Ваганов знал и видел, что творится в новой школе, построенной на окраине города. Содом и Гоморра! Он сказал:

– Ты же сама пошла туда, чтобы начинать с нуля. Я тебя предупреждал... Слушай, Ника, не завалиться ли нам в ресторанцию «Сибирь», где подают ананасы в шампанском?

Никита Ваганов не острил. По иронии судьбы северный город Сибирск завалили ананасами.

– Так как насчет ресторации, Вероника Габриэльевна? Соответствует?

В ресторане дым стоял столбом, нефтяники и газовики, лесозаготовители и сплавщики, «толкачи» со всех сторон страны завивали веревочкой северную надбавку или недостаток шарикоподшипников. Ресторанный ансамбль как бы специально для Никиты Ваганова и Вики Астанговой, только что вспомнивших об ананасном засилье, «наяривал» Александра Вертинского, но какого! Длинноволосый, поедая микрофон, вихляясь и подмигивая пьяному залу, пел вот что: «Вы оделись вечером кисейно и в саду сидите у бассейна, наблюдая, как

лунеет мрамор...»

В дыме и восторге, в громе и раздрызге ресторана «Сибирь» Никита Ваганов и Ника Астангова увидели, конечно, лохматую большую голову Боба Гришкова, мрачно и молча сидящего среди людей рабочих профессий и пьющего «голую водку» под дрянное зелено-желтое яблоко, целое еще на три четверти. Причесывался Боб Гришков раз в неделю, да и то не сам, а жена, в постели, в которой он появлялся не чаще трех раз в неделю. Странно, непонятно, дико, что при необъятной своей толщине Боб Гришков активно нравился женщинам.

– Опасно! Без изолирующего костюма не входить! – говорил Никита Ваганов. – Боб Гришков без женщины! Освободите помещение! Начинается кормление хищников!

Никите Ваганову нужен был отдельный стол, и только отдельный стол, иначе им нечего было делать в ресторане; однако ни одного свободного стола не было, и они ушли бы из ресторана, если бы в зал случайно не заглянул сам директор. При виде Никиты Ваганова он сделал собачью стойку, узнав Нику Астангову, переломился в талии, и через три с половиной минуты был вынесен стол на двоих – такой маленький симпатичный столыга, покрытый льняной скатертью, поставленный в угол, из которого можно было наблюдать все поле битвы. Как только Никита Ваганов и Ника сели, Боб Гришков подошел к ним, не поздоровавшись с Никой, многозначительно сказал:

– Не-кит, надо пять рублей. И немедленно!

«Не-кит» было изобретением приятеля, а не врага Никиты Ваганова – лично пьяницы и бабника Боба Гришкова, поклонника и ценителя его журналистской работы, но «Не-кит» до смерти будет мучить и гневить Никиту Ваганова... Жизнь покажет, что он – кит, кит самой крупной породы; тот же Боб Гришков будет у Никиты Ваганова есть с ладони, но о кличке – «Не-кит» – не забудет...

– Хватай, Боб, десятку!

Мелко, суетно, но по-мужски... Но Никита Ваганов боялся, что Ника поймет это «Не-кит», не дай бог возмутится Бобом Гришковым, нахамит ему, и на следующий день вся редакция будет знать, что Ника отреагировала на «Не-кит» и только поэтому прозвище закрепится за Никитой Вагановым навсегда. Он потому и сунул Бобу Гришкову десятку, что хотел немедленно от него избавиться, но не тут-то было: толстяк, гомерический толстяк схватил первый попавшийся стул, сел и начал внимательно смотреть то на Никиту, то на Нику, словно хотел найти в них общее или, наоборот, отделить друг от друга. Кончилось это неожиданно. Боб сказал:

– Самая большая сволочь – это я, Боб Гришков! Все подлые вещи начинаются с отдела информации... Никита, ты не можешь отговорить Борьку Ганина опубликовать очерк о Шерстобитове? Пермитин его убьет, поверьте пьяному человеку!

Помолчав, Никита Ваганов медленно спросил:

– Ты почему без женщины, Боб?

– Потому что подлец! А женщины любят молодых, длинноногих и че-е-ест-ны-ых... Я пьян?

– Угу!

– Аревуар! Целую ручки, Ника!

Расчет Никиты Ваганова оправдался. В ресторане было так шумно, что можно было бы без опаски обмениваться шпионскими сведениями. С согласия Ники он заказал вареную

стерлядь, грибы и две бутылки минеральной; они опять говорили бог знает о чем, болтали и болтали легко и весело до того мгновения, пока не было произнесено имя отца Ники. Помрачнев и тяжело вздохнув, Ника сказала:

– Папа устал, чертовски устал. Такого с ним еще не бывало. Ни я, ни мама не понимаем, что происходит. Ведь с планом вроде все хорошо...

Никита Ваганов дня четыре назад встретил отца Ники в обкомовском коридоре, обмениваясь с ним искренним рукопожатием, с болью заметил, как сдал, буквально сдал главный инженер комбината «Сибирсклес». Началось это сразу после Нового года, нарастало медленно, но верно, и по расчетам Никиты Ваганова соответствовало развитию аферы с утопом древесины и вырубкой кедровников.

– Перестань! – сказал Никита Ваганов. – Габриэль Матвеевич выглядит неплохо. У каждого бывают минуты усталости...

– Спасибо! – ответила Ника. – Я знаю, ты хорошо относишься к папе. И он говорит, что ты ему, как он выражается, приятен... Но с папой что-то случилось, только я не знаю, что... Папа такой, словно ему стал тяжек комбинат. В последние два месяца он раньше обычного возвращается домой... * * *

... "Панама" с утопом древесины и вырубкой кедровников кончится исключением из партии Пермитина, но не поздоровится, естественно, и Габриэлю Матвеевичу Астангову – его снимут с работы, объявят выговор по партийной линии...

– Ничего особенного не может произойти в передовом комбинате! – шутейно сказал Никита Ваганов. – Отличное побеждает хорошее, а сверхотличное – отличное. Габриэль Матвеевич – прекрасный руководитель. Поверь, я понимаю в этом толк.

– Ах, если бы папа так не нервничал!

Ансамбль в третий раз по щедрому заказу повторял вертинскообразное: «...намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей...» Четверка лесозаготовителей в кирзовых сапогах танцевала танго с крашеными девицами, два нефтяника подпевали верными хорошими голосами, явно московские «толкачи» улыбались с мягкой снисходительностью, но слушали внимательно: Вертинского можно было услышать только в провинции. В Москве «...о нежной дружбе с гейшей» пели в начале пятидесятых, примерно в году пятьдесят четвертом, может быть, чуточку позже.

– Все проходит! – сказал Ваганов и положил руку на руку Ники. – Все проходит, включая ананасы.

У Ники, восточной женщины, была удивительная кожа: такая нежная и гладкая, что не верилось. Обыкновенная кожа все-таки хоть чуть-чуть шероховата, а у Ники... Он гладил ее пальцы и чувствовал, как теплеет в груди, как медленно-медленно разгорается желание. Насколько помнит Никита Ваганов, желание возникало только от прикосновения, а вот страсть к Нелли Озеровой охватывала его, как только они встречались или он слышал ее голос по телефону. Разберется ли он в природе этого, никто так и не узнает...

– Хотел бы я посмотреть, какие бумаги швыряют купцы за Вертинского? – задумчиво проговорил Никита Ваганов. – Червонец? Поболее того, ей-ей!

Наверное, дело шло об уникальном случае, если в конце двадцатого века, после четырехмесячного знакомства Ника и Никита еще ни разу не залезли в постель, всемерно оттягивали этот момент и окажутся правыми, когда женятся. Да, они были правы, когда поступали по-старинному, то есть прошли период знакомства, помолвки и, наконец, медового

месяца. Все это ляжет теплой ношей на их крепкий, на долгие годы, семейный очаг, не омраченный ничем, если, конечно, не считать Нелли. Но это уже из другой оперы!

– Папа спит плохо, – сказала Ника. – Поздно засыпает и рано встает... А когда звонит в двери шофер, долго не выходит из дому... Ах, если бы папа так не нервничал!

Этот ресторанный вечер оказался чрезвычайно важным для Никиты Ваганова. Раньше он старался не думать об отце Ники, трусливо прятался от самого себя, но вот пришла пора решать, как помочь Габриэлю Матвеевичу Астангову. Было о чем подумать человеку, которому месяц назад исполнилось только двадцать пять лет – возраст, явно не подходящий для решения судьбы самого Габриэля Матвеевича Астангова.

– Бог не выдаст, свинья не съест! – неожиданно сказал он, словно бы уже считая историю с утопом древесины законченной. – Все образуется, Ника, вот увидишь...

– Папе надо помочь, но я не знаю, чем помочь! – отозвалась Ника. – Вечерами он приходит и смотрит вместе с нами телевизор, тихий и грустный... Раньше он телевизор не признавал...

Папе, то есть Габриэлю Матвеевичу Астангову, трудно помочь после того, как он не решился возразить Арсентию Васильевичу Пермитину, Только запоздалая исповедь, но и она... Придется до дна испить чашу горечи отцу Ники, испить, упасть и успеть подняться за какие-то там три недлинных в старости года. А падения Пермитина нынешнему специальному корреспонденту областной газеты «Знамя» Никите Ваганову хватит на две ступеньки вверх, повторяем, на две, а не на одну ступеньку... * * *

– Ты тоже устала, Ника! – необычно серьезно проговорил Никита Ваганов. – Начистоту: притомился и твой покорный слуга... – Он сам услышал свой серьезный голос. – Кстати, у тебя такой вид, словно ты в вестибюле не сняла калоши. Можно ведь на стуле сидеть прямо, а не боком.

Он немного посмеялся. Прошли считанные дни от той минуты, когда Никита Ваганов на блюдечке с голубой каемочкой принес редактору Кузичеву статью, убийственную для руководства комбината «Сибирсклес» и болезненную для обкома партии. За ресторанным столиком Никита Ваганов уже знает, что «пермитинское дело» станет шампуром, на который постепенно нанижутся и жирные и постные куски его необыкновенной жизни, и холодок удачи уже щекочет его еще плохо бронированную кожу.

– Что-нибудь произошло? – вдруг быстро спросила Ника. – Ты сейчас просто страшен...

– Ах, ах и ах! – отозвался он. – Я тебя возьму на очередную рыбалку предугадывать наличие косяка отлично упитанных окуней... Со мной абсолютно ничего не случилось, – продолжал он, поняв уже, что произошло с его лицом: он просто снял очки. – Ничего абсолютно не случилось, Ника... А вот послушай анекдот...

Потешничая, скоморошничая, Никита Ваганов втайне злился на проницательность Ники, имеющей универсальный характер и обидный этим для Никиты Ваганова. В двадцать пять лет он позволяет роскошь, думая о себе, любоваться благоприобретенными непроницаемостью, якобы по-актерски совершенным владением своим лицом и, следовательно, умением говорить одно, а думать другое. Каким щенком, самонадеянным, хвастливым и нелепым был он в свои двадцать пять лет, когда мыслил только и только глобальными категориями и с утра до вечера любовался Никитой Вагановым! Нет, пожалуй, не щенком., а хуже – набитым дураком, если был способен обижаться на Нику.... В течение многих лет их общения она будет неизменно и безошибочно отгадывать состояния мужа, но ничего не сможет изменить в жизни Никиты Ваганова, мало того, будет во всем его помощницей. Забавно, но чем активнее будет сопротивляться Ника, тем вернее ее муж пойдет вперед и вверх, «шагая по головам», как будет кричать Ника в гневе и временной

ненависти... * * *

– Ни есть, ни пить не хочется! – огорченно вздохнула Ника. – Отчего это, Никита, мы всегда являемся в ресторан сытыми?

– Полегче вопросов нет? В свою очередь, спрошу, отчего ты все-таки сидишь на стуле боком. Я же сказал, что набрасываться на тебя не буду.

Она еще раз вздохнула:

– Как это все-таки плохо, Никита, что ты непрерывно остришь. Ах, как мне не хватает длинного серьезного разговора. Мама не вводит глаз с папы, папа страдает, сестра... сестра замужем... * * *

... Ника в родном доме была и оставалась одинокой, одиночество благополучной и высокопоставленной жены ждет ее в будущем. Кинопремьеры в Доме кино, театральные премьеры, обеды в Доме писателей и Доме журналистов, дачное общество – все это будет не для Ники Астанговой, умудрившейся за все годы жизни в Москве сблизиться только с теми женщинами, на которых ее будет «выводить» муж. О, какой одинокой будет жена крупного журналиста Никиты Ваганова! Одиночество человека, от которого по ночам без всякой причины, среди предельного материального достатка, плачут в подушку, пахнущую французскими духами... * * *

– Не хочется пить, не хочется есть – потекли в пространство! – предложил Никита Ваганов. – Времени много, а нам еще надо совершить поцелуйный обряд в подъезде твоего дома... И хватит вздыхать. Габриэль Матвеевич просто устал, устал – заруби это на своем восточном носишке.

Боб Гришков спал, подперев жирной рукой жирную щеку; он был алкоголиком экстра-класса, этот рафинированный Боб Гришков, умеющий, выпив бутылку коньяку, поспать на жирной руке минут двадцать, чтобы с новыми силами приняться за очередную бутылку. Никита Ваганов любил заведующего отделом информации областной газеты «Знамя» как полную противоположность себе и как человека, начисто, безупречно, завидно лишнего честолюбия. В свои двадцать пять лет Никита Ваганов, снедаемый жгучим честолюбием, иногда смутно понимает, в какой он ловушке, на какое уничтожающее существование обрекает себя отныне и вовеки. Сегодня, сейчас Никита Ваганов еще веселится, потешается над Бобом Гришковым, спящим на своей жирной руке. Тот скоро проснется, выпьет еще водки, взбодрившись, отправится к одной из своих «кысанек», отлюбив, подрыхнет, проснувшись, от «кысаньки» позвонит в редакцию и скажет, что сидит на задании, а сам завалится досыпать. От жены у Боба Гришкова двое детей, от «кысанек» – неизвестно сколько, денег на хлеб и сахар хватает, на водку иногда приходится перехватывать до «вторника». Боб Гришков замечает весны и зимы, ловит рыбу с такими же пьянчужками, как он сам, купается, черт возьми, в грязной речушке, протекающей через центр города, не стесняясь выставлять напоказ телеса Гаргантюа.

– Пошли же, Ника! Его будить не надо... Страшно ругается, если разбудишь.

Дым, жирный и пьяный дым, плавал под потолком ресторанного зала «Сибирь», такой дым, по которому неделями, месяцами, годами скучали сплавщики, нефтяники, газовики, лесозаготовители. В панелях и плафонах ресторана в цветочках из бумаги, в одинаковой одежде официантов, в джазе видели они жизнь, прекрасную, как это вот: «...лейтенант расскажет вам про гейзер...» И они были правы, черт подери, они были правы! Когда Ваганов и Астангова выходили, джаз опять начал из Вертинского: «Вы оделись вечером кисейно и в саду сидите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор...» Просидевшим в тайге полгода-год нефтяникам, сплавщикам, газовикам, лесозаготовителям нравилось именно «кисейно»...

Разговор в ресторане «Сибирь» о том, что Габриэль Матвеевич Астангов нервничает, живет на пределе, и непривычно мрачный Боб Гришков, перехвативший в долг червонец, навели утром Никиту Ваганова на мысль заняться Бобом Гришковым, естественно, появившимся в редакции только в половине одиннадцатого. Никита Ваганов его караулил.

– Здорово, Боб!

– Здорово, Никита! – доброжелательно отозвался Боб Гришков. – Не обижайся на вчерашнее и держи свою десятку.

Под вчерашним Боб Гришков подразумевал придуманное им обидное «Не-кит», а вот с десяткой творились чудеса: ни раньше, ни позже обещанного занятые деньги Боб Гришков никогда не отдавал; досрочный расчет должен был что-то значить, и Никита Ваганов вопросительно выгнул брови.

– Кес кё се? – спросил он у Боба. – Что сей сон значит, Бобуля? Я изъял червонец из обращения, как обычно, до вторника. Ты здоров?

– Здоров и даже опохмелился.

– Богатая кысанька?

– Идиот! Румынский офицер не берет денег... Я брал у тебя червонец с полным карманом.

Никита Ваганов поразился:

– То есть как?

– Идиот! Вчера же была зарплата...

– Ты забыл о зарплате!

Боб огорченно махнул рукой:

– Я смертен... Слушай, надо уговорить Борьку Ганина не публиковать очерк об Александре Марковиче Шерстобитове...

– Вы молодцы, Боб! – важно и по-отечески снисходительно похвалил Никита Ваганов. – Помните вчерашнее... Ах, какой был Вертинский!

– Вертинского я не помню...

Как он был толст! Боб Гришков был толст невероятно, не верилось, что эта груда жира суть человека, но эта груда жира была подвижна до суетливости, смеялась взмахом, взмахом пила, ела, разговаривала, писала, играла – можете себе представить! – в теннис. Гора мяса и ума, ума – это серьезно, это общеизвестно – не хотела, чтобы Борька Ганин публиковал очерк о Шерстобитове, а это объяснялось просто: заведующий отделом информации знал то, что Никита Ваганов держал в строгой тайне, каждый день захаживая в кабинет собкора газеты «Заря», чтобы пронюхать, знает ли Егор Тимошин о грандиозной афере с лесом, и всякий раз уходил успокоенным, а вот теперь в стенах редакции запахло жареным. Боб Гришков вообще многое знал.

– Слушай, Никита, – насмешливо сказал Боб Гришков. – Я опохмелился, но опохмелился достаточно плохо для того, чтобы выносить твои штучки-дрючки... Умоляю! Не делай вид, что тебе неинтересно знать о Шерстобитове. Не выбирай момент для раскалывания Боба Гришкова. Короче, не думай, что ты всех умнее и прозорливее, а главное – не надо, ах, не надо придуриваться!

Никита Ваганов засмеялся.

– От тебя ничего не скроешь, Боб. Ну, раскалывайся сам!

И произошло неожиданное, и произошло небывалое. Сделавшись прямым и холодным, жестоким и чиновным, Боб Гришков повернул к Никите Ваганову огромное, пухлое лицо; маленькие свинячьи глазки стали напряженными и от этого тусклыми. Вот это был один из тех моментов, каких в жизни Бориса Гришкова было так немного, что их, как говорится, можно пересчитать по пальцам.

– А почему я должен раскладываться? Почему я должен таскать каштаны для Никиты Ваганова? – тихо спросил Боб Гришков. – Чтобы стать твоим сообщником? Нет уж, увольте!.. Слушай, Ваганов! Я не хочу, чтобы ты опередил Егора Тимошина. Он мне приятен и мил. Мил и приятен, заруби это себе на носу, Ваганов! И знаешь что, Ваганов...

Никита Ваганов тоже не походил на себя обычного: лицо закаменело, волевая складка у губ прорезалась отчетливо, брови изогнулись опасно, но это был еще не тот Ваганов, которого люди узнают позже. Это была, если так можно выразиться, репетиция Ваганова, но сколько уже было холодной властности, силы, бульдожьего упорства, пугающего людей дерзкого одиночества, устрашающей смелости, опасного равнодушия к тому человеку, который говорил или делами что-то неуютное Ваганову. В нем была смертельная для врагов решимость умереть, но не сдаться, всегда живущая в нем готовность на риск. «Все или ничего!» – было написано на атакующем знамени Никиты Ваганова, и он получит «все», хотя точно не знает, что это такое «все» и необходимо ли ему иметь «все», рискуя каждый день, каждый час это «все» потерять. Может, это было увлекательной игрой в жизни Никиты Ваганова – выбрать между «все» и «ничего».

– Черт бы тебя побрал, Ваганов! – мрачно и тихо пробормотал Боб Гришков. – Черт бы тебя побрал, идиота! Я бы хотел знать, зачем это тебе все надо? Ах, черт бы меня побрал, идиота!

Кит и салака! Груда мяса – не могла же она вступить в борьбу с Никитой Вагановым, видевшим однажды на трамвайной остановке, как не добежала до трамвайных дверей старушка в шляпе с вуалеткой, старушка из той старинной московской интеллигенции, что до сих пор проживает в тесных и шумных коммунальных квартирах, не желая переселяться в Чертаново или Медведково. Старушке оставалось все два, два метра до дверей трамвая на Первомайской улице в Измайлове, всего два метра оставалось, чтобы поехать в сторону измайловской ярмарки, но эти два метра ей дорого, ох, как дорого обошлись... Впрочем, о старушке Никита Ваганов вспоминает часто, будет о ней еще вспоминать, а сейчас он продолжал глядеть на Боба Гришкова не мигая, но глубоко дыша. Он думал: «Ах ты, мразь!», – и этого было достаточно, чтобы заведующий отделом информации потел и прятал глаза.

– Черт бы тебя побрал, Ваганов! Ну, хорошо, я буду молчать... Но Борьку Ганина надо предостеречь! – Он матерно выругался. – А Шерстобитов не пошел на аферу... Дураку понятно, что писать о нем сейчас нельзя! Его Пермитин сожрет без горчицы...

«А ты, Гришков, не так уж умен, если до сих пор не разгадал элементарные фокусы-покусы редактора Кузичева! – подумал Никита Ваганов. – Низвергнуть Володичку Майорова, у которого пушок на рыльце, поднять на щит Шерстобитова – ребенок поймет, вокруг чего разыгрался сыр-бор. Не для того ли Кузичев раскрутил карусель, чтобы узнать, как к этому

отнесутся члены бюро обкома партии», – вот о чем думал Ваганов...

– Ты бредишь, Боб! – сказал Никита Ваганов. – А если не бредишь, то иди к Кузичеву. Пущай оне отменяют отчерк. Пуздчай!

– Идиотство! – ругался Боб Гришков, тоже взволнованный. – Страна непуганых идиотов!

«Идиот», «идиоты» «идиотство» и даже «идиотика» были любимыми словечками заведующего отделом информации газеты «Знамя» Бориса Петровича Гришкова. А волновался он по той причине, что испугался ледяных глаз, изломанных бровей, подбородка Никиты Ваганова, которые на несколько мгновений сделали его страшнее испанского палача, но, видит бог, Никита Ваганов не хотел пугать Боба Гришкова. Все произошло случайно, вопреки его воле, просто оттого, что Никита Ваганов по-человечески обиделся на Боба.

– Если будем ругаться, я посижу, – сказал Никита Ваганов, – если не будем, я уйду... Продолжай, Боб, магнитофон включен.

Мгновенное футурологическое ощущение испытал Никита Ваганов: именно очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, его появление на страницах «Знамени» будет тем маленьким взрывом, после которого Никита Ваганов заложит под руководство лесной промышленности Сибирской области заряд колоссальной силы, разрушающей мощности, уничтоживший наконец-то Арсентия Васильевича Пермитина и задевший попутно отца Ники.

– Боб, спусти пар, взорвешься!

С больной головы на здоровую. Боб Гришков давно успокоился, поняв, что сделал и что сделанного не воротишь.

– Идиосгистика! – по инерции выругался он. – Ты прав, Никита, надо кричать на Кузичева. Чего он хочет, скотина? Опозорить область на всю страну?

Фигушки! Дуля вам с маслом! Редактор областной газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев понимал все плюс единица; его дальновидности, расчету, выверенности мог бы позавидовать Талейран, по собственному признанию, не знающий пятого хода; редактор «Знамени» видел, может быть, десятый ход, ошибался так редко, что самому было противно. Однако Никита Ваганов думал не о Кузичеве, а о Бобе Гришкове, который не хотел, чтобы его родная область была опозорена на всю страну. Вот, оказывается, что хранилось под толстым слоем цинизма в этом толстом человеке?

– Я могу быть свободным? – ласково спросил Никита Ваганов. – Пойду уговаривать Бореньку Ганина не ставить в газету отчерк! – «Лейтенант расскажет вам про гейзер...»

Боб Гришков насторожился:

– А это что такое?

– Песня.

– Нет, слушай, Никита, что это такое? Очень знакомое.

– Это песня Вертинского, под которую вы вчера спали в достославном ресторане «Сибирь»... Тебе надо лечиться электричеством, Боб.

Боб с шумом выпустил воздух из легких и звучно шлепнул себя по лбу ладонью.

– Идиотство! Вспомнил! «Он расскажет...». Стоп! «...о циничном африканском танце и о вечном летуне Голландце...» Так?

– Так, ваше пьянство! Но я тебя все равно люблю, но не уважаю, Боб! Поцеловать в щечку?

– Иди к черту, идиот! Слушай: «...намекает о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей...» Так? Ну, вот видишь! Мать напевала, когда я был сосунком, а Вертинский возвращался в Россию. Впрочем, не таким уж я был сосунком.

Никита Ваганов сказал:

– Жир может не волноваться. Он и сейчас сосунок, несмышлениш! Аревуар!

Выходя из отдела информации, Никита Ваганов думал о том, какой хороший, чудесный, умный и добрый человек этот Боб Гришков и что он, Никита Ваганов, по абсолютно неизвестной причине без малейшего повода завидует Бобу Гришкову. Чему? Пьянству? Девочкам? Неисчерпаемому оптимизму? Независимости? Идиотистика, как говорит сам Боб Гришков. Так чему он, черт возьми, завидовал? ...Никита Ваганов поймет, почему завидует Гришкову, через много лет, уже зрелым человеком, достигшим сияющих вершин. Поймет, и затоскует, и будет тосковать долго, зная, что скоро, очень скоро распрощается с этой теплой и круглой землей, на которой все сбалансировано так целесообразно, так стройно, что нельзя выбросить мгновение, как слово из песни. И это будет осень, глубокая осень...

Без раздумий и малейших колебаний вошел в кабинет редактора Кузичева, обменявшись с ним рукопожатием, в ответ на приглашение сесть отрицательно покачал головой.

– Владимир Александрович, некая коричневая папка лежит в вашем сейфе. Судя по тому, что вы не приглашаете меня для беседы, мой номер не проходит! – Он забавно свел глаза к переносице. – Гоните матерьял, как говорит Пермитин. Деньги на бочку!

Редактор повел себя странно: зачем-то аккуратно расчесал жидкие свои волосы, из-за отсутствия зеркала внимательно осмотрел себя в стекло книжного шкафа и только тогда сел на валик когда-то роскошного кожаного дивана. Он искоса посмотрел на Никиту Ваганова и насмешливо спросил:

– Хотите, значит, выступить по утопу древесины в самой «Заре»? Этакий «подвал», а под ним скромно: Ник. Ваганов. Так?

Никита Ваганов ласково попросил:

– Гоните папочку обратно, товарищ редактор!

Он не сердился на редактора, который знал больше и видел дальше, чем Никита Ваганов. Редактор Кузичев вообще многому научил и еще научит Никиту Ваганова, и у него – глубоко порядочного человека – было чему поучиться... Много лет спустя, борясь с заместителем министра одной из отраслей промышленности, Никита Ваганов возьмет зарвавшегося чинушу в такую же «вилку», какую применил для Пермитина редактор «Знамени»... * * *

– Ну, вот что, дорогой Никита. – Он снова поднялся, прошелся по кабинету: – Дело тяжелое! Много воды утечет... Понимаете, афера с утопом леса так уголовна, что разум с ней мириться не может – согласитесь, что это так! – Он длинно усмехнулся. – Представлю лицо Первого, когда ему откроют дело! А что скажет Москва? Что она скажет Первому, если история выплывет наружу еще до его отъезда в Канскую область? Куда смотрел? Как руководил? – Он расхаживал все быстрее и быстрее. – Как член бюро обкома, я бы не хотел рассказывать Первому об утопе. Я его уважаю и люблю. Вот такая ситуация, Никита. Можно хуже, да некуда! Я сто раз подумал, прежде чем начал атаковать Пермитина, но я ни о чем не жалею! – Он остановился поблизости от Никиты Ваганова. – Пермитин пока еще силен. Пока неподсуден. Повторяю: пока!.. Вы – молодой человек, вы еще не знаете, как это бывает в курьезной жизни. Короче, Пермитина поддерживает один влиятельный человек. И это

бывает. Шахтер, прекрасная анкета, адская работоспособность, впечатляющая внешность, умение быть верным покровителем. Все мы ошибаемся, Никита, все мы не без греха... Да! Борьба будет тяжелой.

Он еще немного походил по комнате:

– Покровителя можно понять, Никита. На меня Пермитин тоже при первом знакомстве произвел мощное впечатление.

Никита Ваганов старался сообразить, кто был покровителем Пермитина в столице нашей Родины. В министерстве давно хотели избавиться от него. Никита Ваганов зря напрягался, он не мог «вычислить» так называемого покровителя... Впоследствии выяснится, что такого покровителя уже не было тогда – он ушел с высокого поста на чисто хозяйственную работу, но оставил после себя дух хорошего отношения к Арсентию Васильевичу Пермитину.

Владимир Александрович Кузичев сказал:

– Я считаю вашу статью, Никита, доказательной и отлично написанной. Какую, но без вашего разрешения вложил в конверт перед отправкой еще с десятков компрометирующих Пермитина материалов. Надеюсь, что вы не очень рассердитесь на меня за самоуправство.

Ликуя, чуть не подпрыгивая от радости, Никита Ваганов попросил показать документы. Редактор широко развел руками и огорченно поцокал:

– Этого я сделать не могу. А вот в «Заре» вы прочтете свою статью. Из редакции звонили...

Лицо, бледное, истощенное лицо Кузичева было серьезно, но глаза горели – он просто был счастлив, что область вздохнет свободно, когда не будет Пермитина. Он радостно улыбнулся.

– Дано «добро» вашей статье «Утоп? Или махинация!», – и покачал головой. – Никита Ваганов становится крупной фигурой. Поздравляю!

Редактор замолк и стал смотреть на Никиту Ваганова так, что было понятно, о чем он думает. Потом он спросил:

– Никита, ходят упорные слухи, что вы женитесь на дочери Астангова. Это правда, простите меня ради бога?

– Я женюсь на Нике.

Редактор поднял брови:

– Ника?

– Так ее зовут домашние.

Любопытство Кузичева не было праздным любопытством. Он хорошо, откровенно хорошо относился к главному инженеру Габриэлю Матвеевичу Астангову.

– Позвольте вас поздравить, Никита! Вы породнитесь с замечательными людьми.

Собственно, разговор был закончен, никаких неясностей не существовало и не могло существовать, если два человека похоже мыслили и одинаково относились к жизни и, в частности, к Арсентию Васильевичу Пермитину. Кандидат в члены партии Ваганов и член бюро обкома партии Кузичев сплотились в борьбе против отсталого и невежественного руководителя. И теперь, когда все главное было позади, Никита Ваганов сделал карающее

лицо. Он строго спросил:

– Разрешите узнать, товарищ Кузичев, кто позволил вам переслать материалы в газету «Заря»?

– Дра-а-а-сте вам! – театрально удивился Кузичев. – Материалы мне передал некий Ваганов с просьбой переслать их по назначению. На конверте был адрес.

– Да что вы говорите!

– Правду! Кстати, учтите: этот самый Ваганов – умный, работающий, но беспощадный человек.

Никита Ваганов подумал и сказал:

– Хорошо, я учту это ваше сообщение.

Глава вторая

I

В центре города сдавали в эксплуатацию современное здание гостиницы «Сибирь», паромство приняло новое комфортабельное пассажирское судно, в роще, тесно прижавшись друг к другу, сидели парочками абитуриенты – не влюбленные, а зубрящие конспекты. Весело и грустно, активно и пассивно, напряженно и расслабленно, хорошо и плохо жил город Сибирск, и это было жизнью, настоящей жизнью.

Почти счастливый, насвистывающий «Чижика» Никита Ваганов поднимался на второй этаж дирекции комбината «Сибирсклес», чтобы повидаться с директором предприятия товарищем Пермитиным и его помощником – референтом Александром Александровичем Беловым. Зная, что через неделю-другую директор прочтет в центральной газете «Заря», Никите Ваганову хотелось еще раз убедиться в том, что такой человек, как Пермитин, может существовать только в качестве пенсионера... К Никите Ваганову можно относиться и так и эдак, но одно неоспоримо – высокая профессиональная добросовестность, которая и потребует немедленно увидеть человека, чье имя скоро станет известно стране как имя негативное. Кто знает, повезло или не повезло Никите Ваганову, но в коридоре он встретил Белова и еще не успел пожать руку референту – помощнику Пермитина, как ближайшие двери открылись и на пороге колоссом воздвигся Пермитин – человек двухметрового роста и предельно широкий в плечах. Не здороваясь, он хмуро оглядел Никиту Ваганова, потом Белова, хмыкнул и, наконец, поманил помощника толстым и, видимо, твердым пальцем:

– Шагай-ка за мной, Сан Саныч! И ты тоже, если хочешь, Ваганов... Впрочем, и через «если хочешь» заходи. Дело есть!

И пошел, не оборачиваясь, по длинному коридору, устланному бесшумной дорожкой, а Ваганов и Белов пошли за ним, переглядываясь и пожимая плечами, и кто бы ни попадался им навстречу, почти прижимались спинами к стенам, чтобы не столкнуться с грозно сопящим и ни с кем не здоровающимся директором. Они вошли в кабинет, молча сели. Пермитин мизинцем показал на лежащую на столе областную газету «Знамя».

– Что это такое? Я тебя спрашиваю, Белов! И тебя, Ваганов! Почему не согласовали со мной кандидатуру? Кто такой Шерстобитов? Кто? Это я вас спрашиваю!

Большое лицо было красным и опухлым, казалось, что Пермитин сию минуту вышел из парного отделения бани, маленькие глаза сверкали. Глядя на него, Никита Ваганов подумал, какая это страшная вещь, если человеку дана власть, а он не знает, как ею пользоваться, не понимает, что такое власть, и не хочет понимать, учиться подражать. Ведь вокруг него – и в самой дирекции и в десятках других учреждений – работали давным-давно люди совсем другой закваски, нежели Арсентий Васильевич Пермитин, но он не видел отличия, не понимал, чем от них разнится, гнул свою линию: «Штурм и натиск!» Он рычал:

– Кто Шерстобитов? Я вас спрашиваю? Белов! Ваганов! Говорите!

Белов обреченно молчал, ссутулившись, что было слегка карикатурным при его худобе и высоком росте. Никита Ваганов мигал, морщил губы и делал вид, что сосредоточивается. Вообще было странным, что Пермитин пригласил его в свой кабинет да еще, кажется, вербовал в сообщники: после статьи «Былая слава» он предал анафеме имя Ваганова, а вот позвал, требовал ответа, и Никита Ваганов многозначительно произнес:

– Александр Маркович Шерстобитов директор Ерайской сплавконторы комбината «Сибирсклес». Год рождения – семнадцатый, член КПСС, судимостей не имел, фронтовик... Вот так, Арсентий Васильевич!

– А ты чего скажешь, Белов?

Белов ответил:

– Хороший директор.

– Хороший?! Стоп, стоп! А не ты ли его давал этому... Как его? Ганкину! Ну, который из газеты... Ты давал кандидатуру Ганкину, Белов, отвечай?

– Понятия не имею.

– Интересно, Белов, интересно! Не имеешь понятия, а газета хвалит этого... Как его? Александра Марковича Шишова! – Он схватился за газету, и здесь произошло то, что вызвало волну отвращения к директору у Никиты Ваганова и заставило согнуться в три погибели Белова. – А почему он Маркович? Маркович почему, спрашиваю? Я кого спрашиваю, почему он Маркович?

Никита Ваганов, покраснев, сказал:

– Марк – русское имя.

– Русское! Сейчас мы узнаем, какое оно русское! Шашкин еще рассчитается за то, что скрывает национальность! Рассчитается!

Человек с распаренным лицом схватился за телефонную трубку, набрал номер отдела кадров комбината «Сибирсклес» и зарычал:

– Фомичев? Пермитин! Ну-к, открой папку этого вашего Александра Марковича Щеглова. Что? Шерстобитова? Хрен с ним, пусть будет Шерстобитов! Так! Читай, Фомичев, читай громко, я не усилитель... Так! Что? Еврей? Ага. Значит, еврей. А чего же он Шерстобитов? Партизанская кличка... Ну, будь, Фомичев.

Хмыкая, Арсентий Васильевич Пермитин, с разочарованием положив трубку на рычаг, крепко потер ладонью красное лицо, пожевал внезапно провалившимися губами и крякнул

по-мужичьи, крякнул с великой досадой на то, что Александр Маркович Шерстобитов не скрывал национальность, так как для него, как знал Никита Ваганов, вопрос о национальности существовал только формально. А Шерстобитовым он стал потому, что погибли все его документы, начиная с офицерского удостоверения и кончая метриками, вот и досталась ему партизанская кличка: «Шерсти, бей гадов!» А Пермитин? Пермитин продолжал следствие. Он почти крикнул:

– Ну, ничего! Найдем другие подходы!.. Теперь отвечай, Белов, как ты допустил этот матерьял?

Он всегда говорил «матерьял» вместо «материал», а еще «ложить» вместо «класть» – это не считалось криминалом для Арсентия Васильевича Пермитина: привыкли.

– Как ты пропустил этот матерьял, Белов, спрашиваю?

Глядя на носки собственных туфель, Белов тихо отвечал:

– Редакция мне не подчиняется.

– Не подчиняется? А кто оттуда деньги лопатой гребет? Ты или я? А?

– Мне оплачивают еженедельную сводку соцсоревнования.

– Вот! А говоришь, что деньги не гребешь!

– Сплавконтора хорошая!

– Заладила сорока Якова. Хорошая, хорошая! А у кого убило лебедчика? У кого, спрашиваю?

Несчастный случай с лебедчиком Алферовым рассматривала правительственная комиссия; беда была нежданной и страшной, но ничего криминального для дирекции Ерайской конторы не обнаружилось. Алферов был пьян, пьяным попал под стрелу крана, дело происходило глубокой ночью, крановщик тем не менее отреагировал на человека, стоящего под стрелой, но – опоздал! Вернее, не опоздал, а Алферов сам сделал рывок под груз хлыстов.

– У кого была смерть! У Шагалова, то есть у Шагало вашего, а, Белов и Ваганов? А ты чего отмалчиваешься? Небось не без тебя этот Ганинов писал о Шишкове? Не без тебя, Ваганов!

Подумав, Никита Ваганов сказал:

– В Ерайской конторе есть крупное достижение. Мизерный утоп леса! Крохотный по сравнению с другими предприятиями.

– Что?

– Утоп леса не выходит за рамки реального.

– Какой там еще утоп? Что за утоп?

Вот врать Арсентий Васильевич Пермитин не умел, играть удивление – тем более, и в этом тоже был весь Пермитин, человек, остановившийся на уровне своего потолка – начальника участка. Сейчас он так неумело изобразил непонимание, что Никита Ваганов уловил, как на губах Александра Александровича Белова мелькнула и погасла злорадная, откровенно мстительная улыбка. Он тоже понимал, что газета «Знамя» штурмует директора комбината, что Кузичев и другие собираются извлечь на свет божий преступную историю с утопом древесины и вырубкой кедровников, и он страстно хотел, чтобы наконец-то разразилась очистительная гроза. Большинству руководителей и знатоков лесной промышленности

области хотелось компетентного управления, спокойной и здоровой обстановки, коренных переустройств.

– Так что ты предлагаешь делать с Шагановым, а, Белов? Хочу знать, как прикрыть ошибку газеты, Белов. Ерайская контора не может быть примером для других. Бредятина!

Никита Ваганов, полуоткрыв рот, следил за Пермитиным собачьими, предельно преданными глазами: догадался, что директор после короткой «разминки» собирался оглушить его, Никиту Ваганова, дубиной по голове. Пермитин еще две-три минуты издевался над Беловым, пытал его и расспрашивал, потом медленно, всем телом повернулся к Никите Ваганову.

– Ты, говорят, все по бабам ходишь, Ваганов, а? Ой доиграешься: пулей вылетишь из вашей хреновой газеты. А?! Еще я слышал, что на доченьке Астангова женишься, а?

Никита Ваганов улыбнулся, исподлобья посмотрел на Пермитина:

– Арсентий Васильевич, скрывать не стану...

– Вот это ты молодец, Ваганов! Не темнишь.

– А чего мне темнить, Арсентий Васильевич, чего темнить, если я на самом деле женюсь на дочери Габриэля Матвеевича. Вот только...

– Что только, Ваганов?

– Только не я вылечу пулей из газеты, Арсентий Васильевич! – Никита Ваганов склонил голову на плечо, был ласково-покорным. – Вы, Арсентий Васильевич, раньше меня вылетите пулей! Это дело, как говорится, не за горами. Доруководились вы, Арсентий Васильевич, до безнадёги! Вот.

И настали секунды тишины и непривычного для этого кабинета спокойствия. Пермитин выпрямился, побледнел, осунулся. Он растерялся, он не знал, что говорить, так как и сам инстинктивно чувствовал, что ему, пожалуй, не усидеть на месте, что близится пора расставания, и с этим – грустная и убивающая пора потери власти, этой высшей цели многих и многих суетных людей.

... Впоследствии, на синтетическом ковре, Никита Ваганов вспомнит о минуте растерянности Пермитина, вспомнит и пожалеет его, несчастного, предельно суетного, совсем не такого, как Егор Тимошин... Но сейчас, в эти минуты, он переживал хамское злорадство и неблагородное торжество, когда вогнал Пермитина в тоску и одиночество, в одиночество и тоску.

– Вот как ты заговорил, Ваганов, знай, дескать, и мое ослиное копыто... Ну, Ваганов, Ваганов! А ты, Белов, чего отмалчиваешься? Небось забыл, кто тебя поднял из района в область? Добро не помнишь, Белов! Неблагодарными мы умеем быть, Белов, а вот помнить, кто поднял в область, – не помним!

Как нашалившего ученика, как барин смерда, отчитывал Пермитин своего референта, и Белов все больше и больше скрючивался – так был запуган и забит Пермитиным. Ах ты, черт, как все-таки слаб человек! Усмехнувшись, Никита Ваганов поднялся, не оглядываясь, тихонечко вышел из кабинета, сладостно думая, что дни директора комбината «Сибирсклес» сочтены, и, к великому огорчению, Пермитин один не уйдет – потянет за собой многих хороших и достойных людей, страдающих самым распространенным человеческим заболеванием – трусостью.

В коридоре пахло мастикой и застарелым деревом массивных дверей.

Ника Астангова прибыла в загс без фаты, естественно, раздраженная тем, что пришлось уступить будущему мужу; вместе с ней на черной «Волге» прибыли родители, красивая подружка-свидетельница, а с Никитой Вагановым притащился пешком сопящий и всем недовольный Боб Гришков – свидетель со стороны жениха. Всю дорогу он распространялся насчет того, что, как свидетель, сыграет роковую роль в семейной жизни Никиты Ваганова: «Проверено, Никит! Я произвожу опустошение, приношу несчастья и прочее. Идиотистика и даже... Отпусти меня, душа горит по пиву! О, непуганые идиоты!» От него пахло потом и перегаром. Лицо лоснилось, но глаза были предельно веселыми, и ворчал он так, для порядка, по своей, гришковской сущности – прекрасный и хороший Боб! Увидев Нику в свадебном платье, он немедленно полез целоваться, назвал ее «кыс-кой», наговорил кучу комплиментов – не все благопристойные.

– Товарищ Астангова! Товарищ Ваганов!

Металл, бетон и стекло, полированное дерево, зеленые шторы, парусящие на ветру, музыка Мендельсона, похожая на стюардессу работница загса, цветы – регистрация произошла стремительно, словно посадка на опаздывающий рейс Москва – Камчатка. «Согласен!» – «Согласна!» – «Обменяйтесь кольцами!»

– У нас нет обручальных колец, к сожалению.

– Да что вы говорите? Не может быть!

– А может, уважаемая, колец-то нету.

И Ника подтвердила глухо:

– Мы без колец! Без них, то есть без колец...

Удивленная пауза не продлилась и тридцати секунд, затем мгновенно все печати и подписи были поставлены, Габриэль Матвеевич Астангов и теща Софья Ибрагимовна бледнели и краснели в положенное время – волновались с нужной интенсивностью; свидетель Боб Гришков из-за катавасии с кольцами хохотал на весь прозрачный зал, красивая свидетельница со стороны невесты трагически прижимала руки к плоской груди. Жених Никита Ваганов исподтишка грозил кулаком Бобу Гришкову, но и сам похохатывал.

– Позвольте пожелать вам...

– Ты ее бросишь, ты ее бросишь! – вдруг страстно прошептала в ухо Никиты Ваганова его жена Ника Астангова. – Ты ее обещал бросить, и ты ее бросишь! Эту Нелли, эту противную Нелли...

Он не видел ничего противного в Нелли Озеровой, скорее наоборот, она была не противной, а приятной, но он бодро ответил шепотом:

– О чем речь? Я ее брошу, раз обещал бросить! И – точка!

О точке не может быть и речи... * * *

За свадебным столом Боб Гришков скоренько напился, сделался – это с ним бывало – милым, мягким, разнеженным, половину речей вел на хорошем французском – профессорское дитя, очаровал все застолье, но уснул еще до того, как Никита Ваганов и Ника Ваганова, взявшая фамилию мужа, отъехали в трехдневное свадебное путешествие на

старом-престаром пароходе «Пролетарий», колесном пароходе с дубовым салоном для пассажиров первого и второго классов, с бренчащими жалюзи на окнах, с белоснежным и широким, как рояль, капитаном Семеном Семеновичем Пекарским – таким же древним, как и его разболтанная посуда.

Пароход медленно-медленно отвалил от причала, задыхаясь, зателепал плицами вниз по течению Соми, и телепал он славно, немногим медленнее, чем винтовые теплоходы, эти трехпалубные красавцы. Капитан Пекарский распорядился продать молодоженам шестпместную каюту, со снятыми лишними полками сделавшуюся двухместной, и, кроме того, капитан Пекарский – старый дружок Габриэля Матвеевича Астангова – разрешил молодоженам подниматься на свою, капитанскую палубу, где для них были поставлены два специальных кресла, где все матросы парохода знали, кого везут и почему везут. Едва разместив вещи в каюте, Ника шепотом спросила:

– Ты любишь меня?

– Дурацкий вопрос. Предельно люблю.

– А ты не обманываешь?

– Какого черта мне тебя обманывать? Ну, сама посуди.

– Да. Правда! Ты ничего не получаешь... Ой, прости, милый!

Он ответил:

– На этот раз прощаю, но... Будь благоразумной!

Он нагнул ее голову, положил на свою сильную выпуклую грудь, пальцами перебирая ее тонкие волосы, заговорил медленно и мягко под бой паровых плиц и тонкие гудочки парохода на перекатах.

– Ты моя жена, Ника, я всегда, до самой смерти тебя буду любить и жалеть, я тебя никогда не брошу, не брошу вообще и не брошу в беде, я хочу от тебя иметь ребенка, хочу, чтобы ты и только ты была его матерью, и я хочу, чтобы ты всегда помогала мне, а не мешала. Ты скоро узнаешь, что я не подлец и не предатель, но я борюсь, я все время борюсь, такова судьба каждого журналиста... Не надо плакать, Ника, плакать не надо даже от счастья, от счастья надо смеяться, и, слушай, давай «будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». А ты реवेशь, как белуга, у меня вся рубашка мокрая, может быть, ты хочешь, чтобы я заревел тоже, так до этого рукой подать... Слушай, Ника, ты знаешь, что моя любовь к тебе – не струйка дыма. Вот ты не понимаешь, а это из песни: «Моя любовь – не струйка дыма, что тает вся в сияньи дня...» Так вот, моя любовь к тебе – не струйка дыма... Вот это хорошо, что ты перестала плакать, моя маленькая и умненькая женушка, моя кыска, как бы сказал Боб Гришков. Бедный, он до сих пор спит на твоём диване, а мы уже... Мы скоро выскочим на Обь – вот как быстро ходит наш замечательный пароход «Пролетарий».

А про себя сказал: «... Твой отец, твой замечательный отец Габриэль Матвеевич хочет, чтобы история с утопом стала гласной. Ему невозможно трудно жить с ношей преступления, твоему папе хочется очиститься от скверны, и я помогу, помогу. Он сам дал мне понять, что хочет этого, ты понимаешь, хочет! Не бойся ты за отца, Ника, не бойся! Он один из самых компетентнейших людей в Российской Федерации, он не останется без дела, он, возможно, займет еще более высокое положение, когда все тяжелое останется позади, пойми и знай это, знай и помни...»

И он шептал и говорил еще долго, до тех пор, пока жена его не успокоилась, пока она не улыбнулась, а потом расхохоталась, когда Никита Ваганов начал рассказывать армянские

анекдоты, рассказывать их с пресмешным акцентом и вылупленными от старательности глазами. Ника начала смеяться, плечи у нее затряслись сильнее, чем от плача, и вскоре, припудрившись и припомадившись, смогла вместе с мужем выйти на верхнюю капитанскую палубу, и это произошло в тот чудесный момент, когда «Пролетарий» хлопотливо, точно курица крыльями, колотя плицами по темной еще воде Соми, выплывал на зеленую воду великой реки Обь. Уже открылся справа когда-то рыбацкий поселок Брагино, уже занился и стал песчаным левый берег, уже крупные чайки с криком бросались в воду и атаковали шумно пароход, и уже можно было наблюдать чудесное явление: темная вода Соми не перемешивалась с зеленой водой Оби, а шли они отдельными контрастными слоями – красиво было и занимательно, непонятно и загадочно. Ника аплодировала и смеялась, откидывая голову назад, хотя не впервые видела двухслойную воду.

– Замечательно, Никита, ой, как замечательно!

А Никита Ваганов занимался наблюдениями над молоденьким матросом, который делал вид, что тщательно швабрит палубу, а на самом деле поглядывал за молодоженами, и на его лице читалось откровенное: «Неужели это тот самый Ваганов? Неужели это живая дочь Астангова?» Матрос был хорошенький и ладный, форма на нем сидела преотлично..... И кто мог знать, что год спустя Никита Ваганов напишет о нем один из своих удачных очерков «Сине-белое»! После очерка матрос пойдет уверенно вперед: станет старшим матросом, затем поступит в училище, закончит его, несколько лет проплавает штурманом, потом сделается капитаном судна на подводных крыльях, и уж с него перейдет на капитанский мостик белоснежного красавца «Маршал Конев» – лучшего пассажирского теплохода в те времена. Это произойдет за несколько лет до того, как Никита Ваганов взойдет на синтетический ковер... * * *

– Ой, Никита, чайки совсем взбесились!

Взбесишься, станешь с опасностью для жизни пикировать на пассажирский пароход, чтобы подхватить крошки хлебного батона, если в великой реке Оби с каждым днем становится все меньше и меньше рыбы, если вода пахнет нефтью и химией, если мальки осетра погибают, еще не появившись на свет, если... Никита Ваганов сказал:

– Спасибо, Ника! Ты подарила мне заголовок и статью. «Бешеные чайки»! Неплохо для материала о загрязнении Оби. – И слегка так вздохнул: – Не первостатейного, впрочем, материала, но из-за заголовка я его таки накропаю, иначе – на-пи-сю! В этом же месяце... * * *

... Статью «Бешеные чайки» Никита Ваганов напишет значительно позже, много лет спустя, и не на материале Оби, а Волги; он напишет, уже будучи редактором газеты «Заря», тряхнет, как говорится, стариной, поучит своих ребят работать наступательно, хватко, сильно... * * *

По-медвежьи ступая, весь в белом, широкий и сероглазый, к ним подошел капитан «Пролетария» Семен Семенович Пекарский, остановился, покачиваясь с пяток на носки, протяжно сказал:

– Запомните этот час, ребяташки. Большого счастья не будет! * * *

... И не ошибся. На синтетическом ковре Никита Ваганов ничего иного в их молодой любви не вспомнит, кроме верхней палубы парохода «Пролетарий», бешеных чаек, теплого ветра в лицо, боя деревянных плиц, двух берегов – низкого и высокого, белого капитана, белой – во всем белом – молодой жены Ники, своей клятвы ей на верность; вспомнится запах паровозного угля и пара, сырых и тинистых канатов, рыбы и ягод, что будут продавать на пристанях... Это было счастье, настоящее счастье, но к словам капитана Пекарского тогда Никита Ваганов отнесся... Он к ним никак не отнесся, вернее, просто не поверил капитану, так как несколько иным представлял себе настоящее счастье... Семен Семенович Пекарский,

капитан, старинный друг Габриэля Матвеевича Астангова, продолжал:

– Приглашаю вас, ребятки, на капитанский обед. Если хотите, будет мой первый штурман, порядочно играет на гитаре и поет.

Никита Ваганов неторопливо сказал:

– Семен Семенович, а ведь вы должны много знать о сплавных делах. Наверное, знаете и о неимоверно большом утопе леса на реке Блудная?

– О чем речь, Никита? Капитан «Латвии» Валов – мой давнишний дружок. Так как насчет обеда и штурмана?

Никита Ваганов раздумчиво ответил:

– Не знаю. Конечно, приглашение к обеду мы принимаем. Да, Ника?

– Принимаем, принимаем!

– Однако зачем... зачем штурман? Мы гитару не любим. Да, Ника?

– Не любим, не любим!

Никита Ваганов ошибся в своих ожиданиях: капитан «Пролетария» Семен Семенович Пекарский не рассказал за обеденным столом об афере с утопом, которую наблюдал его друг Валов – капитан буксирного парохода.

После обеда у капитана Пекарского, в их огромной каюте, каюте, испещренной тенями от жалюзи, Никита Ваганов вдруг спросил:

– Как отец? – Вопрос об отце Ники возник из ничего, Никита Ваганов не смог бы даже объяснить, по какой ассоциации вспомнился Габриэль Матвеевич Астангов.

– Как здоровье и дела папы? Ты слышишь, Ника?

– Слышу. Папа здоров, дела идут, кажется, хорошо, но... Ах, Никита, только я и мама понимаем, как папе плохо. Сестра что? Сестра – отрезанный ломоть. А вот мы не спим ночей.

– А что случилось, Ника?

– Что случилось? – Ника резко повернулась на бок, стала смотреть прямо в глаза Никите Ваганову. – Ты женился на мне, ты свой, родной. Тебе поэтому все нужно знать, правда, Никита? Правда?

Подумав, он ответил:

– Разумеется.

Она сказала:

– Папа не спит ночами, ждет несчастья. – И перешла на шепот: – Ты понимаешь, комбинату пришлось под каким-то, я не поняла каким, давлением вырубить кедровый массив и завесить процент утопа леса. Для чего это делается, я тоже не понимаю, но папа тает, как восковая свечка. Нос заострился.

Так! Ника говорила о том самом, о чем Никита Ваганов написал в статье «Утоп? Или махинация!». Так! Поздним летом и ранней осенью некоторые сплавконторы увеличили

количество якобы утонувшего леса, затем эту якобы утопшую древесину включали в производственный план года, перевыполняли годовое задание, получали премии и славу.

– Предельно худо, Ника! – осторожно сказал Никита Ваганов. – Хуже не придумаешь... Почему папа не идет к Первому? Будет трудно, но это – единственно правильный путь.

Это Никите Ваганову кажется, что поход к Первому – спасение! Молодой и горячий, он не может еще понять своего будущего тестя, не понимает, что в предпенсионном возрасте люди не так смелы, что им надо думать о завтрашнем дне, что у них нет будущего, когда можно начинать жизнь наново: упасть и подняться после головокружительного падения. Под шестьдесят – это не двадцать пять!

– Перемелется – мука будет! – тихо сказал Никита Ваганов. – Не надо умирать раньше смерти, Ника! Перемелется – мука будет, ты слышишь меня?

– Слышу, Никита! Что произошло, я плохо понимаю, но папа на глазах сдает. Мы с мамой не спим ночи.

А что? Сойдешь с ума, если родной отец по ночам ходит из угла в угол своего домашнего кабинета и – некурящий! – прикуривает сигарету от сигареты, губы у него горько опущены, спина сутула, а ведь Габриэль Матвеевич такой сильный человек, опытный руководитель, честный. Доведешь себя до изнеможения, наблюдая за тем, как страдает такой человек, как... Отец! Ах, как нехорошо все складывалось! Правда, в статье «Утоп? Или махинация!» говорилось, что главный инженер комбината «Сибирсклес», узнав о готовящейся махинации, заявил Пермитину, что больше не хочет слушать об этом подсудном деле и вообще умывает руки, но это вместо того, чтобы немедленно идти в обком партии. В статье было: «Главный инженер комбината тоже оказался не на высоте».

– И все-таки надо пойти к Первому, – машинально повторил Никита Ваганов. – Надо пытаться действовать, сбивать сметану в масло! Ника, Ника!

Она обреченно ответила:

– Папа все понимает! Более того... более того, он считает, что уже поздно, преступно поздно. Слово «преступно» употребил папа. Как мы с мамой плакали!

Можно все это представить. Ходил по гостиной седой человек в красивой, накрахмаленной и проглаженной пижаме, сутулился и горько опускал губы, руки держал за спиной, как арестант, на жену и дочь не смотрел, не мог на них смотреть – было стыдно и страшно смотреть. И правильно: сильный человек, опытный человек, умный человек, поддавшийся минутной слабости и оказавшийся в паутине. * * *

– Плакать – бред! – резко произнес Никита Ваганов. – Надо не плакать, а действовать и действовать! Тебя отец любит, тебя и послушается, уговори его немедленно сделать заявление на бюро обкома, а то будет поздно, фатально поздно! Ты опять не слышишь меня, Ника?

– Я тебя прекрасно слышу. Но на это папа не пойдет! Он не вор и не предатель. Он сейчас старается понять, почему сразу не пошел к Первому...

Они помолчали, не глядя друг на друга.

– Значит, ничем Габриэлю Матвеевичу, по-вашему, помочь нельзя? – сказал Ваганов. – Чепуха! Ты должна помочь отцу победить слабость, жизнь не кончена. Место главного инженера за ним, уверен, останется. Помогите отцу, Ника, помогите!

Ах, как это страшно, когда человек слаб! Люди, не бойтесь сильных! Люди, бойтесь слабых!

Бойтесь особенно тех слабых, которые случайно заняли высокое положение, – бойтесь таких слабых, люди, бойтесь!

– Ника, ты должна понять меня, Ника!

– Я понимаю.

Он не даст эту женщину никому в обиду, он женился на ней, будет ее любить, по-своему верно, до своей смерти, сделает ее жизнь обеспеченной: с автомобилями и дачами, курортами и санаториями, кругом интересных и крупных знакомых; он все сделает для того, чтобы падение Габриэля Матвеевича Астангова – недолгое падение – не было для нее крахом, не оставило у дочери на всю жизнь шрама в душе.

– Ника! – сказал он на ухо жене. – Ты можешь взять обратно твое решение стать моей женой...

– Почему? – приподнимаясь, спросила Ника. – Я тебя не понимаю.

Он лег на спину, глядя в иллюминатор, отыскал в небе коршуна и стал следить за его мирным падением. Через минуты три он сказал:

– Всю эту историю с утопом древесины и вырубкой кедровника я раскопал. Так бы все и ушло в небытие, если бы я с прошлой весны не засек одну из сплавконтор... На подобное корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Тимошин не был способен: плохо знает дело. И значит...

– Значит, ты опубликуешь это в «Заре», узнает вся страна... Боже, так ведь папа не переживет этого!

Переживет, распрекрасно переживет, только с большими потерями и убытками, которые можно было бы смягчить, но Габриэль Матвеевич не пойдет с повинной. Ох, уж эти чистюли!

– Кончай реветь, Ника! – сказал Никита Ваганов. Он поцеловал ее в гладко-бархатистое плечо. – Тебе надо действовать, маленькая, действовать и действовать.

Ника с размаху припечатала пощечину Никите Ваганову, хотела еще одну, но он уже стоял в трех шагах от нее.

– Ты, значит, продолжаешь бороться с папой? Я тебя спрашиваю: продолжаешь бороться?

Он сдержанно ответил:

– Я изучаю вопрос об утопе леса, и, насколько понимаю, Габриэль Матвеевич хочет, чтобы эта история раскрылась.

Она шепотом вскрикнула:

– Но не твоими руками, не твоими! Неужели ты не понимаешь?

– Как не понять! Между тем мне кажется, что Габриэль Матвеевич предпочитает именно мои руки. И он прав. Я по крайней мере разоблачение проведу так, что весь удар обрушится на Пермитина, а посторонний человек...

Ника схватила его за рукав, потянула, ожесточилась... Восточная кровь текла в ней, восточная кровь с небольшой примесью русской сибирской крови, и это было таким сочетанием, что первый год супружеской жизни – особенно первый – был сущим мучением для Никиты Ваганова; потом Ника успокоится, притихнет, а сейчас она штурмовала мужа,

разносила его в клочки и клочья:

– Ты умеешь придумывать основания для своей подлости! О, как ловко ты это делаешь! Как ловко! Я не верю в бога и от тебя не требую, но есть высший разум, высшая инстанция. Она все видит, все считает. Ты будешь наказан, ты не уйдешь от кары, ты от нее не уйдешь...

Что же, дальнейшее покажет ее правоту. Может быть, на самом деле некая высшая инстанция поставила Никиту Ваганова на синтетический ковер, заставила его, такого холодного и смелого, сжаться в утлый комок в ожидании приговора, смертного приговора. Он встретил его, как выяснится впоследствии, мужественно, но только слегка побледнел, не дыша. «Отринь, сухорукая стерва! Я сделал в тысячу раз больше добра, чем зла! Отрипни и скройся, исчезни на долгие годы, падаешь костлявая!» И никто его не смог бы упрекнуть в зазнайстве – столько добрых дел совершит в своей недолгой жизни Никита Ваганов, столько добрых дел и поступков. Взять хотя бы историю со старушкой в вуали и пенсне, со старушкой, что бежала по Первомайской улице столицы к трамваю, чтобы, наверное, доехать до ярмарки, – она держала в левой руке такую же, как она сама, допотопную кошелку. Накрапывал или уже шел мелкий дождь, машины влажно плыли по асфальту, поток прохожих устремлялся к прогулочному Измайловскому парку, а старушка бежала к трамваю, который уже готовился закрыть двери. И вагоновожатая хорошо видела бегущую старушку, отлично видела, как старушка бежит, бежит, бежит, открывая рот и нелепо взмахивая кошелкой, как ее ноги в туфлях на высоком каблуке разъезжаются и подкашиваются, как шляпка с вуалеткой сползает на разверстый рот; вагоновожатая, эта крепкая и коротконогая девчонка в короткой юбке, именно в короткой юбке, эта девчонка с упругим розовым лицом и глазами палача, круглыми и немигающими, закроет двери трамвая перед самым носом старушки в вуалетке, двинет трамвай вперед, почти задев падающую на мокрый асфальт старушку. Первым упадет пенсне со шнурком, затем повалится шляпка с вуалеткой, затем начнет медленно падать на асфальт сама старушка. Она упадет лицом на осколки разбитого пенсне, трамвай красным боком едва не полоснет по лысой ее голове; опустевший с уходом трамвая клочок асфальта онемевает от страха и немощи. Но не пройдет и трех секунд, как к старушке бросится выскочивший из такси Никита Ваганов – совсем молодой человек. Он еще до падения старушки предвосхитит это событие, чтобы успеть подхватить старушку. Он поднимет плоть ее, а лицо старушки обольется кровью от удара об асфальт, она не то умрет, не то потеряет сознание, по крайней мере толпа завопит, что старушка померла, отдала концы, преставилась, кончилась. И действительно, глаза стекленели, дыхание улетучивалось, а осколок от пенсне впился в глаз. Толпа на трамвайной остановке увеличивалась, но любая «скорая помощь», будь она самой скорой, не опередила бы Никиту Ваганова, который действовал молниеносно. Он расстегнул ворот платья, отважно отодвинул в сторону то, что некогда было грудью, и начал массировать сердце, сильно и беспощадно массировать продавливающуюся и хрустящую плоть... * * *

Так было на Первомайской улице столицы, так было и не иначе, а теперь речь идет о городе Сибирске и о том, что Никита Ваганов выслушивал вопли молодой жены о своем бездушии. Ника ему пощады не давала!

– Знаю, знаю, для чего ты это делаешь! Тебе надо отличиться! Ты спишь и видишь себя большим работником «Зари», ты спишь и видишь Москву, а она мне не нужна, не нужна. Расчетливый и коварный человек! Я не хочу в твою Москву, не хочу! Понимаю теперь, о чем ты пишешь этому Грачеву! Ты ему аккуратно отвечаешь! Понимаю!

... А чего не понимать, если Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев считал, что подниматься вверх и двигаться вперед можно только и только в Москве, а Никита Ваганов полагал, что в столицу надо въезжать из периферии на белом коне. Жизнь покажет, что оба способа возможны. Правда, Никита Ваганов по сравнению с Валькой Грачевым будет иметь одно существенное преимущество: глубинное понимание жизни, которое позволит ему возглавить газету «Заря», а Валька Грачев поднимется высоко, но так и не сможет

претендовать на роль главного редактора...

Молодожены уже стояли на прогулочной палубе, когда Ника жалобно и моляще спросила:

– Что же будет с папой, Никита? Ты его убьешь!

Он серьезно и неторопливо ответил:

– Габриэль Матвеевич умирает и без того, разве ты не видишь? Лучше будет для Габриэля Матвеевича, если дело до конца раскроется. Лучше сразу, чем медленно-медленно... Ника, ты поймешь позже, что я совершенно прав. Пожалей родного отца!

Ника бесшумно плакала, а Никита Ваганов думал об Егоре Тимошине, который, никому не признаваясь, все-таки писал роман, писал исторический роман... Несколько лет спустя он покажет рукопись Никите Ваганову, потом подарит книгу, а потом газета «Заря» опубликует панегирическую рецензию на роман об освоении Сибири, и правильно сделает. За несколько недель до появления рецензии Егор Тимошин три дня проживет на барской даче редактора «Зари», на той самой даче, где лев па лужайке. Впрочем, лев на лужайке, бедный заблудший лев, оставшийся от старинных времен, этот лев сыграет в жизни Никиты Ваганова особенную роль, ничуть не меньшую, чем меловой лев на стене. Но это будет, это еще только будет...

III

Через полтора-два месяца после регистрации брака с Никой Астанговой молодой муж Никита Ваганов, живущий в доме тестя, невзирая на то, что статья «Утоп? Или махинация!» уже была написана и находилась там, где находилась, решил отправиться в дальнюю, но короткую командировку, выбор которой был хитрым дипломатическим ходом. По непроверенным, но точным данным, в Анисимковской сплавной конторе, где молевой сплав леса производили только по одной речушке, списали на утоп восемь тысяч кубометров леса: число курьезно большое. Поездка в Анисимковку была сама по себе интересной, но главное произошло – на это и рассчитывал Никита Ваганов – во время официальной встречи Никиты Ваганова с главным инженером комбината «Сибирсклес» Габриэлем Матвеевичем Астанговым в его деловито-скромном кабинете. Тесть сразу зятя принять не мог, Никита Ваганов около десяти минут просидел в большой приемной, посмеиваясь отчего-то и разглядывая хорошенькую секретаршу в черных колготках. С главным инженером он виделся часов десять назад, распивал с ним вечерние чаи и обсуждал международное положение; беседа была по-семейному милой, хотя тесть временами вздыхал и казался отсутствующим – так глубоко уходил в свои тяжелые думы...

Наконец секретарша в черных колготках, секретарша, знающая, кого держит в приемной, быстро проговорила:

– Никита Борисович, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!

Главный инженер комбината принял Никиту Ваганова стоя, но не выходя из-за стола для рукопожатия, – естественно и правильно, однако было заметно, что Габриэль Матвеевич смущен, собственно, не знает, как себя вести, когда с блокнотом в руках – на диктофон Никита Ваганов не решился – зять сел на одно из двух кресел для посетителей.

– Простите, Никита! Представьте, раньше не мог принять. Ну, ладно, Никита. С чем пришли? – говорил Габриэль Матвеевич, не поднимая взгляда на зятя. – Так с чем пришли, Никита?

Смуглый, интеллигентный, в темно-синем костюме, совсем маленький за большим столом,

Габриэль Матвеевич являл тип того руководителя-сидельца, который никогда не устает от стола, неторопливо и беспрерывно, интенсивно и напряженно все работает да работает, ежеминутно обязанный принимать ответственные решения; он являл законченный тип кабинетного руководителя, не пытающегося делать вид, что он может или даже способен быть иным. И славно! Работники масштаба Астангова, считающие себя не кабинетными затворниками, запутываются в трех соснах, когда пытаются кабинет сочетать со стремительными и потому часто бесплодными вылазками в жизнь. Возраст и опыт главного инженера Астангова достаточно широко и точно позволяли ему видеть жизнь, пройденную по широким во времени ступеням: мастер лесозаготовок, технорук лесопункта, начальник лесопункта, главный инженер леспромхоза и так далее...

– Меня вот что интересует, Габриэль Матвеевич, – медленно проговорил Никита Ваганов. – Ах, если бы знать точно, что меня интересует!.. – Он по-родственному улыбнулся. – Я хочу испросить вашего разрешения на изучение вопроса сочетания молевого сплава и сплава леса в плотках на примере, скажем, Анисимковской сплавной конторы...

Его вопрос можно было бы считать обычным, если бы он не относился именно к Анисимковской конторе, так как были еще те времена, когда в Сибирской области только начиналась широкая борьба с отсталым и преступным, в сущности, молевым сплавом леса, когда даже в таких конторах, как Тагарская, где директорствовал прогрессивный Олег Олегович Прончатов, на трех реках не водили лес в плотках.

– Вот что еще меня интересует, Габриэль Матвеевич! – продолжал Никита Ваганов. – Анисимковский лесхоз жаловался в несколько инстанций на вырубку прибрежного кедрового массива, но ни одной жалобе ход не дан. Как это могло получиться?

Габриэль Матвеевич по-прежнему не поднимал взгляд на зятя, маленькие руки были стиснуты, зубы стиснуты, и теперь весь главный инженер казался совсем маленьким в своем высоком кресле – сострадание и жалость вызывал он, и Никита Ваганов с гневом думал о том человеке: «Сволочь, сволочь», – не зная, как и чем можно помочь тестю.

Габриэль Матвеевич Астангов сорванным голосом произнес:

– Займитесь Анисимковской сплавной конторой, займитесь ею вплотную... – Он посмотрел на Никиту Ваганова по-птичьему искоса. – Надо, надо заняться...

Казалось, слово «займитесь» он может повторять бесчисленное количество раз, мало того, Габриэль Матвеевич сейчас не помнит или не понимает, кто перед ним сидит и для чего. – Займитесь, займитесь Анисимковской конторой...

И все это было так легко объяснимо!

– Я поеду в Анисимковскую сплавную контору, Габриэль Матвеевич! – пообещал Никита Ваганов. – Однако перед поездкой мне надо, чтобы работники вашего аппарата снабдили меня некоторыми сведениями.

– Какими именно?

– Хотя бы по утопу леса, Габриэль Матвеевич. Анисимковцы – это само собой, а картина по комбинату в целом – само собой!

– По комбинату в целом! Данные по утопу леса в целом по комбинату? – во второй раз повторил Габриэль Матвеевич. – Но ведь они известны. И в годовом отчете, и в речи Пермитина на областном совещании работников лесной промышленности.

Беда, что Никита Ваганов до сих пор не знал точно, хочет ли тесть освободиться от тяжести

преступления или собирается всю оставшуюся жизнь горбатиться, вздыхать, бесцельно ходить по комнатам своей большой квартиры. Скоро Никита Ваганов узнает, что Габриэль Матвеевич Астангов только этого и хотел – разоблачения, что сейчас, откинувшись на спинку кресла, как бы удалившись от Никиты Ваганова, главный инженер комбината молчал, глядя в одну точку – на портьеру за спиной Никиты Ваганова, и думал о том, что разоблачение и избавление придет из рук молодого человека, почти мальчишки, что этот мальчишка – муж его младшей дочери, что он вошел в дом, будет жить в самой большой комнате квартиры, сидеть за одним обеденным столом с тестем, который долго-долго не сможет смотреть прямо в глаза зятя, будет стесняться его и – даже так! – робеть перед Никитой Вагановым. Вот какой фокус показал ему, Астангову, этот безумный, безумный, безумный мир! Габриэль Матвеевич Астангов сказал:

– Что же, это очень интересный вопрос, Никита! Займитесь им, если хватит сил и знаний.

Никита Ваганов прижал руки к груди, чувствуя невозможность больше молчать, сказал:

– Я все уже знаю, Габриэль Матвеевич. Все! И даже написал разгромную статью... – Он помолчал. – Правильно ли я понял, что вы хотите скорейшего завершения этой истории?

– Правильно! – с облегчающей готовностью ответил тесть. – И чем скорее, тем лучше!

– Тогда распорядитесь, Габриэль Матвеевич, чтобы начальник производственно-технического уделил мне часок-другой. Хочется, чтобы и он принял меня в спокойной рабочей обстановке.

– Хорошо!

Пока тесть через селектор хриплым голосом приказывал начальнику производственно-технического отдела Лиминскому быть внимательным при встрече со специальным корреспондентом областной газеты «Знамя», Никита Ваганов, в свою очередь, думал о том, какой невыносимой станет жизнь тестя и жизнь в их доме вообще, в городе, когда в газете «Заря» – центральной, влиятельной газете – появится его материал об афере с вырубками кедровников, с утопом и обсыханием леса. Что касается Владимира Владимировича Лиминского, то, если говорить правду, встречаться с ним в стенах кабинета Никите Ваганову не следовало – интереснее было бы провести вечерок за преферансным столом; начальник производственного отдела, ходили слухи, был великолепным партнером. Никита Ваганов не собирал факты для разгромной статьи, она под названием «Утоп? Или махинация!», как вам известно, уже была готова, и только сверхбдительность настоящего журналиста да желание узнать, хочет ли разоблачения тесть, привели его в стены этого комбината.

Габриэль Матвеевич тихо сказал:

– Будьте осмотрительны, Никита! А дома я вам все расскажу.

Такое за деньги не купишь, когда обвиняемый просит обвинителя «быть осмотрительным».

Подумав, Никита Ваганов легкомысленно махнул рукой и сказал:

– Кто не рискует, тот не пьет шампанское! * * *

... Присказку о шампанском Никита Ваганов часто употребляет при игре в преферанс, с годами ставшей для него важной и даже значительной по времени и отдаче игрой в жизни. Он станет одним из самых сильных преферансистов Москвы, будет играть с такими же сильными партнерами, сразиться с Никитой Вагановым будут считать честью и сильные мира сего... Играть он будет по крупной, рискованно, отчаянно, хитро, коварно, легко, мягко, расчетливо и нерасчетливо. В его московской квартире создастся целый преферансный

ритуал – специальный ужин, тихая музыка в комнате для игры, отпечатанные на ротапринте пульты с назидательными надписями по краям, специальные карандаши, иноземные карты...
* * *

– Мы будем пить шампанское! – лихо повторил Никита Ваганов. – Нет ничего такого, чтобы нам не пить шампанское! Мизер на руках!

Он осекся, так как Габриэль Матвеевич предостерегающе поднял левую бровь:

– Он очень, очень силен!

Бог знает что творилось! Вслух Никита Ваганов сказал:

– Так до вечера, Габриэль Матвеевич! * * *

Неторопливо идя из одного кабинета в другой, Никита Ваганов думал: «Ну, держись, Арсентий Васильевич! Держись за землю, не то упадешь!» – при этом страдал за тестя, который сейчас одиноко сидел за столом с таким видом, будто он был совершенно пустым, точно одна оболочка, только костюм английской шерсти занимал высокое кресло. Это был тот момент, когда Габриэль Матвеевич переходил из одного душевного состояния в другое: предупредив зятя об опасности Пермитина, почти признавшись в преступлении, он еще не нашел сил для будущей жизни, еще не начал бороться за того Астангова, который три года будет прекрасно работать старшим инженером, чтобы превратиться в ...директора Черногорского комбината...

«Крепкий орешек», каким считался в стенах комбината Владимир Владимирович Лиминский, сидел в похожей на карцер комнате, темной и поэтому освещенной одновременно тремя светильниками, что у людей суеверных считалось плохой приметой: три свечи! Вопреки этому Владимир Владимирович Лиминский уцелеет в афере с утопом древесины, ничего страшного с ним не произойдет: кресло только слегка закачается под ним и чуть заскрипит, однако путь вверх в Сибирской области для него окажется крепко забаррикадированным, печать махинатора навечно останется на нем, да такая заметная, что и переезд в другую область станет невозможным.

– Я приветствую вас, Владимир Владимирович!

– О, привет, Никита Борисович! Сидайте, где хотца, и курите... Ах, вы не курите, бережете драгоценное здоровье, а я вот уверенно гряду к раку легкого или к какой-нибудь еще хворобе. Садитесь же, пожалуйста!

При настольной лампе, верхнем свете и торшере начальник производственно-технического отдела выглядел до смешного малокровным, а был широким, крепким, с военной выправкой, крупными чертами лица, большими руками человеком, казавшимся долговременной огневой точкой в своем кабинете, но вот голос у него был – этого активно не любил Никита Ваганов – тенористым, певчим, если можно так выразиться. Это соответствовало действительности: начальник производственного отдела пел тенором под гитару, пел модного тогда Булата Окуджаву и, как все признавали, пел не хуже самого барда. Он вообще умел быть душой любой компании, этот Володичка Лиминский.

– Отчего же вы не садитесь, Никита Борисович?

– Определяюсь, вычисляю свои координаты. Знаете, Владимир Владимирович, не красна изба углами, а...

– ...а пирогами.

– Предельно правильно! Как писал Багрицкий: «Ну, штабной, бери бумагу, открывай чернила,

этой самою рукою Когана убило!» Сейчас зачну вас мучить, Владимир Владимирович. – Никита Ваганов сел. – Дело в том, Владим Владимыч, что «в нашей буче и того лучше», а также «жизнь хороша и жить хорошо!», – Никита Ваганов потер руку об руку. – Счас такое начнется, что хоть всех святых выноси! Это я вам точно говорю, Владимир Владимирович! Эх, какой следователь уголовного розыска пропадает в лице Никиты Ваганова! Мегрэ зеленеет от бессильной зависти!

Он не хвастался, он действительно был наделен всеми качествами, необходимыми следователю: дедукцией, индукцией плюс верной интуицией, и ничего удивительного в этом не было: каждый журналист – следователь в той или иной степени одаренности, а Никита Ваганов был из лучших. Он, например, понимал, что трудные подследственные обычно не имеют вид «крепких орешков», а играют более тонко и верно: откровенность, правдивость, податливость, лживая искренность.

– Благословясь, приступим! – сказал Никита Ваганов, медленно-медленно открывая записную книжку и включая диктофон. – Единственный вопрос, едипственный и гло-о-о-бальный! Почему утоп леса в прошлом году превысил все нормы? Если вы это захотите объяснить наводнением, то я не приму этого объяснения. В классическом труде Сергея Сергеевича Валентинова по лесосплаву черным по белому сказано, что большая вода СНИЖАЕТ УТОП!

Лиминский, подумав, неторопливо ответил:

– Я высоко ценю покойного Сергея Сергеевича, мне с ним довелось работать на заре туманной юности, но Сергей Сергеевич приводит общий случай, когда большая вода ведет себя по-человечески, а не так, как прошлой весной! – Он прищурился. – Вам же известно, что наводнение продлилось всего две недели, что спад воды не был по-сте-пенным!

Никита Ваганов что-то старательно записал в блокнот, что-то изменил в режиме работы диктофона и сказал:

– Если вы правы, Владимир Владимирович, то резонно спросить: почему нет высокого утопа в Ерайской сплавной конторе, где молевой сплав проводился на пяти реках?

– Семечки, а не вопрос! – Лиминский легкомысленно разулыбался. – Дело в том, что Александр Маркович Шерстобитов играет с оловянными солдатиками. Сверхчестность! Он не захотел принять утоп. Да он ему и не был нужен... Рубки в новом массиве, естественно, были прибереговыми, леспромхозы создали запас излишнего леса – вольно же ему было беситься, если за две недели наводнения он успел весь лес пустить по большой воде. А утоп у него такой же необыкновенный, как и в других сплавконторах... Слушайте, Никита Борисович, нет ли у вас за пазухой вопроса посолиднее.

– Минуточку! Будет вопрос посолиднее.

Никита Ваганов мыслил медленно, но верно. Он хотел понять, выгодно ли Владимиру Лиминскому сделать явной историю с утопом леса? Мог ли он, прямой исполнитель воли Пермитина, рассчитывать на выгоду для себя, если над теми, кто жестко приказывал ему творить беззакония, разразится гроза? На трезвый взгляд получалось, что ничего, кроме шишек, Лиминский не мог получить. События ведь происходили не в детском саду: «А Петька велел мне насыпать песок в кровать Валеры!»

Никита Ваганов спросил:

– Хорошо, но отчего же нет лишнего утопа и в Татарской сплавной конторе, где директором Олег Олегович Прончатов? Он тоже пижонит?

– Пижонит, – ответил Лиминский и рассмеялся. – У Олегушки Прончатова, моего друга,

всегда есть в заначке пяток тысяч кубиков. Он без этого не живет, можете мне поверить. Это та еще бестия! А утоп у него тоже необыкновенный.

– То есть больше нормы?

– Больше, естественно. Наводнение! Такого не наблюдалось в течение семидесяти лет, чуеете?!

– Хорошо, Владимир Владимирович, предположим, что такого наводнения не было в течение семидесяти лет, но как вы объясните такой факт? За пять последних лет количество рек с молевым сплавом сократилось примерно на сорок процентов. Это так?

– И не иначе!

– Количество рек сократилось, а утоп равен утопу тысяча девятьсот сорок девятого года. Это ли не страх божий?

Лиминский пожал плечами, на Лиминского цифры подействовали.

– Вы уверены, что это так?

– Арифметика, Владимир Владимирович.

– Откуда взята арифметика?

– Из доклада главного инженера комбината.

– А середину этой арифметики вы просчитывали?

– Конечно! – Никита Ваганов зачем-то плавно повел левой рукой. – Неувязочка, кромешная неувязочка, Вдим Вдимыч!

– Вы думаете?

– Уверяю вас!

Они замолчали в раздумье. Лиминский, видимо, соображал, куда беседа его может завести сегодня, когда еще неизвестно, как ответил на эти же вопросы Ваганова главный инженер комбината.

Лиминский озадаченно сказал:

– Поразительно, что мне не пришло на ум произвести сравнительный анализ. Текучка, мать ее распротак! Но я обдумую вашу цифирь, Никита Борисович. Любопытненько! Поедем дальше... У вас имеются еще вопросы?

– Да! Ряд вопросов, дорогой Владимир Владимирович, ряд вопросов... Вот такой. Не спрашиваю о перевыполнении, спрашиваю: выполнил ли бы план комбинат, если бы не добился списания двадцати пяти тысяч кубометров на утоп, двадцати на обсушку и вырубку прибрежных кедровников? Вот какой примитивный вопрос, Владимир Владимирович. Кажется, из той же арифметики ясно, что план был бы не выполнен, но это я хочу слышать из ваших уст, а?

– План был бы выполнен!

– Ого! Каким же образом?

– Обыкновенным, то есть таким, каким он и был выполнен. На перевалочные комбинаты

поступило такое количество леса, которое обеспечивало не только выполнение, но и перевыполнение плана. Министерство учло судоходную обстановку и особенности молевого сплава.

Поющий, самовлюбленный голос, размашистые жесты, снисходительные улыбки – все это наконец так обозлило Никиту Ваганова, что он разыграл целый спектакль: долго писал в блокноте, потом в полной тишине переменял пленку в диктофоне и подсунул его чуть ли не под нос Лиминскому.

– Предположим, что вы правы, – сказал он. – Тогда возникает вопрос, отчего в Анисимковской сплавной конторе, где совсем нет молевого сплава, списано на утоп четыре тысячи кубометров леса?

Лиминский недоуменно пожал плечами:

– Такого не может быть! Вас ввели в заблуждение.

– Позвольте вам не поверить, Владимир Владимирович. Следует только позвонить в плановый отдел, как вам скажут, что я прав...

– Позвольте вам тоже не поверить, Никита Борисович!

– Ах, вот как! Тогда вопрос третий и последний. Неужели вы до сих пор не понимаете, Владимир Владимирович, что я знаю все об афере с утопом и прочими махинациями с лесом, понимаю, какую испо о-л-лнитель-скую роль вы играли в этом скверном деле? – Никита Ваганов встал, застегнулся. – Неужели это трудно понять? Факты лежат почти на поверхности. При желании их собрать – раз плюнуть!

Лиминский после паузы спросил:

– А у вас есть такое желание, Никита Борисович?

– Есть, Владимир Владимирович.

– Несмотря на то, что вы женились на Астанговой?

– Возможно, именно поэтому...

– Забавно!

Лиминский тоже поднялся.

– Можно откровенно, Никита Борисович? Я старше вас на какие-то пятнадцать-двадцать лет, так что позвольте быть откровенным?

– Извольте, Владимир Владимирович.

– Вы мне нравитесь, предельно нравитесь, как вы любите выражаться. Вы сильный и умный. И знаете что, Никита Борисович, я поигрываю в преферанс, а вы, ходят слухи, бог! Не сойтись ли нам на пулечку? – Он поджал губы, затем продолжал: – Мне думается, мы успеем сыграть еще до того, как вы сложите голову на утопе древесины... Итак, вы согласны?

– Извольте. Можно послезавтра, в воскресенье. Где?

– У меня, Никита Борисович! Не хоромы, но тихая комнатенка отыщется, да и все сопутствующее. Правда, говорят, вы не пьете?

Никита Ваганов громко рассмеялся и положил руку на локоть Лиминскому.

– Большая деревня! Да, не пью, но пить при себе прошу много и часто. Запомните: часто и много! * * *

... Преферанс – старинная карточная игра, сыграет в жизни Никиты Ваганова столь важную роль, что однажды, резвясь наедине с самим собой, он вполне серьезно подумает: «Слишком много отнимал университет. Куда полезнее для меня преферанс – волшебный ключик!» * * *

– Значит, у меня в воскресенье часиков в шесть, Никита Борисович?..

– Пр-э-э-э-лестно, Вдим Вдимыч!

IV

Лимиинский зря жаловался, что хором не имеет: он жил в большущей четырехкомнатной квартире, занимая ее семьей из четырех человек – жена, засидевшаяся в девушках дочь, теща, которая доставила самое большое удовольствие Никите Ваганову. Заядлая преферансистка, опытная, играющая в десять раз лучше своего зятя. Четвертым партнером был пианист областной филармонии Илларион Пискунов – изысканное общество в городских масштабах. Маргарита Ивановна по жребью начала сдавать карты, сдав, заглянула в карты Никиты Ваганова, сказала низким, почти мужским голосом:

– Первая сдача – вся игра. Вам не попрет карта, Никита Борисович.

Она как в воду глядела, действительно, после первой сдачи и до последней Никите Ваганову чрезвычайно не везло, но он все-таки немного выиграл. Кто понимает в преферансе, тот знает, как можно выиграть, когда не идут карты. Никита Ваганов, вистуя втемную, посадил без двух взяток на восьмерной пианиста, постоянно вистовал при игре тещи, дал на параллельном сносе теще взятку на мизере, часто удачно играл распасовку и так далее, приговаривая при этом полусшепотом:

– В козыря мы ходить не будем, глупо, чтобы у Владимира Владимировича сыграли все мелкие козыри, а вот сюркупчик мы ему организуем. Илларион Иванович, бросьте короля пик и никогда не оставляйте на короткой масти крупные карты. Вене иси, как говорится, Владимир Владимирович, пожалуйста браться! Без двух! Такова жизнь...

Маргарита Ивановна, теща Лиминского, сердито сказала:

– Надо играть строже и внимательнее, Владимир. У вас и в помине не было семерной. Вы играли только при половинном раскладе.

Лиминский ответил:

– Ваша правда!

Это было уже в той стадии игры, когда из четырех человек главным становится один, незаметно или, наоборот, открыто диктующий волю трем играющим, и если в начале игры Лиминский еще хорохорился, то теперь смотрел почти подобоострастно на Никиту Ваганова, а теща Маргарита Ивановна несколько раз благодарно прикасалась к его длиннопалой руке. Как бы ни были разны характеры играющих, лидер для них оставался надолго вызывающим уважение человеком.

Пианист филармонии Пискунов и Лиминский, позабыв о себе, любовались игрой Никиты Ваганова, который выигрывал, хотя ему катастрофически не шли карты, и Никита Ваганов

отлично понимал, что начальник производственно-технического отдела комбината «Сибирсклес» Владимир Владимирович Лиминский следил за игрой Никиты Ваганова с особым интересом; а в свою очередь Никита Ваганов понимал, что держит экзамен и тем самым готовит Лиминского к мысли: «Этот Никита Ваганов ни перед чем не остановится! Вскроет, как консервную банку, аферу с утопом леса!» Теща Маргарита Ивановна с досадой сказала:

– Вы так рассеянно и плохо сегодня играете, Владимир, что дадите возможность выйти сухим из невезухи Никите Борисовичу. Безобразие!

Никита Ваганов ответил мягко:

– Мне льстит, Маргарита Ивановна, что вы так считаетесь со мной, но...

– Продолжайте, Никита Борисович...

– Меня практически невозможно обыграть – это мнемоническое правило.

И Никита Ваганов продолжал играть, вызывая восторг и уважение Лиминского, не давая продохнуть партнерам, используя их самые крохотные ошибки, играл с таким напряжением, что казалось, внутри его скрипят и скрежещут колесики, колеса, трансмиссии, зубчатые передачи и прочая инженерия. Однако он успевал понимать, как быстро росли его акции у Владимира Владимировича Лиминского. Сильным, стальным, жестким, упорным, работающим человеком был в преферансе Никита Ваганов, и похоже, что его действительно трудно было обыграть, хотя в этот раз Никита Ваганов взял со стола всего три рубля. Промолчавший всю игру, лысый и незаметный музыкант Илларион Иванович Пискунов сказал:

– Давно я не видел такой феерической игры. Спасибо за доставленное удовольствие, Никита Борисович! Вы не сделали ни единой ошибки. Поразительно! Я многому научился, хотя играю лет двадцать.

За ужином, тщательно продуманным ужином, душой компании была теща Маргарита Ивановна, знающая сотни анекдотов вообще и десятки о преферансе в частности. Каждый играющий в преферанс знает эти анекдоты, слышал их по отдельности, но в такой массовой дозе их редко доводилось кому услышать. И все хохотали, развеселились, а пианист Пискунов, увлеченный Маргаритой Ивановной, хохочущей громче и охотнее других, незаметно отвлекся от спиртного и не напился, чего никогда не бывало с ним в доме Лиминских. Об этом шепнул на ухо Ваганову при прощании хозяин дома, который во время ужина сидел рядом с Никитой Вагановым и все изучал его, изучал, изучал.

Внешне, по крупному счету, Никита Ваганов не повлияет на судьбу Лиминского, но косвенным путем окажет-таки некоторое действие, удержавшее Лиминского в насиженном кресле. Никита Ваганов в статье «Утоп? Или махинация!», разнося начальника производственного отдела, укажет на подчиненную роль его во всех событиях, намекнет, что тот не сразу согласился на преступное деяние. * * *

... За минуту до вынесения приговора я вспомню и преферансный вечер, и сияющие глаза тещи Маргариты Ивановны, и вопрос: «Отчего вы так поздно родились?»

... Было еще и так... Суббота карабкалась по лестнице Судьбы осторожно, боясь подломить ступеньки, поднимала ногу бесшумно, осторожно жила и осторожно дышала, и понимающие люди в субботу думали о вечности и молились вечности, и молитвы их ничего не давали, их никто не слышал и не хотел слышать, и автомобили, только автомобили были живы в субботнем городе, в немом городе, и шины, шины, только шины разговаривали на своем недоступном языке. И самыми безгласными в этом странном мире были разговаривающие люди, льстящие себе тем, что якобы способны общаться, а на самом деле более безгласные,

чем рыбы, холодные и скользкие рыбы. И была тишина небытия и тишина разверстости бытия, вязкая, как застывающий бетон, как бетон – серая и страшная, и в груди у Никиты Ваганова пошевеливалось и трепетало сердце, ибо он предвидел синтетический ковер, длинный ковер-дорожку. Предвидел членов медицинского синклита, собирающихся пудрить ему мозги, врать и обещать чуть ли не вечную жизнь на этой теплой и круглой земле, на этой земле, где он добился всего и ничего. Только вдумайтесь, только вдумайтесь: «ВСЕГО И НИЧЕГО». Это не по правилам игры, это негуманно по отношению к человеку, от которого все требовали проявления гуманности, гуманности и гуманности. Где ты, относительная и зыбкая, несуществующая и желанная справедливость? Почему талантливый, внешне цветущий, сверх меры одаренный богом Никита Ваганов умирает, а Валентин Иванович Грачев, обыденный Валька Грачев, собирается жить лет до восьмидесяти, так как его отцу сейчас восемьдесят девять, дед умер почти столетним, прадед ушел за вековое житье?..

Обратить трагедию в фарс, извлечь победу из поражения – этому Никита Ваганов был обучен своей недлинной жизнью, его чувство юмора было велико и целительно, позитивно и созидающе. Ожидая приговора, он, например, подумает, что лица у профессорского синклита похожи на точки с запятыми, а у главы синклита – на перевернутый вверх ногой вопрос. Это поможет ему с усмешкой встретить поток лжи, клятв, заверений, бесполезных пилюль и пудрения мозгов, и он скажет прямо в лица синклита: «Экие вы нескладные, граждане! Ну, отчего вы так боитесь смерти, если она рабочая скотинка?» Кроме всего, жизнь – это только и только будни. И смерть – будни... Знаете, как начиналась Хиросима? Прилетел самолет с нежным женским именем «Энола Гей» в честь матери командира корабля полковника Тибэтса и сбросил бомбу. С дурацким американским балагурством ее называли «тыквой», «штучкой», «крошкой» и «худышкой»... Моя смерть, моя предстоящая смерть – серые посредственные будни. Я даже не успею закричать.

Читатель, наверное, давным-давно заметил, как автор, обливаясь потом, старается вести повествование от третьего лица. Задумал даже такой примитивный трюк, чтобы воспоминание о жизни в Сибирске велось исключительно от третьего лица, а все остальное – от первого, но – увы! – мне это часто не удается, хотя профессиональный писатель для большей «художественности» не дал бы просочиться в текст предательскому "я", где оно недопустимо. Будьте снисходительны: я ведь только и только журналист – авось многое простится. Да, еще я вас попрошу не замечать путаницу времен действия и, главное, не видеть разницы между героем и повествователем. Даже книги крупнейших писателей забавно похожи на их авторов – так зачем по-прокурорски строго следить, от какого лица ведется мое повествование и в каком временном счете, ведь оба – автор и герой – умрут в одном... Я надеюсь, что еще будет время во всем разобраться...

V

Сама судьба – дама капризная – заставила Никиту Ваганова провести тот вечер в доме тестя. Ну, куда он мог пойти, если уже жил в этом доме. Для сына бедного школьного учителя квартира тестя должна была казаться верхом роскоши, но Никита Ваганов знал о существовании двухэтажных квартир на Бронной и не только на Бронной...

В доме было светло от электричества, что значило – тесть вернулся с работы. У него была страсть к ярко освещенным комнатам, и потому во всех комнатах были установлены дополнительные, явно лишние светильники, а в коридорах устроен буквально иллюминированный путь, по которому Габриэль Матвеевич Астангов и гости уверенно ходили в туалет. Тесть оживился, тесть откровенно обрадовался, когда его дочь заявила:

– Папа, проведем вечер вместе. Я давно мечтала, а сегодня... Никита, сегодня нам сам бог велел. Согласен?

Никита Ваганов сдержанно кивнул, у него в столе лежали три копии исторической статьи, и он, поверьте, боялся, что их украдут.

– Никита, кажется, не очень-то горит желанием, – осторожно сказала теща Софья Ибрагимовна. – Я ошибаюсь, да, Никита?

– Ошибаетесь! – сказал Никита Ваганов. – Горю, полыхаю, ярко свечу.

Маленький, худой, узкоплечий, смуглокожий и прекрасно седой тесть Никиты Ваганова ходил по дому – и в праздничные дни – в отлично вычищенном и даже отутюженном шерстяном лыжном костюме с белыми лампасами олимпийца. Такие костюмы как-то продавали в Сибирске, и теща купила сразу два костюма сорок восьмого размера и один – на всякий случай – пятьдесят второго, то есть для зятя, хотя Никита Ваганов тогда еще не был женат на Нике. Впрочем, он уже пообещал «расписаться», и Ника, конечно, немедленно об этом доложила матери. Ох, уж эти мамы и дочери!..

– Мама, папа, Никита, проведем тихий семейный вечер. Может быть, даже поиграем в кинг...

– Ника счастливо вздохнула. – Ну, доставьте мне радость, доставьте!

Если бы этого вечера «в кругу семьи» не было, его пришлось бы Никите Ваганову выдумать, и он бы его непременно выдумал: в любой другой форме, с другими действующими лицами, но потерял бы уйму времени на выдумывание, а здесь сама удача шла ему в руки, стучалась в спину, вливалась в уши.

– Никита, милый, я забыла, что вы пьете! – огорченно сказала теща, вместе с Никой проворно накрывающая стол не в столовой, а в гостиной.

– Ма-а-а-ма! Никита пьет только водку.

Вранье! Никита Ваганов никогда не пил. Еще ребенком он видел вдребезги пьяным Бориса Ваганова, отца. Никита Ваганов его видел пьяным, с пьяными слезами, с битьем себя в грудь маленькой тощей рукой, с проклятиями в адрес жестокой, жестокой, жестокой жизни. Он видел пьяного отца, хотя отец алкоголиком не был. Кроме того, Никита Ваганов, всегда жадно всматривающийся в жизнь, видел, как много репутаций и карьер уносила водка. Неудачник – водка. Этот тандем хорошо и прочно отпечатался в его сознании, и слова «пить водку» означали, что Никита Ваганов позволит в свою рюмку налить водку раза три-четыре, смотря по обстоятельствам, помочит в водке только кончик языка.

– Папа, хватит ходить по комнате. Папа, садись за стол.

«Папой» тестя Никиты Ваганова сейчас назвала не дочь, а жена, то есть Софья Ибрагимовна, и это всегда заставляло его внутренне морщиться – так было неприятно. Внешне, будьте уверены, неудовольствие не проявлялось.... Придет время, когда за спиной Никиты Ваганова будут шептаться: «Ловкач! Хитрец! Умница! Подлец! Хищник! Актер!», но нужно знать, твердо знать, что это не вся правда о Никите Ваганове, что есть возможность не шептаться, а прямо в глаза ему говорить: «Добряк! Широкая душа! Мудрец! Друг, товарищ и брат!» До этого он доживет; подхалимы и даже настоящие сволочи прямо в лицо так и станут кричать, и это не будет только ЛОЖЬЮ. Эверест нужных дел, облегчающих жизнь людей, полезных поступков совершит Никита Ваганов до своего пятидесятилетия, когда о его заслугах станут кричать особенно громко в связи с высокой и заслуженной правительственной наградой... * * *

– Я сел, Сонечка! – ласково сказал Габриэль Матвеевич. – Сижу.

Он жил с типично восточной женой. Она встречала его в коридоре, наклонялась, не обращая внимания на яростные протесты, расшнуровывала туфли, снимала. Дождавшись, когда муж наденет пижаму или лыжный костюм, натягивала ему на ноги теплые домашние туфли с длинными загнутыми носками – такие время от времени присылали им друзья из Баку. Жена мыла мужа в ванной, жена не давала мужу кашлянуть – появлялись врачи. Жена в минуты бессонницы пела мужу гортанные колыбельные песни. Дочь Ника в те времена еще возмущалась этой рабской манерой.

Сели за овальный раздвижной стол, накрытый празднично, тестю налили коньяку, Никите Ваганову – водки, женщинам достались остатки сухого вина (забыли пополнить запасы) и замолчали, не зная, как обычно, с чего надо «пономарить».... Это слово Никита Ваганов ненавидит. Пономарить! О, сколько еще пономарства в нашем обществе, в нашей жизни, в нашем быту и образе мыслей! Мы пономарим как приговоренные к пономарству, мы пономарим без нужды и необходимости, мы пономарим с такой радостью, словно в пономарстве наше спасение и наше будущее. Сам пономарь, Никита Ваганов заявлял громко: «Ненавижу пономарей и пономарство!» Впрочем, вы еще не раз услышите от него признания в своих винах и преступлениях, хотя Никита Ваганов исповедует не для прощения, не для очистки совести и даже – это главное – не для читателей. Он исповедует самому себе. Он журналист, и ему присуще свойство уметь до конца обнажать мысли только на бумаге. На бумаге он лучше мыслит, и на бумаге он – умнее, поймите это, пожалуйста!..

– Успеха Никите! – сказал тесть со своей мягкой славной улыбкой и поднял руку.

Тесть прекрасный человек, работник и руководитель; он великолепно знает дело, понимает людей, умеет работать с людьми; он не подхалим и не блюдолиз, он всегда считал нужным и возможным отстаивать свою точку зрения, какой бы криминальной она ни была в понимании вышестоящего начальства. Никита Ваганов с тестем сошлись на том, что люто ненавидели директора комбината Арсентия Васильевича Пермитина – эту глыбу мяса, с лицом, изборожденным синими полосами. Пермитин – бывший шахтер, его завалило в шахте – он тогда был начальником участка, – его откопали, на руках вынесли на поверхность, и, может быть, с этой минуты и началось его возвышение. В лесной промышленности области Арсентий Васильевич Пермитин – ни уха ни рыла, но у него зычная глотка и начальственные замашки. «Как шахтер, как бывший рабочий, как забойщик я вам говорю: сполняйте мой приказ и – кровь с носу!» Ребята-газетчики, естественно, прозвали его «Сполняйте».

– Спасибо! – сказал Никита Ваганов.

– Спасибо, папуль! – сказала Ника.

В доме тестя Никита Ваганов все-таки оставался чужим. Утром раньше всех уходил на работу, возвращался под завязку, в общение не вступал, а так себе: «Доброе утро! Спокойной ночи! Простите, Софья Ибрагимовна, я нагрязнил в прихожей!» Наверное, поэтому разговор за овальным столом не клеился, и нужен был непременно оратор или весельчак. В роли последнего Никита Ваганов мог выступить с огромным успехом, но не хотел: все-таки не чужими людьми были эти трое, сидящие за овальным столом. Шутом гороховым он работал во враждебной среде – это закон, это норма поведения, построенная на голом расчете. Храни бог вас подумать, что Никита Ваганов мог работать шута перед нужным начальством. Оно, нужное начальство, составляло исключение из всего человечества, хотя бы потому, что он всегда представал перед ним серьезным. Нахмуренное чело, усталый изгиб губ, сутулая спина якобы от вечного сидения за машинкой. И заметная дерзость, дерзость человека занятого, обремененного черт знает чем, – вот что видело перед собой нужное начальство. Жизнь серьезна, какие могут быть шуточки, граждане высшее начальство!

Сама Судьба дернула Никиту Ваганова за язык, когда он спросил:

– Вы довольны поездкой в Черногорск, Габриэль Матвеевич? Действительно есть что посмотреть?

В гостинице горело пять разных источников света, гостиница походила на бальный зал, гостиница ждала действия, пышного фейерверка. Наверное, поэтому и произошло то, что когда-то непременно должно было случиться в жизни Никиты Ваганова, но случилось много раньше положенного времени. Прожевав кусок невкусной высохшей осетрины, Габриэль Матвеевич с удовольствием покрутил головой:

– Замечательная была поездка! – слишком громко для стола на четверых сказал он, и это значило, что его поездка в Черногорск была сверхзамечательной. – Я от нее ждал много, но, поверьте, Никита, был приятно поражен увиденным.

Тесть Никиты Ваганова говорил с легким акцентом, на бумаге невозможно передать этот акцент, например, он произнес «пов-э-рьте» так, что Е слышалось лишь смягченным Э. Одним словом, его акцент передать трудно.

Никита Ваганов давно слышал о черногорском первом секретаре обкома партии, человеке молодом, энергичном, образованном, поднимающем промышленность области буквально супертемпами. Да! Тогдашнего черногорского первого секретаря обкома партии можно было назвать молодым на фоне пожилых секретарей соседних областей. Ему было сорок восемь, он был тезкой Никиты Ваганова – бархатное совпадение – и этот Никита Петрович Одинцов – будущий шеф Никиты Ваганова на долгие-долгие годы его сравнительно короткой жизни.

– В области творятся чудеса! – увлеченно сказал Габриэль Матвеевич. – Сплав леса в хлыстах, звенья по переработке порубочных остатков... Э, да что там говорить, дорогой Никита! Я увидел жизнь, а не Пермитина... – Он вздохнул. – Я, как мальчишка, влюбился в Одинцова. – Подумав, тесть добавил: – Он далеко пойдет. Запомните мои слова, Никита. Одинцов скоро уйдет на самые верхи.

Кто ищет, тот всегда найдет, кто ждет, тот дождется. Посмотрите, как терпеливо сидит над мышинной норкой ваша добрая домашняя кошка, поучитесь у нее терпению, и «мышь» – ваша! Никита Ваганов, пожалуй, с пятого класса сидел над норкой жизни, с малолетства был терпелив и уверен, всегда дожидался, когда появится его «мышь». На словах: «Никита Одинцов скоро уйдет на самые верхи!» – из норы выскочила на яркий свет белоснежная мышь. Цоп! Нет, до «цоп» еще далеко, еще очень далеко было до «цоп», но Никита Ваганов с трудом удержался, чтобы не встать из-за семейного стола и не помчаться немедленно в Черногорскую область, где первым секретарем был Никита Одинцов – человек разнообразно и по-настоящему крупный... Такой крупный, что вся дальнейшая жизнь Никиты Ваганова будет связана с ним, определяться им, направляться и курироваться в полном смысле этого слова. «Никита I» и «Никита II» станут всенародно известными и оба – поверьте! – искренне уважаемыми, заслуженно занимающими самое высокое положение в обществе. Их разъединит только одно – ранняя смерть Ваганова... Не пудрите мозги, не наводите тень на плетень вашими латинскими словечками – Никита Ваганов достаточно сильный человек для того, чтобы умереть с открытыми глазами! Он жить умел, он и умереть сможет. Говорю же вам, не пудрите мозги! Никита Ваганов все знает, хотя ничему и никому не верит; меньше всех наук он верит медицине. Хотите знать, во что он, Никита Ваганов, верит? Ни во что, кроме себя самого! Он не верит ни в бога, ни в черта, ни в любовь, ни в ненависть; он ни во что не верит, кроме себя, – запомните, возьмите это себе на вооружение, сделайте поправочный коэффициент к каждому слову его записок. Буквально через несколько страниц вы прочтете, что Никита Ваганов уверовал в Никиту Петровича Одинцова, – этому тоже не верьте! Он поверил не в него, а в себя, зная, что вместе с нпм-то дождется, когда белоснежная мышь выскочит на яркий свет из темной норы. В себя он верил и верит – возьмите это за ключ к пониманию Никиты Борисовича Ваганова, возьмите, пожалуйста, иначе не читайте написанное. Бросайте читать, если вы этого не поймете. Эти записки не для

ограниченных людей... * * *

– А что в нем такого, необыкновенного, в Одинцове? – сдерживая волнение, спросил Никита Ваганов. – В чудеса не верю.

Тесть ответил:

– Он понял научно-техническую революцию. Этого мало?

Этого было предостаточно. Слыть человеком компетентным в вопросах промышленности – трудно в середине XX века, когда все та же научно-техническая революция заставляет уйму людей достигать высшей степени некомпетентности.

– Я бы на вашем месте, Никита, не мешкая полетел в Черногорск, – сказал тесть. – Материал для любой газеты завидный... В конце концов просто интересно и поучительно... Соня, я допью рюмку. Не каждый день мы сумерничаем...

Ах, умница ты моя! В этот момент Никита Ваганов был готов стать мужем и старшей дочери Габриэля Матвеевича Астангова! * * *

... Никита Ваганов полетит в Черногорск, получит у редактора газеты Кузичева неделю отпуска без содержания, только для того, чтобы иметь право отправить статью о черногорских чудесах в центральную печать.

Глава третья

I

Нелли Озерова сегодня так хорошо выглядела, что Никита Ваганов – вот неожиданность! – потихонечку приревновал ее к «господину научному профессору», чего с ним никогда не бывало и не будет впредь. Этого еще не хватало – ревновать любовницу к ее мужу, знающему о любовнике и равнодушному к этому обстоятельству! И Нелли Озерова – женщина и еще раз женщина – почувствовала, что Никита Ваганов смотрит на нее не так, как обычно, и от этого еще больше расцвела. Она зыбко сидела на своем грубом деревянном стуле, казалось, готовой к старту – или улететь к чертовой бабушке, или завалиться в постель с Никитой Вагановым, который зашел в промышленный отдел, где буквально не могли работать по сей день, узнав, что произошло на бюро, и подозревая о реакции Пермитина на статью Боречки Ганина «Директор».

Экономно улыбаясь, Никита Ваганов сказал:

– Думаю, товарищ Ганин, что ваш очерк наделает еще много шума!

Это было заурядным пророчеством: зазвенел телефон, Яков Борисович Неверов снял трубку и засветился, как светлячок в беспросветной ночи. Он хмыкнул в трубку восторженно, и только поэтому можно было понять, что звонит ответственный секретарь Виктория Бубенцова. Неверов осторожно положил трубку на рычаг.

– Боренька, Бубенцова сообщает о многочисленных откликах населения на твой от-черк!

– Так-то! – сказал вспотевший от радости Борис Ганин.

Ему был дорог очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, очерк на самом деле отличный, кроме того, Борису Ганину нужно было доказать наконец-то, что он умеет писать не только разгромные лихие статьи.

Что касается Никиты Ваганова, то он тоже был доволен: и тем, что его пророчество волшебным образом сбылось, и тем, что очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, наделав много шума, получив широкий отклик, разъярит пуще Пермитина, доведет его до белого каления, заставит в конечном счете окончательно раскрыться. Александр Маркович Шерстобитов ненавистен Пермитину уже тем, что окончил Лесотехническую академию, что не встречал директора комбината хлебом-солью, что при нем Пермитин боялся говорить на профессиональные темы. Кроме того, Пермитин не был уж таким крошечным дураком, чтобы не понять: статья «Былая слава» и очерк «Директор» начали подпиливать ножки его рабочего кресла.

– Ну вот! – сказал Никита Ваганов. – Вызываю духов, табуретки превращаю в пирожное безе. Где аплодисменты? Ах, аплодисментов нет. Оревуар, что значит: «Не горюй, Никита, люди в массе своей неблагодарны». Боря, с вас – выпивка.

Непьющий Никита Ваганов, проповедующий трезвость Никита Ваганов неожиданно напьется, когда будут «обмывать» ганинский очерк о Шерстобитове; они напьются втроем – два Бориса и он, и эта пьянка временно поссорит Никиту Ваганова с Борисом Ганиным и Борисом Гришковым – с этим на самое короткое время.

Одним словом, сейчас в промышленном отделе благословенной газеты «Знамя» назревала радостная пьянка.

– Только всячески призываю к разумности и умолчанию, – сказал Никита Ваганов. – Буэнос ночас, что значит: «Бубенцова не дремлет!»

– Вы сегодня в ударе, Никита Борисович! – сказал Неверов. – Из вас так и брызжет пророчеством и каннибализмом... Правда, я не знаю, почему говорю о каннибализме. Смешно? Может быть, может быть! Вы знаете, в этом мире невозможно все и еще немножко. Вы не находите, Никита?

– Нахожу. Это рубль.

– Приглашаю всех! – заорал Борис Ганн. – Выходим прямо после шести. Не бойсь, Ваганов, будет и закуска. Убери свой паршивый рубль.

Было минут десять седьмого, когда они втроем – два Бориса и Никита Ваганов – вышли из редакционного здания, по жаркой еще улице двинулись к винному подвальчику, который находится под знаменитым на весь бассейн реки рестораном «Север», повидавшим столько бурь, веселий, потерь и находок, что ему мог бы позавидовать любой столичный ресторан. В погребок вели два марша выщербленной, сырой, грязной лестницы, сквозь обитые железом двери доносился прибойный шум алкогольного оживления. Они вошли. Пахло прокисшим вином, шоколадными конфетами, мокрыми опилками и – это главное! – отсыревшими бетонными стенами. За прилавком стояла известная всему пьющему миру Зоя – губительница и палочка-выручалочка. Рассказывали, что она построила пятистенный дом на недоливе, пересортице и процентах с долга, – это походило на правду.

– Занимайте места согласно купленным билетам! – сказал возбужденный Борис Ганин. – Гуляем широко! Как говорит Никита Ваганов, предельно широко.

Многочисленные читатели атаковали телефон Бориса Ганина, благодаря его за прекрасный очерк о прекрасном человеке; совет пенсионеров какого-то предприятия пообещал написать

хвалебное письмо в обком партии, отдельная пенсионерка Р. Коган уже написала письмо в «Правду», журналисты благодарили Бориса Гапина по существу: радовались, что он умеет работать и в жанре очерка. Поздравили Бориса Ганина также из промышленного отдела обкома партии.

– Ого! – приподнял брови Никита Ваганов, когда Борис Ганин поставил на высокий стол две бутылки хорошего вина, большие, литровые. – Начало многозначительное, товарищи!

Никита Ваганов внимательно оглядывался по сторонам, чтобы определиться, так сказать, в пространстве и времени. Погребок был полон, столики на высоких ножках тесно окружали пьющие; винные бутылки тускло светились; погребок гудел, постанывал и, казалось, куда-то двигался, точно река в ледоход. Никита Ваганов узнал несколько известных в городе лиц: бледного, с выставленным, как кукиш, подбородком и маленькими глазами фельетонно плохого писателя, одного художника-анималиста, краснолицего, с отличной мужицкой физиономией известного биолога – любимца сибирского студенчества.

– Не тяни время! – презрительно сказал Боб Гришков, глядя, как Борис Ганин старается вынуть пробку из бутылки. – Втолкай пробку вовнутрь, черт бы тебя побрал, идиота!

Боб Гришков сегодня еще не пил «ни разу» и, конечно, был молчалив и зол, ненавидел весь мир, а копуху Бориса Ганина ненавидел с особой силой. Он отнял у него бутылку, толстым пальцем мгновенно продавил пробку вовнутрь и налил три полных стакана. На закуску были шоколадные конфеты, кусок холодной курицы, «Докторская» колбаса, банка шпрот. Борис Ганин не обманул, купил все положенное для того, чтобы сильно не опьянеть.

– Ну?!

Вспоминая впоследствии этот вечер в погребе, Никита Ваганов будет испытывать двойственное чувство: молодость и сила вспомнятся, предвкушение глобальной долгожданной удачи, хорошие люди, вспомнятся дым, шум, гром, пьяная песня о том, как провожают пароходы, а потом и очень славное, из Новеллы Матвеевой: «...такой большой ветер напал на наш остров...». Хорошо будет вспоминаться этот летний вечер, хотя закончится он довольно гадко, если подходить к случившемуся без спасительного чувства юмора. Впрочем, чем хорошим могло закончиться питейное мероприятие, если начали его трое с двух литровых бутылок? Но – увы, и это были не последние бутылки, а только и только первые. Никита Ваганов вспомнит, как после двух стаканов вина Боб Гришков не сильно, но заметно опьянеет, как Борис Ганин покраснеет до пунцовости, и глаза у него будут блестеть победоносно и счастливо.

... Боб Гришков протяжно, густым и вязким голосом сказал:

– Никита, а ведь ты не умеешь пить! Запомни, милай: нельзя быть пьянее Боба Гришкова, некрасиво, неэтично, опасно. – Он этак по-раблезиански расхохотался. – Боб Гришков – толстый и смешной, Боб Гришков – пропащий человек, от него никто ничего не ждет, так пусть себе живет, как ему, Бобу Гришкову, вздумается. А вот от тебя, Никита, все ждут чего-то, и – главное! – ты сам от себя ждешь чего-то... Тебе надо виртуозно уметь пить! Ты понял, Никита?

А Никита Ваганов и не думал чувствовать себя пьяным. Правда, казалось, выросли столики и люди за столиками, правда, уже речным туманом застилал потолок сигаретный дым; правда, звуки притишились, сделались такими, точно их пропустили сквозь вату; правда – и это очень важно, – Никита Ваганов испытывал жгучее желание пощекотать Боба Гришкова, но не сделал этого, а только удивленно сказал:

– Слушай, Боб! А ведь тебя невозможно пощекотать. Ты, наверное, не боишься щекотки, да?

Неожиданно к этим словам Боб Гришков отнесся серьезно. Он тяжело вздохнул и огорченно сказал:

– А вот боюсь! Как ни смешно, а боюсь!

– Он боится! – подтвердил Борис Ганин.

Почему Боб говорил, что Никита Ваганов не умеет пить, если Никита чувствовал себя предельно трезвым? Ну, что из того, если кружится голова, подкашиваются ноги, руки кажутся привинченными и хорошо смазанными. Конечно, Никита Ваганов за всю свою жизнь выпил не больше литра водки, конечно, он не имел никакого питейного опыта, но что из этого, если он до сих пор совершенно трезв?

– Ты ошибаешься, Боб! Я совершенно трезв, а вот ты пьян в лоск и говоришь, Боб, глупости. Отчаянные глупости!

В студенческой компании Никиты Ваганова, в этом обществе сплошных гениев, эрудитов и тоняг, почти не пили, считали питье плебейством, презирали пьющих, считали их людьми низшего порядка. На двенадцать человек покупали одну бутылку сухого вина, размазывали его по бокалам и говорили, говорили, говорили... Впрочем, Никита Ваганов говорил немного, но он говорил дело, чем и славился в студенческом кружке – его считали перспективным, на него многие равнялись, ему даже подражали. Девчонки наедине с ним были покорны и тихи, даже самые строптивые, но Никита Ваганов не злоупотреблял их вниманием.

– Нет, Боб, ты просто пьян – и точка! – сказал Никита Ваганов и рассмеялся тоже по-раблезиански. – Нельзя же, дорогой мой, переносить с больной головы на здоровую. Это нечестно, это предельно нечестно, Боб!

Прибоем шумел винный погребок под рестораном, пол покачивался палубой парохода... Эти ощущения у Никиты Ваганова всплывут тоже, когда станет он вспоминать день, предшествующий очередной победе над Арсентием Васильевичем Пермитиным. Он отчетливо вспомнит низкий погребок, двух Борисов, певца, что пьяно, но четко выговаривал окуджавское: «... По смоленской дороге столбы, столбы, столбы...» Одним словом, Никита Ваганов напивался первый раз в жизни, первый раз за двадцать пять лет жизни. Он спросил:

– Кто это поет Окуджаву? Хорошо поет.

Боб Гришков ответил:

– Витька Калинин, актер... Славный парень.

– Талантливый?

– Очень. Готовит царя Федора. Я видел куски – ах!

Никита Ваганов увлеченно сказал:

– А нельзя соединиться с этим Калинин! Вот было бы весело.

Боб Гришков сказал:

– Запросто! Витька будет рад с тобой познакомиться, Никита. Он как-то даже просил об этом. И знаешь почему?

Никита Ваганов шутливо надулся и пробасил:

– Кому не лестно познакомиться с гением.

– Примерно правильно. Но дело проще. Витьке нужна союзная слава, и он ее достоин, можешь поверить толстому Бобу Гришкову. А ведь тебя охотно печатает «Заря», и ты шурупишь в драме. Приглядишься, Никита, к нему. Лежит хороший очерк... Так я позову его?

– Ой, Бобище, позови! – Никита Ваганов тряхнул головой. – А может быть, я действительно пьян? Мы по сколько выпили? Уже по три стакана? Гм! Ах, где наша не пропадала! Где наше не про-па-да-л-о-о-о! Петь хочется...

Драматический актер Виктор Калинченко был длиннолиц и бледнолиц; брови у него были украинские – черные, пышные, изогнутые; подбородок – от лучшего киноковбоя. Он был здорово пьян, но все необходимое проделал с грацией и пониманием того, что делает; обменялся рукопожатием с Никитой Вагановым, похвалил его именно за те два материала, за которые следовало хвалить, встал на нужное место и стакан взял со стола не только верным, но изящным движением. Прежде чем выпить, он пропел: «Две холодных звезды – голубых моих судьбы». Когда выпили по очередному стакану, Боб Гришков спросил:

– Когда показываешь царя, Витька? Учти, придем всем гамузом.

Калинченко ответил:

– Через пять дней. – Он закрыл глаза. – Знаете, что я понял?.. Что царь Федор понял... Самое страшное – ханжество! – Открыв глаза, он больно стиснул кисть вагановской руки. – Дайте мне слово не быть ханжой! Обещаете? Тогда я вам процитирую Евангелие от Луки... «Когда ж услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь... Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную...» Да что Лука? Вся Библия пронизана ханжеством...

Витька Калинченко понравился Никите Ваганову, здорово понравился: типичная актерская внешность, прекрасный голос и еще то, что могло пригодиться именно для царя Федора – нервная энергия, сложность, способность к сосредоточению. Все, кажется, было у этого человека для роли царя Федора, и Никита Ваганов подумал, что, может быть, удача сама плывет в руки. Очень неплохо выступить в «Заре» в роли театрального критика, да и «Заре», наверное, нужна театральная рецензия из обычной области. Не все же писать о столице.

– Я сегодня певчая птичка, – сказал актер Калинченко. – С утра привязались мотивы Окуджавы, и я, честное слово, лопну, если не выпоюсь. – И он запел, на этот раз негромко, из уважения к трем журналистам. – «За что ж вы Ваньку-то Морозова...»

Это было только начало, старт, затем четверо переберутся в грязную и тесную комнату Калинченко, притащат с собой вино и бутылку водки, из которой Никита Ваганов не отопьет и грамма. С него хватило и вина, как выяснится очень скоро. Через пять минут после вселения в комнатушку актера Калинченко произошло неожиданное – уснул мертвым сном виновник торжества Борис Ганин. Сел за стол, с размаху, один, выпил стопку водки, покачнулся, повалился на замызганную кровать и уснул, так сказать, отпал.

– Пусть, пусть! – актер негромко настраивал гитару. – Я его знаю: через полчаса вернется в строй.

Актер демонстрировал чудеса. К их высокому столику он подошел прилично пьяным, выпил два стакана вина, потом еще один – уже перед выходом из погребка – и отрезвел так, что сейчас он оказался самым трезвым в компании, где один из бойцов уже вышел из строя. Настраивая гитару, он задумчиво глядел в темный угол комнатушки, ухо наклонил к гитаре, и брови у него были сладострастно-трагическими: таким бывает лицо у всех гитаристов, настраивающих свой инструмент. Он взял звучный аккорд и начал смотреть в переносицу Никиты Ваганова. Конечно, он это делал не потому, что хотел подладиться под него, платил за будущую хвалебную рецензию, но весь вечер он пел только для Никиты Ваганова и для

одного Никиты Ваганова. Может быть, это объяснялось просто: песни Окуджавы он двум Борисам пел давно и часто.

– Спеть, что ли, Таганку? – сам себя спросил Калинин, уже напевший десяток песен. – Мне нравится мотив, хотя песенка проста, как гвоздь. – Он закрыл глаза, закрыл красивые глаза красными от усталости веками. – Проста, как гвоздь, понимаете ли, товарищ Ваганов?

Борис Ганин безмятежно спал, Боб Гришков допивал и доедал, ненасытный зверюга, за окнами комнатки неустанно скрежетали трамваи, совершая в этом месте крутой поворот. Спать, читать, думать, просто жить в этой комнате живому человеку было невозможно, и только, наверное, актер, пребывающий вне дома круглыми сутками, мог селиться в квадратном чулане, именуемом комнатой. А ведь, как случайно выяснилось, три месяца назад здесь жили трое – еще жена и ребенок Виктора Калинин. Жена, конечно, не выдержала, убежала, и убежала не от Виктора, а от актеров и актерства.

– Не буду я петь Таганку! – внезапно ожесточенно прохрипел актер. – Не буду петь вообще! Хочу на воздух, хочу смотреть, как провожают пароходы. Друзья, уйдем отсюда, уйдем отсюда, друзья!

Боб Гришков, икая и покачиваясь, ответил:

– Хорошо! Пойдем смотреть, как провожают пароходы. Водку и вино берем с собой. Эй, ваше скотство, проснитесь! Борька, дело кончится холодной водой. Ты слышишь меня? Я не шучу! Идиот несчастный!

Борис Ганин спал, Боб Гришков мог легко отказаться от выхода из комнаты актера, Никита Ваганов не хотел смотреть, «как провожают пароходы». Короче, не надо было выходить из дома, но не волшебник же Никита Ваганов, не маг, чтобы предвидеть результат прогулки на пристань для наблюдения за тем, «как провожают пароходы». Однако дело кончилось большой или малой – как расценить? – неприятностью для Никиты Ваганова, который к моменту выхода был не пьян, но и не трезв, а только чувствовал громадную усталость. Самым трезвым в их компании по-прежнему был больше всех пивший драматический актер Виктор Калинин, о котором Никита Ваганов, когда конфликт приглушится, напишет хорошую рецензию для газеты «Заря»... Прелюбопытнейшего царя Федора сыграет актер Калинин – мудрого, сильного в своей слабости человека, прозревшего до ясновидения. С рецензии в газете «Заря» начнется работа Виктора Калинин в одном из московских театров, в кино и на телевидении... А сейчас они вышли из дома, по переулку пошли в сторону зарева, что полыхало над Сибирской пристанью. Сначала шли молча, поддерживая приходящего в себя от свежего воздуха Бориса Ганина, потом, когда он пошел относительно твердо, двигались по отдельности и посередине переулка. Актер Калинин другим, не гитарным голосом запел: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...» И пел он прекрасно, Виктор Калинин на самом деле был хорошим актером и – это скоро выяснится! – хорошим человеком, а вот Никита Ваганов проявит себя гнусно и будет всю жизнь вспоминать переулочек и песню «Вечерний звон», ставшую для него навсегда частью этого переулочка.

Неотвратимое приближалось. Старинный романс на стихи Козлова теперь пели все четверо. Боб Гришков вторил актеру прекрасным верным басом, Борис Ганин старательно подпевал, Никита Ваганов мычал и даже – пьяная скотина! – изображал колокольный звон, впрочем, весьма похоже. Они не заметили, как сзади подкатил милицейский «газик» ночной патрульной службы и, опередив их, остановился. Из машины выпрыгнули сразу трое, причем так ловко и согласованно, точно были на одной пружинке, пошли – нет, стали ждать!.. Никита Ваганов действовал автоматически, видит бог, он не хотел делать того, что сделал, не обдумывал свой поступок заранее, но он действовал на диво осмысленно, логично и последовательно. Никита Ваганов, только что изображающий звон колоколов, выпрямился,

заложив руки за спину, задрал подбородок, перестал мгновенно качаться, перестал на несколько секунд вообще быть пьяным и похожим на тех троих, с которыми пил водку и пел песни. Чуждый происходящему, важный, начальственный, суровый, он прошел, точно нож масло, приятелей и троих из патрульной службы, причем милиционеры поспешно раздвинулись, чтобы открыть путь такому значительному, явно неподсудному человеку, как Никита Ваганов, не имеющему – это было очевидно милиционерам! – никакого отношения к людям, в двенадцатом часу ночи нарушающим покой означенного переулка и всего города. Никита Ваганов услышал, как за его спиной пророкотал голос начальника патруля:

– Будем садиться, граждане!

Никита Ваганов улыбнулся, и вот эту улыбку, эту проклятую улыбку пьяного, но ловкого предателя, он запомнит на всю жизнь...

... На синтетическом ковре в ожидании приговора он ярко вспомнит и об этом переулке, милицейском патруле, который он разрезал, как нож масло, чтобы остаться беспорочным, как папа римский. Привода в милицию – этого еще не хватало тому Никите Ваганову, каким он уже становился и хотел стать завтра, но ему дорого обойдется финт в переулке: почти всю жизнь время от времени будет лишать его душевного комфорта... Самое забавное, что история в переулке кончилась не только благополучно, но и смешно. Схваченные патрулем, трое не стали оправдываться и уверять, что «это в первый раз», охотно согласились пойти в милицию, но старший патруля узнает актера Виктора Калининко, расплывется в благодарственной улыбке, спросит: «Вы играли сержанта милиции? Хорошо играли, а вот безобразите, товарищ Калининко! Стыдно! Нехорошо! Сидели бы себе дома!» И добавит вдруг: «А хорошо пели, душевно!»

II

Дома Никита Ваганов камнем повалится в постель и мертвенно заснет, устав от всего: вина, людей, песен. Он проснется, вспомнит вчерашнее, ничего грешного в своих делах пока не найдет, так как из воспоминаний о вчерашнем вообще улетучился эпизод с милицией. О предательстве ему напомнит телефонный звонок Бориса Ганина – самого крупного максималиста: «А ты ведь подлец, голубчик». Весть распространится с телефонной скоростью... Окажется, что патруль все-таки узнает, кого пропустил сквозь себя, как нож сквозь масло, потешаясь, расскажет приятелям – и пошло-поехало! За утренним кофе Боб Гришков расскажет о случившемся родной жене Рите, та расскажет жене мистера Левэна – и пошло-поехало!

После звонка Бориса Ганина в спальню вошла Ника, горько сказала:

– Ах, как это гадко, Никита! Как ты мог это сделать, Никита? Зачем? Как стыдно! Как стыдно!

Он хрипло – вчерашняя выпивка – ответил:

– Я сам не представляю, как это произошло...

– Ну, как ты мог, как ты мог?! Не дай бог, узнает папа! Не дай бог!.. – Она чуть ли не плакала.
– В моей школе об этом знают уже три человека, самых грязных и отвратительных сплетника. Разве ты не понимаешь, Никита, что ты на виду, за тобой следят, тебе завидуют. Как ты мог, как ты мог?

Он вспомнил все, до малейшей подробности: как заложил руки за спину, как задрал

подбородок, как приобрел осанку и походку сверхважного начальстве, как гордо посверкивали его властные карающие очки... Он сказал:

– Слушай, Ника, я был предельно пьян. Тебе не приходит в голову, что я не владел собой?..

И сам понял, как смешон и гадок! Предал товарищей, предал себя, предал все и вся – вот ведь что произошло, гражданин Никита Борисович Ваганов, в переулке.

– Я растеряна, Никита, я просто растеряна. Я не знаю, что делать.

Он ответил:

– Работать. Идти на очередной урок, а дело с переулком... Я заглажу вину, Ника.

– Ты понимаешь, что виноват, да, Никита?

– Я не кретин! До вечера!

Никита Ваганов в который уж раз вспомнил Москву, длинную Первомайскую улицу, по которой до сих пор ходит трамвай. Моросил холодный дождь, асфальт был скользок, точно его намылили, грязь и смрад царили на земле, смрад и грязь; мокрые вороны, серые от грязи автомобили, мокрые и злые люди, шум и треск, крики и вопли, звонки и сирены, черные деревья, серые дома-башни. Старушка с короткой вуалеткой на шляпке, старушка в черных перчатках и с черным зонтиком, старушка, похожая на давно потерявшую голос опереточную актрису, старушка с напудренным носиком бежала к трамваю с еще открытыми дверями, стоящему возле красного светофора; бежала она, мелко-мелко передвигая ногами, наклонившись вперед, так как давно не могла разогнуться, бежала изо всех старушечьих сил, задыхаясь, жадно ловя воздух маленьким, но широко открытым ртом. Сквозь стекло на старушку ясно и внимательно смотрела девчонка в берете, водитель трамвая, девчонка с розовым лицом поросенка – детской копилки для медных монет... И вот двери трамвая со скрипом пришли в движение, поползли друг к другу, чтобы закрыться. Старушка закричала, споткнулась и упала на мокрый и скользкий асфальт...

– Фу ты, черт! – выругался Никита Ваганов, редко доводивший до конца воспоминания об упавшей на мокрый асфальт старушке. – А ведь дела-то... Ля-ля-ля и ля-ля-ля!

Он возьмет себя в руки, почистит зубы и примет ледяной душ, зверски разотрется полотенцем, выпьет подряд два больших стакана кофе, хорошо просветлившего больную с похмелья голову. Ах, возьми тебя черт, Борис Ганин, с твоим очерком о хорошем директоре. Идиот и дурак! Безвольная и глупая скотина этот Ваганов: за один только вечер растеряно все то, что наработывалось годами, месяцами, днями, часами кропотливой, деятельной, напряженной и бессонной жизни. А еще... Перед тем как бросить трубку, Борис Ганин гадливо проговорил: «Так вот что скрывается за очками!»

– Мне нельзя пить! – вслух сказал Никита Ваганов, и вот с этой минуты и до конца дней своих не возьмет в рот спиртного, не выпьет ни капли алкоголя.

Никита Ваганов позвонил по телефону редактору, поздоровавшись, сказал угрюмо:

– Вы мне обещали неделю отпуска без содержания. Можно ли сегодняшней день считать первым? Спасибо!

Голос редактора был веселым и теплым.

В Черногорск Никита Ваганов прилетел на сиреновом рассвете, привез его грозно гудящий Як-40, который всю дорогу норовил забраться повыше, но не мог, видимо, по своим техническим данным, и Никита Ваганов искренне переживал неудачи пилотов, жалея всех вместе и каждого по отдельности.

Его встретил инструктор обкома партии по печати и, едва пожав руку, сделал печальные глаза. Он сказал:

– Вряд ли, вряд ли... Все эти дни товарищ Одинцов сидит на химии... Тем более что вы внештатный корреспондент «Зари»... Вряд ли...

Это значило, что Никита Петрович Одинцов – первый секретарь обкома партии – занимался химической промышленностью Черногорской области, вникал в ее проблемы, задачи и нужды и, видимо, никого не принимал, кроме химиков или людей, имеющих отношение к химии. Впоследствии выяснится, что так оно и было, – Никита Петрович Одинцов не любил разбрасываться. Но Никиту Ваганова – инструктор только пожал плечами – он принял почти мгновенно. Ведь уже и тогда имя Никиты Ваганова звучало: автор солидных критических статей, помещенных в «Заре», опубликовал свои лучшие ранние очерки, прославившие их героев до того, что один из них даже получил высшую награду – стал Героем Социалистического Труда. Такое произошло с мотористом бензопилы Николаем Щетинкиным. Когда стало известно, что Одинцов примет Ваганова, как только закончит междугородный телефонный разговор, инструктор на него уже поглядывал изумленно.

– Надеюсь, вы мне заказали в гостинице не люкс? – спросил Никита Ваганов.

Он ответил:

– Люкс!

– Вот это зря, дорогой мой товарищ. А простые номера есть? Дело, разумеется, не в деньгах...

... Аскетизмом он заразился в родном доме. Аскетизм проповедовала мать Никиты Ваганова, неистовая читательница и кинозрительница, равнодушная к жизненным благам, настроенная одинаково враждебно и к успеху, и к поражению, убежденная в том, что счастье живет в самом человеке, как пчелы в улье...

Первый секретарь Черногорского обкома партии принял Никиту Ваганова через семь-восемь минут. Дело происходило в кабинете с деревянной обшивкой, и дерево это шло Никите Петровичу Одинцову, почему – объяснить трудно. Наверное, потому, что деревянный и очень небольшой кабинет делал первого секретаря обкома – суховатого и резкого на первый взгляд человека – мягче и проще...

... Года два-три спустя Никита Ваганов твердо будет знать, какой это добрый, мягкий и – простите! – нежный человек, Никита Одинцов... А сейчас он увидел занятого, сосредоточенно трудящегося человека. Инструктор был прав: первый секретарь «вгрызлся» в химию, и кабинет был начинен химией. Схемы, карты, модели, прочее и прочее; на столе – справа и слева – лежали новые специальные издания по химии; пахло в кабинете чем-то едким: видимо, недавно побывали рабочие-химики, вызванные для беседы прямо из цеха.

– Садитесь поудобнее, Никита Борисович. У нас с вами есть пятнадцать минут.

Это был царский подарок. Ваганов осторожно разглядывал Одинцова, раздумывая, кого из знакомых он напоминает. Это испытанный прием: незнакомца сравнить со знакомым внешне

человеком, найти истинность похожести и вести себя соответственно, как бы ориентируясь на знакомый характер. Никита Петрович Одинцов походил на Володьку Белякова, соклассника, целеустремленного и фанатичного малого, пригодного и на лидерство, и на точную науку, только он, Одинцов, дал бы сто очков форы этому сокласснику. Никита Петрович был рожден лидером – он им был, имел склонность к энциклопедичности и добился кое-чего в познании мира. Внешне Никита Одинцов – тезка Никиты Ваганова – был человеком среднего роста, крупноголовым, прямоплечим и подвижным. Руку он пожал в меру энергично, двигался резко и быстро, его большие карие глаза, чуть-чуть женские, смотрели внимательно на уже известного ему как читателю Никиту Ваганова.

– Чем могу быть полезен, Никита Борисович?

Ваганов ответил не сразу. Он не случайно сделал большую паузу после вопроса Одинцова. Это его метода – не сразу отвечать на вопросы, какими бы простыми и невинными они ни были. Умение отвечать на вопросы – это не придуманное искусство, а целая наука и большое откровение. Поверьте, много крупных бед люди терпят от того, что не умеют отвечать на вопросы. Можно дать несколько советов. Даже если вас спрашивают, понравился кинофильм или не понравился, – не торопитесь, так как вопрос по сути провокационен: посягает на ваши права, на внутренний мир, наконец, на мировоззрение; невинных вопросов не бывает – зарубите себе на носу. Научиться отвечать на вопросы ближних своих и дальних – значит выиграть частично эту забавную игру, называемую жизнью. Вот почему Никита Ваганов не сразу ответил на вопрос Никиты Одинцова: «Чем могу быть полезен, Никита Борисович?» Минуту, не менее, он внимательно разглядывал модель химической установки для производства аммиака, и по его лицу было видно, что Никита Ваганов не дурака валяет, а предельно серьезно относится к «проходному» вопросу первого секретаря. Наконец он сказал:

– Как хотите, так и понимайте, Никита Петрович, но я еще не знаю, чего хочу от Черногорской области. Простите! – И сделал паузу. – Короче, я некомпетентен, но хотел бы стать компетентным. – И еще одна пауза. – Простите, у меня интуиция. Уверен, что материал о вашей области – какой, пока не знаю, – до зарезу нужен газете «Заря». * * *

... С этой фразы, возможно, и началась их длинная дружба, крепнущая с каждым днем, и в тот час, когда Никита Ваганов будет стоять на синтетическом ковре, Никита Петрович Одинцов – человек всегда занятый – будет сидеть на «вертушке», то есть особом телефоне, полный беспокойства и страдания за Никиту Ваганова, тезку, друга, верного друга и поклонника без тени лести...

А тогда... Своим живым умом он понял, каким ответственным, способным на предвидения и адский труд человеком был двадцатипятилетний нештатный корреспондент газеты «Заря» Никита Ваганов, прилетевший в Черногорскую область, чтобы найти один из самых значимых материалов в своей журналистской работе. Одинцов сказал:

– Если хотите, с вами будет работать заведующий промышленным отделом... – Он вздохнул, вздохнул откровенно и горько. – Мы пока еще ничего не можем сделать радикального в сельском хозяйстве. Вот я и подумал, что вам будет интересна лесная промышленность. Впрочем... Если хотите критиковать руководство сельским хозяйством, то и в этом случае вам не вредно побеседовать с заведующим промышленным отделом. Судьба сельского хозяйства сейчас в руках промышленников.

Одинцов нравился Никите Ваганову все больше и больше, он поднимал свои акции от секунды к секунде, и действительно вагановская тонкая интуиция – эта интуиция не хвастовство, а факт! – покрывалась толстым и надежным слоем блестящей удачи...

... Мне еще захочется в этих записках хвастаться, хвастаться напропалую, но пусть бросит в

меня камень тот, кто поймает на хвастливом вранье. Я человек до такой степени сильный, что, стоя одной ногой в могиле, легко могу обойтись без приукрашивания жития Никиты Ваганова, я просто отдаю ему должное... * * *

– Габриэль Матвеевич Астангов тоже советовал мне посмотреть лесную промышленность, – сказал Никита Ваганов. – Понимаю, он ничего, кроме леса, не видит, но... Я к нему прислушиваюсь.

– И отлично! И отлично! – радостно сказал Одинцов. – Я полон уважения к Астангову. – Он покачал головой и улыбнулся. – Два часа я уговаривал его перебраться в нашу область, но... Габриэль Матвеевич уперся. И это мне понравилось!

Неожиданно для себя, словно хвастливый мальчишка, Никита Ваганов ляпнул:

– Габриэль Матвеевич – мой тесть.

Когда он познакомится достаточно подробно с лесной промышленностью области, когда придет к Одинцову для окончательной беседы, Одинцов выдаст два таких фонтанчика бахвальства, что Ваганов улыбнется снисходительно и подумает: «Совсем еще зеленый!» А он, наверное, сейчас подумал о вагановской «зелености». Однако Одинцов ничем не показал своего отношения к дурацкому «Мой тесть!». Приподняв брови, он сказал:

– Ах, вот как? Поздравляю!

И все-таки именно с этой секунды отношение Никиты Петровича к Никите Ваганову изменится. Он уже не будет считать его такой загадочной фигурой, какой Ваганов показался после первой фразы о незнании причины своего приезда в Черногорскую область, но, полный уважения к его журналистской работе, всемерно поможет разобраться в лесных проблемах и... станет другом! Поверьте, жизнь Никиты Ваганова развивалась бы по-другому, коли бы он не ляпнул мальчишескую хвастливую фразу «Мой тесть!». Из нее Никита Одинцов поймет, что за многозначительной и вкрадчивой манерой держаться – Ваганов тогда, в Черногорске, был многозначительный и вкрадчивый – скрывается по крайней мере не холодный подлец. Ошибется он или не ошибется, пусть судит об этом читатель исповеди. * * *

... Слово найдено. Я пишу Исповедь, но не хочу исповедоваться, то есть каяться, а ведь исповедь всегда покаяние. Итак, я не хочу, но каюсь, и – идите все, если думаете, что я боюсь умереть. Скорее всего мне просто нечего делать: сатрапы от медицины запретили мне все человеческое, кроме права писать, и я, привыкший не расставаться с пишущей машинкой, нанизываю слово на слово, абзац на абзац... Машинку я купил в Черногорске, через день после встречи с Одинцовым, когда случайно забрел в комиссионный магазин. До этого дня я работал шариковыми ручками, работал легко, а здесь стояла на полке совершенно новая «Эврика» и стоила чуть-чуть дешевле, чем в магазине. Я обрадовался: «Покажите!» Эта машинка жива до сих пор, на ней я и пишу сейчас, то есть рассказываю о первой встрече с моим тезкой Никитой Одинцовым...

Он сказал:

– Странно. Корреспонденты обычно просят у меня минимум полчаса, а мы не работаем и десяти минут... И вы ничего не записываете.

Ваганов неторопливо спросил:

– Вы считаете несерьезным мой подход к делу?

– Напротив... Мне нравится, что вы думаете, а не пишете лихорадочно. – Он хорошо улыбнулся. – Обычный вопрос «Что вы считаете главным в партийной работе?» не

задавайте, а?

– Не задам. Я знаю, что главное в партийной работе.

– Ах, вот как? Ну и что же?

– Главное в партийной работе – сама партийная работа.

Никита Петрович Одинцов засмеялся:

– А ведь правильно!

... Первый секретарь Черногорского обкома партии Никита Одинцов не знает в эти минуты, что очень скоро станет работником Центрального Комитета партии, займет крупнейший пост, сделается человеком огромной важности; он вообще относился к категории тех людей, которые умели предвидеть все, кроме своего продвижения вперед. Начав жизнь с инженера-инструментальщика, Никита Одинцов делал особенно хорошо только одно – любую работу, и его, как сейчас Никиту Вагапова, пронзило предчувствие небывалой чрезвычайной удачи, вызванной тем, что Одинцов встретился с Вагановым, а Ваганов с Одинцовым...

– Познакомьте меня, пожалуйста, с заведующим промышленным отделом.

Заработала селекторная связь.

– Еще раз здравствуйте, Анатолий Вениаминович! Не найдется ли у вас времени, чтобы зайти ко мне на минутку? Спасибо!

Это не рисовка, так как в Черногорском обкоме было возможно и такое: человек, вызванный Первым к селектору, отвечал: «Если можно, через десять минут, Никита Петрович?», – и Одинцов отвечал: «Разумеется!» Это было нормальным только в таком обкоме партии, где люди загружены предельно, где каждая минута чрезвычайно ценилась... Все эти тонкости и нюансы, впрочем, будут отражены в вагановских материалах о Черногорском обкоме партии... Глупо! Глупо думать, что он писал о самом Одинцове. Его фамилию он упомянул однажды, да и то мельком, но все остальное – кардинальная перестройка лесозаготовок – было только и только про Одинцова. В областях часто называют первого секретаря обкома хозяином. В Черногорской области «хозяин» не привился. Одинцов буквально в первые часы работы показал некоему руководителю такого «хозяина», что у того долго подгибались колени... Однако, как ни исхитряйся, материалы о Черногорской области и особенно о лесной промышленности были материалами о Никите Одинцове. Он узнавался в каждой строчке, в каждом абзаце. * * *

... Хотите знать, что я думаю о лести и подхалимаже? Извольте! И наблюдения за другими людьми, и мой собственный опыт, и книги убедили меня в том, что лесть и подхалимаж неистребимы, как Вселенная. Нет и не будет человека, который в какой-либо форме – иногда предельно утонченной – не откликнулся на лесть и не поддастся сладким речениям подхалимов! Это точно. Самые сильные и раскрепощенные в этом лучшем из миров люди льстецов и подхалимов ругают и бранят, высмеивают и даже наказывают, но – запомните навечно! – никогда не отстраняют от себя, если, наоборот, не приближают. Так уж устроен человек, так уж он задуман, и этому есть оправдание. Теперь модно говорить о комплексе неполноценности, наличие комплекса неполноценности приписывают определенным людям определенного круга или социальной группы, но ведь это блажь, трусость, желание по-страусиному спрятать голову в песок. Комплексом неполноценности страдают – интенсивность разная – все люди на земле, в отдельности и сообща. Короли и шуты, миллионеры и босяки, писатели и циркачи, женщины и мужчины. Все! И как нужен каждому человеку свой льстец, свой подхалим, и нет на земле человека, который бы не имел своего льстеца или подхалима. Мужчина славословит красоту женщины, женщина – мужскую силу

мужчины; мать льстит ребенку, ребенок – матери, друзья самим фактом дружбы льстят друг другу, но и больше – внутри дружбы, как и брака, всегда существует объект для лести и его носитель. Я не был льстецом и подхалимом – этим занимались другие – при партийном деятеле крупнейшего масштаба Никите Одинцове. А при мне – редакторе – кормилась своя стая льстецов и подхалимов. Итак, каждый человек – и льстец, и объект лести, вплоть до высшей высоты. Можно ведь верующим льстить богу, а атеистам – судьбе. Это говорю я. Никита Ваганов, умирающий так рано и так глупо, черт бы побрал!.. * * *

Первый секретарь Черногорского обкома партии познакомил Никиту Ваганова с Анатолием Вениаминовичем Покрововым, заведующим отделом промышленности.

– Никита Борисович Ваганов. Вам знакомо это имя, Анатолий Вениаминович? Присаживайтесь, я буду краток. – Одинцов повернулся к Ваганову. – Приступая к изучению лесной промышленности области, надо иметь в виду, что как отрасль она самая древняя. Я об этом говорю потому, что мы не хотим отказываться в какой-то степени от традиционных методов, хотя все переводим на индустриальные рельсы. Вот это единственная черта, на которой хочется задержать ваше внимание, Никита Борисович. А остальное... Вы же говорили, что главное во всякой работе – сама работа. Желаю успехов!

... Успехи были блестящими, хотя на самое беглое знакомство с новшествами в лесной промышленности области Никите Ваганову пришлось потратить пять дней и шесть почти бессонных ночей. Во-первых, попросту интересно, а во-вторых – и это главное, – было такое ощущение, что он открыл целый «нефтяной континент» новшеств. Дело кончилось не тем успехом, которого ему пожелал Одинцов, а успехом двух талантливых людей на целую жизнь вперед. Черногорские дела могли кончиться обычным: «Хорошо работаете, товарищ Одинцов!», но Никита Ваганов сделал все для того, чтобы «нефтяные фонтаны» поднимались все выше и выше, и всего за несколько месяцев убедил страну в том, что нет рысака резвее Черногорского. Сам Одинцов – сообщаю вам по секрету – только с помощью Никиты Ваганова понял крупность происходящего и не стал смотреть на ход лесозаготовок как на прилично организованное дело – всего-то! Встреча Ваганова с Одинцовым была тем вторым счастливым случаем, который выпал на долю Никиты Ваганова за сибирскую жизнь. Первым счастливым случаем – стократно меньшим, чем знакомство с Одинцовым, – был Егор Тимошин. Согласитесь, что два счастливых случая – это предельно немного для человека, который умеет терпеливо ждать, постоянно искать и создавать нужную ситуацию. Библия права: «обрящете!» А что, что обрящете, если через несколько страниц та же Библия говорит: «Суета сует и всяческая суета». Ну уж фиг! А газета «Заря», которую он, Никита Ваганов, сделал самой лучшей газетой? А дети?.. Бедный Костя! Жизнь пройдет по его узкой и тонкой спине горячим, слишком горячим утюгом и не выправит, не выгладит, а, наоборот, согнет в три погибели. Бедный, бедный Костя – сын главного редактора процветающей газеты «Заря». Что касается дерева, то Никита Ваганов его посадил – это береза у левого крыла здания редакции...

IV

... Хорошо, очень хорошо запомнился этот день! Начался он сиреневым рассветом на аэродроме, закончится сборами в дорогу в ординарном номере типовой гостиницы, предложенном взамен номера-люкс только после вмешательства заведующего промышленным отделом обкома Покровова. Повторю, Никита Ваганов не позволял себе десятирублевых номеров не из экономии, а потому, что был аскетом и остается им до сего дня. Его не купишь на автомобили, заграничные коньяки, дачи и шашлыки с модными писателями. Никита Ваганов шьет костюм раз в три года, в даче занимает одну комнату.

Дешевка все это, дешевка! Власть – вот бесценная вещь, и не власть над людьми, а власть над делом. Вот именно это всегда, везде, повсюду привлекало Никиту Ваганова – власть над делом, сам процесс делания, сама работа. Он любит работать, умеет работать и всегда хочет работать – это не такая уж распространенная вещь, как может показаться. Одни любят работать, но не умеют, вторые умеют работать, но не хотят, третьи не хотят работать, не умеют и не любят работать. Любить, уметь, хотеть всегда работать – страсть к этому, собственно, стала цементом, скрепившим дружбу Одинцова и Ваганова... * * *

– Делайте критические замечания, – попросил Анатолий Вениаминович Покровов. – Вы, как я вижу, прилично разбираетесь в лесе. Делайте замечания – со стороны лучше видно...

Эти слова были отголоском стиля работы первого секретаря Черногорского обкома партии Никиты Петровича Одинцова. Критику он не развивал, а насаждал, не терпел речей с длинным перечислением достижений вначале, а потом – мельком! – «еще имеющихся, к сожалению, недостатков». Он был бойцом и строителем, Никита Петрович Одинцов, человек, оказавший на жизнь Никиты Ваганова еще большее влияние, чем бывший собственный корреспондент газеты «Заря» Егор Тимошин. * * *

... Смешно и горько, горько и смешно! Чтобы стать впоследствии главным редактором «Зари», одному человеку он должен был помочь спуститься с горы, второму помочь одолеть гору. Отчего же прикажете не считать Егора Тимошина... Эх, если бы не Егор Тимошин с его безразличием к званиям и степеням, студенческое пари выиграл бы, вероятнее всего, Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев – сокурсник и приятель. Вы еще узнаете, как Валька Грачев будет подсиживать и калечить Никиту Ваганова, хотя своим первым заместителем Никита Ваганов сделает его без колебаний. Почему он, собственно, должен был колебаться? Потому что Валька Грачев, Валентин Иванович Грачев, был первостатейным карьеристом, хитрым и беспощадным, но Никита Ваганов мог себе позволить роскошь держать в качестве правой руки самого ловкого карьериста. Он не забыл, что в год окончания университета Валька Грачев снисходительно поучал Никиту Ваганова:

– Ты так и закиснешь в своей провинции, дурак! – цедил Валька. – Ты не первый и не последний, кто так и не вернулся с периферии. Где Валерка Ванин? Иван Клименко? Заведуют отделами в областных газетах. Дурак! Два-три случая возвращения на белом коне, и сто – мимо! Считать надо уметь, обобщать и – думать, черт побери! Я остаюсь в Москве, и будем еще посмотреть, чем это кончится.

Это кончилось тем, что Никита Ваганов поднял Валентина Ивановича Грачева на достойную его высоту, тем более что тот не работал – он «ишачил» на газету, переплюнул самого Ваганова, сидел в редакции двадцать пять часов в сутки. Вот это и было привлекательным для Никиты Борисовича Ваганова... Если вам не нравится, что я часто называю себя по имени и фамилии, не читайте мои записки, да и дело с концом! Человек с синтетического ковра имеет право обращаться с самим собой как с тленной вещью... Впрочем, не торопитесь хоронить Никиту Ваганова, он еще «наделает шороху»!.. * * *

... Никита Петрович Одинцов строил, возводил, делал, поднимал, и он сразу понял, как Никита Ваганов относится к увиденному. Это надо запомнить: никогда Никита Ваганов не состоял при Никите Одинцове подхалимом и льстецом; он был необходим Одинцову, а Одинцов – Ваганову. Первый секретарь обкома партии Никита Петрович Одинцов в ту же секунду, как Ваганов появился в его кабинете, понял, что тот увлечен, полон увиденным. Но Одинцов все еще доругивался с директором электротрампового завода.

– Безответственность хуже воровства! Бездействие надо карать по законам военного времени! Некомпетентность подсудна. Выжигать каленым железом! Вы согласны?

– Да.

– Вяло! А ведь вы не из равнодушных.

– Пожалуй, да.

Жизнь подтвердит, что с Одинцовым Ваганов состоял на равных, мало того, был спокойнее, выдержаннее, суше и дальновиднее его «на коротких дистанциях». Да, в глобальных предвидениях Никита Петрович себе равных не знал. Сейчас он понемногу остывал, наблюдал за Никитой Вагановым пристальней, наконец понял, что ему не просто нравится лесная промышленность Черногорской области, а он ошеломлен увиденным. Для проформы Никита Петрович сухо спросил:

– Вы целесообразно использовали время? Не жалеете?

Это было легким ерничеством, и Никита Ваганов ответил:

– Трудно еще переварить недельные наблюдения, но... Никита Петрович, у меня руки дрожат. Боюсь, что под пером многое поблекнет. – Он воодушевился. – Мне надо срочно застолбить тему. Позвольте дать для начала информацию о полугодовых итогах работы комплекса. Двадцать пять строк.

– Не рано ли? Понимаете, Никита Борисович...

– Ей-богу, не рано, Никита Петрович! Цифры – пальчики оближешь.

– Теперь о главном, – энергично сказал он. – Я хочу дать полосу о лесной промышленности вашей области, Никита Петрович. Для этого нужны две вещи: позвольте мне немедленно позвонить в столицу и пересолите меня в обкомовскую гостиницу. В гостинице «Черногорск» нельзя, видимо, держать документы, которые мне доверил Анатолий Вениаминович Покровов... Кстати, он прекрасный человек и работник. Без него я пропал бы, честное пионерское, Никита Петрович!

Решительный и одновременно полушутливый тон с этим «честное пионерское» тоже понравился Одинцову. Не раздумывая, он поднялся и... посадил Никиту Ваганова на свое собственное место. А сам стал неторопливо расхаживать по кабинету, пока Никита Ваганов разговаривал с главным редактором «Зари». Ему позволили занять целую газетную полосу под рассказ о лесной промышленности Черногорской области.

А после того как его поселят в специальной обкомовской гостинице и с разрешения Одинцова предоставят все нужные документы, Никита Ваганов позвонит в Сибирск и выпросит у редактора Кузичева еще неделю в счет очередного отпуска.

V

Питание Никите Ваганову устроили в обкомовской столовой и выписали пропуск в плавательный бассейн. Именно в бассейне произошел памятный разговор. Они отдышали, и Никита Петрович Одинцов насмешливо сказал:

– Мы с вами лед и пламень. Не обижайтесь, но в первые минуты знакомства я подумал, что вы ложно многозначительны и по-пижонски притворно легкомысленны. Ошибся! Я это понял, когда вы разговаривали по телефону со своим редактором. Вы ничего особенного не говорили и не делали, но тем не менее...

– Спасибо! Мне с вами интересно. Как газетчику и как человеку. Ей-богу, я не подхалим! Я,

Никита Петрович, просчитал: подхалимом, на круг, скажем, в десять лет, быть невыгодно.

– Эт-то почему?

– Просто! Раз в десять лет происходит такая перестановка начальства, что тот, кому подхалимничаешь, становится тем, кому надо грубить, и наоборот... Вы смеетесь?

Он не смеялся, он хохотал, а просмеявшись, хлопнул Ваганова по плечу:

– Вы забавный и умный. Я уж не говорю, что талантливый. А что, если мне называть вас просто Никитой?

Никита Ваганов важно ответил:

– Разрешаю. Мало того, польщен... Ну, держитесь, Никита Петрович, Никита Ваганов превращается в водоплавающего зверя!

Вот каким был памятный разговор с Никитой Петровичем Одинцовым в бассейне. А еще через два дня Одинцов прочел готовую к немедленной печати полосу, прочел ее дважды, отложив все экстренные дела. Он поднял глаза, полные мысли, затуманенные мыслью, потер большим пальцем правой руки переносицу и тихо сказал:

– Скромно. По делу. Спасибо, Никита!

В Сибирск Никиту Ваганова провожал заведующий промышленным отделом обкома партии Анатолий Вениаминович Покровов. Они уже вышли на асфальт аэродрома, когда провожатый сказал:

– Никита Петрович говорит, что вы представитель той части молодежи, которой можно передать любое, самое значительное дело. Одним словом, поздравляю! Никита Петрович редко ошибается в людях. – Покровов улыбнулся. – Он недоволен только вашими замашками пловца-профессионала. * * *

... Возможно, именно этот разговор приведет Покровова в редакцию «Зари», возможно, что-то другое, но Никита Ваганов не остался равнодушным к Покровову, точно так, как не остался равнодушным к самому Ваганову Никита Петрович Одинцов. Последний поможет подняться ему на самый верх пирамиды, а Ваганов поможет Покровову дойти до предпоследней ступеньки пирамиды, а может быть, позже, и выше... Никита Ваганов не мог знать об этом, когда стоял на трапе самолета с развернутым билетом в руках и почему-то опять вспоминал о старушке, которая бежала к желтому трамваю...

Глава четвертая

I

Сначала эти записи я не собирался делать исповедью и никогда не думал, что кто-нибудь их будет читать, но это иллюзия: не существует человеческого письма о самом себе без расчета на читателя, а следовательно, и без рисовки. Наверное, и я рисуюсь, например, небрежением к близкой смерти, но, поверьте, сделайте милость, поверьте, что я действительно не боюсь

костлявой, доволен прожитой жизнью, мало о чем жалею в прошедшем. Кто знает, когда и где умрет, когда встретится с сухорукой один на один? Каждый умирает в одиночку? Позвольте не согласиться! Я умираю и буду умирать не одиноко, до последней минуты у моего изголовья будут стоять жена, дети, товарищи, хотя... А пока жизнь идет, а жизнь катится волнами великой реки, восходами и закатами, морозами и жарой, и по-прежнему я сижу в глубине своего кабинета, упрямо отставляя стол от окна, как бы боясь дневного света. Это объясняется моей биографией.

Четверо жильцов на две маленьких комнаты – согласитесь, теснота, кромешная теснота, хотя бы потому, что нужно иметь четыре кровати и три стола, считая кухонный. В моей и Дашкиной комнате из-за шумной ее непоседливости готовиться к занятиям, писать студенческие очерки было невозможно, и я работал в кухне, где – это знает каждый житель стандартного дома – мало света, в кухне только при солнечной погоде виден кончик шариковой ручки. Одним словом, еще студентом мне приходилось писать и читать при электрическом свете; ничего не переменилось, когда я стал жить и спать в одной комнате с моим отцом, Борисом Никитичем Вагановым, что произошло уже на пятидесятом году его жизни, жизни школьного учителя, так и не купившего без моей помощи автомобиль. Он работал в трех местах, дома не выходил из-за письменного стола, и невозможно было жить рядом с ним из-за лихорадочного шелеста школьных тетрадей... Моей сестренке Дашке было семь или восемь, она была, кажется, первоклашкой, когда отец перестал спать с матерью, и это произошло не потому, что они ссорились; отца очень состарила школа и мечта об автомобиле. Когда отец сказал, что хочет жить в одной комнате со мной, а Дашку переселяет к матери, моя малолетняя сестренка сморщилась и отвернулась. Ах, эта чертова акселерация! Она все понимала, эта моя бойкая, умная, веселая и вредная сестренка Дашка. Дашка втихомолку плакала, когда отец переселялся в нашу «детскую» комнату, объясняя переезд нашей с Дашкой взрослостью, а на самом деле, убегая от моей начитанной, невозмутимой, живущей за облаками матери, которая просто и не заметила ухода мужа из супружеской спальни. Она в то время увлекалась фольклором, собрала все, что было на русском, все, что могла достать на английском и немецком. Моя мать тогда преподавала в школе английский, а в техникуме – немецкий и зарабатывала значительно больше отца. Она произносила с прононсом:

– Борис, тебе будет неудобно на кушетке. Надо купить тахту.

Отец злобно окрысился:

– Не умру на куш-э-э-тке! Я покупаю автомобиль! * * *

Когда он много лет спустя купит «Жигули» оранжевого цвета, спать продолжит из экономии на бывшей узкой Дашкиной кушетке... Спать в одной комнате с отцом было мучением: ночью он тоненько, по-щенячьи повизгивал, мучаясь кошмарами. Язва желудка и геморрой донимали моего отца, позднее прибавился радикулит, полновесный радикулит, как говорил он.... Я отца преданно люблю до сих пор, он мучается все теми же болезнями, но потихонечку переживает первенца, сына Никиту Ваганова, и я уверен: он меня переживет.... Когда оранжевый «Жигуленок» появится возле отцовского дома, разыграются события, которые я без натяжки назвал бы трагическими: он не сможет водить машину, кажется, я уже говорил об этом. Пятнадцать лет ждать, скаречничать, плохо питаться – все ради жестяной коробки. Мне понятно, почему после продажи автомобиля отец бросился в мотовство: покупал заграничные яркие костюмы, на старости лет вырядился в американские джинсы «Ли», приобретенные у фарцовщика, напялил на плечи замшевую куртку, на ноги – мокасины «Саламандер». Эти вещи забавно шли моему отцу, он до старости сохранил художавость... * * *

Итак, я привык работать – писать и читать – при электрическом освещении, сохраняю эту привычку до смерти – на своей огромной даче в предельно солнечном кабинете задергиваю штору, добиваясь желательного полумрака, чтобы включить горбатую настольную лампу, купленную еще в Сибирске в комиссионном магазине... * * *

... Эту часть главы моих записок вопреки избранному приему – все, что происходило в Сибирске и поблизости, рассказывать от третьего лица, всматриваясь в себя глазами стороннего наблюдателя, – я пишу от своего собственного имени, от имени Никиты Ваганова: мне так удобнее. И да простит меня терпеливый читатель, до сих пор не отложивший страницы моей исповеди в сторонку... * * *

Я сидел в своем рабочем кабинете, сидел при электрическом свете, положив загорелые руки на стол, давно ничего не делая, и думал о своей жене Нике, на которую напал новый стих сопротивления, категорического отрицания Никиты Ваганова как мужа, журналиста и человека. Вам еще неизвестно, что произошло в нашей семейной жизни вчера, но не все сразу, хотя я люблю стремительно разворачивающиеся события, терпеть не могу гнусной эволюции, признаю только скачки, когда количество переходит в качество. Так уж я устроен, устроен борцом и реформатором, много позже внесшим благостные перемены в жизнь такой крупной центральной газеты, как «Заря», перестроил я ее, поставил, как говорят, на попа, а ведь «Пустой мешок не заставишь стоять»... Итак, я размышлял на тему: «Как обуздать родную жену Нику?» Не хотелось ее пугать, не подходил путь выморочного игнорирования, шантажа, подлизывания, заглаживания и так далее. Я с юмором думал, что мне подходит только и только лирический путь «возвращения сердца жены ее законному владельцу». Шутилось потому, что я был уверен: жена никуда не денется, будет жить, по ее словам, с «подлецом и конформистом». Она любила меня, любила и будет любить, как и я ее, единственную – первую и последнюю – жену в своей короткой жизни.

Итак, «подлец и конформист» вчера принял пассивное участие в грозной семейной оценке, разыгранной Никой среди полного штиля. Астанговы и мы с Никой держали домработницу, на что суммарно уходила почти вся зарплата Ники, и обедали дома. Варвара Лукинична три месяца назад попала в Сибирск из пригородной деревни. Она кормила нас прекрасно: картошкой с хрустящим салом и такими густыми щами, что в них стояла ложка. Я, как человек свободной профессии, неторопливо пришел домой пешком, Ника примчалась на «Москвиче» из своей школы, расположенной у черта на куличках; была возбуждена, взвинчена и за кофе, который приготовила сама, поглядывая на меня исподлобья злыми глазами, красными от усталости, тихо, с гневными вибрациями в голосе, спросила:

– Оказывается, ты сам написал статью! Я пока не верю... Будь добр, ответь: ты написал статью?

Я сказал:

– Ага! И не нахожу в этом криминала.

– Но как ты можешь, как ты можешь? – вскричала жена и детским жестом отчаяния прижала руки к груди. – Как ты смеешь участвовать во всей этой грязной истории, если отец ни в чем не виноват? – Услышав мое молчание, Ника зашептала: – Ты хочешь сказать, что папа виноват?! Нет, ты это хочешь сказать?

Я ответил:

– О вине Габриэля Матвеевича я впервые услышал от его младшей дочери...

Вот эту фразу мне говорить не надо было: началось такое, отчего домработница, эта деревенская жительница, укрылась в ванной комнате, которую она обожала. Ника кинулась на меня коршуном:

– Да, об этом ты узнал от меня. Но кто мог подумать, что ты – предатель, гнусный предатель! И я вовсе не говорила, что папа виноват, я говорила, что папу запутали, запутали, запутали! А ты предатель, предатель, предатель!

Я сказал:

– Это мы от вас уже слышали, дорогая. И вы не желаете выслушивать объяснений. Это, наверное, нечеловечно. Дай виновному защититься! – Я улыбнулся. – А о презумпции невинности, дорогая, вы слышали? А теперь продолжайте кричать; вы – женщина восточного темперамента, вам необходимо выкричаться.

И о восточном темпераменте мне говорить не следовало, так как если до этих слов Ника кричала, то после вопила и размахивала маленькими кулаками. Жена моя ссориться не умела; она выросла в доме, где никогда не ссорились родители, не овладела методикой ссоры и валяла, как придется и что придется, и это у нее получалось некрасиво, предельно некрасиво. Тяжкие усилия предпринимал я, чтобы после ее неумелых и поэтому безобразных криков и стенаний восстановить «лодку» любви и пустить ее по тихому и привычному руслу супружества. Вот Нелли Озерова умела ссориться, проделывала это ритуально, с артистической красотой, и я всегда уступал ей, будь причиной покупка флакона французских духов или возмутительное недельное отсутствие в ее постели. О, как умела ссориться Нелька!

– Ты хочешь, чтобы папа остался без работы? – продолжала бушевать Ника. – Ты этого хочешь? Вот твоя благодарность папе за то, что он порекомендовал тебе познакомиться с Одинцовым, вот твоя благодарность! Не-е-е-т, я и не предполагала, какой ты коварный и опасный человек! Такой ласковый, такой нежный, такой покорный – презираю, презираю, презираю! – Она зажмурилась. – Ты немедленно запретишь публикацию статьи, немедленно!

Я сказал:

– Напротив, буду форсировать публикацию! И если ты замолчишь, объясню, почему.

– Я не замолчу! Я не могу молчать! Ты отзовешь статью... Пусть ее напишет Тимошин!

Ей пока не удавалось вывести меня из себя.

– Нет, Ника, статью не отзываю. Это единственный способ помочь Габриэлю Матвеевичу.

– Ха-х-ха! Он хочет помочь папе! Посмотрите на этого гнусного предателя – он хочет помочь папе!

– Да, я хочу помочь Габриэлю Матвеевичу. Доказать, что он выполнял распоряжение высшей инстанции, а это значит намного облегчить его положение. Как ты этого не понимаешь?

– То-ва-рищ Ваганов, я ничего не желаю понимать! Я не верю предателю! Я никогда не поверю предателю!

Интересно, чем занималась в ванной наша деревенская домработница? Ей нравились кафель, фаянс, разноцветные краны. Что думала деревенская женщина о воплях моей жены Ники? Считала их такими же красивыми, как ванная комната, или желчно смеялась над бедным Никитой Вагановым? Я сказал:

– Ты вся – открытый рот, Ника! Так у белых людей не принято кричать. Я тобой недоволен и требую, чтобы ты меня выслушала.

– Я не выслушиваю предателей!

Это был последний истошный ее крик. После него она, как выражаются, «слиняла»: умчалась, опаздывая на очередной урок, и я остался один – оплеванный, опозоренный, неотомщенный, неоправдавшийся... Домработница Лукинична осторожно выбралась из ванной комнаты, с тряпкой в руках пошла вдоль нашей мебели, как бы сметая пыль, которая

давным-давно была уничтожена. Это значило, что она хочет со мной поговорить, и я весело сказал:

– Слыхали, Лукинична, что семечки подешевели? Белые остались в той же цене, а вот черные, ваши любимые, подешевели. Пятнадцать копеек килограмм!

Самое забавное то, что я покупал для домработницы семечки. С молодости она постоянно грызла кедровые орехи, кедровых орехов теперь – благословен комбинат «Сибирсклес»! – не было в продаже даже на золото, и мне приходилось покупать для Лукиничны семечки на дальнем базаре, так как на Центральном их продавать запретили. Лукинична сказала:

– За семечки – сильное спасибо! – И как-то странно улыбнулась. – Никит Борисыч, а Никит Борисыч?

– Что, Лукинична?

– А ты ей на себя не давай кричать, ты ей не давай, парень. * * *

... Н-да-а! Моя жена распоясалась, моя жена на меня кричала так, что заступилась домработница, и вот, сидя в рабочем кабинете, днем, при электрическом свете, я размышлял на тему: «Как обуздать родную жену Нику?» У меня побаливало горло, я простудился, ходил даже в поликлинику, где мне прописали массу целительных лекарств, а вот как обуздать жену Нику – не сказали, и я не знал, еще не знал, что поработать ее навечно, раз и навсегда, но до этой минуты еще далеко. Не мог же я сейчас бороться с Никой!

Моя жена Ника была беременна тогда первенцем Костей, и, согласитесь, я не мог, не имел права переходить в наступление. Запомните: я добрый, порядочный, чуткий человек! Моя биография не дает поводов к другим выводам, и читающий эти строки человек должен быть очень нерасположенным к редактору «Зари», чтобы не согласиться с моей самохарактеристикой.... Что? Об этом и речи быть не может! В записках нет ни слова лжи... «Как обуздать родную жену Нику?» Я вскоре принял решение: жену Нику пока, на время ее беременности, оставить в покое, а сегодня же поехать в недельную командировку с Нелли Озеровой – моей верной Нелькой. Это было правильное решение, так как предстоящая неделя была неделей мучительного ожидания, а ожидать с Нелькой было много приятнее, чем с кем-нибудь другим...

II

Нелли Озерова – мое божье наказание, моя любовь, любовь на всю жизнь, хотя – это смешно! Я никогда не смогу понять, почему люблю и любил хитрую, ловкую, вздорную, фальшивую, коварную иногда, изредка добрую женщину. Тогда мы встречались на ее квартире, так как сам «господин научный профессор» Зильберштейн уехал в Москву на два длинных года: он собирал материал на докторскую диссертацию или уже защищал докторскую – этого я не знал и не хотел знать. А что в этом удивительного, если сам Зильберштейн палец о палец не ударил, чтобы прервать мою связь с его женой. Я ходил на свидания с Нелли Озеровой белым днем, я – специальный корреспондент «Знамени» – сам распоряжался своим временем, а вот Нельке приходилось вертеться. Она отправлялась на какой-нибудь завод, впопыхах, но всегда удачно, заказывала или брала материал, потом опрометью летела домой, где я уже полулежал на угловой тахте – ключ от квартиры мне вручили на второй день после отъезда мужа.

На этот раз Нелька опередила самую себя на час с лишним, то есть примчалась не в два

часа, а без пятнадцати час, держа в обеих руках по авоське, что значило: еще успела обежать магазины, чтобы приготовить знатный обед; и в этом отношении она была хороша, я до конца дней своих буду любить Нелькины голубцы и суп-шурпу.

– Здравствуй, мой родной, ты хорошо выглядишь, я тебя люблю, только не морщи лоб и поцелуй меня три раза... Пока я освобождаю авоськи, рассказывай, и подробно. Ты же знаешь, что я не люблю переспрашивать. Ну, милый, я тебя слушаю.

Она всегда требовала исповеди, я ей обо всем подробно рассказывал, так как понимал, что лучшего советчика у меня никогда не будет... Поэтому, став заместителем редактора «Зари», я немедленно предоставлю место в отделе писем «Зари» Нелли Владимировне Озеровой, потом сделаю ее редактором отдела, найму дешевую комнату в отдаленном районе столицы и буду ездить к Нельке два раза в неделю, всегда в одно и то же время, с адской точностью; буду есть голубцы, суп-шурпу и исповедоваться. Мало того, я помогу «господину научному профессору» сделать небольшой, но заметный шаг вперед, предоставив страницы «Зари» для его по-настоящему интересных идей...

– Ну, рассказывай же, Ника!

Думаю, что если бы я даже побил Нельку, она не перестала бы называть меня Никой, именем моей жены. Ника – это была насмешка и месть за мою женитьбу на Астанговой, хотя Нелька не бросила перспективного «господина ученого профессора» ради того, чтобы выйти за «игрока» Никиту Ваганова. Противная баба, если говорить честно и откровенно. Но я ее люблю, мне она всегда желанна, мне с ней никогда не было скучно, хотя умной, по-настоящему умной Нелли Озерову назвать было нельзя. Женский, житейский, обиходный – таким умом обладала моя Нелька. Если бы мы с ней поженились, стали бы жить в одном доме, видаться ежедневно, спать в одной комнате, есть всегда за одним столом – прошла бы любовь или не прошла? Кто знает, кто знает! По примитивному счету, по мысли первого, поверхностного порядка, наша любовь длиною в жизнь тем и объясняется, что мы не стали мужем и женой, оставаясь всегда и товарищами, и любовниками, но, повторяю, это действительно мысль поверхностного, приблизительного мышления.

– Рассказывать можно в двух словах, а можно и длинно, – сказал я. – Какой вариант подходит?

– Средний. Не ерничай, пожалуйста, Никита. Ей-богу, не люблю!

Она понимала, почему я ерничаю, осознавала характер и качество моего всегдашнего ерничания и гордилась тем, что в отношениях с нею я ерничаю предельно мало. Да, я принимал ее всерьез, эту маленькую, красивенькую Нелли Озерову. Я начал рассказывать о Мазгареве – пять минут, потом перешел на Пермитина, одновременно с рассказом я думал, сравнивал, принимал и отрицал. Нелька слушала по-своему: обмасливала, обкатывала, делила и множила, складывала и отнимала, лелеяла и секла, извлекала корни и брала логарифмы, а сама готовила роскошный обед. Я был голоден. Она тоже.

Когда же я добрался до комбината «Сибирсклес» и стал рассказывать о разговоре с Пермитиным, она стала ходить на цыпочках, чтобы ничего не упустить.

– Понимаешь, Пермитин мне не показался убитым горем человеком, – говорил я. – Это чудовище так глупо, что еще не понимает: капец! Мамонты тоже не понимали, что вымирают. Он, представь, считает газету виноватой перед ним и, похоже, ждет опровержения...

Нелька, ощутив, что пауза неспроста, сказала:

– Не вздумай только сейчас меня хватать. Буду царапаться.

– И не думаю.

– Вижу, вижу, как ты не думаешь! Губы трясутся... Не вздумай до обеда, слышишь? Ниа-а-а-кита, не смей! Ниа-ки-та!

– Не бойсь! – снисходительно произнес я. – Успеешь набить брюхо. Что позавчера болтала? И откуда взяла, что я могу быть подхалимом при Одинцове. Вольф Мессинг! Ей-богу, не люблю, когда ты пре-дви-дишь!

Вот какое влияние на Никиту Ваганова имеет Нелли Озерова – любовница и друг. Никто другой в жизни меня не посмел бы схватить за уши, кроме нее, маленькой и умной зверушки. Вот! Нашел... Она всегда походила на зверушку, думаю, на ласку, ласку со сладострастно извивающейся спиной, поблескивающей и роскошной, и зубы у нее тоже были маленькие и острые, как у ласки.

– Что дальше, милый? Не надо делать больших перерывов, я теряю видение.

– Дальше ничего не было! – вконец обиделся я и соврал. – Сложил документы в коричневую папку и, как ты советуешь, передал их Тимошину.

– Умочка-разумочка! – обрадовалась Нелли и сказала, что через минуту будет готов обед: выходит, я долго рассказывал, здорово долго, но за оставшуюся минуту Нелька сказала нужные слова:

– Все хорошо и правильно, Никита! Только не бери в голову, что уже подхалимничаешь или собираешься подхалимничать перед Одинцовым. С тебя может статья, этакий ты самокопатель! – Она громко засмеялась. – Тьфу! Такой большой и красивый, и такой глу-у-пый! Правда, за это я тебя люблю.

Тьфу! Маленькая, а такая умная... Я лег на спину, стал глядеть в потолок, весь – от пятки до горла – зашнурованный, кусающий губы, чтобы не расхохотаться. И откуда она взяла, что я боюсь быть подхалимом при Одинцове! Мы будем друзьями. И почему она, почти всегда читающая мои мысли, поверила, что документы и статью об утопе я могу подарить Егору Тимошину?

Туфли на высоких каблуках, короткое платьице, надеваемое только для меня, на юбке фартук с веселым зайцем... Нелька присела на край дивана, на котором обычно спал «господин научный профессор», пахнувшая тмином, ласково и длинно посмотрела мне в глаза, потом сказала:

– На твоём месте, Ваганов, я бы чувствовала себя героиней. Неужели не понятно? – Она странно улыбнулась. – Область обворовывал невежественный и тщеславный человек, ты об этом узнал, как журналист и гражданин передал материалы другому журналисту, более сейчас могущественному, чем Ваганов. – Она нежно поцеловала меня, взяв за уши и приблизив к себе. – Милый, смешной дуралей... Ты порядочный человек, Никита!

В этом я сомневаюсь!

– Кому нужны твои комплименты, Нелька? – рассердился я. – И оставь эту манеру – хватать меня за уши.

– Я тебе сделала больно, милый?

– Этого еще не доставало!

– Тогда все о'кэй, милый! Я всегда буду хва-та-ть тебя за уши!

Много было на чаше весов моей Нелли Озеровой, но это вовсе не значило, что я должен был пустить ее в святая святых. Когда Нелли Озеровой показалось, что никаких загадок – я все шучу, я все шучу! – в высоколобном Никите Ваганове для нее не осталось, она уютно повела плечами: «Мы сделали свое дело, пусть другой сделает лучше...» Я спросил:

– На инструментальный не поедешь?

– Нет!

– А как же без курева? Сбесишься.

Собственно говоря, я давно был рабом этой маленькой и волевой женщины, не было области – от постели до оценки нового кинофильма, – где бы я значил больше, и только, пожалуй, газетные полосы «Знамени» и «Зари» предоставлялись в мое полное распоряжение, но вот и этой вольнице, как ей казалось, наступал конец.

Незаметно для меня она оказалась в кокетливом халатике, подумав, сняла и его, аккуратно повесила на спинку стула. Колени у нее были загорелые и круглые.

– Блажишь, Нелька! Сама велела не рыпаться до обеда...

– Подвинься и немножко помолчи!

От диктатора пахло нежными духами, диктатор был синеглаз и нежнокож, диктатор был таким родным и близким, что просилось на губы слово: «Ма-ма!»... Много лет спустя жизнь закроет истинные события прошлого туманом забвения, события смешаются и перекрестятся в такой причудливости, с которой они уже перепутываются под моим пером, и останется в памяти лишь сам главный миг главного события, но и то: «Было вот так!» или «Нет, было не так!».

– Подвинься и немножко помолчи!

– Но я же не остановлюсь!

«Умираю без курева!» – было написано на всем ее облике. – «Полцарства за одну затяжку!» Казалось, найдись сейчас сигарета, Нелька изречет истины первой величины или откроет новую планету, но курева не было, и она маялась, точно от головной боли, – никто не предполагал, что внешне уравновешенная и благоразумная Нелли такая заядлая курильщица и так полно может отдаваться мелочной страсти.

– Дай слово, что не будешь перебивать меня! – страстно проговорила Нелька. – Будешь молчать, что бы я ни говорила.

Такой серьезной, напряженной, думающей я ее никогда не видел. Ну, хмурились брови и стискивались зубки, когда я поступал по-своему, сжимались кулачки, если я халтурно писал за Нелли Озерову материал, наконец, появлялись стеариновые слезы, если я нечаянно обижал подругу, но вот такого... Закованный в стальные латы рыцарь-подросток был передо мной, пошевеливал смертоносным копьём, грозно сверкал шишаком шлема... Нелька сказала:

– Перестань жалеть коричневую папку... Не надо тебе выступать в «Заре» со статьей об утопе. – И немножко помолчала. – Час твоих серьезных критических статей еще придет... Я же просила не перебивать меня. Я раньше всех пронюхала об этой афере с утопом и, знаешь, чем занималась? – Нелька сквозь сталь доспехов улыбнулась. – Старалась скрыть от тебя случившееся... Мне было известно, что Кузичев ополчился на Пермитина, и я еще больше трусила, что в эту историю втянут тебя.

Она сжала кулаки.

– Я беспросветно тщеславна, Никита! Мне плевать, кем станет мой благоверный муж, но я зачахну от тоски, если ты ничего не добьешься в жизни. Ты – мой муж, хоть это-то тебе понятно?

Сентиментальность, отсутствием которой я гордился, плавно покачивала меня; произошла странная абберрация: слова Нельки о том, что мне не надо писать статью об утопе, ушли за горизонт, а наглое в общем-то: «Ты – мой муж!» – рассиялось вполнеба; хотелось забыть об этом чертовом утопе леса, свернуться под одеялом калачиком, ждать, когда приснится зайчишка в клетчатых штанишках – позади пушистый белый хвост.

Нелька, рыцарь-подросток, продолжала:

– Я тебе не позволю сунуть голову в петлю... Кому пришло в голову, что по утопу в «Заре» должен выступать ты, а не собственный корреспондент «Зари» Егор Тимошин? Хотела бы я знать точно, кто решил подставить именно тебя...

– Ты совсем осатанела! Я не буду писать статью...

Это мной по-прежнему двигало желание свернуться клубочком под одеялом; сказать: «Ма-а-ма!» и теперь – уже по собственной воле и желанию – не перебивать маленького рыцаря, а только слушать и слушать его речи, полные правды и только правды, любви и только любви. «Где ты, Никита Ваганов, где ты, родимый?» Не было Никиты Ваганова! Такой растворенности в чужой воле я никогда не испытывал. Лежи, не шевелись, думай, принимай решение вблизи рыцаря, превратившегося в ласку, полную голубого в полумраке электричества. «Западня!» – нежно и ласково думал я, на самом деле сворачиваясь калачиком под одеялом. Пахло зимними каникулами и прудом, заиндедевшими на морозе шнурками от ботинок, коньками. Нелька сказала в потолок:

– Егор Тимошин много опытнее тебя. Вот ты подтруниваешь над его системой фактов и фактиков, а для статьи по утопу годится только эта система. – Она осторожно зевнула. – Твое стремление к обобщающей эмоциональной критике... фу, какое недоразумение для статьи по утопу! – Она фыркнула. – И вообще, зачем ломать копыя, если три прекрасных очерка тебе принесут в пять раз больше лавров в «Заре», чем одна рискованная статья...

За меня считали и подсчитывали, за меня давным-давно все продумали и обобщили и даже подвели итоги в смысле «лавровости». «Господь бог все перепутал!» – по-прежнему ласково и нежно думал я, так как на противоположном конце города существовала другая женщина – моя законная жена, – которая с неистовой силой боролась с мужем, по ее разумению, готовящим подлый поступок. Ника еще не знала, что я совершу нечто богопротивное, но была уверена, что ее муж все делает неспроста, коли он предает главное для нее – любовь. А рядом со мной лежала Нелька, женщина, которой было бы естественнее считаться женой Никиты Ваганова, и она считала себя женой, так как, наверное, невероятным своим женским чутьем предчувствовала, что наша любовь будет любовью на всю жизнь.

Она сказала:

– Не будь жадным, Ваганов! Ты уже всесоюзно известен – этого тебе мало? Через три-четыре года они сами тебе предложат корреспондентство в «Заре». Кому это не ясно?

Я хохотнул под одеялом. Маленький рыцарь был все-таки женщиной, женщиной с типичной женской логикой и непостижимой мужскому уму психологией. Не торопись! Не жадничай! Твоя карьера и так обеспечена! А сама требует, потрясая копьем, чтобы дело об утопе древесины я без промедления передал Егору Тимошину, как дело губительноопасное. И она, конечно, понимала, что падение Егора Тимошина повлечет за собой возвышенна Никиты Ваганова.

Я сказал:

– Ну, и чудовище же ты, Нелька! Правой бьешь, левой – гладишь.

Она победно улыбнулась. Она так никогда и не поймет, не постигнет, какое безграничное количество душевного комфорта предоставила в мое распоряжение, взвалив на свои покатые и узкие плечи часть моей ноши.

– Думаешь, что видишь меня насквозь? – лениво протянул я.

– Не думаю, а вижу. Успокойся, от моих предвидений тебе хуже не станет. – Она бегло поцеловала меня в подбородок. – Держись за Одинцова обеими руками, Никита! Даже по твоему рассказу понятно, что это такое. Масштаб! Таких людей, как Одинцов, немного, очень немного. Воздем научно-технической революции быть адски трудно. Мне об этом сказал один академик. «Редкие руководители способны понять революцию и руководить ею!» – так и сказал. Грустно сказал... Видимо, твой Одинцов из племени победителей... Ой, наш суп!

Она убежала в кухню, на ходу застегивая халат.

– Обед готов, милый! Мой руки, милый!

– Перестань милкать!

– Нет, не перестану, милый! Ня прястану!

– А если по шее?

– Теперь можно и по шее, милый.

Мы крепко и длинно поцеловались на пороге кухни,

Глава пятая

I

Автор этих записок, исповеди, дневника, воспоминаний, откровения, автобиографии – как вам угодно! – все чаще и чаще путает повествование от первого и третьего лица, и теперь-то понятно, отчего это происходит: от удивления самим собой. От первого лица пишу: «Я улыбнулся», но тот же автор от третьего лица пишет: «Он кисло поморщился».

Писатели-фантасты давно описали кавардак, который наступил бы в мире, если бы люди говорили то, что думают, или читали бы мысли друг друга. Кошмар! Но почему даже наедине с самим собой и даже под смрадным дыханием смерти ищутся лазейки, обходы и объезды, пускаются в ход умолчания; рука пишущего сама опускает то, что голова с радостью опустила бы – вот беда-то! Если человек врет самому себе, что за понятие тогда – дружба! Я думаю, что это такое же редкостное явление, как любовь до гроба супругов, если и ее не выдумали писатели и такие же «правдивые», как я, мемуаристы. Хочется тонко, по-щенячьи, заскулить... Что касается меня, то, как выражаются, истинных друзей у меня было мало, а начистоту, у меня их не было, друзей-то! Их замещали приятели, сообщники, товарищи, временные попутчики – так я стремительно двигался вперед и вверх. Если спросите, кого бы я хотел иметь другом, отвечу: Ивана Иосифовича Мазгарева – заведующего отделом пропаганды газеты «Знамя». Того самого Ивана Мазгарева, который – случайно или нарочно

– неподал мне руку льдистым утром, когда я успел почти до конца распутать всю эту аферу с кедровниками и утопом древесины, – на это ушло все мое личное время на протяжении более года. События, следующие за этим, меняли мою жизнь радикально, на все сто восемьдесят градусов. Впрочем, я всегда знал, что такое произойдет – где же чудо? Повторяю, я хотел бы иметь другом Ивана Мазгарева, но мы не могли быть друзьями. Он был старше меня не на двадцать лет, он был старше меня на целую войну; он был из тех, кто имел обыкновение всем, включая жизнь, жертвовать во имя общества, ничего не требуя взамен. Были у нас и сближающие воззрения: он всегда хотел одного – возможности трудиться и трудиться хорошо, и все, что мешало этому, добрый до кротости человек сметал с лица матушки-земли. Он становился неистовым, если его длинные, как наваждение, пропагандистские статьи встречали препятствия на пути к газетной полосе. Вот это было мне созвучным, родным.

Помню, я попал в кабинет Мазгарева как бы случайно, то есть подчинился всегдашнему моему желанию видеть его круглое, доброе, глазастое лицо, слушать его неторопливые, с волжским говором речи и таким образом отдыхать. В тот раз Мазгарев был не Мазгарев, и я бы завернул обратно, если бы он сам не вцепился в меня. Он схватил меня за руку, посадил на диван, крикнул в мое неповинное лицо:

– Им не нужна статья о базисе! Ты слышишь, им теперь не нужна статья о базисе, хотя сами ее затвердили в месячном плане. Нет, ты только послушай: статья не нужна!

Я пожал плечами и сказал:

– Не понимаю, чего вы бушуете, Иван Иосифович? Статья о базисе опубликована. Она перепечатана из «Зари». Академик Косухин. А у вас кто? Ну, вот! Профессор Перегудин... Какой-то там сибирский профессор Перегудин!

Есть смешное выражение «выстрелить глазами», и мне показалось, что я буду убит Иваном Мазгаревым – так он на меня тогда посмотрел!

Какая статья? Какого академика? Где статья? Почему?

Он схватил подшивку собственной газеты, полистал, нашел и – поник, растерялся. Убейте меня, но в это мгновение мне подумалось, что я возьму на работу в газету «Заря» и Викторию Бубенцову – тогдашнего ответственного секретаря «Знамени». О, как она разделалась с небожителем Иваном Мазгаревым, когда он, мирный и улыбающийся, пришел спросить, когда пойдет в номер нескончаемо длинная и занудная статья о базисе, принадлежащая перу профессора Перегудина. Бубенцова сразу поняла, что в своем философско-думающем затишьи Мазгарев просмотрел статью Косухина, и вместо того, чтобы просто указать на это, устроила целый спектакль в одном действии, но драматический. «Ваша статья, товарищ Мазгарев, не пойдет вообще. И не мешайте мне работать, пожалуйста!» – «Почему не пойдет?» – «Не пойдет – и точка! Я же просила не мешать работать, товарищ Мазгарев! Пока!»

– Академик Косухин! – наконец подал голос Мазгарев. – Сам Косухин.

Отчего все-таки мне хотелось дружить с человеком, который от одного слова «академик» мгновенно забыл о бесчисленных часах работы над статьей профессора? Отчего меня тянуло к этому человеку? Одним или ста словами не ответишь: может быть, меня привлекала способность Ивана Мазгарева к самоотречению? Ведь я тоже – самоотреченец, хотите – верьте, хотите – нет.

– Бубенцова – сволочь! – вдруг сказал Иван Мазгарев и мгновенно покрылся яркой краской, то есть его и без того красноватое лицо сделалось пунцовым. – Прости, Никита! Бубенцова – добросовестный работник.

И вот с этим человеком я хотел бы дружить долго, очень долго, может быть, всю жизнь, хотя моя точка зрения на дружбу вам уже известна. Будем зрелыми людьми, будем умными, философичными – для чего она, святая мужская дружба? Для чего и зачем? Общеизвестно, что дружба никогда не бывает равной, что из двоих участников мужской дружбы, один – непременно вождь, второй – ведомый, но дело и не в этом, представьте себе. Что дает дружба? Возможность исповедоваться? А кто из мужчин исповедуеться до конца другому мужчине? Пожалуйста, не глумитесь, ближайший товарищ вам врет, когда говорит, что переспал с очередной «кыской», как выражается мой приятель Боб Гришков, ваш приятель не только врет насчет «кыски», он врет и по многим другим пунктам; исповедуясь перед вами в одном, он скрывает второе, исповедуясь в третьем, врет в первом и втором. А для чего исповедь? Для чего я, например, исповедуюсь перед вами? Для облегчения? Эт-т-то вот точно, точненько! Мне худо, мне муторно, мне страшно в конце-то концов, и вот я исповедуюсь перед вами в надежде, что среди вас окажется мой – временно искренний – друг. Сейчас я слаб, я положен на обе лопатки, я просчитываю, как прожил жизнь... Эх, сильному и молодому не нужны друзья, ему нужны приятели и дружки, дружки и приятели – это я вам правду говорю! Короче, я до конца не понимал, зачем ищу дружбы Ивана Мазгарева, почему именно он годился на роль моего вечного друга, но я стремился к этому, видит бог, стремился искренне и честно.

– Не надо щадить Вику! – желчно сказал я Ивану Мазгареву. – Она не сволочь, она – дрянь! Сволочи – люди масштабом повыше. Но она действительно хороший работник... – Я решил утешить Ивана Мазгарева. – Говорят, Леванов вострит от нее лыжи и лыжата. Вот будет шороху. Этого она, тесезеть, не переживет. Уся дрожжить. Уся!

Невооруженным глазом было видно, что мои слова Иван Мазгарев не одобряет, все еще красный за собственную несдержанность, смотрит на меня укоризненно, но мой шуточный тон, мои низкопробные хохмочки делали свое благостное дело: человек выходил из клинча. Ведь ему еще предстояло звонить профессору Перегудину и объяснять, почему его статья не пошла, а два месяца вместе с профессором они работали над ней как одержимые. Стоило посмотреть на стол Мазгарева, чтобы понять, как они работали над статьей.

Письменный стол, рабочий стол Ивана Мазгарева и он сам были обвиты змеями. Я давно уже прозвал заведующего отделом пропаганды Лаокооном, это прозвище быстро закрепилось, так как стол и Мазгарев были всегда, словно змеями, обвиты двухметровыми гранками пропагандистских статей, пестрых по-змеиному – на полях гранок были тысячи чернильных пометок, исправлений, дополнений, исключений. Как только Иван Мазгарев садился, конец одной гранки падал на колено, конец второй, над которой он работал, заползал вкрадчиво на плечо и – так далее. Ивану Мазгареву сто раз предлагали делать не гранку, а оттиск, но он сопротивлялся этому, и правильно: много ли направишь на полях оттиска? Я резвился:

– Как токи мистэр Левэн бросит Бубенцову, газета станеть! Ой, Иван Иосифович, оне недавноть ладили поставит в номер статью о половом воспитании молодежи.

Мазгарев серьезно сказал:

– И правильно!

– Ой, не скажите, Иван Иосифович! Не скажите! Нужна статья об антиполовом воспитании. Мой бывший сосед по квартире Сережка на двенадцатом году знал все и во всех деталях. Поставь его за кафедру – лектор! Ой, чего будет, если Левэн оставит Бубенцову! Оне газету не выпустят: весь материал зарежут.

Я вдруг спросил:

– Иван Иосифович, это правда, что вы ко мне теперь относитесь плохо? Не приложу ума, почему?

Он покраснел, он смутился, он беспомощно улыбнулся, страдалец и герой, он спрятал от меня глаза, уткнув их в гранку погибшей статьи профессора. Однако Мазгарев скоро пришел в себя, то есть не только поднял голову, но и заметно приободрился. Я же говорил, что за правду-матку заведующий отделом пропаганды умел сражаться отчаянно, до посинения; он вообще был бойцом, этот застенчивый мужик.

– Дурная привычка, Никита, слушать сплетников, – сказал он. – Привычка слабых... – Он подумал немножко, потрянул головой. – Я не стал относиться к тебе хуже, но я считаю некоторые твои поступки неправильными, более того, несовместимыми с кодексом чести. – Он еще раз подумал и поправил самого себя: – Проще: дурными поступками.

– И в чем же это выражается, Иван Иосифович?

– Ну, двумя словами не ответишь, Никита. Если хочешь, то мы могли бы поговорить на досуге. – Он воодушевился. – Нам с тобой просто необходимо выяснить отношения!

Я согласился:

– Буду рад, Иван Иосифович.

Как это ни расходится с моим пониманием дружбы, но Иван Мазгарев мог быть моим другом, единственным и нужным другом до конца жизни. Он бы мне говорил правду – это и есть единственное достоинство дружбы. Уметь говорить правду друг другу, всегда говорить правду, правду, правду и ничего, кроме правды. Такого друга Никите Ваганову не хватало всегда, конечно, была жена, но она сломилась очень скоро – так сильно я давил на нее, а затем появились дети, пеленки, ванночки, коклюши, новые квартиры и материальное благополучие – одним словом, она закрыла рот. И говорящих правду друзей у меня так и не было: сначала потому, что я сам избегал таких людей, потом оттого, что мне было опасно говорить правду.

Был Никита Петрович Одинцов, но это особый разговор.

У меня нет настоящего друга, читатель!..

Совестью, честью, мудростью редакции «Знамени» был Мазгарев, обвитый змеями-гранками, и, как там ни крути, Никита Ваганов прианавал некоторое превосходство Мазгарева над собой – случай не частый при таланте, уме, мудрости, способности к предвидению Никиты Ваганова.

Выпутавшись из гранок, Иван Мазгарев неожиданно философским тоном изрек:

– Стал ли я хуже относиться к тебе? Видишь ли, в чем тут дело! Арсентий Пермитин – неожиданное и неясное порождение мелкобуржуазной стихии. Он существует и как пережиток прошлого, и как недостаток нашей партийно-воспитательной работы. – Мазгарев огорченно покачал головой. – Мы много сделали за годы Советской власти, но еще довольно вяло боремся с проявлениями мелкобуржуазности. Это не наш недостаток, это наша большая беда. Ты посмотри внимательно на Пермитина, он – одушевленная вещь! Ты не должен с ним бороться как с человеком, ты должен бороться с явлением. Тогда борьба приобретет и социальный, и философский смысл, к чему я тебя и призываю, Никита!

Он уже дважды назвал Никиту Ваганова по имени, он говорил добродушно, но и естественно увлеченно, так как призывал, призывал и призывал, и мне подумалось, что между нами могут наладиться хорошие отношения, но не тут-то было. Иван Мазгарев продолжал:

– Беда в том, что ты – пожалуй, самое яркое проявление мелкобуржуазной мелкотравчатости. Следовательно, бороться идейно-насыщенно с Пермитиным не сможешь

и даже не захочешь. Что ты с ним можешь сделать? Ровным счетом ничего! Пессимизм современного бытия... Между прочим, скоро я выступлю довольно крупно против современного мещанства с ленинских позиций. Было бы неплохо, если бы ты прочел материал...

Дружбы Никита Ваганов не завоевал, а вот диагноз получил: буржуазная мелкотравчатость, попросту – мелкобуржуазность, как жить, ходить, сидеть и спать с таким диагнозом? Впрочем, Никита Ваганов всей своей остальной жизнью докажет, как ошибался Иван Мазгарев, – мещане, мелкие буржуа не способны на строительство, аскетизм, фанатизм круглосуточного труда для других и так далее и тому подобное... Я сказал Ивану Мазгареву:

– Пришел по шерсть, а ушел стриженным. Спасибо на злом слове, Иван Иосифович!

– Никита, стой, Никита. Я еще не все сказал...

– До свидания! – Я быстро вышел...

II

Как острый металлический осколок застряли в памяти Никиты Ваганова слова Ивана Мазгарева о его, вагановской, мелкобуржуазности; он даже и не думал, что может быть таким ранимым, неуверенным в самом себе. Черт знает что делалось, если даже спасительную Нелли Озерову ему сейчас видеть не хотелось! Тянуло забиться в уголок, закрыв глаза, размышлять. «Мелкобуржуазность! Мелкотравчатость! Ограниченная способность к мышлению!» – и это все от Мазгарева. Прошло минут десять: он встряхнул головой, сделал несколько спортивных движений и сел работать – лекарство от бед и несчастий, и работал до позднего вечера, то есть пришел домой еще позднее Габриэля Матвеевича, который в те дни проводил глубочайшую ревизию состояния дел комбината «Сибирсклес»: готовился передать дело новому главному инженеру. И с каждым днем все больше успокаивался: за годы его начальничанья комбинат так хорошо и славно работал, что один неудачный год и последующие за этим приписки, сделанные по распоряжению Пермитина, мало что меняли в хорошо отрегулированном и смазанном механизме – комбинате «Сибирсклес». Хотя «панама» с лесом, – простая как телега, – наделала бед. Предположим, что комбинат «Сибирсклес» должен поставить народному хозяйству страны миллион кубометров леса, в наличии такого количества кубометров нет – предприятия работали отвратительно, вот тогда и сообщается, что миллион-то был, но велик утоп древесины при молевом сплаве, и сообщается такое количество утонувшего леса, какого быть не может, да и в действительности не было. Вторая сторона аферы – увеличение количества леса, якобы оставшегося на берегах в результате быстрого спада воды, – чего не было, кроме, пожалуй, одной сплавконторы, Васютинской. Последнее: варварская вырубка прибереговых кедровников, которые легко взять и погрузить на баржи. Габриэль Матвеевич Астангов увидел, что Пермитин все-таки не сумел до конца разладить дело и мог сказать себе: «Девяносто процентов – работы, десять процентов – преступления! Будем рассчитывать за все и вся, на то мы и есть – мужчины». Он искренне обрадовался приходу зятя:

– Никита, садитесь, если хотите, посумерничаем.

Никита Ваганов сказал:

– Давайте посумерничаем, Габриэль Матвеевич.

А было уже здорово темно, они плохо различали лица друг друга, однако чувствовалось, что

Габриэль Матвеевич успокоился, – этого за ним последние полгода не наблюдалось, ну и славно! Никита Ваганов радовался за тестя, тещу, успокоенную успокоением мужа, внешней покладистостью дочери. Одним словом, все было как в лучших домах Филадельфии и Чикаго. Не так уж плохо посумерничать в домашней обстановке! После длинной-длинной паузы Габриэль Матвеевич сказал:

– Чем дольше живешь, тем больше хочется жить. Вот уж несообразность!

– Начал философствовать, Емеля! – сказала теща, а Никита Ваганов дипломатично промолчал: он еще не мог по времени и по существу прожитой жизни разделить утверждение тестя, но уже догадывался, что Габриэль Матвеевич прав на все сто процентов, и ему, Ваганову, совсем немного времени – мгновение! – оставалось до полнейшего понимания пессимизма тестя.

Жена Ника сказала:

– А мне вспоминается детство, папа, ты тогда часто сажал меня себе на колени. Это было так хорошо, папа!

Они замолкли надолго... В жизни Никиты Ваганова не было семейного сумерничания, сидения на отцовских коленях, ласкового молчания – многого не было в его короткой и скудной жизни; он об этом жалел и не жалел, и когда жизнь больно ударяла Никиту Ваганова, он думал: «Хорошо, что я не вырос мимозой!»

Славно было в темном, свежем от притока чистого воздуха пространстве, Никита Ваганов отдыхал душой и телом. Он думал, что завтра-послезавтра начнут происходить самые важные и решающие события...

Их сумерничание прервал звонок в дверь, вошла домработница, протянула телеграмму Никите Ваганову.

«Сердечно поздравляю утопом или махинацией Желаю дальнейшего Твой Валентин».

Никита Ваганов сказал:

– Поздравляет московский товарищ. По поводу Черногорска, – соврал он. – Это Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев, студенческий неразлучага... – Он подошел к телефону, набрал номер подачи телеграмм по телефону и минуты через три диктовал. – Спасибо, Валентин. Хочу свидеться, здорово соскучился. Твой Никита.

Теперь он не лгал: он скучал по Вальке Грачеву... Это не значит, что они не схватятся с Валькой Грачевым, когда будет решаться, кому редакторствовать в «Заре». Победит Никита Ваганов – не только благодаря важным связям, но и своим талантом, организаторскими способностями, умением сплачивать коллектив. Не найдется человека, даже среди злопыхателей, кто бы сказал, что Никита Ваганов занимает принадлежащее ему место не по праву, и тот же Валентин Грачев, Валька Грачев однажды скажет:

– Завидую, но понимаю!

Он станет первым заместителем главного редактора, как говорится, правой рукой Никиты Ваганова, и никогда и нигде уже не будет его подсиживать, раз и навсегда решив, что теперь его судьба – следовать за талантливым и сильным Никитой Вагановым. Как первый заместитель главного редактора он будет иметь все привилегии и все блага, включая материальные. Мало того, Валюн будет жить разнообразнее Никиты Ваганова; не вылезать из-за границ, вовремя пользоваться отпусками и в конце-то концов, наверное, станет редактором «Зари», когда Никита Ваганов... * * *

Сумерничая, в доме Габриэля Матвеевича понемногу, как всегда бывает, разговорились в полутемноте. Беседа развивалась так:

ВАГАНОВ. Спасибо Валюну за поздравление!

ЖЕНА НИКА. (Она догадалась, о чем идет речь.) Да, ты своего добился, Ваганов.

АСТАНГОВ. Не злись! (Он тоже все понял.)

ТЕЩА. Вот уж не думала, что выращу такую бессердечную!

АСТАНГОВ. Она рисуется.

ВАГАНОВ. Ну и пусть ее рисуется.

АСТАНГОВ. Перемелется – мука будет. Ника станет вам прекрасной женой, Никита... Как вы думаете, Одинцова возьмут в Москву?

ВАГАНОВ. Будь я на месте высокого начальства, я бы его давно посадил в большой дом.

ЖЕНА НИКА. Ах, какой у меня умный и прозорливый муж. Только на собственную жену не хватает мудрости.

ТЕЩА. Отвяжись от Никиты! Он – человек государственный, хотя ему так мало лет... Впрочем, папа начинал в таком же возрасте. Да! Да!

АСТАНГОВ. Не хвастайся, Соня. Я начинал на пять лет позже. Теперь молодежь созревает быстрее.

ВАГАНОВ. Точно! Не смейте каяться, Габриэль Матвеевич.

АСТАНГОВ. Хорошо, хорошо!

ЖЕНА НИКА (с внезапной страстью). Тем хуже для Никиты, папочка! Его разделают, как селедку...

ТЕЩА. Действуйте по своему усмотрению, Никита! Наша песенка спета.

ВАГАНОВ. Ну, уж чертушки! Мы еще посражаемся, мы еще... О, я прямо не знаю, что сделаю я! Я... Ох, что я сделаю!

ЖЕНА НИКА. Давайте зажжем электричество.

III

Все главные события, связанные с Никитой Борисовичем Вагановым во время его пребывания в городе Сибирске и поблизости, происходят по странной случайности весной, летом и осенью; на зимние месяцы приходится, так сказать, время медвежьей спячки. Впрочем, он так и был задуман генетически, что три зимних месяца был малоактивным, пребывал в меланхолии, сплине. Временем его наступательной активности была осень – ранняя или поздняя, безразлично, и, конечно, его статья «Утоп? Или махинация!» была опубликована осенью – под журавлиный крик, мельтешение желтых листьев, тихоструйность обмелевших рек, сквозную прозрачность сосновых боров, звон лиственниц в городском саду.

Центральная газета «Заря», напечатанная с матриц в Новосибирске, пришла вовремя, статья «Утоп? Или махинация!» стояла на третьей полосе, и примерно в половине десятого утра город Сибирск, центр лесного края, пришел в движение; повсюду, в жилых квартирах, учрежденческих комнатах, кабинетах, шуршали газетные страницы, раздавались восклицания, аханья и оханья, стоны и смех. Уж очень ловко системой железных крупных фактов автор статьи Никита Ваганов «припечатал» руководство комбината «Сибирсклес» и, кажется, кое-кого повыше. Фамилия Пермитина в статье повторялась трижды, о стиле его нежного руководства, собственно, и рассказывалось в статье.

Первым на статью, как ни странно, откликнулся Боб Гришков. В телефонной трубке прохрипело: «Идиотика! Через час я буду у тебя!»

В статье автору не все, оказывается, нравилось. Он начинал с вопроса, сколько это будет, если ноль помножить на восемь тысяч. И сам отвечал: восемь тысяч, если следовать арифметике, потом приводились бухгалтерские цифры, подводилось сальдо-бульдо и – шли живые зарисовки с мест, дающие картину действительно омерзительную. Габриэль Матвеевич Астангов «проходил» один раз, но без фамилии, как главный инженер. Два больших абзаца были посвящены вырубке кедровых лесов, и употреблено слово «преступная», середина очерка была обыкновенной, подчеркнута серенькой, а вся статья кончалась рефреном: «Сколько это будет, если восемь тысяч кубометров леса помножить на ноль?» Ответ был таков: «Корреспонденту не удалось найти и бревнышка, обсушенного на берегах сплавных рек!» Пожалуй, только сам автор понял, что статью нельзя было обрамлять рефреном: подозрительно пахло фельетоном...

Сибирский обком партии! За что тебя наказал бог бывшим замечательным шахтером, знатным горняком, блистательным машинистом угольного комбайна, – Арсентием Васильевичем Пермитиным? Почему, Сибирский обком, ты отдал под его начало лесозаготовительную промышленность, в которой он ничего не понимает, зачем его, самодура, больше похожего на подвыпившего купчика, чем на партийно-хозяйственного работника, сделал кандидатом в члены бюро обкома? Это ошибка, описка, вопиющее недоразумение? Это предельно плохо, когда обкомом партии прикрывается такой человек, как Пермитин.

Выслушав по телефону очередное поздравление, Никита Ваганов сам пошел к Бобу Гришкову. Редакционный коридор гудел: пробежала на тонких ножках взволнованная Виктория Бубенцова, ожесточенно скребла приемную техничка, сквозь двери слышался кабинетный вопль; сунув руки в карманы, по коридору победоносно шлялся Борис Ганин – пожиратель начальства всех степеней и рангов. Да, большой переполох был в редакции «Знамени», но в нем участия не принимал только один человек – собственный корреспондент «Зари» Егор Тимошин, который на службу в этот день не явился.

Боб Гришков полулежал на диване, газета валялась на полу, сам толстяк и жуир возмущенно тарачился в потолок. Он набросился на Никиту Ваганова.

– Почему, идиотство, писал статью сам? Какого хрена не передал материал Тимошину? Ты что, не понимаешь, в какое положение ставишь его? Не знает области, проморгал, прошляпил и прочая идаотистика! Ах, идиот, ах, идиотство, ах, идиотика! Нет, ты мне отвечай: подсиживаешь Тимошина? Ты и вправду карьерист?

Никита Ваганов, присаживаясь на подоконник, ответил:

– А ты не ори!

– Ору и буду орать! Зачем ты это сделал без Егора?

Боб Гришков поднял с пола газету, всю изрисованную красным карандашом; саркастически

улыбаясь и сам себе подмигивая, он начал квохтать над статьей курицей, увидевшей в небе коршуна.

– Допрос окончен?

– Какое идиотство! Егор может схлопотать большие неприятности!

«И поделом! – спокойно подумал Никита Ваганов. – Журналисту надо заниматься чем-то одним – романом о покорении Сибири или утопом леса!»

Тихая в громкая паника в редакционном коридоре продолжалась. Хлопали двери и гремели мужские голоса, за закрытой дверью – слышно каждое слово – разорялась Мария Ильинична Тихова, в приемной редактора Кузичева читала «Зарю» секретарша Нина Петровна и облизывала острым языком сохнувшие от волнения губы – вот такая она была, эта статья «Утоп? Или махинация!». Когда Никита Ваганов вошел в кабинет редактора, Кузичев стоял у окна, барабанил пальцами левой руки по стеклу, мычал что-то лирическое.

– Здравствуйте, Никита, садитесь, пожалуйста.

Помолчали оба. Затем редактор сел на стол, вздохнул:

– Надо готовиться, Никита! Думаю, что Первый вынесет вопрос Пермитина на пленум обкома.

... Спустя десятилетия вспоминая об этом разговоре, Никита Ваганов не припомнит ни одного слова редактора Кузичева, но увидит как наяву хорошую и молодую улыбку на худощавом лице редактора, вместе с Никитой Вагановым выигравшего тяжелую схватку с Пермитиным. Он вспомнит и себя – молодую радость и, простите за банальность, окрыленность человека, который, считая по-крупному, поставил на место Арсентия Васильевича Пермитина – человека, губящего дело зазнайством, невежеством. Статья была опубликована шестого сентября, и в этот же день произойдет еще одно памятное событие: по взаимному желанию, втайне от редакционной челяди, произойдет свидание Никиты Ваганова и Егора Тимошина.

Они встретились у центральной почты, где стояла короткая и широкая скамейка, недавно покрашенная, но отлично просохшая. Было это теплым и лучистым вечером, городской шум стихал, автомобильный поток редел, купола Воскресенской церкви светились фонарями, большими золотыми фонарями, и было звучным все вокруг, словно воздух проредился.

... Итак, они встретились. Никита Ваганов пришел первым, сел на удобную скамью в затишке и стал терпеливо дожидаться Егора Тимошина, имеющего обыкновение опаздывать – везде и всегда. Это говорило о его независимости, умении высоко стоять над обстоятельствами, быть раскрепощенным от рабства современной жизни, суетной и напряженной до фельетонности. На Егоре Тимошине были модные брюки, югославские башмаки, еще летняя рубашка – он держал в руках свернутую трубочкой газету «Заря», которой помахивал по-дачному, с удовольствием. "И этот – актер! – насмешливо подумал Никита Ваганов. – Ну, как не вспомнишь пресловутое: «Мир – театр, люди – актеры...»

– Добрый вечер, Никита!

– Привет, Егор! Садись!

Егор Тимошин не сел. В последние годы он старался похудеть, питался целесообразно, много занимался гантельной гимнастикой, был невысоким, коренастым, широкоплечим; кряж, сказал бы какой-нибудь писатель, работающий над так называемой деревенской темой.

Они молчали.

– Послушай, Егор, может быть, ты мне объяснишь феномен Егора Тимошина?

Он не отвечал, разглядывая маковки Воскресенской церкви, и был таким, словно слышал колокольный звон недавно снятых колоколов. Наконец он свежо улыбнулся и сказал:

– Хорошо, Ваганов, я скажу и все сделаю для твоего душевного комфорта. – Он еще раз улыбнулся. – Пусть будет по-твоему, Ваганов. Ох, как ты далеко пойдешь! Ты даже сам не знаешь, как высоко! – И попросил: – Вспомни потом о старике Тимошине... Впрочем, обо мне-то ты никогда не забудешь. Преступников тянет на место преступления.

– Нам надо все-таки объясниться! – прямо и резко заявил Никита Ваганов. – Ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится, но мне надо выговориться.

Тимошин разулыбался.

– В этом ты весь, Никита! Тебе надо выговориться, ты не можешь не выговориться – и в этом все дело! И все-таки валяй, устраивай душевный стриптиз, ты и на это горазд.

Как видите, Егор Тимошин понимал роль Ваганова в грозах, что собирались над Сибирской землей, накопитель фактов и фактиков так расположил их, в такой последовательности, что его гороскоп оказался правдивым, как небо, что висело над их головами.

Егор Тимошин сказал задумчиво:

– Значит, ты хочешь признаться, что сделал все возможное, чтобы я ничего не знал об утопе? Ты заткнул все щели в моем кабинете.

Никита Ваганов сухо ответил:

– Роман пишется полным ходом?

– Не так быстро, как хотелось, но пишется, – как ни в чем не бывало вдруг ответил Тимошин. – И теперь, конечно, дело пойдет быстрее... Весь уйду в роман.

Святая простота, доброжелательность, детскость – это, наверное, и есть добродетели таланта, дарования. Никита Ваганов сказал:

– Не сяду я на твое место, Егор.

– Я удивлен. Почему?

– Не сяду! Неужели я должен объяснять все мои поступки? Хочешь быть свободным – дай свободу другим... Одним словом, не сяду.

При этом он подумал о Нелли Озеровой, встреча с которой была назначена двумя часами позже.

IV

Кандидатом в члены партии Никита Ваганов стал легко: его хвалили, выражали надежду на еще большие свершения, советовали не зазнаваться, не останавливаться на достигнутом. Голосовали единогласно, подчеркнуто доброжелательно и торжественно; было видно, что коллеги рады увеличению числа членов партии – это должно было произойти через год. И вот время наступило. Никита Ваганов спокойно съел в редакционном буфете три разных

бутерброда, никакого сверхобычного волнения не чувствовал, а скорее всего, наоборот, ждал триумфа. Ведь в этот же день, сегодняшним же утром на «летучке» его безостановочно хвалили.

Закрытое партийное собрание... Это было такое собрание, которое Никита Ваганов до смерти не забудет, как кошмар, от которого станет просыпаться с бьющимся о ребра сердцем и пульсирующей от боли головой. Второго такого испытания, как это партийное собрание, в жизни Никиты Ваганова больше не будет, если не вспомнить... Правда, и на собрании он не вспомнит льдистое весеннее утро, когда Иван Иосифович Мазгарев не подал ему руки – или по забывчивости, или нарочно.

А ведь этот факт важен для предвидения событий, развернувшихся на закрытом партийном собрании, на повестке которого стояли два вопроса: «Итоги работы редакции за первое полугодие» – первый пункт и «Прием в партию Н. Б. Ваганова» – второй пункт. Кандидат в члены партии Никита Ваганов, всегда такой мудрый и дальновидный, самодовольно позволил себе не обратить внимания на поведение в то льдистое утро Ивана Мазгарева – совести всей редакции газеты «Знамя», и только поэтому не сможет предвидеть миллионной доли того нравственного испытания, которое выпадет на его бедную голову. Хуже всего оказались спокойно съеденные в редакционном буфете бутерброды, потому что Никита Ваганов считал перевод из кандидатов в члены партии чуть ли не пустой формальностью – кто мог предполагать, что на сегодняшнем партсобрании пробудятся скрытые силы, разыграются страсти-мордасти? Громкий получится шум, дойдет до ушей тестя Никиты Ваганова, отзовется в обкоме партии, в кабинете Арсентия Васильевича Пермитина, который, конечно, скажет свое, пермитинское: «Завидуют тебе, завидуют, Ваганов! Наплюй! Говорю, боятся и завидуют, Ваганов!»

Партийное собрание проходило в красном уголке редакции «Знамени». Место председательствующего занял секретарь партийной организации Иван Иосифович Мазгарев, редактор забился в угол и пока еще блаженно посапывал. Впереди расположилась боевая сила коллектива: ответственный секретарь редакции Виктория Бубенцова, литраб отдела партийной жизни Василий Семенович Леванов, подлая баба Мария Ильинична Тихова, Нелли Озерова, заведующий промышленным отделом Яков Борисович Неверов и так далее. Боба Гришкова и Бориса Ганина – беспартийных – на закрытом партийном собрании, естественно, не было.

– Обсуждаем первый вопрос, – сказал Мазгарев. – Сообщение сделает редактор Владимир Александрович.

Никита Ваганов – вот кто был героем сообщения редактора Кузичева, делающего обзор работы «Знамени» за полугодие: статья «Былая слава» и очерки, зарисовки и аналитические статьи позитивного порядка – это было в центре внимания редактора Кузичева, взявшего Никиту Ваганова в сообщники в борьбе с Арсентием Васильевичем Пермитиным. По праву считающий интересной работу Никиты Ваганова, не щадящего себя, не жалеющего ничего для газеты «Знамя», редактор Кузичев неплохо отозвался и об очерке Бориса Ганина «Директор», но тут же пропел гимн двум очеркам Ваганова о простых незамысловатых людях, на первый взгляд не имеющих за спиной броских подвигов и свершений. Редактор сказал:

– Именно тяга к простому человеку, умение без украшательства писать о советском образе жизни делает очерки Никиты Борисовича событием...

Стоило наблюдать за реакцией возлюбленного Виктории Бубенцовой литературного работника отдела партийной жизни Василия Леванова! Он погибал от зависти: то бледнел, то краснел, а редактор все говорил да говорил, но имя Леванова так и не слышалось. «Никита Борисович да Никита Борисович!..» Стоило посмотреть и на подлую бабу Марию Ильиничну Тихову. Она цвела и расцветала, молодела на глазах оттого, что возносили на щит ее

любимого ученика, как она считала! Ведь Никита Ваганов, внедрившийся в редакцию «Знамени» москвич, первый год работал вместе с Тиховой и действительно кое-чему научился у подлой бабы, хотя исправно подчищал ее писания.

– Великолепные очерки Никиты Борисовича, – говорил редактор Кузичев, сам не ведая того, что захваливанием обрекает своего любимца и соратника на гибель, что дифирамбами ставит его в такие условия, когда может случиться страшное – создание оппозиции.

– Очерки Никиты Борисовича по-новому трактуют, собственно, и самое жизнь, – продолжал губить Ваганова редактор газеты «Знамя». – Мы привыкли, товарищи, видеть поверхностный, так сказать, только героический или трудовой слой, а Никита Борисович проникает глубже...

Василий Леванов, мистер Левэн, сидел зеленый.

Проникновение в глубь характеров, проникновение...

Стоило наблюдать и за Нелли Озеровой – опытной конспиранткой, но сейчас начисто потерявшей всегдашнюю бдительность. Она, черт ее подери, вела себя так, точно находилась в объятиях Никиты Ваганова. Он немедленно послал ей записку: «Закрой поддувало!». Она оглянулась с исиугом. А редактор Кузичев продолжал добивать Никиту Ваганова, продолжал его уничтожать похвалами и восторгами и делал это так неумело, что Никита Ваганов ужаснулся: «Неужели я так заметен?» День закрытого партийного собрания навсегда запомнится именно тем, что Никита Ваганов напряженно размышлял на тему «серость и карьера», «посредственность и руководящий пост», «безликость и яркость» и так далее. Величайшей школой для Никиты Ваганова будут два с половиной часа этого собрания, два с половиной часа, стиснув зубы, он критически, словно постороннего, разглядывал себя и понимал, что жил неправильно. По ненависти Леванова, по восторгам подлой бабы Тиховой было ясно, что страсти разыграются, так как злой дух выпущен из глиняного сосуда: мистер Левэн готовил увесистую дубину, выступление подлой бабы Тиховой окажет на собрание обратное действие, вполне понятное – того, кого хвалит Тихова, в партию принимать категорически не следует! Одного не сумел смоделировать Никита Ваганов – позиции Ивана Мазгарева. Поэтому он готовился только к тому, чтобы отбиться от Леванова, то есть мистера Левэна; отбиться от него и от Бубенцовой, которая, конечно, сломя голову, бросится на поддержку возлюбленного, тем более что Никита Ваганов не так давно оскорбил ее. «Нет, нет, мне определенно не хватает серости и посредственности! Так я далеко не уеду», – думал Никита Ваганов...

Прения по первому вопросу опять для Никиты Ваганова были победительными. И Неверов, и Озерова с похвалой отзывались о его газетной работе. Леванов, то есть мистер Левэн, сказал, что очерки Ваганова заслуживают внимания, хотя в них есть недостатки, о которых он не будет говорить из-за регламента. Взхлеб хвалила очерки Тихова и – прочие. Одним словом, прения по первому пункту повестки дня были триумфальными, и Никита Ваганов почувствовал облегчение от того, что после первого вопроса – его обсудили быстро – решили перерыв не делать. Это значило, что второй пункт повестки собрания займет мало времени. И все-таки Никита Ваганов дважды посмотрел в угол, где сладостно опять дремал редактор Кузичев, а когда наконец-то поймал его взгляд, то прочел: «Вот как все хорошо, Никита!» * * *

... Несколько лет спустя, собственно, два-три года спустя, Никита Ваганов признается самому себе, что если бы не было выступления Мазгарева на партийном собрании, его следовало бы выдумать, чтобы суметь так быстро продвинуться вперед и вверх. Выступление Мазгарева наталкивало на те проблемы, которыми Никита Ваганов – вот такой молодой, но умный – занимался еще до того, как Мазгарев поднялся со своего председательского места: проблемы «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера». Сам не зная, что он творит, Иван Мазгарев приглушит молодую вызывающую яркость Никиты Ваганова, заставит его всерьез заниматься вопросами МИМИКРИИ, и за это Никита Ваганов

мысленно поставит памятник Ивану Мазгареву... Однако на партийном собрании ему было тяжело.

Иван Мазгарев деловито объявил:

– Продолжаем собрание. На повестке – прием в члены КПСС. Прошу высказываться, товарищи!

И наступила пауза, длинная и тяжелая пауза, не простая, не вызванная тем, что люди обдумывали, как удачнее выступить, а пауза, устрашающе переполненная желанием двух-трех человек говорить негативное; такое всегда передается от человека к человеку, электризует пространство, как бы нервным облаком висит над головами. Еще до первого «разрешите» Никита Ваганов ощутил, что такое эта пауза, но первое «разрешите» еще не было громовым раскатом, а было похуже – слово взял Яков Борисович Неверов, поклонник Никиты Ваганова, восторженный поклонник. Он еще долил масла в огонь, и без того раздутый редактором Кузичевым. Оратор сказал:

– Товарищи, я не понимаю, почему нужно так долго молчать, если мы принимаем в партию хорошего человека? Разве это не радость, что мы принимаем человека в партию? Это же праздник для того, кто понимает в таких вещах. А мы отмалчиваемся, переглядываемся. Иван кивает на Петра...

Худшей услуги Никите Ваганову не мог оказать и самый злейший враг! Кто просил Неверова говорить о том, что члены партии молчат и переглядываются? Какого дьявола он концентрировал внимание на том, что не было веселых лиц при приеме в партию Никиты Ваганова? Что он говорил, этот добрый дурак? Какую плел околесицу!

– Иван кивает на Петра, Петр пожимает плечами. Тот, кто хочет иметь праздник, тот его всегда будет иметь, а мы с постными лицами принимаем в партию хорошего человека. Что такое товарищ Ваганов? Нет, кто такой товарищ Ваганов? Это молодой человек новой формации, тот самый молодой человек, в руку которого нам надо вложить эстафету. Что я могу сказать о товарище Ваганове? Только хорошее, и хотел бы посмотреть на тех, кто не скажет хорошее. Я бы хотел на них посмотреть!

Через пять минут он их увидит и услышит! Однако Неверов продолжал наворачивать и наворачивать: очерки Никиты Ваганова ему нравились чрезмерно, статьи Никиты Ваганова он обожал, стилю работы Никиты Ваганова он завидовал и прочее, и прочее. Слово за словом, фраза за фразой, а Никита Ваганов все глубже и глубже увязал в черной тине глаз Виктории Бубенцовой, нацеленных на него неотступно. Последней молодости женщина смотрела на него так, словно простенько предлагала: «Сдавайся сам, Ваганов! Лучше уйти с достоинством, чем оставаться!» Этот взгляд Никита Ваганов не раз вспомнит впоследствии и ужаснется тому, что могло бы произойти, если бы его тогда не приняли в партию.

– Я с гордостью проголосую за товарища Ваганова, за члена партии товарища Ваганова! – пафосно произнес Яков Борисович Неверов. – Голосую!

Теперь пауза была недолгой. Поднялась Виктория Бубенцова и сразу взяла быка за рога:

– Возьму частный случай, а именно работу товарища Ваганова с письмами трудящихся! – Виктория Бубенцова рассеянно и добродушно шурилась. – Приятно, конечно, что в адрес Никиты Борисовича поступает много писем трудящихся, но... – Бубенцова сейчас походила на ангела во плоти. – Позапрошлый квартал для товарища Ваганова ознаменовался тридцатью шестью письмами трудящихся. Проследим их судьбу... * * *

... В роли редактора «Зари» Никита Ваганов однажды расквитается с интриганом и пасквилянтом, незаметным, но гадким человечешкой именно с помощью писем. Он хорошо

запомнит урок Вики Бубенцовой, которая, оказывается, тщательно подготовилась к партийному собранию... * * *

– Итак, мы узнаем, что из тридцати шести писем тридцать два – тридцать два! – просрочены, а одно письмо, о котором я буду говорить отдельно, находится у товарища Ваганова шестой месяц, товарищи, шестой месяц. Куда только смотрит руководство?

Никита Ваганов театрально улыбался. Он понимал, что его схватили за руку, схватили железными клещами, которые вот-вот сомкнутся с грохотом. Он действительно не считал работу с письмами важной, забывал о письмах, не отвечал на письма своевременно, ненужные ему письма сваливал грудой в большой ящик письменного стола, на что до сих пор никто почему-то не обращал внимания. Никита Ваганов мельком перехватил взгляд Нелли Озеровой: «Все обойдется, все обойдется!» Да, не думал он, что Нелька увидит его таким жалким. Он и не подозревал, что был вовсе не жалким, а, наоборот, распекаемый Бубенцовой, со стороны выглядел металлическим, пуленепробиваемым, опасным в своей бесстрастности. Он, естественно, не заметил, что и Виктория Бубенцова дважды на него взглянула с опаской: «Не делаю ли я ошибку, что связываюсь с Вагановым? Не сунула ли я голову в пасть льву?» А редактор Кузичев несколькими днями позже скажет Никите Ваганову, что он, Ваганов, держался молодцом на партийном собрании.

– Что за письмо держит товарищ Ваганов без движения шестой месяц? – нежно спросила Виктория Бубенцова. – Это так называемое огородное письмо. У некой Марии Степановны Степановой, солдатской вдовы и колхозной пенсионерки, отрезали десять соток огорода, отрезали без всякой причины и объяснения. Это письмо относится к числу тех писем, которые надо не только проверять, но и активно проверять... Товарищ Ваганов полгода держит письмо под сукном. – Виктория Бубенцова обезоруживающе улыбнулась. – Мне было бы приятно, если бы список недоработок товарища Ваганова на этом кончился. Увы! Письмо второе принадлежит – вот какое совпадение! – тоже солдатской вдове...

Напыщенный, злой и мстительный Вася Леванов, мистер Левэн, медленно перелистывал страницы записной книжки – видимо, по сценарию было задумано так, чтобы он выступил не сразу после Бубенцовой, а третьим или четвертым. Никита Ваганов подумал: «За что они меня не терпят, дураку понятно, но зачем им надо выступать обоим? Будто не хватит одной Вики?» Он оказался прав: именно дуэт Бубенцова – Леванов заставит в конце собрания подняться с места Кузичева и резко осудительно выступить против Василия Семеновича Леванова, допустившего в злобном выступлении массу серьезных передержек и ошибок. Член бюро обкома партии Кузичев отчасти расправится с любовным дуэтом, хотя никогда не обращал внимания на сплетни – он был деловым человеком.

– Вот такая картина, товарищи, вот такая грустная картина! – говорила Бубенцова. – И я, товарищи, не буду говорить о других недостатках Ваганова, не буду, хотя их много и они серьезны. Я не могу голосовать за принятие в партию Ваганова.

Вот такие пирожки! Но уже поднималась с места, уже шла к столу президиума Мария Ильинична Тихова, шла с блестящими от возбуждения черными монгольскими глазами, неистовая и опасная в своем неистовстве, еще более опасная, чем Бубенцова и Леванов, вместе взятые. Никита Ваганов затаил дыхание, прикрыл глаза, Мария Тихова завопила. Она метнулась в сторону Виктории Бубенцовой:

– Почему ты молчала полгода, если знала о письме Степановой? Я вас всех спрашиваю, почему молчала секретарь, ответственный секретарь газеты Бубенцова, если знала о полугодовом недвижении письма? Ты специально подсидивала Никиту? Отвечай, ты его специально подсидивала?

Бог знает, что творилось! Сгущался за окнами вечер, шел трамвай, проливающий яркие

брызги из-под контактной дуги, постукивали каблуками по асфальту женщины, возле почты перекликались мальчишки, а здесь – бог знает, что творилось! Защитница Никиты Ваганова наседала на Бубенцову, Бубенцова звучно огрызалась, председательствующий Мазгарев призывал к порядку. Нелли Озерова аплодировала Тиховой, мистер Левэн злобно щерился, точно забитый щенок, редактор Кузичев задумчиво чесал затылок и дергал левым плечом. Что касается Никиты Ваганова, то он готов был без горчицы съесть Марию Ильиничну Тихову, подлую бабу. Она продолжала вопить как резаная:

– Ты подсиживала Никиту, нет, ты его подсиживала? Товарищи коммунисты, почему вы молчите, почему, почему?!

Иван Мазгарев сказал:

– Мы на партийном собрании. Мы говорим по очереди и не кричим, о чем напоминаем и вам, товарищ Тихова.

– А я не кричу! – еще сильнее прежнего завопила эта базарная баба. – Я исторгаю вопль по поводу подлой игры гражданки Бубенцовой. Ну, разве вы не понимаете, отчего она не любит Никиту? Завидует. Я тоже ему завидую, но как завидую? Как? Я завидую по-доброму его таланту, его оперативности, его...

И пошла, и пошла, и пошла... Одним словом, Никита Ваганов опять думал на тему «посредственность и карьера», «серость и карьера», «безликость и карьера» и прочее. Как он смел так высунуться из окопа, что в него угодила первая пуля, как он так открылся, что вызвал на себя огонь такого мощного дуэта – Бубенцова-Леванов? По молодости, по глупости, по неопытности! Но как быть с его действительно яркими очерками и статьями, как быть с умением выступать на собраниях и совещаниях, как быть с крупным лицом, таким добрым, когда оно при очках? Отбросить все, остаться серенькой маленькой мышью, способной пробраться в любую щелочку? Невозможно это для Никиты Ваганова, не съезживается он до размеров Васи Леванова – самого «скромного» человека в редакции «Знамени». А что делать, если Мария Ильинична Тихова так и валит, так и валит:

– Чего только стоят выступления Никиты в центральной печати! Они имеют всесоюзное значение. Такие, например, как...

Она говорила минут пять, она кричала и говорила, называя Никиту Ваганова только и только по имени, и это было смешно, комично для закрытого партийного собрания, тем более что все присутствующие знали: Никита Ваганов правит очерки Марии Тиховой, а очерки Нелли Озеровой – пишет. Позор, кромешный позор!

– Я не только сама буду голосовать за Никиту, но и призываю всех проголосовать за Никиту, всех-всех-всех, товарищи!

«Пронесет-не пронесет?» – гадал Никита Ваганов, наблюдая за тем, как крикливая баба возвращается на место. «Пронесет-не пронесет?».. Если бы «не пронесло», Никита Ваганов не сделался бы тем Никитой Вагановым, который будет стоять на синтетическом ковре под взглядами профессорского синклита, чтобы узнать, когда приблизительно он умрет. Нет, в конечном итоге он стал бы Никитой Вагановым, стал бы им, но в другие сроки и в иных условиях. Интересно, предстал бы такой Ваганов перед профессорским синклитом или не предстал? Кто может ответить на этот вопрос, кроме Госпожи Судьбы? Останься Никита Ваганов специальным корреспондентом «Знамени», проживи десятилетия в Сибирске, может быть, и не было бы синтетического ковра? А-а-а-а! Кто знает? Вместо синтетического был бы другой ковер, попроще и подешевле. А если – нет?! Хватайся за голову, Никита Ваганов, хватайся и плачь, рыдай и бейся об пол, умирающий не сегодня, так завтра, Никита Ваганов!..

* * *

– Слово имеет Василий Семенович Леванов.

Спасительным – вот как надо было бы назвать выступление на закрытом партийном собрании «мистера Левэна». Начал он, правда, хорошо и лихо. Он сказал:

– Мне думается, товарищи, что критика товарища Ваганова, вернее уровень критики товарища Ваганова, ниже самого товарища Ваганова и его, безусловно, интересной работы...

Это было заявкой на большой «серьез», это прозвучало набатно и было бы убийственным, коли критика самого Леванова была бы, как он требовал, на уровне Никиты Ваганова. Нет, он ничего интересного и убивающего не сообщил, хотя – скотина! – рикошетом чуть не попал в цель, когда заявил, что статья Никиты Ваганова о Владимире Майорове «Былая слава» написана так, словно автор держит фигу в кармане, словно не хочет говорить правду и только правду.

– В этом весь товарищ Ваганов! – заявил мистер Левэн, почти попадающий в цель. – Здесь наиболее ярко проявлено его приспособленчество, его нежелание говорить всегда правду до конца...

Когда он произносил это, Никита Ваганов чувствовал на своей прямой спине взгляд редактора Кузичева, так благодарного недавно ему за то, что за статьей «Былая слава» стоит еще ряд грозных непробиваемых фактов. А мистер Левэн все ходил вокруг да около:

– Методы советской журналистики... Совместимость методов советской журналистики с творческим методом товарища Ваганова... * * *

... Дурак – это всерьез и надолго, дурак – это должность, с которой сместить невозможно, и, как это ни странно, Никита Ваганов на всю жизнь под дураком будет подразумевать и видеть Василия Семеновича Леванова, но дурака высшей кондиции, то есть умного дурака. Никита Ваганов всю жизнь будет цитировать из Чехова: «Теперь у кажинной дуры свой ум есть!», а видеть будет и слышать мистера Левэна, как он ходил вокруг да около цели, чуть не поразив ее рикошетом. Дело в том, что сам-то Никита Ваганов знал о передержках и недодержках, которые он допускал в статьях и очерках, и о вранье, которое по жестокой необходимости жизни ходит рядом с правдой. Ну, это уже материи высокого, не левановского порядка! В них и сам Никита Ваганов не всегда разбирался... * * *

– Я воздержусь при голосовании! – печально закончил мистер Левэн. – Это единственное, что я могу сделать с чистой совестью.

И сел, подлец этакий! Сел демонстративно рядом со своей Викой Бубенцовой, чтобы все думали, что они друзья, а не любовники. А собрание вновь притихло, так как председательствующий Иван Иосифович Мазгарев не призывал выступать других, а поднимался для выступления сам, собственной персоной. Умный и добросовестный, доброжелательный и серьезный, терпимый и принципиальный, он ничего никогда не делал, как говорится, с кондачка, во всех жизненных ситуациях был верен правде, своей, мазгаревской, правде. Помолчав, сосредоточившись, собрав на себе внимание – без желания делать это, – Иван Иосифович Мазгарев произнес такую речь, которая навеки запомнилась Никите Ваганову, научила его, как жить дальше, потому что для него лично решился вопрос: «талант и серость». Иван Мазгарев сказал:

– Я не подвожу итоги. Я не выступаю как секретарь первичной партийной организации. Я просто размышляю о природе партийности и необходимости партийности. – Пауза. – Товарищ Вагаиов, несомненно, яркая и одаренная личность. Товарищ Ваганов, несомненно, имеет право на вступление в ряды партии как искренний сторонник коммунистической доктрины. Товарищ Ваганов, несомненно, имеет право на партийность, как сын члена партии,

наконец, как внук политкаторжанина Никиты Ваганова, известного под партийной кличкой Светлый. Товарищ Ваганов значительно вырос за год пребывания в кандидатах в члены партии, вырос во всех отношениях. – Пауза. – Все вы знаете, как я не терплю злополучное «но»! Я его ненавижу! – Пауза. – Однако мне не обойтись без «но», просто не обойтись! – Пауза. – Товарищ Ваганов, кажется, имеет все, чтобы стать членом партии, но тот же товарищ Ваганов – в этом диалектика – права на вступление в партию не имеет, как выяснилось за год его кандидатства...

После этих слов живой и еще дышащий Никита Ваганов полетел в пропасть, полетел, полетел, полетел. Он ощутил именно чувство пропасти, разверзшейся под его обыкновенным учрежденческим стулом; пропасти черной и глухой. Летело все, летело вверх тормашками: его приезд в Сибирск, его работа в «Знамени» и для «Зари», его борьба с Пермитиным, мечты о близкой Москве. Кому он был нужен в роли беспартийного журналиста, чего он мог добиться без партийного билета, за которым, в частности, и приехал в Сибирск, в провинцию, в Тмутаракань. Что такое? Не прочел ли мысли Никиты Ваганова секретарь партийной организации Иван Мазгарев, тот самый Мазгарев, который льдыстым весенним утром не подал Никите Ваганову руки? Он по-прежнему говорил с паузами:

– Несомненно, что стимулом для работы товарища Ваганова является стимул карьеристский, выдвигенческий, яческий. – Пауза. – Несомненно, половина работы товарища Ваганова – показуха, вторая половина – ловкое лавирование на вкусах и вкусовщина. – Пауза. – Жаль также, что товарищ Ваганов ведет непонятную и, видимо, нечистую закулисную возню, которую ему бы хотелось назвать борьбой. – Пауза. – Несомненно также и то, что моральный облик товарища Ваганова нуждается в серьезнейшей корректировке. До сплетен не унизимся, но очевидное есть очевидное! – Пауза. – И последнее, товарищи, последнее! Несомненно, что товарищ Ваганов приехал в Сибирск не работать, а наживать чины и партийность, чтобы вернуться победителем в Москву. Тише! Это можно доказать, анализируя его повседневную работу. Он больше уделяет внимания центральной печати, чем родному нашему «Знамени»! Разве это не так? – Пауза. – Здесь товарищи поступали ошибочно, призывая голосовать или не голосовать за товарища Ваганова. Это дело совести каждого. Пусть коммунисты сами решат, как поступать!

После этого Иван Мазгарев не выдержал – поплыл точно так, как «плывет» магнитофон, если в нем неисправен лентопротяжной механизм.

– Парторганизация у нас зрелая, коммунисты – люди ответственные, сугубо партийные, принципиальные. Они сами примут правильное решение! Они...

В зыбком болоте отчаяния и одиночества Никита Ваганов сейчас не находил крошечного, самого крошечного островка спасения, хотя последний эмоциональный взрыв секретаря партийной организации Мазгарева, казалось, немного разрядил обстановку публичной гражданской казни. Целую геологическую эпоху спустя, наяву и во сне вспоминая партийное собрание, он будет понимать, что его спасло чудо, маленькое чудо, которое сотворят три человека – заведующий промышленным отделом Яков Борисович Неверов, маленькая женщина с волнующими бедрами Нелли Озерова и сам редактор Кузичев – член бюро обкома партии. Как только Иван Мазгарев закончил свою уничтожительную речь и в кабинете воцарилась – именно воцарилась тишина гильотинирования, раздался хлюпающий звук. Это, забыв о всех и всем, плакала Нелли Озерова; она не рыдала, не плакала громко, а только всхлипывала, вздрагивала, давилась горькими слезами. Видимо, она, как и Никита Ваганов, прощалась со светлыми мечтами, ставила крест на лучезарном будущем, отказывалась от лазурных морских берегов, бесшумных автомобилей, Калининского проспекта, теплой хлорированной воды бассейна «Москва», пахнущих французскими духами удобных душевых постелей, отказывалась от самого Никиты Ваганова, шепча его имя мокрыми губами. И вдруг раздалось:

– Товарищи, товарищи!

Это вскочил с места маленький и упругий, как теннисный шар, Яков Борисович Неверов, размахивая руками и заикаясь отчего-то, прокричал с душевной болью, с тоской и печалью, с отчаянием и таким же, как у Никиты Ваганова, чувством одиночества.

– Товарищи, товарищи, опомнитесь! Что вы делаете? Коммунисты – это добро, коммунисты – это гуманизм, коммунисты – это хорошая жизнь! Что вы делаете, товарищи, с молодым, талантливым, умным молодым человеком? Опомнитесь! Вагановы на улице не валяются! Кто сказал, что таким людям надо ломать хребет? Где это написано? Отвечаю: нигде это не написано! Неужели можно не принимать в партию человека, если он ярок, ироничен, заметен? В партии должны быть личности – без них нет партии! Опомнитесь, товарищи!

Он упал на стул, снова стало слышно, как тихонько плачет Нелли Озерова, плачет по себе самой. И когда тишина сделалась невыразимо трудной, когда Никита Ваганов подумал: «Кина не будет!», поднял скромно руку редактор Владимир Александрович Кузичев, член партийной организации и член бюро обкома партии. Он веско и очень тихо сказал:

– Три четверти предъявленных обвинений, в сущности, правильны. Как редактор, могу сказать, что товарищ Ваганов на «Зарю» работает достаточно много для того, чтобы этого не заметить. Но, Иван Иосифович, у меня как редактора нет претензий к товарищу Ваганову по объему его работы в «Знамени». Товарищ Ваганов для нашей газеты дает так много материалов, что мы их просто не можем опубликовать. – Редактор Кузичев по-стариковски пожевал провалившимися губами. – В свете этого понятна активность товарища Ваганова в центральной печати. Это во-первых! Во-вторых, товарищ Мазгарев, не вижу ничего плохого в том, что товарищ Ваганов стремится вперед и вверх. От каждого по его способностям – каждому по его труду.

Редактор Кузичев употребил слова «вперед и вверх», их до сих пор Никита Ваганов не употреблял, а в дальнейшем они станут для него рабочей формулировкой. А редактор Кузичев продолжал спокойненько:

– Не пахнет ли все это ведьмоискательством? Мне, например, понравилось выступление товарища Бубенцовой о работе с письмами, но, действительно, непонятно, почему товарищ Бубенцова так долго молчала? – И повернулся к Виктории Бубенирвой. – Неужели вы забыли, товарищ Бубенцова, что товарищ Ваганов до недавнего времени работал специальным корреспондентом газеты при сек-ре-та-ри-ате? Из этого следует, что прокол с письмами – прокол секретариата! Вот не думал, товарищ Бубенцова, что вы могли с фискальными целями отказаться от контроля за прохождением писем. Днями я разберусь с этой неприглядной историей. Пойдем дальше, товарищи...

Небо, кажется, понемногу прояснилось. Рассасывалась самая грозная темная туча, молнии удалялись, гром утишивался, но все еще здорово, здорово попахивало грозой, так как Бубенцова, Леванов, Мазгарев слушали редактора с кислыми, отрицающими физиономиями, глаза имели стальные, карающие; и – зачем сейчас-то! – продолжала тихо плакать Нелли Озерова; не опускала руку, сверкая очами, Мария Ильинична Тихова.

Кузичев преспокойно продолжал:

– Прием в партию – это не конечный итог развития человека, это, если хотите, мощная и оптимистическая заявка на будущего человека. В связи с этим замечу, что после принятия в кандидаты товарищ Ваганов изменился к лучшему. Стал еще больше работать, находить острые партийные темы, собственно, значительно вырос. Это гарантия дальнейших успехов.

Никита Ваганов вместе с редактором Кузичевым боролся против Арсентия Васильевича Пермитина, вместе с редактором Кузичевым специальный корреспондент Никита Ваганов

своими очерками медленно, но верно подбирался к теме «Советский образ жизни», находил уже некоторые черты для своего будущего знаменитого очерка «Рабочий»...

– Партийность превыше всего, партийность обязывает видеть людей и явления в диалектическом развитии. Считаю, что урок, данный на партийном собрании, пойдет на пользу товарищу Ваганову; и зря товарищ Мазгарев лишает нас возможности высказываться по поводу голосования. Я проголосую за товарища Ваганова!

Редактора Кузичева любили в коллективе «Знамени», с ним считались, у него учились и ему подражали, в редактора Кузичева, как в журналиста, влюблялись практиканты и практиканточки из различных университетов страны, прибывающие на практику в газету, одним словом, Кузичев был Кузичевым – этого достаточно!

– Будем голосовать, товарищи, будем голосовать!

V

Как писал поэт, «тишина бродила в мягких тапочках» по большим комнатам квартиры Габриэля Матвеевича Астангова, тишина колыхалась над люстрами и под люстрами, тишина затвердевала в ушах, тишина была такой, что ее можно было резать на дольки, куски и полосы и подавать к столу, как мармелад. Четверо сидели за круглым столом, думали свои грустные думы, по вязкости и плотности похожие на тишину. И каждый думал о своем, так как люди всегда думают только о своем, исключая редких женщин, умеющих думать о других... Габриэль Матвеевич Астангов думал, что вот он и сыграл свою шахматную партию длиной в пятьдесят восемь лет, что партия кончается матом ему, что впереди – беспросветность, темень и тоска. Он думал, что мат ему объявил такой родной и близкий человек, как муж дочери, что он – близкий и родной – добывает его и добьет, как бы там ни вертелась земля вокруг своей оси и как бы она ни вращалась вокруг солнца. Ника Астангова думала о том, что муж ей продолжает изменять с Нелли Озеровой и что будет и дальше изменять, так как любит, видимо, Нелли Озерову, и что ей, Нике, надо решать раз и навсегда: принять сосуществование с Нелли Озеровой или не принимать. Теща Софья Ибрагимовна думала о том, что никогда не понимала и не понимает мужчин, не возьмет в толк, зачем это надо быть начальниками комбинатов и специальными корреспондентами, когда можно быть простыми инженерами, простыми корреспондентами и... счастливыми. Никита Ваганов думал о том, что он – щенок, пустобрех, сосулька и дурак, если вовремя не продумал тему «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера».

Областной город Сибирск потому и был областным городом, что его жители друг от друга тайн не имели. Никита Ваганов еще только собирался возвращаться домой, еще только решался пройти по людному после партийного собрания коридору, а в доме Габриэля Матвеевича Астангова уже знали, что он принят в члены партии перевесом всего в четыре голоса, что виной этому якобы карьеризм, бездушие, интриганство, наконец, моральное разложение. Причем в доме Габриэля Матвеевича узнали об этом с такими передержками, какие обязательны для слухов и не могут быть не обязательными. Согласно сообщению, полученному в доме Астангова, домой должен был возвратиться злодей и мерзкий развратник, беспардонный лжец и опасный интриган. И он был бы таким в глазах жены Ники и тещи Софьи Ибрагимовны, если бы не Габриэль Матвеевич – он-то знал, чего стоят телефонные новости, но все равно не смог до конца смикшировать события, центром которых стала Ника – законная жена Никиты Ваганова. Это она разговаривала с Марией Ильиничной Тиховой, считающей своим долгом непременно поздравить видное семейство с победой Никиты Ваганова и, конечно, рассказавшей о лживых обвинениях в адрес их дорогого мужа и

зятя и о своей роли на собрании, причем все было катастрофическим преувеличением: письмо вдовы он держал в столе год, встречался с Нелли Озеровой ежедневно, вовлек в свои дурнопахнущие интриги самого редактора Кузичева, собирался уехать из Сибирска в тот же день, как получит партийный билет...

Встреча была бурной. В прихожей Ника не ответила на «Добрый вечер», широко расставив ноги, подбоченилась чисто по-русски:

– Ну, что скажешь, дорогой муженек?

Никита Ваганов сказал:

– Ничего! Лучше было бы, если бы ты...

– Что? Что?

– Не трогала меня сегодня.

– Ах, не трогать вас сегодня? Прекрасно! Мой муж развратник и карьерист, мой муж интриган и злодей, а я – его не трогай! Нет, вы посмотрите на этого человека, вы на него посмотрите!

Он сказал:

– На меня действительно стоит посмотреть! Я изменился за два часа партийного собрания.

Так оно и было, только Никита Ваганов не объяснил, что значит «изменился», и домочадцы, естественно, поняли, что он сделал соответствующие выводы из серьезной критики, решил резко улучшиться и так далее. Ника вопила:

– Он изменился? Поздно же ты изменился, мой дорогой! Поздно!

Собственно говоря, достаточно ограниченная женщина, она и должна была воспринять его слова об изменении, как слова о том, что покончено с прежним – гадким, как бяка! – Никитой Вагановым. Ей и в голову не пришло, что ее муж, любимый муж, стал не лучше, а хуже после закрытого партийного собрания, на котором его приняли в партию перевесом всего в четыре голоса. Его бессонные трудовые ночи, его дневные бдения, его бесконечные выматывающие командировки – и все это ради того, чтобы четыре голоса приняли его в ряды той партии, которую создавал и его дед Никита Ваганов! Вспоминая об ужасах этого собрания, он увидит беспощадные лица, услышит страшные паузы Ивана Мазгарева, плач Нелли Озеровой и станет жестоким и мстительным, даже фальшивым порой, ибо после собрания Никита Ваганов научится скрывать свою яркость, индивидуальность, займется вплотную вопросами мимики: защитной серостью и безликостью. Но главное – ожесточится, ожесточится!

Он сказал жене Нике:

– Повторяю, меня сегодня лучше не трогать.

– Его не трогать? Ты, может быть, не давал мне слова порвать с этой Нелли?

– Я с ней порвал. Вспоминают прошлое...

– Ха-ха-ха! Прошлое? Никто твоим прошлым не интересуется, интересуются настоящим. Ты мне обещал?

– Ника, послушай, Ника!

– Ничего не хочу слышать!

Он промолчал, так как уже жил – думал, видел, слышал – по-новому, и этот новый Никита Ваганов решил отложить разговор с женой на самый поздний вечер, на минуты перед сном, на те минуты, когда супруги все-таки хоть немного, но понимают друг друга, если это возможно – понимание. Никита Ваганов молча и медленно сменил костюм на пижаму: чувствуя головокружение от внезапного голода, пошел в столовую. После партийного собрания, где он победил с перевесом в четыре голоса, Никита Ваганов хотел есть так, как давно не хотел. Пожалуй, только в мальчишках он испытывал такой зверский голод, что сводило судорогой желудок, подташнивало и кружилась голова. И он ел, он бог знает как много и долго ел. И это понравилось теще Софье Ибрагимовне, которая на зятя смотрела тоже как на чудовище и исчадие ада, а вот от того, как он ел, она успокоилась. А потом они сидели четвером за столом, сидели молча. Тишина длилась бесконечно долго, потому Никита Ваганов сказал:

– Мне не нравится похоронная обстановка! – Он повернул лицо к тестю. – Я не терплю людей, которые сильны потому, что им нечего терять, но сегодня... – Никита Ваганов ухмыльнулся. – Но сегодня у меня есть ощущение сладости этого самого – нечего терять! Поверьте, только нужда заставляет меня, Габриэль Матвеевич, делать то, что я сейчас сделаю. – Теперь он повернулся к жене Нике. – Ты взяла манеру кричать на меня и топтать ногами. Думаю, твои родители через стену слышали, как ты это делаешь. Наш брак на грани краха – это следствие твоей барской разнузданности! – И опять к Габриэлю Матвеевичу. – Я немедленно разведусь с вашей дочерью, если она еще раз, каков бы повод ни был, закричит на меня. Даю честное слово!

Ника вскочила, прижала руки к груди. Она заикалась.

– Ты м-м-м-меня бросишь? П-п-п-одлец!

Габриэль Матвеевич сказал:

– Сядь! Никита прав. Сядь!

Теща Софья Ибрагимовна покачала головой:

– Моя дочь – дура! Вероника, твой муж – мужчина.

Но Нику унять было просто невозможно: она была действительно барски разнузданна, избалованна, вообще не готова к семейной жизни. Она перестала заикаться и закричала:

– Перестаньте все-е-е-е! Перестаньте! Мой муж – развратник и карьерист. Папа, папа, он даже на тебе делает карьеру, даже на тебе!

Только Никита Ваганов мог разглядеть в Нике Астанговой будущую прекрасную, верную, добродетельную, самую необходимую для занятого делом мужчины жену, но пройдет еще много времени до того дня, когда Ника превратится в то, что надо, когда она примет Никиту Ваганова целиком и полностью, таким, каким он был и каким его запрограммировала природа. Сейчас же она продолжала бушевать:

– Папа, папа, он и на тебе делает карьеру. Он станет всем, он всего добьется, а нас он уничтожит. Тебя, меня, маму. Он никого не пожалеет, он – развратник, развратник, развратник!

Дура, она так кричала, что ее родители немедленно и бесповоротно заняли сторону Никиты Ваганова, они смотрели на него как на страдающего, а на дочь как на недовоспитанную ими девочку. Сначала они были просто ошеломлены. Габриэль Матвеевич, безупречно мягкий и добрый человек, казалось, поверить не мог, что так кричит, вопит и брызжет слюной его дочь, его родная дочь, преподавательница, воспитательница. Потом тесть и теща понемногу

пришли в себя, а Ника... Ника продолжала себя губить:

– Он всех, всех предает и продает! Он бездушный, страшный!

Когда она потихонечку пошла на убыль, Габриэль Матвеевич что-то горячо и быстро проговорил на родном языке, а теща сказала:

– Стыд-то какой! Если Никита развратник и карьерист, отчего шла замуж? Отец, стыд-то какой!

Никита Ваганов сказал:

– Я дал честное слово! Еще раз и...

И тогда старики испугались. Каким бы современным человеком ни был Габриэль Матвеевич Астангов, какими бы уникальными знаниями он ни обладал, а взгляды на семью и брак у него были старинные – немедленный развод дочери с мужем, когда они не прожили и полугода, его страшил. Габриэль Матвеевич не мог наплевать на общественное мнение, оно ему было дорого, особенно теперь, когда вскрылась и стала достоянием всех афера с утопом леса, производимая с его ведома, при его безвольном попустительстве. Еще более консервативной была теща, она считала, что развод вообще невозможен, что развод – это вызов судьбе. Габриэль Матвеевич воскликнул:

– Это в последний раз, Никита! Мы примем все меры, чтобы объяснить Нике, как она не права.

Теща застонала:

– Никита, дорогой, Никита, простите еще раз мою неразумную дочь.

Ника заплакала. Это был второй за день плач по нему, Никита Ваганов принял этот плач с дикой ожесточенностью, он почувствовал, как сердце сжалось и замерло. Он не мог больше сидеть, поднялся, сделал несколько шагов по гостиной: сердце болело. Вспомнилось зловеще молчащее партийное собрание, глаза Бубенцовой и Леванова, паузы Мазгарева. «Страх энд ужас!» – подумал он и криво улыбнулся. «Еще одно такое собрание – и со мной придется обращаться как с диким зверем!» И подумал опять о спасительной мимикрии. Наверное, поэтому он, комикуя, и сказал:

– Считаю крик в спальне и сегодняшний крик в гостиной за один крик.

Старики буквально просияли, и Никита Ваганов почувствовал легкий стыд – такие доверчивые, чистые, славные были эти старики, родители его жены Ники, а вот она еще не была той Никой, которую впоследствии станут называть Верой, использовав первую часть ее полного имени Вероника.

– Он меня прощает! Он меня прощает! – саркастически воскликнула Ника и опять по-бабьи, по-деревенски подбоченилась. – Он меня прощает, карьерист и развратник! – И повернулась к матери. – Почему я вышла за этого субъекта? Ошиблась! Он мне заморочил голову, обманул! Хочет уходить, пусть уходит – скатертью дорога! Скатертью дорога, гражданин Ваганов, счастливого пути, развратник и карьерист!

Теща воскликнула:

– Куда Никита может уйти? Боже мой, Ника, что ты делаешь?..

Никита Ваганов ушел к Борису Петровичу Гришкову, и ему чрезвычайно повезло: толстяк и сибарит, пропойца и бабник сидел по нечаянности дома, не был ни у одной из «кысанек», не распивал мед-пиво в забегаловках или винных подвалах. Он – можете себе представить? – сидел дома и даже работал, то есть писал рецензию на гастролировавший в городе Новосибирский театр оперы и балета. На столе под носом у Боба Гришкова лежало либретто «Спартака», которое он брюзгливо перелистывал. Его жена Рита, Маргарита Ивановна, попросту Ритка, женщина с обожженным при пожаре лицом, но статная, длинноногая, полногрудая, с величественной осанкой и серыми прекрасными глазами, обрадовалась Никите Ваганову, бутылку водки от него приняла с легкой осудительной улыбкой, пожав плечами, пробормотала смутное, похожее на «И ты, Брут!». Она ушла на кухню готовить закуску, а Никита Ваганов, подчинившись широкому жесту Боба Гришкова, сел на старинный, так называемый венский стул. Боб Гришков вообще жил в окружении старины, в наследственном доме профессоров и, как он сам утверждал, дворян Гришковых. Впрочем, в дворянство толстяка Никита Ваганов не верил, считал, что Боб прет околесицу, так как фамилия Гришков принадлежала, возможно, поповскому роду – так оно, наверное, и было в действительности.

Дом Боба Гришкова был прекрасен. Пятикомнатный, деревянный, прочный; в нем было по-деревенски тепло, уютно, сокровенно; ходил здесь на мягких лапах домашний уют прошлого, неторопливого и созерцательного века, и Боб в своей душегреечке, надетой на голое тело, казался уютным, как бабушка с вязальными спицами. Он искренне обрадовался Никите Ваганову:

– Вот это идиотство так идиотство! Ко мне пришестьвовал сам Не-кит! Чем обязан, ваш диотизм?

... Годы, длинные годы спустя, находясь еще на подступах к редакторству в газете «Заря», Никита Ваганов будет часто вспоминать вечер и ночь, проведенные в доме Боба Гришкова, совершившего акт высшего гостеприимства: он откажется пить водку в одиночестве, бутылка «Русской» останется даже нераспечатанной... * * *

– Хочешь у меня переночевать, дорогой Не-кит? Ага! Семейная ссора... Легкая разминка, легкие покальвания, взрыв с чудовищными обвинениями, крики «Навсегда!» и «Навечно!». Боже, как стар и скучен этот идиотский мир! Ты получишь комнату несчастных и обреченных, Никитушка, ты ее получишь в полное твое распоряжение. – Он подозрительно взгляделся в Никиту Ваганова. – Надеюсь, ты на меня не прольешь свой горестный рассказ?

– Не пролью, Боб, успокойся.

Рита сказала:

– Чудовище! Может быть, Никите надо именно выговориться.

Никита Ваганов рассмеялся и хорошо, по-доброму посмотрел на жену Боба Гришкова.

– Мне не трэба выговариваться! – сказал он мягко. – Мне нужна человеко-койка и немного черствого хлеба на утро, чтобы я мог вновь строить жизнь, покалеченную и растерзанную институтом брака. О, я поднимусь из руин!

Боб Гришков решительно отодвинул от себя бумагу и, крикнув: «Идиотство!», принялся еще не один раз прощупывать Никиту Ваганова вытараченными по-рачьи главами. Он аккуратно произнес:

– Настрался на партсобрании? Висел на волоске? А тут еще эта Ника, идиотство сплошное... Да ты жрал ли, Никита?

– Я жрал, Боб, хорошо жрал.

И начался разговор – этот легкий треп двух умных мужчин и одной умной женщины, знающей мужчин и понимающей все, о чем бы они ни говорили, то есть женщины, живущей интересами мужа. Отдел информации – пожалуйста, речь ведется Ритой об отделе информации; выступление на партийном собрании Ивана Мазгарева – извольте, Рита поддерживает разговор об Иване Мазгареве; утоп древесины – женщина с обожженным лицом говорит увлеченно об утопе. И с ней приятно и поучительно общаться, с женой Боба Гришкова Ритой, которая знала и о беспробудном временами пьянстве мужа, и о его «кысках», и его верности в конечном счете домашнему очагу. Они протрепались до половины первого ночи, мало того, Боб Гришков, увлеченный разговором, решил улечься в комнате, отведенной Никите Ваганову. Себе он взял раскладушку, гостя уложил на дедову кровать, расщедрившись, выдал Никите Ваганову две пуховые подушки, произведенные в конце девятнадцатого века. Они лежали параллельно друг другу, головы разделял метр расстояния, можно было слышать, как тяжело, с присвистом дышит этот кромешный толстяк Боб Гришков. Понемногу успокаиваясь, чувствуя сонность, они разговаривали уже с большими паузами, думали, прежде чем начать говорить, были оба серьезны. Когда вся редакционная жизнь была перемолота в мельнице приятия и неприятия, когда близкое, непосредственно сегодняшнее, постепенно ушло на задний план, Боб Гришков, казалось, ни с того ни с сего задумчиво проговорил:

– Слушай сюда, Никита. Я буду философствовать, понял? Тебе никогда не приходит в голову, что ты зело смешон? Ну, чего тебе надо, дружище, от жизни, если она и так прекрасна и удивительна? Нешто ты не понимаешь, что ты сейчас предельно, как ты выражаешься, счастлив? Столько удач, столько внутреннего движения, столько любви Нельки и Ники! Нешто ты всего этого не понимаешь, Никита? – Боб медленно повернулся и лег лицом к Никите Ваганову. – Чего же ты еще хочешь, старче?

Действительно, чего же он хочет, Никита Ваганов? Какого еще набора радостей, добра и достижений ищет он, какого полного и щедрого существования ждет Никита Ваганов? Молодость и здоровье, талант и ум, способность вызывать любовь и способность любить, благожелательность окружающих и сладостная работоспособность – отчего не жить сегодняшним днем, отчего не быть счастливым сегодня, бросив упорное стремление вперед и вверх, бросив интриги и расчеты? Жить, жить и жить! Открыть бутылку водки, выпить умеренно для еще большей полноты жизни, отбросить стремление быть большим, чем он сейчас есть, жить и наслаждаться жизнью. Вспоминая впоследствии об этой ночи, Никита Ваганов подумает, что Боб Гришков не только был прав, но был прав так, что, послушай его Никита Ваганов, жизнь была бы совсем другой – просто и незамысловато счастливой. Однако он не мог принять философию Боба Гришкова – ни целиком, ни частично, рожденный для того, чтобы пройти все семь кругов ада. Эх, как еще несовершенен и плохо выполнен человек!... Будет московская встреча с Бобом Гришковым, встреча, которая все перевернет в спокойствии и величии редактора газеты «Заря», казалось бы, добившегося почти всех степеней человеческого счастья и тем не менее несчастного, глубоко несчастного человека.... Сейчас Никита Ваганов задумчиво проговорил:

– Ты ошибаешься, Боб, если считаешь, что я об этом не думаю. Я думаю! – И надолго замолчал. – Я думаю, но я – это я! Генетическая ли, воспитанная, но во мне живет, черт побери, не управляемая мною неугомонность. Наверное, я не могу жить по-другому.

Боб Гришков сказал:

– Это тебе только кажется, что ты не можешь жить по-другому. Человек – мобильная тварь.

Например, и мне кажется, что я не могу жить без водки, без «кысок», без огульного лентяйства. Идиотство! Ключь меня в задницу жареный петух – все стало бы на свои места. Так и с тобой, Никита, можешь мне поверить, можешь мне поверить! Полгода иной жизни – и ты человек!

Никита Ваганов улыбнулся:

– А сейчас ты меня за человека не держишь?

– Не обижайся: не держу! Для меня суетный – значит глупый, опасный, злобно чужой.

– Какого же черта ты со мной якшаешься?

– Я тебя просто люблю, Никита! Ты все-таки забавный.

– И на том спасибо!

Никита Ваганов лишь смутно догадывался, что на раскладушке, толстый и нелепый, лежит самый счастливый человек из тех счастливых, кого он встретит в жизни; степень счастливости этого человека достигает философской величины, его счастливость окажется такого свойства, которое человечество могло бы использовать как панацею, когда счастливость человека становится уже не его личным делом, а достоянием общества.

Никита Ваганов сказал:

– А если мне не хочется переделываться? Боб Гришков – это Боб Гришков, Никита Ваганов – это Никита Ваганов, хотя ты меня не держишь за человека, как и я... Прости! Тебя за человека я тоже не держу.

– Обменялись! – сказал Боб и захохотал. – Два недочеловека на пятнадцати метрах квадратной площади... Ба-а-льшой юмор, Никита, ба-а-альшой!

Смутно и неопределенно Никита Ваганов чувствовал за словами Боба Гришкова настоящую и страшноватенькую для него правду, но в этой смутности разбираться не хотел, да и не мог, будучи только и только Никитой Вагановым, существом другого порядка, нежели Боб Гришков. Что для одного было черным, другому казалось белым, и они не могли понять друг друга, совсем не могли; фатально и грустно это все, в сущности, а если бы Никита Ваганов и разобрался в смутности, принял бы точку зрения Боба Гришкова, он ничего с собой не смог бы поделывать: такова была сила его центростремления, заведенности, похожести на до предела раскрученную пращу, когда вот-вот ринется на врага убийственный камень. Он не смог бы остановиться, если бы даже очень этого захотел.

– В одном ты прав, Боб, я не просто суечусь, а чрезмерно суечусь. И сегодня на партийном собрании я это понял.

Боб Гришков опять засмеялся:

– Тоскуешь по серости, Никита?

Ну, разве он не был мощно умным человеком, этот лентяй и пьянчужка Боб Гришков? Как, каким образом мог он проникнуть в мысли Никиты Ваганова, каким путем пришел к думам на тему «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера»? Наблюдениями за Никитой Вагановым, думами о нем, сопоставлениями и сравнениями, анализом повседневного поведения Никиты Ваганова? Надо было очень много знать о Никите Ваганове, чтобы так легко и «попадательно» заговорить о его тоске по серости.

– Даешь, Боб! – сказал Никита Ваганов. – Смотришь и зришь в корень, если быть

откровенным. Сегодня мне дали дорогой урок. На всю жизнь запомню.

– Уже запомнил. И ожесточился, вот идиотство! Сегодня у тебя лицо инквизитора, которому утром руководить аутодафе. Это уж совсем ни к чему, Никита.

– Почему?

– Навредишь карьере. Теперь не любят ожесточившихся. Теперь в моде мягкость и обворожительность.

Никита Ваганов не заснул до восхода солнца – все обдумывал разговор с Бобом, прикидывал сотни вариантов, так и этак поворачивал самого себя и свою жизнь под ярким лучом логики. Он развивал только и только самокритику, способный и умеющий бичевать себя треххвостой плетью... Став редактором газеты «Заря», Никита Ваганов продемонстрирует блестящие образцы созидающей самокритики, когда в течение месяца по собственному желанию и почину перекроит на новый лад все и вся в газете, вплоть до верстки, то есть «Заря» станет совершенно новой газетой... Сейчас он не спал, ворочался с боку на бок и думал о том, что Боб стократно прав: ожесточиться опасно, ожесточиться так же опасно, как и быть ярким, предельно заметным, как та звезда на утреннем небосклоне, что сейчас заглядывала в комнату его одиночества.

... Тема одиночества в жизни Никиты Ваганова – особая тема. Он всегда был, есть и будет одиноким, он не обзаведется настоящими друзьями, он окружит себя в основном партнерами для игры в преферанс, этим суррогатом мужской дружбы и понимания. Все истинные друзья Никиты Ваганова – пьянчужка Боб Гришков и Валентин Грачев – понемногу превратятся если не в открытых врагов, то все-таки в противников. Одиночество Никиты Ваганова не сможет заполнить жена, из Ники превратившаяся в Веру, так как шестнадцать часов в сутки она будет проводить в школе, а субботу и воскресенье он будет проводить за преферансом, еще более одинокий, чем обычно. Преферанс! – это только за самого себя. Нет более индивидуалистской игры, чем преферанс, для тех, кто в него играет, как говорится, классно. *
* *

Спал Никита Ваганов часа два, тревожно, видел во сне Байкальские туннели, в глубине их пошевеливали щупальцами безопасные медузы, ласково оплетали, полонили: эти самые медузы напоминали вкусом заливное из осетрины, но были бесконечными – сколько ни откусывай, все не уменьшаются, а, наоборот, растут, славные такие. Тоннель упирался в темень и безысходность, в тупик и, как говорится, в безнадegu. Плохой был сон, если хорошенько разобраться, вещей, что ли, если учитывать, что вслед за партийным собранием шло бюро райкома партии, где авторитет Мазгарева был велик. Райком мог запросто завернуть дело о приеме Никиты Ваганова в партию, оставить его беспартийным или по меньшей мере продлить кандидатский срок – дело тоже в теперешней обстановке гиблое.

Планета Венера зеленой звездой заглядывала в окно неоштукатуренной комнаты, колола лучиками глаза, пошевеливаясь, пробуждаясь в своем небесном – лазоревом сейчас – ложе. Хорошая это была звезда, планета Венера, но не находил себе места Никита Ваганов, вдруг взявший в голову мысль о том, что райком партии может «зарубить» его приемное дело, где запротоколированы слова Ивана Мазгарева о карьеризме, интриганстве и прочем, и прочем. Шла речь и о барски пренебрежительном отношении к работе с письмами трудящихся – упрек для райкома партии пресерьезнейший. Было и непомерное захваливание – захваливание на грани убийства. И четыре голоса, всего четыре голоса на весах Судьбы!

Ты прав, блаженно счастливый Боб Гришков! Какая уж там жизнь, если ты все время сидишь на пороховой бочке, постоянно боишься, боишься и боишься. «Но ведь это только сейчас, на первых шагах – страх, неуверенность, терзания? – думал Никита Ваганов, лежа на спине и глядя на Венеру. – Потом все будет по-другому, так плохо, как сейчас, никогда не будет!» О,

как он заблуждался! Сегодняшние страхи и терзания – смешная мелочь перед теми страхами и терзаниями, которые ждут его в будущем. Будет ли спокойно спать редактор центральной газеты «Заря» Никита Борисович Ваганов? Да никогда! Страх перед зловещей случайной ошибкой на газетных полосах, страх за каждую статью, очерк, даже невзрачную информацию; борьба с Валентином Ивановичем Грачевым, Валькой Грачевым, терзания по поводу невозможности объять необъятное, выполнить полно и сладостно задуманное. Знай Никита Ваганов, какая жизнь ждет его на вожделенных высотах, послушался бы Боба Гришкова – умницу и мудреца... Ан нет! Ворочался от страха на допотопной кровати Никита Ваганов, распростертый в зеленом свете ранней звезды, смертельно боялся, что райком партии зарежет решение партийного собрания о приеме в партию Никиты Борисовича Ваганова. Он забыл, червь дрожащий, что за него выступил член бюро обкома партии, редактор газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев – верная заручка для победы. Страх, липкий и унижительный страх, мешал вспомнить о Кузичеве, его могуществе, его спасительном выступлении в защиту Никиты Ваганова. Нет гаже и больнее чувства, чем чувство страха, этого удела слабых и обделенных свободой! Люди, окружающие его, Никиту Ваганова, будут считать его сильным, чрезвычайно сильным человеком, но жена Вера будет знать, как он слаб, человеческий детеныш, рожденный для страха и во имя страха. Генетические связи, наверное, заставят его бояться, отцовская наследственность, наследственность человека, так и не купившего без помощи сына автомобиль... * * *

О, сколь тяжки были утренние страхи! Обливался холодным потом Никита Ваганов, подушка казалась раскаленной, тело – разжиженным, голова – пустой и звонкой. Хотелось, как подумал Никита Ваганов, любящий поэзию Владимира Маяковского, «спрятать звон свой в мягкое, женское», и впервые в жизни это была жена, которую он вчера покинул как бы навек, как бы навсегда. От нее хотелось подмоги, от нее ждалось глобальное утешение, хотя Ника ничего не понимает в партийных собраниях и райкомах, резолюциях и постановлениях. Она могла утешать только по принципу: «Перемелется – мука будет!» И все-таки его потянуло к жене Нике, а не к любовнице Нелли Озеровой, потянуло сегодня потому, что Ника говорила правду, а Нелли лгала, хотя делала это конструктивно, да и советы давала дельные, практически осуществимые, тактически и стратегически здравые и дальновидные. Но это годилось только и только в минуты подъема, взлета, а не страха, падения, слабости. Женщиной для сильных и негнибаемых была Нелли Озерова... И так будет в дальнейшем, когда Никита Ваганов станет прибегать к услугам Нелли Озеровой, с ней праздновать свои победы, а поражения волочить на слабых ногах к жене. Что же, каждому свое... Плакала длинными и тонкими слезами утренняя звезда, планета любви, пошумливали в небольшом саду дома Гришковых черемухи и рябины, в далечине города шуршали шинами троллейбусы и скрежетали сталью трамваи – вымирающее племя. Ни жив ни мертв лежал Никита Ваганов: «Провалит, провалит райком партии мою кандидатуру!»

– Эге-ге-ге! – завопил Боб Гришков. – Ей-ей, Не-кит Ваганов! Вставать!

Да уж! Именно: «Не-кит». Какой уж там кит – червь раздавленный, козявка божья, медуза из кошмарного сна! Не-кит! А Боб Гришков, этот пропойца, казалось бы, пропитанный насквозь алкоголем, поднимался ото сна бодрым, веселым, свободным, так как вовсе не был алкоголиком, не запивал, а просто находил в вине отраду сердцу, молодость душе. И лицо только что проснувшегося Боба было свежо и молодо, а лицо непьющего Никиты Ваганова было измочалено и старо. Не лицо, а морда, черт побери эту ужасную, ужасную, ужасную жизнь! И пока он не сполоснул лицо холодной водой, пока на крыльце гришковского дома не сделал короткую, но мощную зарядку, не смог прийти в себя, был похож на пьяного – пошатывался и мычал нечленораздельное; слабое и мерзкое животное, так он думал о себе самом.

– Идиотство! Идиотика! – ругался Боб Гришков, не найдя галстука к застиранной, но чистой белой рубашке. – Дом запуганных идиотов! Идиотство!

Он мог вести себя как угодно, он – теперь Никита Ваганов это понимал – мог делать все, что ему было угодно, так как ничего не боялся потерять, ничего не боялся в завтрашнем, послезавтрашнем, черт знает, в каком далеком-далеком дне... Боб Гришков продолжал ругаться, а Никита Ваганов меланхолически думал: «А почему я нахожусь в его доме?» Дело в том, что Никита Ваганов и Нелли Озерова снимали на окраине города тайную комнату.

VII

Пять ночей и пять дней не возвращался Никита Ваганов в дом тестя Габриэля Матвеевича Астангова, пять дней и ночей пролетали быстро и одновременно тяжело-медленно, как похоронные дроги. Быстро оттого, что они все-таки прошли, медленно потому, что каждый день по протяженности походил на месяц. И пришел час, когда стало известно, что Никита Борисович Ваганов принят в ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Никита Ваганов «отловил» Нелли Озерову на выходе из редакции, то есть возле старого тополя; он стоял, привалившись к нему плечом. Это значило: «Следуй за мной!» И пошел на сто метров впереди, уводя Нелли Озерову в тайное жилье. Оказалось, что дом был восхитительно свободен, глух и тих, уединен и уютен для радостей плоти и победы. Что произошло на кровати, известно прекрасно, как это делали Никита Ваганов и Нелли Озерова – тоже не секрет. Потом они целовались долго, может быть, целых полчаса, затем Нелли Озерова отстранилась от Никиты Ваганова, счастливая, разнеженная, сияющая, глядя на него исподлобья, и сказала:

– Хочу, чтобы ты немедленно вернулся к жене! Слышишь? Срочно возвращайся к Нике, не мучай хорошую женщину, не занудничай, черт бы тебя побрал! Я за тебя замуж ни за что и никогда не выйду. Надо же! Я не камикадзе. – Подумав, она добавила: – Сегодня – пан, а завтра пропал! Надо же!.. Чего ты схватился с Никой!

– Кричит.

– Эка невидаль! Сейчас все кричат, а на тебя сам бог велел кричать. Небось вспоминала меня.

– Ага!

– Чего же ты хочешь? Но ведь мы осторожны, или...

– Осторожны. Она на старое кричит.

Его распирала, переполняли нежность и любовь, острые, как спазмы, и он опять схватил Нелли Озерову, душил и уничтожал.

– Ни-и-ии-ки-та-а-а-а! Целуйся аккуратно!

Он начал целовать аккуратно, легко, нежно, и дело кончилось тем, чем оно и должно было кончиться, – постелью опять-таки, и когда все осталось позади, Нелли Озерова заплакала тихими, благодатными и благодарными слезами. Сквозь слезы она сказала:

– Не было такого никогда! Ты все-таки зверь, Никита, если сегодня в первый раз пришел ко мне от нежности. Какой ты все-таки зверь, Никита! Ой, какая я счастливая! Какая я счастливая! Слов нет, слов нет, Никита, родной мой, любимый, единственный!

Он тоже расчувствовался, так как до сих пор не испытывал такой радости от постели, какую

получил пять минут назад.... Пройдут годы, но сегодняшнее не повторится вплоть до того дня, когда Никита Ваганов снова испытает сокрушительный стресс и поднимется из постели Нелли Озеровой с ощущением такого же счастья... * * *

– Ой, какая я счастливая, Никита! Но тебе надо обязательно помириться с Никой, обязательно и поскорее.

Никита Ваганов помирился с женой через неделю, и произошло это в самых благоприятных условиях – жена Ника пришла в дом Боба Гришкова ранний утром, – вот зачем был надобен Никите Ваганову дом Гришковых – с хозяином долго не разговаривала, с хозяйкой пошептала минуту-другую, затем вошла в неоштукатуренную комнату, не поздоровавшись, села на расшатанный стул, хотя муж и предупредил ее, что стул расшатан и опасен. Она сидела на нем зыбко, как птица на электрическом проводе. На Нике был яркий брючный костюм из легкой материи, вычурные босоножки на превысоком каблуке, черные волосы подняты на затылке – бог знает, как много было у нее волос! Ника без вступлений сказала:

– Меня дома замучили! Меня обещают заточить в монастырь, если мы не сойдемся. – Помолчала немного. – С папой очень плохо. Мы убьем папу, если не сойдемся... Больше никогда я не буду кричать на тебя, Никита. Ты прав, сто раз прав: крики ничего не дают... Ты согласен вернуться?

Он сказал:

– Согласен. Пойдем домой.

Они пошли домой почему-то через парк и правобережьем Сиби, то есть по прохладной зеленой зоне. Им было, если признаться, хорошо: соскучились друг по другу. Они ведь были мужем и женой.

... К концу жизни, к моменту «синтетического ковра» Никита Ваганов разработает и будет употреблять в дело «теорию врагов», как категорию позитивную и негативную. Иными словами, он признает необходимость существования врагов как средства для выработки наступательной бдительности, как самый активный стимул – можете себе представить – к самоусовершенствованию, без которого обойтись было бы просто невозможно... В городе Сибирске и поблизости Никита Ваганов еще не думает о позитивности наличия врагов, еще не чувствует от их существования хмельной радости бытия, азарта игрока; он еще злится на врагов, хочет, наивный, чтобы их не было, делает попытки превратить врагов в друзей...

VIII

Наконец-то Никита Ваганов расквитался с Арсентием Васильевичем Пермитиным, и это было воспринято как радость для каждого лесозаготовителя и сплавщика Сибирской области! Впрочем, об этом следует рассказывать по порядку, как можно подробнее и вкуснее – последнее слово относится к снятию Арсентия Васильевича Пермитина. Он был вкусно отстранен от всякой хозяйственной и партийной работы, но партбилет ему все-таки оставили, со строгим выговором, но оставили – уступив слезным просьбам, битию в повинную грудь, крикам о шахтерском прошлом, синим полосам угольного завала на громадном, красном, как бы всегда распаренном лице.

Итак, была самая поздняя осень, Никита Ваганов шел к Дому просвещения пешком: хотелось побыть одному, отчего-то хотелось мороженого, черные «Волги» бесшумно катили туда же, куда шел Никита Ваганов, солнце еще светило и грело, и думалось о том, что в такой день

человеку трудно уходить из большого дома комбината, где так славно пахнет мастикой и деревом; человеку вообще не свойственно менять привычные состояния, он грустит, покидая место, где провел всего три дня, как же трудно будет Пермитину, как же ему будет трудно! Да, он поможет Никите Ваганову стать работником центральной газеты, тонкая и одновременно жесткая статья «Утоп? Или махинация!» сделала Никиту Ваганова известным. Да, печально, грустно уходить из активной жизни в пенсионное домино, когда над тобой висит такое небо, какое редко бывает на параллели Сибирска, – сиреневое и теплое на вид, оно готовилось пересечься пунктирной строчкой поздно улетающих журавлей. Никита Ваганов перестал грустить, когда недалеко от Дома политического просвещения его обогнала «Волга» директора комбината «Сибирсклес» – он развалился на заднем сиденье, он возлежал на нем, он – трудно это представить! – открыто и всерьез как бы говорил: «Областная парторганизация меня любит!» Скоро он узнает, как относится к нему областная парторганизация, узнает правду, убивающе горькую. Он узнает и полную меру людской неблагодарности, когда против него выступит любимец Владимир Майоров – герой статьи Никиты Ваганова «Былая слава». О, как возлежал Пермитин, как барствовал, как наслаждался удивительным днем поздней осени! Выйдя из машины, Арсентий Пермитин вдохнул полной грудью свежий, настоящий на листопаде воздух, потянулся, точно после сладкого сна, он весь отдался радости тела, радости бытия, бытия терпкого от борьбы и побед, бытия, вдохновленного его круглосуточной и лихорадочной, бестолковой и неуправляемой деятельностью.

– Здравствуйте, Арсентий Васильевич! – Кто-то поздоровался с ним, и в ответ раздалось басовитое:

– Привет! Привет!

Голос у него был, как у обского грузчика, – вот что нравилось Никите Ваганову, который вообще не переносил тонкоголосых мужчин, не верил им, хотя прекрасно понимал, что это – чужь и блажь человека, заевшегося сибирскими басами. Однако у его московского соперника Валентина Ивановича Грачева, Вальки Грачева, был предельно тонкий голос, тенор.... Ведь будут минуты, когда покажется, что редактором «Зари» будет Валька Грачев, – тревожные и страшные минуты...

За десять минут до начала пленума Сибирского обкома партии Никита Ваганов, поднявшись на гранитное крыльцо, еще раз оглянулся: был ясный день поздней осени, город расцвел под ласковым солнцем, сверкала на далечине горизонта быстрая река, залегшая в черте города подковой, шуршали листьями троллейбусы и «Волги», подъезжающие к Дому просвещения, чтобы высадить на тротуар членов пленума. Приехал и редактор «Знамени» Владимир Александрович Кузичев, который был принаряжен, чисто выбрит, подтянут, а он ведь славился небрежностью в одежде, этот редактор Кузичев, человек, из высших соображений начавший борьбу с Пермитиным и побеждающий. Вот эта картина – нарядное небо, сладостный покой безветрия, шуршащие листьями автомобили, нарядный редактор Кузичев – останется в памяти Никиты Ваганова первой победой из череды многих и важных побед.

– Добрый день, Никита! – ласково поздоровался редактор Кузичев и взял Никиту Ваганова под локоток. – Ойдем немного... – И когда они это сделали, продолжил: – Первый хочет, чтобы я выступил. Ничего нет нового?

Никита Ваганов ответил:

– Нового ничего нет, Владимир Александрович! Думаю, хватит и наличного боезапаса.

– Да, пожалуй, но Первый ждет взрыва.

– Он и будет, взрыв, Владимир Александрович! – успокоил Никита Ваганов редактора Кузичева. – Одного признания Лиминского, ей-ей, довольно для бурных оваций и криков

«Ура!». Зачем беспокоиться? – Он весело улыбнулся. – Не надо меня спрашивать, достоверны ли факты. Они достоверны! Никита Ваганов шутить не любит и другим не даст! Вот такая разблюдовочка, Владимир Александрович. Ей-богу, невооруженным глазом видно, что все факты ультрадостоверны.

– Да, пожалуй... Ну, я пошел, Никита!

... Да! Будет меловой лев на стене, будут львы – целых два! – на шарах, свирепые львы на больших гранитных шарах, львы с оскаленными пастями и загнутыми хвостами. Наверное, иноземный скульптор изваял львов на шарах? И будет добрый лев на лужайке у дачи главного редактора «Зари»... * * *

– Слово имеет редактор газеты «Знамя» товарищ Кузичев.

Владимир Александрович вышел на трибуну, разложил на полке несколько крохотных листков бумаги, исписанных микроскопическим почерком, надел сильные очки; он сделал рукой мощный ораторский жест, но заговорил тихо и медленно.

– Маленькая преамбула, товарищи члены пленума, экскурс в историю вопроса. Посмотрим-ка, когда началось отставание лесной промышленности области, начались хронические недороды, выражаясь языком сельскохозйственников. Не связано ли это с приходом к руководству товарища Пермитина?

Это было неплохим, приличным началом, но Никита Ваганов речь построил бы иначе: какой-нибудь сильный негативный пример поставил бы вперед как частный случай, а потом бы перешел к обобщающей картине, но это – дело вкуса, разумеется. Редактор «Знамени» тем временем снимал кожу с мандарина, снимал ловкими и умелыми пальцами.

– Если отставание лесной промышленности области совпадает с приходом к руководству товарища Пермитина, то логично возникает вопрос: как товарищу Пермитину удалось добиться серьезных успехов в разлаживании отрасли?

Капелька сарказма и насмешки – это не повредит!

– Думаю, что не ошибусь, если скажу: товарищ Пермитин – некомпетентный руководитель, это во-первых, а во-вторых, его руководство, будучи некомпетентным, сводилось только к окрику, угрозе, разносу, накачке и, наконец, к подтасовыванию производственных показателей. Иными словами, преступлению. Я не боюсь этого слова, товарищи!

И вот наступил звездный час!

– Статья «Утоп? Или махинация!» правдива от заглавной буквы до запятой, но автор использовал не все обвинительные документы. Возьмем случай с несуществующим обсыханием древесины на плотбищах Тимирязевской сплавной конторы...

– Ложь! – неожиданно крикнул в зал Пермитин. – Наглая ложь!

И произошло неожиданное.

– Нет, не ложь! – тоже крикнул из зала директор Тимирязевской сплавной конторы Владимир Яковлевич Майоров, тот самый, кого Никита Ваганов громил в статье «Былая слава». – Нет, не ложь! Правильно говорите, товарищ Кузичев! Я выступлю, расскажу все!

Никита Ваганов вытер пот со лба, усмехнулся: можно было уходить с пленума, сматывать удочки. Ему не хотелось слушать, как мешают с грязью Пермитина. Разом – пусто, разом – густо! Мы не умеем еще держаться золотой середины, у нас, если возносят на щит, то выше неба, если снимают со щита – то уж делают это с такой энергией, что пахнет гильотиной...

Никита Ваганов тихонечко спустился с галерки, вышел на улицу, радуясь листопаду, пошел куда глаза глядят, и не сразу заметил, что навстречу шагает Егор Тимошин.

– Ну вот! – сказал Никита Ваганов, когда они сблизились. – Свершилось!

Егор Тимошин отозвался:

– Да уж вижу...

Больше они ни о чем не говорили, хотя, наверное, надо было, но Егор Тимошин спешил, хотя спешить не умел, этакий неторопыга и увалень. * * *

Примерно в те же дни, когда закончился пленум Сибирского обкома партии, или несколько позже Никита Ваганов получал полную и заслуженную отдачу от пятиколонника, посвященного развитию лесной промышленности Черногорской области. Пятиколонник был опубликован, он принимал первые торопливые и неглубокие поздравления от уважаемых лиц, затем поток поздравлений иссяк, наступило затишье, затишье перед качественным скачком, перед проявлением подлинного признания значимости пятиколонника. События начались в понедельник – день тяжелый. На квартире раздался телефонный междугородный звонок, на другом конце телефонного провода заговорил знакомый, но не сразу узнанный голос:

– Здравствуйте, Никита Борисович! Как живется вам?

– Здравствуйте! Спасибо! Дела идут прилично.

– Рад за вас, Никита Борисович! Вы, кажется, не узнаете меня? Говорит Анатолий Вениаминович...

Никита Ваганов несказанно обрадовался!

– Бог ты мой, как я вас мог не узнать, Анатолий Вениаминович! Междугородная связь так искажает голос. Здравствуйте вам, Анатолий Вениаминович, здравствуйте!

Звонил Покровов, заведующий промышленным отделом Черногорского обкома партии, звонил по поручению и от имени первого секретаря Никиты Петровича Одинцова. Он сказал:

– Ваш материал обсуждался в узком, но компетентном кругу, высоко оценен обкомом, но это не все, Никита Борисович. – Он сделал веселую интригующую паузу. – Позавчера звонили из Центрального Комитета партии, поздравили и попросили собрать тотальный материал о нашей лесной промышленности... Алло? Алло? Бог знает, что творится с междугородной связью... Звонил заместитель заведующего отделом ЦК партии. Мы уже готовим обширный материал...

Никита Ваганов сказал:

– У меня не было места для расширенного показа сплава леса в хлыстах, надо сделать это громко и внушительно.

Покровов ответил;

– Ну, разумеется! – И опять сделал паузу. – Никита Петрович перед отлетом в Москву просил позвонить вам и выразить благодарность, что я и делаю с большим удовольствием. Примите, Никита Борисович!

– Сердечное спасибо, Анатолий Вениаминович!

– Это не все! Никита Петрович поехал в Москву именно из-за вашего материала. Наверное, состоится его отчет на отделе Центрального Комитета.

Вот каких высот достиг Никита Ваганов, послушавшись своего тестя Габриэля Матвеевича Астангова – крупного знатока лесной промышленности. Не подскажи он мысль о необходимости ехать в Черногорскую область, достижения черногорцев, конечно же, стали бы достоянием широкой общественности, но это, возможно, произошло бы значительно позже или немного позже – как уж там распорядилась бы жизнь. Никита Ваганов форсировал события – вот в чем его заслуга, и это высоко расценил его будущий друг на долгие годы Никита Петрович Одинцов.

... В этих записках я волен оценивать людей субъективно. Так вот, Никита Петрович Одинцов – человек выдающийся, крупный государственный ум, хозяйственник, инженер, ученый; предельно добрый, порядочный и – это очень важно! – труженик, труженик и еще раз труженик. Я не лентяй, люблю работать и много работаю, но без его школы не стал бы тем, кем стал, – редактором газеты «Заря», моей любви и моего пристанища... * * *

– Спасибо, Анатолий Вениаминович! До свидания.

Поздравил с пятиколонником и тестя Габриэль Матвеевич:

– Дельно, дельно, Никита! Начальник Черногорского комбината разговаривал со мной по телефону, говорит: «У вас роскошный зять. Поздравьте от имени черногорцев!» Откуда они знают о нашем родстве?

... Знаете, кем будет впоследствии, после своего падения, Габриэль Матвеевич Астангов? Начальником комбината «Черногорсклес»; его возьмет в свою область большой и верный друг Никиты Ваганова – Никита Петрович Одинцов.

Редактор областной газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев, прочтя пятиколонник, немедленно позвонил, хорошо поздоровался и сказал:

– Это самая значительная ваша работа, Никита! Она окажет влияние на лесную промышленность всей страны. Поздравляю!

Позвонил и сдающий дела, но не разоружившийся Арсентий Васильевич Пермитин:

– Здорово, Ваганов! Как ты там прыгаешь? Хорошо, говоришь; ну, хорошо так хорошо... Ты что, сам был на месте? Сам, спрашиваю, видел вот то, что пишешь? А?! Мало ли чего бывает! Знаю я вашего брата корреспондента! Прикажи: из пальца высосет! Но ты парень толковый, далеко пойдешь, если милиция не остановит... Ладно, бывай, Ваганов!

Егор Тимошин похвалил пятиколонник:

– Хорошо, старик! Дельно и борзо написано.

Говорят, что беда не ходит одна, но и радость, бывает, группируется тесно, кучкуется. Буквально через полчаса после звонка заведующего промышленным отделом Черногорского обкома партии позвонил заместитель редактора «Зари» и после китайских церемоний, взаимных приветствий милостивым тоном произнес:

– Собирайтесь в столицу, Никита Борисович. – Говорящий, видимо, улыбнулся в трубку. – Готовьтесь к месячному пребыванию в Москве. С обкомом согласовано...

Впервые двух львов на двух шарах я увидел ранним, предельно ранним утром, когда по своей охоте, ни свет ни заря – этакая стал деревенщина! – приперся к новому зданию редакции газеты «Заря». Она начинала работать в десять часов, не раньше, а я пришел около семи утра; день выдался безоблачный, свежий, чистый даже для Москвы, для площади, где выросло новое помещение редакции. Что касается двух львов на двух шарах, то они остались от старого здания времен классицизма; львов на шарах решили не трогать или забыли убрать, и они, порозовев от восхода, возлежали на своих шарах, нежно и одновременно хищно вцепившись в гранит, и морды у них были электрические: и ласковые, и свирепые. От рассеянного солнечного света казалось, что львы покрыты бархатом – тонкой и густой пылью, – мнилось даже, что под бархатной кожей мощно и нежно вздрагивают мускулы. Я лениво посматривал на львов, уже почти догадываясь, что в моей жизни они сыграют символическую, важную роль... Первым моим львом станет меловой лев на стене, следующими львами – вот эти два на шарах, и будет еще один лев, самый главный лев в моей жизни – лев на лужайке. Львы на шарах посматривали на меня благожелательно, однако с насмешкой: «Какой же ты дурак, если приперся за три часа до начала работы! Впрочем, может быть, ты вовсе и не дурак?» Одно было несомненно: львов на шарах изваял большой мастер, наверняка иноземного происхождения – почему так казалось, кто знает.

Меня вызвали в редакцию по поводу моего пятиколонника, посвященного лесной промышленности Черногорской области; меня, видимо, хотели награждать, заслушивать и перенимать мой опыт. Во всех этих ипостасях я готов был выступить, на все был готов, но главной моей целью было и оставалось, как вы давно понимаете, возвращение в Москву, на родину, в мой любимый город, и не простое возвращение, а возвращение на белом коне. Я собирался доказать себе и Вальке Грачеву, что мой путь вперед и наверх надежнее и вернее, чем его способ незаметного проникания в поры могучего организма газеты «Заря». Он, впрочем, преуспел, но так мало преуспел, что со страхом ждал моего возвращения.

За стеклянными дверями вестибюля шлялся по диагонали якобы равнодушный ко мне милиционер, никак не способный понять, что за гусь в такую рань разглядывает двух гранитных львов. Походив, подумав как следует, милиционер жестом пригласил меня посидеть в низких и удобных креслах – поговорить, наверное, за жизнь. Скучно же шагать сутками за стеклянными дверями, как в аквариуме, к тому же с электрической подсветкой. Я откликнулся на зов милиционера, я вполне походил на намыкавшегося просителя, так как уже прошло партийное собрание в редакции «Знамени», и я стал одеваться обдуманно, так, как будет одеваться впоследствии знаменитый редактор знаменитой «Зари», – подчеркнуто скромно. Простые брюки, поношенные туфли, серый пиджак или кожаная куртка, изрядно потрепанная.

Милиционер угрюмо спросил:

– Откуда?

– Из Сибирска.

– Надо же! И тащился из такой далечины?

– Вот видишь, притащился.

Он философски наморщил лоб и сказал:

– А притащишься, если припрет. Вот своего шурина я прямо направил к Главному. Помогло! А ты до Главного – и не мысли, понял?! Хорошо, если в редакцию пропустят. А то – бюро жалоб. Вон окошко. Видишь?

– Ну, вижу.

– Сунешь туда жалобу и – валяй обратно в свой Сибирск.

Я сделался серьезным, я спросил:

– А помогает окошко-то? Оказывает помощь?

– Это кому как! Тебе, может, поможет.

– Почему именно мне?

– Да так. Человек ты вроде основательный, серьезный и необиженный. Вот таким, какие за правду, а не обиженные, окошко помогает.

... Он оказался умницей-разумницей, этот милиционер моего трехчасового ожидания славы и почестей в стеклянном вестибюле газеты «Заря»; он будет служить на своем посту, когда я сделаюсь редактором, он станет моим большим и верным другом, этот рыжий лентяй, богом рожденный и приспособленный для проверки пропусков, лентяйских разговорчиков, философствования и неторопливой жратвы с таким аппетитом, которого, казалось, не должно быть у бездельничающего человека... * * *

– Значит, мне окошко поможет?

– Тебе поможет, не сомневайся! А ты чего? Не куришь?

– Не курю.

– Снова молодец. А сигарет при себе случайно не имеешь?

– Случайно имею.

– Во! Снова молодец! Угости.

– Кури, дружище! Отчего ты такой рыжий?

– Родился. Сам на себя удивляюсь.

Он на самом деле обладал редкой способностью удивляться самому себе: собственному басовитому голосу, рыжести, доброте, разговорчивости, чуткости, наконец, своему уму. Не соскучишься – вот какой это был человек!.. Он умрет раньше меня, как бы предвосхищая мою участь, верный мой друг, понимающий толк в редакторах и вообще настоящих людях...

– Я про твое дело не спрашиваю, понял? – сказал он многозначительно, но с таким выражением, что захотелось назвать его папашей. – Такая привычка у меня – не спрашивать.

Мой новый друг, дежурный милиционер, рыжий и ленивый, ни капельки не удивился, когда в конце часовой беседы я ему предъявил телеграмму, официально вызывающую меня в редакцию. Милиционер раздумчиво сказал:

– Молодец! Не каждый усидит в этом Сибирске. Сколько летных часов?

– Пять.

– Вот. Намаешься! Ты давай-ка в Москву возвращайся. Где родители-то живут?

– Седьмая Парковая, угол Первомайской.

– Иди ты! – восхитился он. – Так я же с Девятой Парковой, угол Измайловского бульвара. Какую площадь занимаете? Две комнаты на четверых? Хреново! Улучшаться надо, не шестериться. Это твой долг – помочь отцу с матерью, понял?!

– Ты обратно пойдешь, меня уже не будет! – с печалью сказал рыжий страж. – А я тобой теперь интересуюсь. Как только ты очки надел, ты крупной птицей стал... Лицо у тебя сейчас вроде доброе, но ты в большое начальство выйдешь! – Он вдруг весело хлопнул ладонью по своему колену. – Ты, может быть, министром станешь...

Я незряче смотрел на милиционера. Очки! Большие очки, а нужны маленькие... * * *

Мое знакомство с аппаратом центральной газеты «Заря» началось бессобытийно и буднично, словно на завершающейся благополучной стройке. Я попал в хорошо налаженный, единый коллектив; мне устроили встречу с заместителем главного редактора Александром Николаевичем Несадовым, о котором я много слышал как о симпатичном и деловом человеке. Редактором газеты «Заря» он никогда и ни при каких обстоятельствах стать не мог, что объяснялось характером самого Несадова, достигшего, по его собственным словам, большего, чем хотел. Любящий хорошо поесть, умеренно выпить, лишний месяц при отпуске, использованном своевременно, провалиться на «профилактике» в хорошем санатории, не упускающий возможности проводить до дома смазливую барышню, Саша Несадов не хотел дневать и ночевать в редакции, отвечать за все, начиная от событий в Йемене и кончая бетоном на стройке союзного значения. Он обожал главного редактора газеты «Заря» Ивана Ивановича, чувствуя превосходство над собой Главного, охотно и пунктуально выполнял его распоряжения. Промышленность, инженер по образованию, Несадов знал отлично, и это позволяло ему спокойно спать и пользоваться всеми радостями жизни. Я его мысленно называл «цивилизованным» Бобом Гришковым...

... Александр Николаевич Несадов будет инициатором превращения собственного корреспондента «Зари» Никиты Ваганова в работника аппарата той же газеты: сначала литсотрудника, а потом и заместителя редактора промышленного отдела. Я святой инквизиции докажу, что Александр Несадов не был подхалимом и не мог им стать благодаря все тому же внутреннему равновесию. Если бы его, Несадова, из заместителей главного редактора переместили, предположим, в литработники, то в жизни переменялось бы немного: не заказывал бы в ресторане «Советский» трехрублевые блюда, с коньяка перешел бы на водку, отдыхал бы в подмосковном санатории. Короче, наша дружба с Никитой Петровичем Одинцовым, которая сыграла выдающуюся роль в моей жизни, влияла на Александра Несадова только путем гипнотическим, что происходило и со многими другими людьми, включая могущественного редактора «Зари» Ивана Ивановича. Они не были подхалимами, им претила подобострастность, но фамилии Одинцова и Ваганова так сольются в их воображении, что невозможно будет, говоря об одном из них, не вспомнить другого. Это произойдет уже в те времена, когда Никита Петрович Одинцов станет работником такого масштаба, который в моем дневнике назван не будет. Читатель должен знать, что Никита Петрович Одинцов не просто хорошо относится ко мне, а благодарен Никите Ваганову и любит Никиту Ваганова. Как это ни невероятно, он мог бы так и остаться первым секретарем Черногорского обкома, если бы молодой журналист Никита Ваганов не вмешался в его высокие дела...

Заместитель главного редактора Александр Николаевич Несадов принял меня, проделав, естественно, все свойственные ему демократические действия – вставание, выход на середину кабинета, дружеское рукопожатие. Потом сел напротив в низкое кресло и закурил длинную сигарету. Он начал с трепа о футболе и сплетнях о газетчиках, приступая же к делу, так до конца и не сделался серьезным:

– Мы, признаться, преследуем две цели. Первая: познакомиться с таким интересным молодым журналистом, как вы...

Он улыбнулся и подмигнул мне, что означало: думал о пятиколоннике, который опубликовал я, о делах и планах первого секретаря Черногорского обкома партии Никиты Петровича Одинцова. О, какой хай по телефону устроил тогда редактор «Зари», когда полосу о развитии лесной промышленности Черногорской области превратили в пятиколонник, отдав шестую колонку под мелкие вести с каких-то никому не известных промышленных предприятий. Все это объяснялось просто: сверхопытный и сверхбдительный, все понимающий Александр Николаевич не решился дать целую полосу – материал такой величины имел уже заведомо постановочное значение, а Иван Иванович в силу некомпетентности не мог с ходу оценить революционность материала.

– Я стопроцентно уверен, – между тем говорил Несадов, – что и вторая цель вызова будет принята вами радостно...

Я бы хотел, чтобы читатель моего «дневника» обратил внимание на то обстоятельство, что мои фразы в дальнейших разговорах будут совсем не похожи на мою манеру выражаться. Где трепотня, попытки острить, глобальная несерьезность, продуманное ерничество? Мало того, мой читатель должен знать, что в кабинете Несадова я сидел совсем не так, как, бывало, сживал в кабинете моего сибирского редактора Кузичева, то есть не разваливался и не прищуривался, не валял дурака, я сидел почти на краешке кресла, но, естественно, и без тени подхалимажа. Этого за Никитой Вагановым никогда числиться не будет, однако существовали два Ваганова: первый – до партийного собрания в редакции областной газеты «Знамя», второй – после партийного собрания.

Он беседовал со мной так, словно я никогда не бывал в редакции «Зари», в которой печатался еще в студенческие времена. Я Несадову представлялся, наверное, очень молодым и очень длинноногим, но он еще не работал в газете, когда я стажировался в аппарате редакции «Зари», далекий от белого коня, на котором я все же въеду в Москву, вернусь в мой город.

– Статьей о комплексном развитии лесозаготовок в Черногорской области заинтересовались в промышленном отделе ЦК партии, – продолжал Несадов. – Никита Петрович Одинцов сейчас находится в Москве, его принимали на высоком уровне... Хорошую кашу вы заварили, Никита Борисович! А нельзя ли вас называть просто Никитой?

– Сделайте одолжение...

– Спасибо!

Признаться, мне не очень понравилось желание заместителя – человека лет сорока – называть меня только по имени, но я разрешил, понимая: это следствие восторженного отношения к Никите Ваганову, то есть к деятельности Никиты Ваганова, которая привела к таким ошеломляющим результатам: Никиту Петровича Одинцова вызвали в столицу.

– Вторая причина вызова, Никита, прекрасна. Дело в том, что Никите Петровичу Одинцову предлагают ускоренным порядком написать книгу, а если не выйдет, большую брошюру о развитии лесной промышленности Черногорской области. Ну а коли это так, то... сами понимаете, Никита. – Он родственно улыбнулся. – А вам предлагается поработать вместе с Никитой Петровичем – это значительно ускорит появление книги, необходимой работникам лесной промышленности страны.

Охренеть можно, каким канцелярско-бюрократическим языком вдруг заговорил этот лощеный доктор наук. У меня уши вяли, у меня поднывало в животе, хотя Несадов говорил такие вещи, о которых и в самых честолюбивых мечтах не грезилось: работать над книгой с Никитой Петровичем Одинцовым... Работа эта сблизит нас настолько, что я смогу предложить ему своего тестя на должность директора Черногорского комбината...

– Вот такая, вот такая картина, Никита, в первом приближении. Естественно, что вам придется встретиться с Иваном Ивановичем и с членами редколлегии. Иван Иванович, например, вас примет сразу после трех, и – сегодня, сегодня!.. У вас есть ко мне вопросы?

Я помедлил, но все-таки ответил:

– Есть!

Дело в том, что в промышленном отделе редакции лежала моя публицистическая статья, или очерк-размышление, на тему о скромности. Речь шла не о скромности девиц, не о скромности человека вообще, а о скромности, которую надо проявлять, когда речь идет об общих успехах в той или иной отрасли промышленного или сельскохозяйственного производства. Короче, поменьше об успехах, побольше о недостатках. Отделы промышленности «Знамени» и «Зари» похерили мой материал, и вот случилось так, что Несадову я сказал:

– Как-то в минуту вдохновения я написал статью «Скромность, товарищи, скромность!». Отдел ее не принял, Александр Николаевич, наверное, правильно не принял, но мне хотелось бы в какой-то более приемлемой форме вернуться к вопросу.

Несадов отчего-то хмуро спросил:

– У кого статья?

– У Гридасова.

Трубку – долой, щелчок тумблера, свет красной лампочки, из динамика голос редактора промышленного отдела Гридасова: «Слушаю, Александр Николаевич!»

Через три минуты Илья Гридасов принес мою статью, молча удалился, а Несадов за десять минут прочел ее и сказал:

– Ага!

Потом он зачем-то взъерошил волосы, затем пригладил их ладонью и опять взъерошил.

– Презабавнейшая статья! – с энтузиазмом произнес заместитель редактора Несадов и посмотрел на меня испытующе. – Статья – отборная! И совершенно понятно, что Гридасов... А что Гридасов? Что Гридасов!

Опять трубку – долой, щелчок тумблера, свет красной лампочки, голос главного редактора «Зари» Ивана Ивановича Иванова: «Привет!» Заместитель Несадов сказал:

– Есть интересная статья, Иван Иванович. Чья? Никиты Ваганова... Ага! Ага! Тут он лыко дерет и лапти плетет. Согласен! А статья вот о чем, Иван Иванович...

Ну, абсолютно другой человек разговаривал по телефону. Живой, энергичный, смелый, широкий; он точно и емко объяснил Главному смысл моей статьи, Главный зарычал из динамика, что с Гридасовым надо разобраться, потом сказал, что не надо разбираться с Гридасовым, а вот статью нужно немедленно сдать в набор, тогда он ее прочтет в гранках и, если надо, чуток подправит. Когда же голос Главного оборвался, заместитель Несадов возрился на меня весело и тепло:

– Bravo, Никита! Такими статьями, черт побери, делают газету, а... Впрочем, а что Гридасов? Что Гридасов? Нет газетного нюха у человека – так это уже навсегда.

... Место редактора промышленного отдела Гридасова через четыре года займет Никита Ваганов – выпускник Академии общественных наук, и в этом нет неожиданности:

осуществлялась закономерность, жесткая закономерность, когда трусливые и некомпетентные уступают место смелым и компетентным... * * *

Однако главное в том, что заместитель редактора Несадов был эмоционален, хорошо улыбался, смотрел на меня как на равного, как на своего по гроб жизни человека. Он говорил:

– Вы обязаны работать в этом непонятном еще жанре, Никита. Не открутитесь! И не думайте откручиваться. А ну, вываливайте до кучи, что у вас есть еще за пазухой! Извольте, извольте!

– Вы правы, Александр Николаевич, – сказал я и засмеялся. – Не только в планах, но уже и от машинки.

– О чем? О чем?

– Например, о кричащих начальниках. О крике как слабости и о крике как некомпетентности...

– На стол! На стол! Что еще в заначке?

Много чего было у меня в заначке в ту пору обилия идей и наблюдений, знакомств с новыми людьми и обстоятельствами, в ту пору молодого ума и свежести восприятия жизни. Я так и звенел от тем, заголовков, «шапок», очерков, статей, зарисовок, корреспонденции – ярких, словно вспышка. Поэтому у Несадова просидел больше часа, очаровал его, и очаровался сам, и вышел от заместителя редактора с такой вот мыслью: «Ах, папа, родной мой папа! Твоему сыну не надо жениться на москвичке, чтобы вернуться в стольный град!» Мне было хорошо, покойно, весело.

Главный редактор газеты «Заря» Иван Иванович Иванов принял меня ровно в пятнадцать часов, принял в своем кабинете. Он был невысокий, полный, слегка похожий на француза-рантье, который заботится только о своем здоровье. Биография Ивана Ивановича известна читателям, он прошел длинный и, как говорится, славный путь, побывав и всем, и никем. Здоровье у него было воловье, его хватит на восемьдесят лет жизни. Он принял меня буквально в дверях.

– Ну-ка, ну-ка, позвольте мне посмотреть на вас, молодой человек! Ну, повернись же, сынку! Кожаная куртка? Вы не в писатели ли метите, молодой человек? Не пустим, не отдадим! Ну-с, проходите, садитесь, рассказывайте. Что новенького творится за стенами этого домика? Процессы, частные наблюдения, мысли...

... Чрезвычайно много мудрого и полезного возьмет Никита Ваганов у главного редактора Иванова для себя, для будущего редакторства, для того, чтобы поначалу не плавать беспорядочно, не делать грубых и мелких ошибок, быть редактором не запрещающим, а созидющим, разбрасывающим щедро идеи и темы, темы и идеи. И легкую веселость, доброжелательность, мягкость переймет Никита Ваганов у главного редактора Ивана Ивановича Иванова, человека по-своему выдающегося...

– Ну, рассказывайте же, рассказывайте, Никита!

Без всякого разрешения, обезоруживающе просто главный редактор обратился ко мне по имени, и я, Никита Ваганов, этого не заметил. Улыбнувшись, сказал:

– Надо много и часто писать о рабочем классе. Иван Иванович, мы плохо пишем о рабочем.

– Отчего?

– Мы рабочих старательно описываем в производственном процессе, а если и выводим из

проходной, то для дурацких сантиментов на берегу реки, а надо писать так, чтобы был виден рабочий новой формации. Учеба. Книги. Новая техника. Спорт. Свобода мнения.

Увлеченность. Понимаете, Иван Иванович, наши очерки о рабочих – это очерки тридцатых годов.

– И ваши тоже, Никита?

– И мои, Иван Иванович!

– Интересно, интересно! Продолжайте, пожалуйста!

Я говорил о Черногорской области, о Никите Петровиче Одинцове, затем перешел на другие проблемы, и мой рассказ продолжался полтора часа, в течение которых Главный меня почти не перебивал – лишь переспрашивал, – так как записывал за мной, Никитой Вагановым, что-то в роскошный блокнот, переворачивая страницу за страницей. И когда я закончил, Иван Иванович с треском захлопнул твердую крышку блокнота, улыбнувшись, вышел из-за стола, чтобы пожать мне руки. Вот так-то!

– Замечательно, Никита! – горячо и сердечно сказал главный редактор «Зари». – Я услышал много поучительного... – Он умолк, словно забыл самое важное, впрочем, так и было. – Да, да! – воскликнул Главный и сел на место. – В семнадцать часов в гостинице «Москва» вы встречаетесь с Никитой Петровичем.

Куда я пошел после? Если не изменяет память, ноги меня повели к Вальке Грачеву, которого я застал за чтением моего очерка, уже набранного и поставленного на полосу. Валька дочитывал последнюю колонку, когда я ввалился в кабинет, где не было никого, кроме моего студенческого друга.

– Изучаешь? – снисходительно процедил я. – Тебе надо не просто читать, а конспектировать, понял? Ась?

Валька серьезно ответил:

– Молодец, Никита. В университете я тебя считал серее. Ты даешь зримый портрет и активно препарировешь человека.

Дурачище! Я и в университете умел писать, я и тогда мог давать зримые портреты людей и препарировать их, но у меня не было стимула. Что? Университетская многотиражка меня волновала не больше прошлогоднего дождя. Конечно, за годы работы в Сибирске я еще поднаторел и, как говорится, насобачился, но все остальное умел делать еще в университете – будьте спокойны! Я сказал:

– Ты тоже пишешь недурственно, Валька. Твоя статья о яблоках хороша, ей-богу! Я за тебя радовался.

– Спасибо! Садись. Не куришь? Хочешь прожить до ста лет! * * *

... Я действительно не курил из медицинских соображений, я отказался от курения, одного из человеческих удовольствий, чтобы жить долго. А зачем? Какого черта я не курил, если в пятьдесят лет с малым хвостиком... Кто придумал, что надо сохранять здоровье, если человек не знает, сколько ему суждено жить? Какая это сволочь придумала воздержание? Для чего? Чтобы умереть здоровым? Так этого добра, здоровья, у меня хватит на десятерых. Ровно и мощно бьется сердце, перелопачивают кубометры воздуха отличные легкие, перекачиваются под гладкой кожей буквально стальные мускулы. И только кроветворные органы, эти печенки-селезенки, подвели, убивают, как гуся под Рождество. Я отчего-то вбил себе в голову, что умру в ночь под Новый год, этак часов в девять-десять вечера... * * *

Валька Грачев спросил:

– Будешь писать книгу с Одинцовым?

– А что в этом особенного?

– Чего ты так взъерепенился?! Мощный мужик Одинцов, только и всего.

Он был прав: я «взъерепенился». Впоследствии, и я это предчувствовал, дружба с Никитой Петровичем Одинцовым мне будет инкриминироваться, меня будут упрекать в том, что только и только благодаря покровительству Одинцова я сделал всепобеждающий рывок вперед и вверх, что именно он, партийный работник высшего масштаба, поведет за собой приспособленца Никиту Ваганова. Что ни слово – то ложь, хотя влияние Никиты Петровича на всю жизнь я не отрицаю и отрицать не могу.

– Одинцов большой человек! – задумчиво сказал Валька Грачев. – И твой материал, и его собственные статьи, которые, кажется, он пишет сам...

– Только сам!

– Крупный, крупный, крупный человек. Ты за него держись, Никита.

– У меня хорошие отношения с Одинцовым, – сказал я. – Достаточно хорошие, чтобы играть с ним в преферанс и обыгрывать. Кстати, он неплохо играет.

Валька Грачев с улыбкой сказал:

– Путь правильный!

– Ну вот! А ты...

Продолжался наш студенческий спор на тему: с чего надо начинать журналистскую карьеру? С обивания порогов столичных редакций или отъезда в многообещающую Тмутаракань? Оба пути оказались хороши, коли по ним шли такие люди, как Валентин Грачев и Никита Ваганов. Я сказал:

– Пойдет моя опасная статья, Валька. Держи руку за меня на редколлегии. Заметано? * * *

... Более умного и тонкого человека, чем Валентин Грачев, на нашем курсе не было; мало того, скажу, что и в «Заре» его ум и тонкость засверкают, но только тогда, когда редактором «Зари» будет Никита Ваганов, который даст Валентину Грачеву развернуться по-настоящему – целиком и полностью. Я отношусь к тому типу редакторов, которые помогают людям развернуться, показать все свои человеческие возможности...

– В джунглях, то есть в редакции, устроили пир с танцами, когда получили твой лесной материал, Никитон, – продолжал Валька Грачев. – Зажгли костры, убили и схарчили двух чернолицых и одного белолицего, танцы продолжались до вечера следующего дня. Шеф плясал соло, изрядно голый...

Я насторожился: старый друг язвил и наслаждался собственным сарказмом, старый друг, ощерив зубы, посмеивался над коллективом газеты «Заря» – это не было свидетельством успехов Валентина Грачева, скорее, наоборот, говорило о его обиде на газету.

– Шеф плясали нагишом, прыгали через костер, спалили крылышки, но не обратили на это внимания, так что, Никитон, тебя ждет упитанный и уже поджаренный телец...

Завидовал, здорово завидовал мне самый близкий друг по университету Валька Грачев,

сочился желчью по поводу черногорского выдающегося материала. Мало успел сделать он, работая в аппарате «Зари», хотя бы для того, чтобы занять отдельный кабинет и создать себе журналистское имя, – его постоянно держали на подножном корму. Никита Ваганов еще проработает собственным корреспондентом «Зари». А работая уже в самой «Заре», подготовится во «фронтной» обстановке к экзаменам в Академию общественных наук, поступит в Академию, окончит ее и вернется в «Зарю», где быстро, через полгода, займет пост редактора промышленного отдела. Понимая научно-техническую революцию, догадываясь о сложности ее пути, Никита Ваганов в качестве редактора промышленного отдела очень скоро сделается незаменимым – и в этом нет преувеличения. * * *

– Их высокоблагородие шеф чуть не упали в костер, через который прыгали, – язвил и расплачивался за невезуху Валька Грачев. – Заместители не снимали фиговых листочков, обижались, что шеф, упоенный, не видит ихние выкрутасы. Та еще была ноченька, и сутки были те еще, Никитон!

– Ну, хватит, хватит, Валюн! Порезвился – и будет!

– Ладно. Как ты живешь сегодня дальше?

– В семнадцать встреча с Одинцовым.

– Ля-ля-ля! Так я и думал! Держи хвост пистолетом, Никита. Будет раздача слонов.

Встреча с Никитой Петровичем Одинцовым произошла. Я не помню, на каком этаже располагался его номер, я даже забыл, о чем мы разговаривали, так бурно и радостно встретил меня Никита Петрович. Встретил как родственника, как близкого друга. А через час, когда главное уже было сказано, я понял, что нашу встречу нельзя кончать будничными рукопожатиями.

Я сказал:

– Никита Петрович, сейчас время раннее, не смотаться ли нам в театр? Смотаемся у теантер, а, Никита Петрович?

– Смотаемся! – по-мальчишески обрадовался он.

После спектакля Никита Петрович, зверски уставший за день, оживился.

– Хорошо придумал, Никита! Умница! А теперь – ко мне!

Ни я, ни Одинцов не могли предположить, чем кончится вечер в комфортабельном номере гостиницы «Москва». Часов в десять в дверь уверенно постучали, Никита Петрович открыл и пропустил в комнаты подвижного, сухощавого человека.

– Вадим Пантелеевич! – представился он и предельно внимательно посмотрел мне в глаза. После этого гость басом сказал:

– Держу пари, что этот молодой человек играет в преферанс!

Через десять минут пулька на троих была в полном разгаре, а вы должны помнить, каким мог быть за преферансным столом Никита Ваганов, да еще в тот вечер, когда ему шли в руки блестящие карты. И Никита Петрович Одинцов, и Вадим Пантелеевич – фамилия неизвестна и кто таков тоже – были отличными партнерами и к концу игры с уважением относились к игре и молчанию Никиты Ваганова. Вадим Пантелеевич грозно сказал, бросая на стол деньги:

– Вот уж завтра вечером посмотрим, Никита, каким голосом вы запоете, везунчик! – И как бы с ужасом взялся руками за щеки. – Нет, такого везения я не видел!

Я сказал:

– Опять уйдете стриженными.

– Я?

– Вы-с!

– Серьезно?

– Вполне! * * *

... Читатель моих записок, предельно похожих на исповедь, еще не раз встретит упоминание о преферансе, и неудивительно: в моей жизни не было другого такого развлечения. Я не увлекался ни футболом, ни хоккеем, не ездил на бега, втайне от общества не заводил молодых любовниц, не гонялся за вещами – вообще ничего не коллекционировал. Я всю жизнь играл в преферанс и достиг в игре сияющих вершин. Я чувствовал и предчувствовал карты и прикупы; с короткого, буквально секундного взгляда на карты видел всю игру. Добавлю, что благодаря преферансу я обзавелся влиятельными знакомыми, мой преферансный талант открывал мне двери таких домов, куда люди моего положения входа не имели... * * *

Когда мы поднялись, потирая поясницы, Вадим Пантелеевич усмехнулся и сказал:

– Ну вы, бандит с большой дороги, не боитесь обыгрывать свое прямое начальство?

Я сердито отозвался:

– Этого мне еще не хватало! – И повернулся к Никите Петровичу. – Есть такое предложение: поужинать завтра в Доме журналистов.

Гость Одинцова поднял обе руки.

– Увы, Никита! – печально сказал он. – Мне Дом журналистов заказан навеки. – Он откланялся и ушел.

Никита Петрович сказал:

– А теперь узнайте, с кем вы попали в преферансную компанию. Это Липунов – зав.сектором печати... * * *

В родной дом я пришел поздно вечером; в коридоре было тихо и темно, так как мой отец везде и постоянно тушил электричество, увлеченный мечтой купить машину, никому не нужную. Это выяснится сразу после того, как я помогу отцу купить автомобиль...

Дашка читала в ванной, лежа во вредной очень горячей воде, мать была в своей длинной и узкой комнате. Мать, оторвавшись от книги, сказала:

– Ты заметил, Никита, что листья на кленах пожелтели, совсем пожелтели?! И в душу просится осенняя грусть.

Меня трудно было удивить «пожелтевшими листьями» моей матери, но, не скрою, в эту минуту меня охватила тихая и бессильная злость. Отец, мой бедный отец, бьется за каждый окаянный рубль, а моя мамаша по-прежнему ведет счет листьям, лунам, закатам и восходам, и в ее душу, душу преподавательницы иностранного языка, «просится осенняя грусть». Я тихо-тихо ответил:

– Почему ты отказалась от вечерней школы, мама? Восемнадцать часов в неделю – это

норма, но это...

Она негромко, но властно перебила меня:

– Ах, как жалко, что ты вырос прагматиком! Ах, как жалко! – Она мирно улыбнулась. – Я, Никита, познакомилась недавно и довольно подробно с прагматизмом... Да, Никита, великий Эмерсон прав, говоря, что вещи сели на человечество и погоняют его... – Мама сняла очки с невидимой оправой. – Прагматики несчастны: вы лишены возможности самосозерцания... Ах, как жалко, что ты прагматик, Никита. * * *

... Мой отец всегда говорил пышно и витиевато, всегда ставил предельно много восклицательных знаков, то говорил громко, то впечатляюще шептал, то сокровенно смотрел в глаза, то глядел только и только в потолок, когда его, казалось, осеняли высокие мысли. Я любил своего отца, люблю его сейчас, буду любить до той поры, пока существую. Отец меня переживет – за день до «синтетического ковра» я посетил отца, он выглядел прилично, в свои годы казался крепким – такой американизированный старик, седой и розоволицый. Естественно, это объясняется и моей заботой: как только я сделаюсь крупным работником «Зари», отец начнет получать помощь, разнообразную помощь, вплоть до хорошей еды. Моя мама умрет за пять лет до моего «синтетического ковра»... * * *

– О чем же ты хочешь говорить, папа? Я тебя слушаю.

– Мы должны поговорить о тебе, Никита, точнее, о твоём будущем. Знаешь, сын, я по-прежнему считаю, что ты напрасно уехал из Москвы. Это был опрометчивый шаг, вызванный... – Он начал смотреть в потолок. – Твой отъезд, Никита, вызван мною. Да, да, да! Только мною! Я не смог дать тебе дома такую жизнь, которой бы ты не стеснялся – это во-первых! Во-вторых, ты хотел жить не так, как живем мы. По-видимому, ты прав, но зачем крайности, зачем крайности, сын мой! Ты стесняешься пригласить гостей в наш дом, ты устал от тесноты, плохой мебели, от меня, мамы и Дарьи. – Отец печально потупился. – Не дай бог, сын, и тебе прожить так скудно. Ты знаешь, я не сколотил и половины стоимости автомобиля.

Я улыбнулся. Отец начал говорить об автомобиле, сел на своего любимого конька, а это значило, что теперь и речи не будет о моем будущем.

– Автомобиль мне не просто нужен, сын, автомобиль мне необходим как воздух, как вода, как хлеб! – Он снова глядел в потолок. – Каждое лето я смог бы вывозить мать на природу, наконец, на теплый юг, где был только единственный раз. Я во сне вижу серую ленту шоссе, яблони на обочинах, пальмы и чинары. * * *

... С моей помощью отец купит автомобиль, поставит его на открытый участок проезжей улицы, потеряет покой, но так и не получит водительские права, он окажется бездарным как водитель. Ему придется продавать автомобиль, потеряв на этом рубли и копейки, но зато он – опять с моей помощью – купит прекрасную трехкомнатную квартиру. С Дашкой у нас произойдет трагедия: девчонка долго не сможет выйти замуж, будучи и хорошенькой, и умненькой, и образованной. Дело в том, что она переймет от матери созерцательность, отрешенность от мира сего, стремление к уединению и мнимой свободе. Понятно, что современные женихи с их требованием уметь жить в сложном и скоростном веке будут покидать Дашку еще на первых ступенях ухаживания. Я помогу сестренке устроиться на хорошую работу, она будет много, по-настоящему много зарабатывать, но ее личную жизнь я устрою не сразу. Да, я найду жениха и мужа сестре! Но это произойдет очень не скоро... * * *

– Автомобиль для меня не игрушка, не роскошь, не баловство, сын мой! Это – обновленное мировоззрение, это путевка в новую жизнь, которой ты так хотел.

Определенно я, Никита Ваганов, журналистский талант унаследовал и от отца, от его умения

гладко говорить, способности временами рисовать словами зримую и обобщенную картину жизни. Сегодня он пропел гимн своему будущему автомобилю, показал, как радикально меняется жизнь семьи с его приобретением, но так и не поднялся над самим собой. Отец говорил:

– Я внутренне изменяюсь, определенно потерплю революционное изменение с покупкой автомобиля. Исчезнет замкнутость, келейность, некоммуникабельность. Все изменится, сын, как только автомобиль станет собственностью нашей небольшой, в сущности, семьи. * * *

... Я стану редактором «Зари», войду в когорту заметных людей, но мой отец так и не поймет, каким образом все это произошло... Знаете, какой вопрос мучит меня сегодня, когда я пишу этот дневник-исповедь, тщательно вспоминая пережитое? Зачем это было надо? Для чего? Во имя чего? А завтра все вопросы мысленно назову дурацкими...

– Ты рано и опрометчиво женился, сын! – воодушевленно продолжал отец. – Если бы ты не сделал этого, то можно было жениться на москвичке и таким образом вернуться домой. Увы! Ты и эту возможность потерял! О, как хороша Вера Егоровна Васькова! Чудо! Чудо! Чудо!

... Когда отец увидит – случайно! – Нелли Озерову, то поймет, как бледна и скромна его Васькова, замученная школой преподавательница литературы... * * *

– Ума не приложу, Никита, как ты вернешься!

Я басом ответил:

– Въеду на белом коне.

В ответ он только грустно покачал головой:

– Я всегда знал, что ты романтик, Никита, но не до такой же степени, сын мой!

Слово «романтик» я терпеть не могу, никогда не употреблял его в очерках и статьях и никому не советую употреблять, но вот для моего папули я вдруг заделался романтиком, хотя никаких оснований не давал. Я так и спросил:

– Отчего, папа, ты меня произвел в романтики? А не в прагматики, как мама?

Он забавно вытаращился:

– А разве твой отъезд в Сибирскую область не романтизм?

Эка хватил! А ведь почти четыре года назад я ему довольно толково и популярно объяснял, отчего отбываю в Тмутаракань: «Понимаешь, отец, в московской журналистской толпе я затеряюсь, как колосочек в поле, а в Сибирской области я, будь спокоен, в три счета заберусь на белого коня».

... Жизнь показала, что я был прав. Верно, в столицу я переберусь без помощи Никиты Петровича Одинцова, меня переведут в Москву на должность литсотрудника промышленного отдела, затем я пойду учиться в Академию общественных наук, а потом – на этот раз только и только с помощью Никиты Петровича Одинцова – сделаю невероятной силы рывок наверх... * * *

Вечером отец сказал:

– Вся школа сошла с ума. Читают твою статью и ругают директора за липовые проценты успеваемости. Никита, я горжусь тобой, сын! – и вдруг пригорюнился. – Я статью не читал. Дай мне газету...

В моем доме не выписывали ни одной газеты, ни одного журнала – копили деньги...

Эта поездка в Москву, еще в пору моей работы в Сибирске, сыграла важнейшую роль в получении мной должности литсотрудника отдела промышленности «Зари» взамен такого престижного собкорства в Сибирске. Примут меня как хорошо знакомого, своего, только временно отсутствовавшего в редакции газеты «Заря», у входа в здание которой – львы на шарах...

Глава шестая

I

В середине ноября произошло маленькое, незначительное на любой взгляд событие, свидетелем которого Никита Ваганов стал тоже совершенно случайно, так что никто из окружающих Никиту Ваганова людей этого крохотного происшествия не заметит, не обратит внимания на перемену, происшедшую в самом Никите Ваганове, да окружающие и не должны были ничего заметить – таким мизерным был случай. Литературный сотрудник отдела партийной жизни Василий Семенович Леванов, проходя мимо почтамта, поскользнулся на ледяном тополевым листе, упасть не упал, но как-то так насильственно изогнулся, что пришел в редакцию бледный и потный. Встреченному в коридоре Никите Ваганову Леванов сказал, что у него резкие боли в левой части не то живота, не то желудка; он был весь скукоженный, тусклоглазый, пергаментный – лицо и руки. Никита Ваганов посоветовал немедленно пойти в поликлинику, на что Леванов ответил:

– Пожалуй, придется пойти.

Ровно за три дня до этого разговора Никита Ваганов, рассерженный очередной выходкой мистера Левэна, вдруг подумал: «Ни дна тебе, ни крыши! Впрочем, такие не умирают!», то есть мысленно пожелал Василию Леванову смерти, физического ухода из жизни, чего, пожалуй, не желал еще ни одному из своих врагов. И вот перед ним стоял такой Василий Леванов, что хоть в гроб клади, – испарина покрывала его длинный и покатый лоб, глаза были рыбьими, и Никита Ваганов ни с того ни с сего опять подумал: «А вдруг это серьезно?»... Впоследствии сам Никита Ваганов посереет и покроется испариной, когда очередное исследование покажет черт знает что. И тоже подумает: «А вдруг это серьезно?» Что касается мистера Левэна, то он, весь перекобочившись, держась рукой за живот, побрел в поликлинику, провожаемый пристальным взглядом Никиты Ваганова.

На улице было все, что полагается поздней осени: мороженые листья, влажный холод, беспроглядное небо, и черт, и дьявол, и последняя музыка в закрывающемся парке культуры. Листья хрустели и лопались под теплыми ботинками Никиты Ваганова, когда он шел по улице весь в осенней сквозной лености, расслабленности. Дескать, осень, пропажа, черны небо и река Сомь, стрекочут по-зимнему сороки, а он, Никита Ваганов, на обед съел две порции холодца. Он не сразу заметил, что его догнал Мазгарев. Пройдя метров сто в молчании, тот сказал:

– У Леванова до невозможности запущенный рак поджелудочной железы.

Никита Ваганов не охнул, не вздрогнул, так как ему показалось, что он давно знает о раке

поджелудочной железы у Леванова: «Вот накаркал! И сам послал его в больницу!» – хотя вот уж в этом последнем ничего криминального не было. Затем Никита Ваганов заметил, как изменилась освещенность улицы, точно зашло за тучку солнце, но ведь никакого солнца не было. «Вот накаркал!» Заболел живот, острая боль почувствовалась именно в том месте, за которое держался Леванов покрытыми испариной руками, и все тускнел и тускнел дневной осенний свет.... Подобное произойдет с Никитой Вагановым, когда он узнает о смертельно опасном результате исследований. Сходство судеб, братство, отъединенность от всего здорового человечества – это предчувствует сейчас Никита Ваганов, умеющий быть оракулом.

«Вот накаркал!»

Три месяца будет умирать Василий Леванов, три месяца будет вместе с ним умирать и Никита Ваганов, но этого никто не заметит. Три месяца умирания Леванова на судьбу Никиты Ваганова наложат яркую печать, хотя опять же никто, даже жена Ника, не заметит никаких перемен в муже, буквально никаких перемен...

Никита Ваганов сказал:

– Рак поджелудочной железы?! Это же чертовские боли. Ах, как не повезло Леванову!

... Много лет спустя он тоже употребит слова «не повезло» по отношению к самому себе, в душе-то понимая, что ни о каком «везении» или «невезении» речи быть не может. Смертельная болезнь, будет считать Никита Ваганов, предписывается человеку судом высших двенадцати присяжных, выдается человеку Высшим Разумом, все знающим о человеке и все о нем понимающим. «Нет, – будет думать Никита Ваганов, – дело не в везении, а в искуплении, в расплате, в расчете с этой мелкотравчатой гражданкой – жизнью, если хотите, дамой неизобретательной, неаппетитной, и расставаться с нею не такое уж горькое бедствие»... * * *

... Нужно иметь в виду – и это в защиту Никиты Ваганова, – что все три месяца умирания Леванова сам Никита Ваганов будет жить как во сне, как бы в нереальном мире потусторонности, а его жена Ника будет считать, что у мужа обыкновенное для зимы состояние сплина, меланхолии, легкой депрессии; мысленно умирая вместе с Василием Левановым, специальный корреспондент «Знамени» Никита Ваганов неожиданно для самого себя займется философией, состоящей из смеси древневосточной и самой современной философии, основанной и на достижениях физики, то и дело натыкающейся на Высший Разум...

– Ах, как не повезло Леванову! – повторил Никита Ваганов. – Как ему не повезло!

Когда Василий Леванов умер, на его похороны Никита Ваганов вместе со всеми не пошел; он вообще никуда в этот день не ходил – лежал в доме тестя на маленькой кушетке, неотрывно глядел в потолок и думал, думал, думал. В далеком далеке своих лет Никита Ваганов предвидел смерть, смерть неожиданную: не от старости и не от усталости, а скоропостижную смерть среди преуспевания и полного благоденствия – так Высший Разум одаривает лучших. Никита Ваганов думал и о другом: для чего живем, для чего, собственно, суедемся? Кто знает, кто знает! Бросить все, жить и просто наслаждаться каждым днем, не заглядывая в будущее – близкое или далекое. * * *

... В случае с Никитой Вагановым – под напором его воли – смерть отступит немного, позволит вчерне разобраться с земными делами, подвести итоги и... тогда уж умереть!.. Василия Леванова смерть не пощадила: пришла как тать ночной, подкралась карманником и тихонечко извлекла все, воровка! Он и опомниться не успел, как оказался в «деревянном костюме». «Жить не хочется, – думал Никита Ваганов. – Послать все к чертовой матери, ухнуть в себя из охотничьего ружья Габриэля Матвеевича – вот и все взаиморасчеты! И не

надо будет ни с кем сражаться, тщиться совершить невозможное. И на что она мне нужна, эта самая Москва? Ой, нет! Без нее действительно застрелюсь к едрене фене!» Короче, надо было кончать с лежанием на узкой кушетке – жить, бороться, функционировать, – но не хотелось, ох как не хотелось! Надевать брюки и рубашку, натягивать тесные ботинки, новые и оттого тоже тесные носки; он всегда тщательно одевался, когда предстояло трудное, нежеланное, тягостное. Например, после самой незначительной и краткосрочной болезни Никита Ваганов в редакцию являлся изысканнейшим франтом. Вот и сегодня он выбрал самое лучшее, модное, не забывая, что сейчас хоронят Василия Семеновича Леванова. И он бы ничего не переменял в одежде, если бы ему сказали, что не годится выглядеть франтом в такой день, – пошатнуть Никиту Ваганова было невозможно. Он так и подумал: «Умру – успокоюсь, но не скоро, товарищи, не скоро!» Когда Никита Ваганов пришел на кладбище, могила была еще черной и свежей, цветов положили немного, и это хорошо – надо доверять самой земле. Он сел на заснеженный пенек неподалеку от могилы, ссутулился, притих, нарядный и элегантный. В таком виде ему хотелось почтить память самого нелепого человека на земле. Иметь любовь, иметь перспективу стать спецкором «Знамени», быть здоровым до цветения, энергичным до кипучести, работающим до фанатизма и – умереть, исчезнуть, уйти в страну, где тишь и благодать?! Зачем? Почему? За какие такие грехи, Васька Леванов?

Подошел сторож, поклонился, Никита Ваганов выдал ему рубль:

– Выпей за раба божьего Ваську.

– Выпью!

Выдав сторожу рубль, Никита Ваганов мысленно попросил старика выпить и за свою грешную душу, авось что-нибудь скостится, простится, например, его предательство... «Я бы и три рубля дал!»

С этой минуты и на много недель вперед Никита Ваганов, что бы с ним ни происходило – писал ли, читал, беседовал, время от времени станет переключаться на думы о Василии Леванове, пораженном раком, обреченном стопроцентно на мучительную смерть. «Суета сует и всяческая суета!» – однажды наконец мелькнет в его большой голове, и мысль о Леванове теперь будет мимолетной, поверхностной, скорее всего умозрительной.

А сам уже представлял, как в недалеком теперь будущем войдет хозяином в странный кабинет Егора Тимошина, закажет по особому тарифу «межгород» на Москву, уверенным баском осведомится, почему задерживается с публикацией очерк, принятый с ходу, но вот – безобразие! – лежащий в секретариате... Образ бледного, в горячей испарине, серого, как асфальт, Василия Леванова вновь стоял перед глазами Никиты Ваганова, и уже было известно, что впереди нескончаемая бессонная ночь, такая же, как была перед тем, как Никита Ваганов решил на расследование дела с аферой по утопу древесины. Нелегко даются Ваганову все его решения, предприятия, сложные по сути и внешне простые дела и делишки. Это только кажется с посторонней, наблюдательной точки зрения, что Никита Ваганов катится по жизни легко, точно колобок из сказки...

И была бессонная ночь, длинная, как третья четверть в средней школе, когда все учишься и учишься, а конца этой четверти не предвидится.

Что рассказывать о бессоннице? Бессонница – это бессонница, у каждого своя и у всех одинаково страшная: бессонница, когда люди, события, предметы плоски и линейны, как их тени...

Так и не уснул в эту ночь Никита Ваганов...

Зима созрела, теплая и снежная зима, с метелями и трехсуточными снегопадами – колхозные агрономы радовались обильному снегу и тому, что он выпал на сырую землю: ждали хороший урожай; речники и сплавщики радовались грядущему многоводью; простые люди шалели от снега, лыж, коньков, снежинок, похожих только на снежинки, скрипа снега под троллейбусными колесами. Хорошая жила зима, что говорить, преотличная, только не для Никиты Ваганова, который зимами впадал в легкий сплин и меланхолию, но на этот раз он не смог допустить ни меланхолии, ни сплина: начали происходить события, и преважнейшие. Егор Тимошин опубликовал один из своих обычных «исторических» очерков – очерк «Династия» о потомственных речниках, проживающих лет сто в Моряковском затоне, где зимовали пароходы и катера. Все в очерке было хорошо и правильно, деды и отцы, нарисованные с большой изобразительной силой, дети изображены похуже, но тоже неплохо, а вот внуки... Раздумывая впоследствии о судьбе Егора Тимошина, об истории его падения, Никита Ваганов будет благодарить бога за то, что Егор Тимошин написал очерк «Династия». Конечно, Никита Ваганов уже сделал много шагов, приближающих его к газете «Заря», но последней точки он не поставил. Последнюю точку поставил сам Егор Тимошин очерком «Династия». Был пятый час, когда Никиту Ваганова срочно призвал к себе редактор Кузичев и мрачно сказал:

– Читали очерк о Моряковке? – И, получив подтверждение, продолжал: – Случилась огромная неприятность!

Через пять минут выяснилось, что последний член династии речников Тверских, внук, Герман Тверских, устроил грандиозный дебош во Дворце культуры ровно за мееяц до появления очерка, который долго пролежал в секретариате «Зари», был арестован и теперь подпадал под выездную сессию суда, тогда как в очерке «Династия» о Германе было написано целых два абзаца – панегирических.

Понятно, что речное начальство написало в «Зарю», приложив к письму и копию предварительного обвинения. Случай, конечно, из ряда вон выходящий, но кто мог предполагать... Впрочем, надо уметь предвидеть такие штучки-дрючки; ничего подобного в журналистской практике Никиты Ваганова произойти бы не могло: узнав, что очерк идет, надо было непременно позвонить в Моряковку, чего Егор Тимошин не сделал – сидел, наверное, над романом о покорении Сибири.

Егор Тимошин не знал, что произошло в Моряковском затоне, когда к нему в кабинет вошел Никита Ваганов. Егор Тимошин кособоко сидел за письменным столом, вставив в правый глаз сильную лупу, читал коричневый от старости документ. Он поднял глаза на Никиту Ваганова:

– Садись. Чего торчишь, ровно чужой!

Вот и по складу речи можно было понять, что живет Егор Тимошин в древнем прошлом, тогда как надо бы жить сегодня. Никита Ваганов сердито сказал:

– Читаешь? Почитываешь? А Германа Тверских будут судить.

– Вот как! А за что?

– Разгромил Дворец культуры, избил девушку.

На окна тимошинского кабинета налип снег, снег лежал – как виделось через окно – всюду и везде, и от снега было ярко в кабинете Егора Тимошина, и Никита Ваганов увидел, какое у него бледное, усталое лицо – лицо кабинетного затворника, ученого или писателя.

Медленно доходила до Егора Тимошина весть о моряковской истории, пробивалась эта весть через древний документ, четырехвековое прошлое, через российскую историю, загадочную и смутную. Минута, наверное, понадобилась Егору Тимошину для того, чтобы ухватить за кончик мысль о некоем беспорядке в Моряковском затоне, где отстаиваются пароходы. Он спросил:

– Так что Герман Тверских?

– Разгромил Дворец культуры, избил девушку. Привлекается!

– Вот как? Любопытно! – И последовал вопрос, от которого Никита Ваганов опешил: – А зачем он это сделал?

И на этот раз Никита Ваганов оправдал Егора Тимошина: подумал по-доброму, что не может человек быть житейски умным, если живет только и только в прошлом. Ведь основатель династии Тверских, его сын и сын сына в помыслах Тимошина не могли устроить скандал, а внук, то есть правнук Герман, для корреспондента «Зари» был такой же условно-исторической фигурой, как и основатель династии Герман Первый. Однако и оправдать полностью Егора Тимошина Никита Ваганов не мог и не хотел.

– Проснись, Егор! – вскричал Никита Ваганов. – Проснись, чудовище! Начнется вселенский хай и всеобщий шмон. Тебя схарчат, как бутерброд.

– Ну, что ты такое говоришь, Никита! Какой хай?

– Вселенский, черт бы тебя побрал! Ты что, не знал, как этот Герман закладывает за воротник, что он уже имел приводы? Где же твоя пресловутая система фактов и фактиков?

– Не кричи, Никита, у меня второй день болит голова. Ну, и о чем ты кричишь?

– О тебе, изверг! Хочешь полететь вверх тормашками? Без выходного пособия?

– Не остри, пожалуйста, Никита. У тебя это редко получается хорошо. Знаешь, лучше промолчать, чем плоско состричь.

Никита Ваганов ушел от Егора Тимошина, лишь слегка его растревожив и сконцентрировав внимание на происшествии в Моряковском затоне, а что касается коллектива газеты «Знамя», то он бурлил, как всклокоченное море Айвазовского, но не было и лучика солнечной надежды на избавление, как это делал знаменитый художник на самом мрачном полотне, – откуда-то пробивался этот тонюсенький солнечный луч.

Никита Ваганов вернулся в свой кабинет – сидеть и думать, думать и сидеть. "Вот оно, приближается! – думал он о газете «Заря» и при этом никакой ошеломительной радости не испытывал. – Сбывается мечта идиота! Где-то неподалеку от него, всего в пяти километрах, лежал под тяжелыми сибирскими глинами Василий Леванов, когда-то потребовавший: «Откажись от спецкорства в „Знамени“ в мою пользу!» Мог бы теперь стать спецкором областной газеты Василий Леванов, занял бы этот пост, коли Ваганов уходит в «Зарю», а Егор Тимошин...

«Суета сует и всяческая суета!» Нет ли здесь предопределенности, заданности? Поэтому, наверное, самой малой радости не испытывал Никита Ваганов при мысли, что сделается собкором «Зари», хотя именно для этого предал Егора Тимошина, тестя Габриэля Матвеевича, жену Нику, весь белый свет за тридцать сребреников! И если бы не ностальгия, если бы не тоска по белокаменной...

– Дела-а-а-а-а! – вслух протянул он. – Умер Вася-то! Эх!

В своем рабочем кабинете Никита Ваганов – в который уже раз! – сел за стол, замер, затаился, исчез. Трудно вспомнить, как долго сидел он, как длинно и мучительно размышлял, но кончилось дело обычным вагановским излечением: начал работать. Еще раз вздохнув, он вынул из стола записную книжку, полистав, остановился на очерке для газеты «Заря» о шофере такси Шумакове, шофере, не берущем чаевые, вежливом, честном, отзывчивом, таком шофере, в существовании которого усомнится читающая страна, но он таким и был, Виктор Шумаков. Десяти минут хватило Никите Ваганову, чтобы забыть обо всем на белом свете, добром и гадком, легком и трудном. Эх, как славно и чудесно стекали слова с кончика ручки, как они выстраивались во фразы, как этажились абзацами! Работающий, пишущий Никита Ваганов – это зрелище, это надо видеть, это можно потом рассказывать возле камелька потомкам. И никто не может осудить Нелли Озерову, если, войдя в кабинет Никиты Ваганова, бесшумно проникнув в него, она так и застыла изваянием, зачарованная этой картиной. Нелли Озерова сама не умела писать, но зато знала толк в работающих мужчинах и наблюдала за Никитой Вагановым с немим восторгом, недышащим восхищением, яркой и нескрываемой любовью, любовью на всю свою долгую жизнь. Может быть, минут десять Нелли Озерова любовалась работающим Никитой Вагановым, пока он наконец не почувствовал ее присутствия – поднял голову и рассеянно улыбнулся:

– Ах, это ты, Нелька! Здорово, хорошая моя! Соскучился!

Это был период, когда они встречались реже обычного, с крайними предосторожностями, в глубочайшей тайне, так как Никита Ваганов поклялся жене порвать раз и навсегда с Нелли Озеровой.

Она сказала:

– Соскучился? Не то слово! Я дурнею и дурею без тебя, Никита.

У нее, наслаждавшейся видом умеющего работать мужчины, было – откуда это взялось? – лицо верующей: влажные от волнения глаза, нежно вздрагивающие губы, лицо матовое, фарфоровое от бледности. Она продолжала:

– Если бы ты видел себя со стороны работающим, Никита! Ах, если бы ты это мог видеть!

Никита Ваганов жадно схватил Нелли. Он тоже сейчас никого и ничего не боялся – любил и любил эту маленькую женщину.

– Нелька ты моя, Нелька, чертовка! Пропадай моя телега – все четыре колеса, но сегодня вечером... – Он двумя руками приподнял ее лицо. – Ты не знаешь, Нелька, где мы сегодня будем спать с тобой?

Нелли Озерова сказала:

– Знаю! На одной из хавир Боба Гришкова. Он потворствует моей любви... Красноармейская, шестнадцать, квартира семь. Обстановка на грани роскоши: поролон и кафель в ванной. Дано на двое суток – субботу и воскресенье.

– Даешь субботу и воскресенье, Нелька! Ура!

На этот раз она не позволила ни обнять, ни поцеловать себя, а, наоборот, откинувшись как можно дальше, отстранившись, вдруг мрачно спросила:

– Скажи, Никита, есть на земле люди, которых ты не обманываешь? Хоть один человек? Не смейся, я тебя серьезно спрашиваю!

Он, продолжая смеяться, ответил:

– Такой человек есть. Его зовут Никитой Борисовичем Вагановым. * * *

Они попались, то есть были пойманы с поличным сразу, этим же вечером. В квартиру позвонили, они удивленно воззрились друг на друга, затем Никита Ваганов прошипел: «Не отзывать!» И они не отзывались, но квартира была расположена на первом этаже, какими бы густыми ни были портьеры, две тени с улицы были замечены и узнаны. Это проделала домработница Габриэля Матвеевича – славная, впрочем, женщина, только истерикой Ники сподвигнутая на мерзкое дело: она пошла по следу якобы отбывшего в трехдневную командировку Никиты Ваганова; домработница узнала его смутную тень на оконной портьере, как и тень маленькой женщины, которая могла принадлежать только и только Нелли Озеровой. Расплата произойдет в понедельник, впереди еще ночь с пятницы на субботу, да суббота с воскресеньем полностью. Никита Ваганов и Нелли Озерова разговаривали, лежа в некотором отдалении друг от друга, чтобы не было жарко.

Глядя в потолок, Нелли Озерова сказала:

– Хоть ты и обманщик, Никита, я восторгаюсь тобою. Ты можешь через год-другой стать сотрудником «Зари»! И – здравствуй, Москва, здравствуй, белокаменная! – Ей было жарко, она всегда раскидывалась, раскрывалась. – Ой, как я мечтаю о Москве, как я о ней мечтаю! Вижу, как иду по Петровке в Пассаж покупать для чего-то кружева. А толпа бурлит, бурлит, бурлит.

Он не упрекнул ее в пошлости, в этом «бурлит, бурлит, бурлит», он сам видел бурлящую Петровку, сам следовал в Пассаж бог знает зачем.

Она все знала о нем, не пропускала пустячного беспокойства, ни маленькой песчинки не пропускала.

Никита Ваганов сказал:

– Этот тихий, этот Егор Тимошин, относится к стану камикадзе, крошка. Короче, он уйдет, не охнув... Вот что противно! Я с детьми не воюю. Вот что гадко! Будь он настоящим противником... – И вдруг закусил губу, сделал паузу. – Васька-то Леванов помер! Вот это был противник – загляденье! Будь он на месте Егора, эх, о чем бы тогда могла идти речь, крошка!

А Нелли Озерова все не унималась:

– Егор Тимошин пишет исторический роман. Напишет и станет писателем. Вот и пускай, вот и пускай! Зачем же заедать чужие жизни, занимать место, по праву принадлежащее другому? Несправедливо это, мой родной, несправедливо.

Как эти речи отличались от других речей! Буквально три дня назад родная жена Ника в теплой и широкой постели говорила мужу Никите Ваганову: «Как тебе не стыдно посягать на место многодетного человека? Как у тебя может только возникнуть мысль о месте Егора Тимошина? Неужели, неужели ты настолько циничный карьерист? Боже, боже мой!» И потом чуть не до утра тихо и медленно плакала в огромную подушку, вызывая у мужа ярое желание надавать ей пощечин, но нужно сказать, что это были ПРЕДПОСЛЕДНИЕ слезы Ники по карьеристу-мужу, что теперь, уже скоро, она превратится в домашнюю клушу, поощряющую в муже все, что в нем наличествует. И главную роль в этом сыграет подглядывание домработницы.

Нелли Озерова жарко говорила:

– Милый мой, все хорошо, все будет хорошо... Разве можно допускать такие проколы, как Егор Тимошин в очерке «Династия»?..

– Молчи!

– Зря ты его защищаешь, зря! Напишет роман, станет писателем, богатым, известным человеком. Вот и пусть, мой родной, вот и пусть! Каждому – свое, как ты часто говоришь!..

Две ночные кукушки куковали в постели Никиты Ваганова, куковали противоположное. Он слушал Нелли Озерову, а думал о Василии Семеновиче Леванове, как он умирал и знал, что умрет. Сейчас он видел пергаментное лицо Василия Леванова, рясной пот на этом лице, глаза затравленной собаки и затосковал бы окончательно, если бы Нелли Озерова, умная Нелька, не спохватилась:

– Ты просто нужен самой Москве, ты ей самой нужен. Разве не говорят уже в «Заре», что ты прекрасный работник?

– Говорят, но куда торопиться?

– В Москву! Вот еще, черт побери, вопросыки!

Он вдумчиво и наставительно сказал:

– Не надо торопить жизнь, она сама нынче тороплива.

– А лежач камень?

– Ну, я похож на лежач камень, как баран на муху. Болтаешь!

– Вовсе нет: разговариваю с любимым...

Он сказал в потолок:

– А я не знаю, что произошло с очерком Егора «Династия». Я его вообще пропустил...

В воскресенье вечером состоялся памятный для Никиты Ваганова разговор, завершившийся бессонной преферансной ночью. Он сдержанно сказал Бобу Гришкову:

– Моя порядочность – моя порядочность! Прошу не вмешиваться в мою систему порядочности. – Потом, занизив голос, пожаловался: – Боб, я гибну без Москвы. Ночами только и делаю, что брожу по московским улицам, а просыпаюсь весь в поту: «Я до сих пор в этом Сибирске?» Попробуй поживи вот таково, Бобище, потом будешь трепаться о порядочности... Понимаешь, мой город!

Боб все понимал, но, по-прежнему недовольно фыркая, разглядывал собственную шариковую ручку. Он был добрым человеком, способным на жалость и к товарищу, и к уличной кошке, и чувствовал, что Никита Ваганов бездомен, живет на биваке, несчастлив, одинок в городе, готов запродать душу черту, лишь бы вернуться на улицу Горького. Сам Боб Гришков был счастливым человеком и хотел, чтобы все были счастливыми. Он мрачно сказал:

– А, черт с тобой! Живи, как хочешь! Пусть мама тебя рождает заново, а я – пас на пяти взятках.

– Боб, ты играешь в преферанс?

– Но как, идиотище! Меня научил играть папахен, когда мне не было и десяти. Я карты

насквозь вижу.

– Сыграем, Боб?

– Ты мне не партнер! Слушай, вали отседова, пока цел, пока я добрый...

Он знал два иностранных языка, был образованным человеком, при желании мог бы достичь сияющих вершин, но так и будет доживать информатором газеты «Знамя», ну и черт с ним, в самом-то деле. Никита Ваганов не нянька – не тот человек. Никита Ваганов сказал:

– Я сматываюсь, Боб, но ты смотри...

– Чего еще смотри?

– Смотри не попадайся мне за преферансным столом!

– Ах, вот как, ваше идиотическое степенство. Сегодня же играем...

И произошло невозможное: Никита Ваганов не был еще назначен собкором «Зари», что-то проверяли в его блестящих анкетах, не было вообще известно, что победит его кандидатура, ничего еще не было, в сущности, известно, но они играли в преферанс, играли всю ночь и еще наступившие полдня. Это была последняя игра в Сибирске, сыгранная Никитой Вагановым... * * *

В понедельник – день тяжелый – домработница Астанговых не пустила Никиту Ваганова в дом его тестя, не пустила дальше порога, возле которого стояли протертые от пыли его чемоданы и отдельные вещи. Домработница сказала:

– Просили больше не приходиться.

Никита Ваганов улыбнулся, пожал плечами.

– А Габриэль Матвеевич знает?

– Они не знают... А эта просили больше не приходиться.

Глупее положения нельзя было придумать, нелепее фигуры, чем теперешний Никита Ваганов, белый свет, вероятно, не видывал. «Ах, как это замечательно!» Он забавно покачал головой, подмигнул домработнице и поступил чисто по-вагановски: оттеснив домработницу, подошел к телефонному аппарату, что висел в прихожей, набрал номер Габриэля Матвеевича:

– Здравствуйте! Это Никита... Не можете срочно, немедленно подослать машину к нашему дому?

Здание комбината «Сибирсклес» располагалось на окраине города, в сосновом бору; именно Габриэль Матвеевич Астангов настоял, чтобы здание комбината находилось в лесу для проведения некоторых экспериментов, например, лесоразведения или унифицирования лесозаготовительной техники.

В кабинет тестя Никита Ваганов вошел незамедлительно, сел на самое почетное место, громко, решительно сказал:

– Ника меня выставила из дома, Габриэль Матвеевич. Выставила безо всякой на то причины, выбросила, как кутенка. Вышвырнула со всеми вещами и приказала не пускать меня дальше порога. А я ни в чем не виноват!

Темно-синий костюм был на несчастном Габриэле Матвеевиче Астангове, смотрящем сейчас

на зятя затравленными глазами. Одна беда за другой валились на его седую голову, одна беда за другой, и теперь перед ним сидел зять, которого родная дочь, на потеху всему городу, выставила из дома. Развод! Пугающий Габриэля Матвеевича развод в лице Ваганова сидел в удобном кресле, якобы сдерживаясь, говорил:

– Так дело дальше продолжаться не может, Габриэль Матвеевич. Я женился на Нике, женился навсегда и всерьез, собираюсь прожить с Никой всю жизнь и проживу, если она перестанет шпионить за мной, подозревать, ревновать, уличать... Вы прожили с Софьей Ибрагимовной сорок лет, так неужели она всякое лыко ставила вам в строку? – Никита Ваганов даже жестикулировал. – Я ни в чем не подозреваю Нику, хотя вот она-то продолжает перезваниваться и на улицах встречаться со своим Курчатовым.

Габриэль Матвеевич застонал:

– Каким еще Курчатовым? О боже, какой Курчатов?

– Капитан Курчатов... Они познакомились, когда он был курсантом артиллерийского училища, и вот до сих пор крутят легкий романчик. – Никита Ваганов охотно улыбнулся. – Я же не шпионю за ними. Я свирепо обрываю рассказы сплетников о том, как они прогуливаются по парку... А! О чем мы говорим? Жизнь есть жизнь, Габриэль Матвеевич, и если бы я даже был виновным, надо смотреть вперед... Будучи беременной, Ника...

– Что?! Ника беременна?

– А как же, как же, дорогой тестюшка! Позвольте вам стать дедом! Сына назовем Костей, дочь – Валентиной... А чего вы так удивляетесь, Габриэль Матвеевич? Мы с Никой здоровые люди. И спим, как вы, наверное, догадываетесь, вместе...

Габриэль Матвеевич Астангов глупо и счастливо улыбнулся. Имея двух дочерей, он грезил внуками, жил внуками, наверное, для будущих внуков, для их благоденствия совершил аферу с утопом древесины, вляпался чуть не в уголовное дело для того, чтобы по большой квартире топали ноги внучат – лучших представителей горячей астанговской крови. Габриэль Матвеевич опять застонал:

– Почему Костя и Валя? Разве нет других имен?

Он бы назвал внука в честь своего отца Матвеем или Ибрагимом в честь отца любимой жены, он бы назвал внучку только и только Софьей, но вот на его пути встал Никита Ваганов со своими Костями и Валями...

– Почему Костя и Валя? Это даже странно – Костя и Валя! Миллионы и миллионы этих – Костя и Валя. Ай, как плохо, дорогой мой Никита, вай, как плохо! – вскричал он, забыв о чистоте русского языка. – Почему Костя? Почему Валя?

– Потому что потому! – защищался, смеясь, Никита Ваганов. – Кто делает детей, тот их и называет. А есть люди с плохой памятью – их я не уважаю!

– У кого плохая память, у кого?

– У вас, Габриэль Матвеевич! Как вы могли забыть о своем родном брате Косте, который распрекрасно живет в городе Баку?

– Ва-вай! Неужели вы, Никита, вспомнили о моем хорошем брате? А Валя? А Валя?

– Валя как Валя! Моя первая школьная любовь... Надо же что-то оставить и на долю Никиты Ваганова. Руки у вас очень заgreбущие, Габриэль Матвеевич. – Никита Ваганов решительно поднялся. – Что прикажете делать? Возвращаться на холостяцкую квартиру?

Ровно через пять минут на «Волге» главного инженера комбината «Сибирсклес» они катили в двадцать шестую среднюю школу, где преподавала азамужняя дочь Габриэля Матвеевича Астангова Вероника, прозванная дома по-детски игриво Никой. Ника преподавала историю, нагружена она была здорово, по двадцать шесть часов в неделю, но отца и мужа встретила во время большой перемены – так они ловко подкатили к прекрасному зданию школы, стоящей одиноко на пустыре с чахлыми саженцами берез и тополей. Она до смертыньки испугалась:

– Папа, папа, что с мамой? Что с мамой?

Габриэль Матвеевич ответил:

– Мама в порядке, а вот что с тобой, дочь моя? Никита абсолютно ни в чем не виноват, абсолютно ни в чем не виноват. И почему ты от меня и от матери утаила?

Ника пошла вдоль пустыря, они – за Никой. Примерно в двухстах метрах от школьного здания она остановилась. Ника медленно проговорила:

– Рожать не буду! С Никитой больше жить не буду!

– Будешь, голубушка! – сказал восточный человек Габриэль Матвеевич Астангов. – Будешь жить с Никитой до самой смерти, как он того желает, и внука мне родишь, как он того желает...

– И не рожу, и не буду жить!

Диво как хороша была под лучами зимнего солнца жена Никиты Ваганова! Из иллюстраций к «Тысяче и одной ночи», с гравюр восточных мастеров миниатюры, бог знает еще откуда, но красива была, чертовка, поразительно.

– Ты мне родишь красавца внука!

– Не рожу! Сделаю аборт.

– Проклянута и отлучена! – глядя в землю и очень тихо сказал Габриэль Матвеевич. – Имя твоё мы с матерью произносить не будем, лицо твоё постараемся забыть...

Забавная картиночка! Стояла возле школы всем известная «Волга» главного инженера комбината «Сибирсклес», сам начальник комбината рядом с высокой женщиной и высоким мужчиной в очках рыл носком лакированной туфли снег и упорно повторял:

– Забудем, выкинем из сердца, отлучим, проклянем!

Никита Ваганов сдержанно помалкивал, точно все происходящее его совершенно не касалось, точно не его два чемодана и другие вещи валялись в прихожей. Он дал обет молчать, он понимал, что любое его слово вызовет вулканическое извержение, вселенский потоп и так далее.

– Папа, ты не знаешь, какое это чудовище – мой муж! Ах, если бы ты знал хоть пятую часть, ах, если бы это знал! – стараясь не кричать на виду у родной школы, отбивалась от отца Ника Ваганова. – Ты не все знаешь о партийном собрании, об этой Нелли Озеровой, о Егоре Тимошине. Ты ничего не знаешь, папа, ты ничего не знаешь, не знаешь, не знаешь!

Чего, чего, а вопить – даже негромко! – она умела, эта восточная женщина, даже более восточная, чем отец и мать, уродившись, как говорила теща Софья Ибрагимовна, в тетку Зульфью.

– Я не хочу жить с Никитой и не буду. И не хочу рожать, и не буду рожать тебе внука, папа, от этого подлеца и развратника! Папа, твои усилия тщетны, тщетны, тщетны!

Габриэль Матвеевич сказал:

– Вещи Никиты возвращаются на место, все становится на свои места. Если этого не произойдет, твой отец умрет лютой смертью. Лучше умереть, чем такой позор!

Ника Ваганова сникла, сломалась. В доме Габриэля Матвеевича Астангова верили честному слову, клятва чьей-нибудь жизнью была равна абсолютной истине, обещание умереть здесь могло быть выполненным – восточный все-таки дом. И воспротивься дочь – отец мог бы умереть: пустить пулю в лоб, сунуть голову в петлю, наконец, угаснуть от самовнушения – такой дом. Обещание умереть «лютой смертью» на Нику Ваганову подействовало так, как на костер – цистерна воды. Бессильно повисли руки, глаза потухли, уголки губ горестно опустились – нужно запомнить эту фигуру, именно такой вскоре и навсегда станет Ника Ваганова – замечательная жена и большой друг Никиты Ваганова, примирившаяся с Нелли Озеровой, с его карьерой и его преферансом, с его родителями, этими детьми, требующими материнского ухода. Бессильно повисшие руки, потухшие глаза, горестно опущенные уголки губ – вот в будущем Ника Ваганова, Вера Ваганова, Вероника Габриэлевна Ваганова. Она сказала:

– Хорошо, папа. Пусть будет по-твоему. Ты умнее и старше. * * *

... Много лет спустя Никита Ваганов напишет публицистическую статью «Третий ребенок», в которой остро поставит вопрос о росте населения русской части страны, о редком третьем ребенке, и настрой этой громкой статьи он возьмет из воспоминаний о том, как отнеслись к аборту родители Ники, – это будут громовые раскаты, которые найдут отклик у миллионов читателей «Зари»... * * *

– Хорошо, папа, я поступлю как ты велишь!

IV

В последних числах декабря Сибирский обком и редколлегия центральной газеты «Заря» решили удовлетворить просьбу Егора Егоровича Тимошина о переводе на работу спецкором областной газеты «Знамя» и принять согласие Никиты Борисовича Ваганова занять освободившуюся должность собкора «Зари» – таким образом, они просто менялись местами. Все произошло тихо и мирно только потому, что редактор «Знамени» Кузичев дал согласие: он понимал, что такой человек как Никита Ваганов, в области долго не задержится.

Прежде чем зайти с благодарностью к редактору Кузичеву, Никита Ваганов как бы случайно забрел в промышленный отдел «Знамени», где все были на местах. Заведующий отделом Яков Борисович Неверов, так рьяно выступивший за Никиту Ваганова на партийном собрании, литсотрудники Борис Ганин и Нелли Озерова, за которую Никита Ваганов все еще писал очерки, а иногда и статьи. Его встретили радостно, и даже «уничтожитель начальства всех рангов» Борис Ганин приветственно полуулыбнулся: он считал Никиту Ваганова «почти начальством». Никита Ваганов сказал:

– Мы – литрабы, нам литру бы... Шато и кем полезны всем! Боря, не томи бровей! Нелли, вы прекрасны, как маков цвет. Яков Борисович, я вас изо всех сил уважаю! Робята, нет ли закурить для некурящего?

Его угостила сигаретой «Пегас» Нелли Озерова, от сигареты пахло ее духами, значит, их последней постелью, и Никита Ваганов оживленно сообщил:

– Говорят, в Соми поймали китенка, весом пуд с четвертью. Сам не видел, но слышал от верного человека.

Фраза была кодовой: разговор о китенке переводился так: «Сегодня, в четыре часа». И без того красивая, Нелли Озерова зарделась, глаза – синие! – расширились, распахнулись, как форточки обворованного дома – лживые были глаза, подлые совершенно! Никита Ваганов ожесточенно подумал: «Вернусь домой, в Москву, выпишу Нельку, буду спать с нею когда заблагорассудится!» Вслух он сказал:

– Это дельце провернул сам Егор. Видимо, роман о покорении Сибири близится к завершению... Я имею в виду наш с ним обмен.

Продолжала хорошеть на глазах Нелли Озерова. Тоже, наверное, видела себя на улицах столицы, тоже, наверное, проделывала путь на Новый Арбат, жадная и любящая Никиту Ваганова женщина. Яков Борисович Неверов осудительно и ласково покачал головой: «Разве это взрослые люди? Нет, это дети, и относиться к ним нужно как к детям! Это же понятно!» А вслух он сказал:

– Я нахожусь в детском саде, поверьте мне... * * *

... Один из этого «детского сада», Никита Ваганов, предложил Егору Тимошину написать очерк о знаменитой династии речников, отлично зная, что младший из династии в подпитии способен не только устроить пьяную драку, но и вынуть из кармана самодельный стилет.

Читатель, наверное, помнит разговор Никиты Ваганова с Нелли Озеровой на конспиративной квартире об отказе от должности собкора «Зари»... Так оно и произойдет, скоро, очень скоро он откажется от собкорства в пользу незаметной должности литсотрудника, но литсотрудника в аппарате «Зари», и вытекающего из этого переезда в Москву...

Часть вторая

Львы на шарах

Глава первая

I

Льва на стене я увидел пополудни холодного октябрьского дня, в час ветреный и колючий, хрусткий от лопавшихся под ногами льдинок. Лев был нарисован мелом на стене нового дома в Чертанове, на стене дома, где дали квартиру сотруднику отдела промышленности газеты «Заря» Никите Ваганову, то есть мне. Замечу, что Валька Грачев, мой университетский товарищ и сильный соперник, ходил уже в редакторах отдела информации и котировался

высоко... Меловой лев на стене был нарисован примитивно, точно наскальный рисунок, но казался живым и подвижным; скоро я узнал, что льва нарисовал полусумасшедший художник – думаю, отменно талантливый. Впрочем, я люблю примитивную живопись, кроме того, редкостно суеверен, и долго размышлял, что он может значить – меловой восхитительный лев. Вероника, Вера, – моя жена – стояла позади со смотровым ордером в руках и, уверен, так и не поняла, что я обратил внимание на льва. Все-таки для женщины смотровой ордер – это смотровой ордер.

Теперь я займу у вас минуточку терпения напоминанием о том, что все это – дневник ли, записки ли – пишет приговоренный к смерти человек, и, надеюсь, вы усмехнетесь вместе со мной, когда прочтете, что я пишу о своих суевериях. Вот уж от чего я теперь совсем свободен – от суеверий, и черные кошки могут пересекать дорогу под моим носом, но – увы!

Не ошибаюсь ли, когда думаю, что лев был изображен по правую сторону единственного подъезда дома-башни, а не по левую... Свеженарисованный лев, кроме прочих достоинств, был сонным, прекраснородушным и сытым, хвоста у зверя не было, единственный глаз-точка казался подернутым блаженной влагой. Забыл или не хотел художник пририсовать хвост льву, так и осталось неизвестным, но лев с хвостом был бы явно проигрышнее существующего... Да, в моих записках вы найдете массу канцеляризмов, часто повторяемое слово «предельно», выпренность и безвкусицу... Добавлю, что отсутствие хвоста у моего льва почему-то вызвало предчувствие, что меловой лев – не последний, а, наоборот, самый первый и маловажный лев в моей жизни, хотя я, естественно, не мог точно предполагать, как значительно деформируется лев – царь зверей и саванны, пустыни...

Я употребил слово «пустыня». Смешно и грустно. Почему тигра, этого более кровавого и опасного хищника, никогда не называют царем тайги? Пишущий эти строки человек, находясь в здравом уме и светлой памяти, говорит с колокольной высоты своего жизненного опыта и знаний, что царствовать можно только над пустыней. Не правда ли, смешно и грустно? И не забывайте, пожалуйста, что пустыня безмолвия окружает нас, пустыня одиночества вокруг нас и внутри нас, пустыня безнадежности – вот стихия бытия. Древние правы: земля плоска, но ошибаются, что она покоится на слонах и китах, – она зацепилась краем, как льдина, за пустоту... Когда-то я слепо и яростно ненавидел философствующих, теперь я тоже ненавижу их, но понимаю, что это дети, которые не могут обойтись без песочных домиков...

– Почему, ну почему ты стоишь на месте, Никита? – раздался за спиной задыхающийся от нетерпения голос моей жены Веры. – Пошли же, пошли!

... Почему люди так нетерпеливы, зачем они этим портят себе жизнь – такую, в сущности, простую вещь? Я родился заведомо терпеливым, и у меня хватило терпения на все, значит, хватит и на достойную смерть. Это я, Никита Ваганов, перед распределением выпускников факультета журналистики Московского университета написал на четвертушках бумаги названия нескольких областей, смешал их и взял верхнюю – Сибирская область? А какая, черт возьми, разница, если ты терпелив, как вол? Только не Москва, только не столица, где – сто двадцать рублей на нос, безликость, унижения из-за невозможности печататься и предел мечтаний – заставленная вплотную столами редакционная каморка. Журналистская общественность любит, когда кадры «обкатываются» на периферии, въезд в столицу на белом коне реальнее, чем рука, подхватившая стремя местного скакуна. Правда, мой вечный соперник Валька Грачев, Валентин Иванович Грачев несколько – временный успех! – опередил меня, начав с каморки и шести поцарапанных столов. Она разнообразна, жизнь, и не надо требовать иного...

Я талантлив. От папы или мамы, от университетских лекций или вечного писания – без разницы, как теперь выражаются. У меня точный и зоркий глаз, собственный журналистский почерк, я, как вол, работоспособен, дотошно знаю дело, одним словом, у меня есть все, чтобы преуспеть в этом лучшем из миров. И пусть читатель моего дневника, написанного, как

и все дневники в мире, для чтения посторонними глазами, сразу ампутирует такие мысли: «Никита Ваганов – неудачник! Никите Ваганову здорово не повезло!», как вздорные и, главное, поверхностные.

... – Забавный лев! – сказал я. – Посмотри, Вера, он именно забавный.

Жена не услышала меня, не увидела мелового льва, и я не стал требовать, чтобы она поделила мои восторги. Я всегда придавал и придаю значение женской индивидуальности, оставаясь предельно независимым, чутко прислушиваюсь к женщинам, хотя всю жизнь мой сексуальный мир по сегодняшним понятиям был по-спартански ограничен: жена и вечная любовница. И, называя женщин вслед за чеховским героем «низшей расой», я фальшивлю и часто стараюсь смотреть на мир женскими глазами, которые, согласитесь, созданы на другой планете и из другого материала. Мне приходилось читать, что многие крупные и талантливые люди имели женщин-друзей, оставивших яркий след в их жизни. Таким другом будет для меня в будущем Нина Горбатко...

– Никита, ты – иезуит! – воскликнула Вера.

Оторвав взгляд от мелового льва на стене, я посмотрел на ключи в руках Веры, и пусть мне говорят, что нет бога-случая и бога-провидения. При виде ключей я вдруг понял, что пять лет назад меня оскорбили и это сделал святой человек Иван Мазгарев, признанная совесть областной редакционной газеты «Знамя», и на самом деле такой человек, которого давно искала вся советская литература под кодовым названием «положительный герой». Иван Мазгарев мне руку не подал СПЕЦИАЛЬНО, потому что раскусил мою игру в прятки с Егором Тимошиным, вообще понял, кто такой Никита Ваганов, и пророчески предвосхитил грядущие события, не имея на руках ни одной понятной карты. Неужели оно существует – обостренное и верное – дальновидящее чувство справедливости? Естественнее и понятнее было бы почувствовать опасность самому Егору Тимошину – это жертве дано провидением.

... Я умираю. Я скоро умру.

– Хорошо, Вера, пошли смотреть нашу новую квартиру! – в тот день мягко сказал я. – Ты, вижу, хочешь опередить собственную тень.

Меня по-прежнему – неизвестно почему – волновал меловой лев на стене нового дома, мне что-то грезилось, что-то заставляло сильнее биться сердце, беспокоиться и радоваться – вот вам пример моего собственного развитого чувства предвидения. Я не чета Егору Тимошину, который все-таки напишет «Ермака Тимофеевича».

– Ты знаешь, – сказал я неторопливо жене Вере, – ты знаешь, что в конце века нас будет пять миллиардов... А?

– Никита!

– Пошли, Вера!

Мне, сыну бедного, то бишь необеспеченного учителя, и, как ни странно, моей жене Вере, дочери осыпанного материальными благами крупного работника, двухкомнатная квартира в доме, где на стене был нарисован лев, показалась неожиданно прекрасной, да так оно и было. Две изолированные комнаты по двадцать квадратных метров каждая, холл такой же величины, балкон и вдобавок лоджия, ниша для верхнего платья. Потолки чуть ли не довоенной высоты, дом строился по особому проекту, и – холл, холл! Двадцать квадратных метров пустого пространства! Жена зачарованно молчала: в пятикомнатной квартире ее отца холла не было, существовал длинный, но узкий коридор.

– Никита! – прошептала Вера. – Нам будет здесь хорошо, Никита!

Она забыла, какой ценой досталась нам эта квартира, и червь, который подтачивал нашу любовь и нашу дружбу, в эти минуты прекратил свою незаметную, но неустанную работу по уничтожению того, что называется дурацким словом «брак».

– Ты права, – сказал я, – нам здесь временно будет хорошо.

Очарованная бордовостью холла, здоровенными окнами, балконом и лоджией, Вера пропустила мимо ушей слово «временно», чего в обычной обстановке быть не могло. Что же! Женщины консервативны, женщины не любят перемен, если их не сжигает огонь тщеславия. Моя жена Вера относилась к числу людей, нетребовательных к жизни в ее стоимостном выражении, – это шло от ее отца, замечательного в своем роде человека. Габриэль Матвеевич Астангов! Этим все сказано...

– Никита! Я счастлива, Никита!

– Счастье – твое перманентное состояние, Вера.

И этого она не заметила, но вспомнит мои слова много лет спустя, чтобы повторить их с другим совершенно смыслом. Видимо, слова отпечатались в памяти: так бывает, так бывало и со мной. Вдруг что-то всплывет, зазвучит в ушах, увидится, а что это такое и откуда – вспомнить невозможно.

– Поставим самую простую и дешевую мебель, – ласково продолжал я. – Весьма желательно, душа моя, чтобы мебель была временной. Понимаешь, мебель-временка?

– Как хочешь, как хочешь! – готовно ответила она и опять – вот чудо из чудес! – не обратила внимания на слова «временный» и «временка»: для нее это означало обычную мебель. – А солнце, Никита, у нас будет только по вечерам! – сказала она по-прежнему восторженно. – Ну, это пустяки, Никита!

Я никогда не увижу солнца из окон нашей первой московской квартиры, у меня не выберется свободного времени, чтобы хоть один раз оказаться дома, когда в окна заглядывает солнце. Почти десять лет жизни в доме с меловым львом на стене я буду работать как проклятый, как негр на сахарной плантации, как узник на галерах, чтобы уйти из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную и, наконец, – пятикомнатную с двумя санузлами и окнами, выходящими на все стороны света. Солнце всегда будет жить в нашей пятикомнатной квартире, но из ее окон я его тоже не часто увижу. Солнце мне будет светить на чужих дачах, трех разных дачах постепенно увеличивающейся кубатуры и этажности, дачах, возле одной из которых... Но об этом позже. Сейчас я стою в холле моей первой в жизни собственной двухкомнатной квартиры и наблюдаю за восторгами жены, не пожелавшей из любви ко мне оставить себе девичью фамилию. На мой взгляд, фамилии менять нельзя, как, скажем, нельзя в институте косметики менять внешность, фамилию, к сожалению, можно только наследовать и должно наследовать, иначе я бы – даю слово – не остался Вагановым. Я настолько же не люблю фамилию отца, насколько люблю его самого за его несчастья, за неутоленную мечту об автомобиле. Я бы не стал из Астанговой превращаться в Ваганову, но этого Вера не понимает и никогда не поймет, бог с ней, неумолимой и мечущейся!

... Несколько лет назад, а точнее – пять с половиной лет назад, до отказа открыв свои миндалевидные восточные глаза, Вера протяжно спросила: «Ты карьерист, Никита? Ты подлец, Никита? Ради всего святого, скажи мне правду?!» Я подумал и ответил: "Такие вопросы рекомендуется выяснять до поездки в отдел записи актов гражданского состояния... Теперь надо спрашивать: «Мы карьеристы? Мы подлецы?..»

А Вера разохалась:

– Твой кабинет, оказывается, будет самым светлым...

Повторяю, я так и не увижу первую собственную квартиру освещенной солнцем, знал об этом заранее и поэтому решительно сказал:

– Кабинета не будет! Вообще, Вера, и мужа у тебя тоже не будет на... необозримый период. Я превращаюсь в редакционного вахтера, работающего круглосуточно...

... Вам, конечно, интересно узнать, каким образом я, Никита Ваганов, в рекордно короткое время стану ответственным работником центральной газеты «Заря». Расскажу-ка о парикмахерской... Москвичи и даже приезжие знают парикмахерскую, что находится на улице Горького рядом с магазином «Подарки». Там до сих пор работает спокойная доброглазая женщина, имя-отчество которой я запомнил – Нина Петровна. К ней я попал случайно, в порядке очереди, и вызвал недоуменный вопрос:

– Что будем делать?

Из зеркала смотрел молодой человек с тщательно ухоженными длинными волосами, то есть прической, продуманно необходимой для его доброго лица. Нина Петровна сразу поняла, что менять ничего не надо и нельзя. Но я сказал:

– Возвращаюсь в офицерское звание. Сделайте нечто такое, знаете, чтобы... под фуражку.

И через час – Нина Петровна работала предельно добросовестно и тщательно – из зеркала поглядывал не капитан артиллерии, а преуспевающий ученый из тех, что ищут в газетах свою фамилию в списке будущих член-корреспондентов. Я закусил губу: «Не получилось!» Нина Петровна задумчиво сказала:

– Вы помолодели, но стали значительнее. Странно!

Только через месяц, чисто случайно, эмпирическим путем я пойму, что надо предпринять, чтобы Никита Ваганов не бросался в глаза, не выпирал из массы, не привлекал внимания... *
* *

– Я люблю тебя, Никита! – сказала Вера.

Она докажет, что это так и есть, докажет самоотверженностью и бессребреничеством, самоотдачей, полной растворимостью, если так можно выразиться, в моих делах; она докажет это и противоположными действиями: борьбой против моего, придуманного ею коварства, карьеризма и жестокости. Естественно, она потерпит поражение: силенок у Веры не хватит, чтобы остановить Никиту Ваганова в бесконечном стремлении вперед и вверх; на этой почве и возникнет временное взаимное непонимание. Она не знала, что мужа остановить нельзя...

– Делай все, что тебе заблагорассудится, Вера, но только не тяни. Я хочу через неделю ночевать в новой квартире. Вот это я говорю серьезно...

Теперь-то я понимаю, почему боялся остановки: не позволял себе иметь ни минутки свободного времени, чтобы оглядеться, обдумать деяния рук своих, разобраться в себе и других. Я был зашорен и зашорен сейчас; берусь доказать, что человек вообще и человечество в целом существует – не сходит с ума, не стреляется и не вешается – только потому, что не разрешает себе вдумываться в происходящее. Вперед! Только вперед! Утром человек предвкушает, как будет после работы пить бочковое пиво, вечером, ложась в постель, мечтает, как утром наденет новую сорочку...

– Ты поняла меня, Вера?

Она обиделась:

– Ты разве не видишь, что я готова въехать даже в пустую квартиру...

II

Читатель непременно заметит, как вяло я написал эту главу, как скучно мне рассказывать, как я аморфен, неэнергичен, неинтересен. Оно и немудрено: мое возвращение в Москву, в столицу, возвращение – я не хвастаюсь – на белом коне было счастьем на три дня, ликованием на семьдесят два часа и ни минутой больше, так как ровно через семьдесят два часа, отсиживая скучнейшую летучку, я понял, что началась серые будни, беспросветные будни литературного сотрудника отдела промышленности, так резко отличные от праздника моего спецкорреспондентства в Сибирске и поблизости. Я заранее был готов на медленное-медленное восхождение вверх, но контраст был таким, что я купил большой коричневый портфель, а чемоданчик типа «дипломат» спрятал подальше.

Серые будни, печальные будни. Болото будней!

Проученный за ярость и заметность на сибирском партийном собрании, хорошенько обдумавший тему «посредственность и карьера», «безликость и карьера», «серость и карьера», окоротивший волосы и надевший очки в маленькой оправе, я уже не мог себе позволить блистать, как блистал прежде, понимая, что уж в редакции-то «Зари» на этапах медленного-медленного продвижения по службе такие субчики, как Валька Грачев, мне не простят ничего, выходящего за рамки обыденности. Я должен был идти в строю, набравшись терпения, не «мыркать» и не спешить к сияющим высотам. Пока я сам выбрал серость, сам переменялся ради серости и будней, изнуряющих будней.

Сейчас я поднимался скоростным лифтом на восьмой этаж, поднимался со скоростью века и размышлял именно об этом ускорении времени и темпов жизни, жестоких для многих современников, а для меня благостных и целительных; я, наверное, оглох бы, проведя неделю в «тургеневской» усадьбе. Я несколько не преувеличиваю, целиком согласен с американским футурологом Тоффлером, утверждающим, что человечество находится в стрессовом состоянии от катастрофически быстрого наступления будущего. Футурошок! Конечно, адаптационная способность человека чуть ли не безгранична, тот же мрачный Тоффлер скорее надеется на оптимистический исход, чем на пессимистический, но жертв футурошока предостаточно. Одна из них – мой редактор Илья Гридасов. Он не заметил, что все побежали, быстро заговорили, не поехали, а полетели, не любили, а только влюблялись, не читали, а только «просматривали» умные книги. Он продолжал жить своей прежней жизнью и, конечно, отстал, существовал анахоретом, пользующимся стеариновыми свечами... Он и внешне был примечателен: имел такие маленькие, сложенные гузкой, малиновые губы, которыми художники Ренессанса награждали красавиц, у него были такие короткие и негнущиеся ноги, что Илья Гридасов казался ходящим на протезах. Он слов произносил по времени раз в десять меньше, чем длились его паузы, и они, паузы, у него означали все, в том числе и желанные мысли собеседника; от этого его считали умным и деликатным человеком.... Много лет спустя известный писатель Егор Тимошин беззлобно скажет мне: «Ты – мещанин самой современной кондиции, Никита!» – на что я расхохочусь. Мещанином я считал Илью Гридасова, в недобрую минуту вспоминал четверостишие Бориса Слуцкого из его стихов к пьесе Брехта «Добрый человек из Сезуана»: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны; кожу на них дают сами бараны...»

Сегодня между нами произошел такой разговор:

ВАГАНОВ. Привет, Илья Владимыч!

ГРИДАСОВ. Привет!

ВАГАНОВ. Хорошая погода, черт побери! Радуюсь за колхозы.

ГРИДАСОВ. Погода ничего.

ВАГАНОВ. Казахстан хорошо идет. Славно!

ГРИДАСОВ. Славно.

ВАГАНОВ. Ну, будем давать Сиротенко в номер? По-моему, нужный материал.

ГРИДАСОВ. Ничего.

ВАГАНОВ. И как все-таки? Будем ставить этот роскошный материал в завтрашний номер? Вдруг Игнатов согласится?!

ГРИДАСОВ. Можно.

ВАГАНОВ. Что можно, Илья Владимыч?

ГРИДАСОВ. Можно.

ВАГАНОВ. Поставить материал?

ГРИДАСОВ. Можно.

А он сидел в современном кресле прекрасно прямо, невзирая на свою толщину, надменно, поглядывал на меня лихими глазами. Но все-таки в конце двадцатого века он не был живым человеком, этот Илья Гридасов, редактор промышленного отдела газеты «Заря»; он был создан только и только для девятнадцатого века, и у него в газете «Заря» не было перспектив роста, у него, похоже, впереди был какой-нибудь теоретический журнал, возможно, редакторство в таком журнале...

Я сказал:

– Надо давать материал Сиротенко. Попадаем в струю, то бишь в быстротекущую жизнь. А, Илья Владимыч?!

Он ответил:

– Можно.

... Я не буду пока бороться с Ильей Гридасовым, а, наоборот, учась в Академии общественных наук, буду при всякой встрече с Александром Николаевичем Несадовым – заместителем главного по вопросам промышленности – восхищаться делами Гридасова. Мало ли кто может сесть на его место, пока я грызу гранит науки! Нужно сохранить смешного тихохода...

Между тем забавный диалог с Ильей Гридасовым по моей прихоти продолжался:

ВАГАНОВ. Так я сдаю статью? Она будет полезной, не так ли?

ГРИДАСОВ. Можно.

ВАГАНОВ. Мне нравятся в статье основательность, эрудиция, спокойный тон полемики. Пожалуй, давненько не было таких материалов, давненько!

ГРИДАСОВ. Возможно.

ВАГАНОВ. Беру статью, иду в секретариат, требую немедленной сдачи в набор.

ГРИДАСОВ. Можно.

ВАГАНОВ. Нет, серьезно, Илья Владимыч, статью надо давать.

ГРИДАСОВ. Надо.

Быть может, он был уж не так глуп, если остановил жизнь на темпе девятнадцатого века, затормозил действительность, отодвинул в сторонку бешеные ускорения... Реально, что на посту редактора общественно-научного журнала Гридасов сделает свой журнал таким же популярным, как «Здоровье». Он будет разговаривать с читателями медленным, основательным и многословным языком прошлого, хорошо разговаривать, чтобы человек постепенно успокаивался, начинал видеть лица прохожих, деревья в сквере, осколок луны в еще солнечном небе, асфальт под ногами; многие ли из спрошенных москвичей ответят, в какие два цвета покрашены вагоны поездов метро или каков памятник Гоголю – сидит, стоит? До «Зари» будут доходить анекдоты из жизни Ильи Гридасова, смешные анекдоты!..

Я сказал, стоя в дверях:

– Понес статью в секретариат?

– Можно.

В секретариате я никого не застал, положил статью на стол ответственного секретаря, поразмыслив, направился в кабинет человека, о котором вы еще не слышали, но которому я отвожу четвертое место среди «строителей» Ваганова. Речь идет о Леониде Георгиевиче Ушакове, одном из трех заместителей ответственного секретаря редакции. Это был такой человек, что брось его в море, вынырнет с рыбкой в зубах, это был тот самый Ленечка Ушаков, которого знали все метрдотели Москвы, маркеры всех бильярдных и швейцары закрытых клубов. С ног до подбородка закованный в джинсовую ткань, он сидел на краешке стола, разглядывал макет полосы и недовольно покачивал головой: «Фиговая полоса, вот что я вам скажу, дорогие товарищи! Удивительно, что эту полосу сверстал я сам!»

– Ти-то-то, ти-по-по! – насвистывал он.

Я сказал:

– Высвистишь деньги, Ленечка.

Он быстро отозвался:

– Их все равно нету. Чего ты шастал в комнату ответственного?

– Отнес статью Сиротенко.

– Давай ее сюды-ы-ы-ы! Я – на сегодня и завтра – ответственный во всех смыслах.

Мы легко находили с ним общий язык: оба имели университетское образование, общих знакомых, одинаковую манеру держаться. Только Леониду не понадобился мой трудный путь вперед и вверх – ему протезировали серьезно и могуче.

– Чего куксишься, Никитон?

Я промолчал, хотя настроение сейчас у меня было препаскуднейшим, и только от того, что редактор моего отдела Гридасов был тряпкой. Я с комичным удивлением произнес:

– Можно.

– Что можно? – возрился на меня Ушаков. Только после этого Леонид понял, о ком идет речь: наверное, я точно передал интонации Гридасова, и у меня, как я сам чувствовал, было гридасовское лицо. Я сказал:

– Поставишь Сиротенко в следующий номер – веду в ресторацию. Пиво и раки. При желании: коньяк и сациви.

Ленечка брал взятки ресторанами и страстно хотел, чтобы его окружал рой подхалимов, мальчигов на побегушках, легкомысленных девочек. И все это он имел, ибо в так называемой сфере неформальных отношений был титаном: купить «Волгу», достать в августе каюту на теплоход, курсирующий по Черному морю, билеты на премьеру в любом театре, устроить на работу, пролезть в жилищный кооператив – все это Ленечка Ушаков проделывал легко. Короче, в его силах было устроить меня слушателем Академии общественных наук.

Можете от брезгливости не читать, но я «ухаживал» за Леонидом Ушаковым, сдувал с него пылинки, угощал его обедами в Доме журналистов и в других ресторанах великого города Москвы. Я не жалел на него ни денег, ни времени; я, равнодушный к хоккею и футболу, высиживал подле Ушакова на ледяном ветру или кромешной жаре часами – так мне хотелось учиться в Академии общественных наук, и пусть кто-нибудь осудит меня за это желание, пусть кто-нибудь бросит в меня камень, если известно, что так быстро, как я хотел, без Леонида Ушакова в Академию попасть мне было невозможно.

– Ключешь на коньяк и сациви? – со смехом переспросил я и тоже сел на краешек стола. – Где наше не пропадало! Поставишь Сиротенко в следующий номер?

– О чем звук, корешок, о чем звук? И ты прав: коньяк и сациви. Кроме того, новые девочки.

Я грустно признался:

– Девочек не будет, Ленечка! Все переметнулись в стан Когиновича...

– Иди ты?

– Гад буду!

Возле молодой литературной группы редакции «Зари» всегда крутилось несколько дальновидных и прехорошеньких девчонок, увлеченных журналистами, которым оставалось два шага до писательского Союза. В последние десятилетия двадцатого века начинает понемногу таять грань между журналистикой и писательством, но пока она существует, Союз писателей пополняется преимущественно журналистами. Девчонки были умны, интересны по-человечески, добры и широко чисто по-русски. С ними любой ресторанный вечер бывал веселее, умнее и трезвее, но вот несколько дней назад произошло смешное: три знакомых девочки перекинулись, как я уже сказал, в лагерь Егора Коркина, почему-то называемого нами Когиновичем. Он был сотрудником отдела литературы, писал рассказы и повести, носил «литературную» бороду и вытертые джинсы, он, несомненно, находился на пути от Дома журналистов к Дому писателей, и это девочками было замечено, учтено и – «измена, измена, измена стучится в наши двери, гражданин прокурор!».

Ленечка, хихикнув, сказал:

– Великолепно, великолепно, только ты надень фрак и выучи несколько умных фраз из книги «В мире мудрых мыслей».

– А это зачем?

– А это для тридцатилетней дамы, которая будет держаться за руль собственного автомобиля... – Он снова хихикнул. – Когда начнется съезд? Где?

– Ресторан «Советский», восемнадцать тридцать.

Ленечка Ушаков, этот баловень судьбы, работающий всегда с таким видом, точно делает одолжение газете, посмотрел на меня уважительно и сказал:

– Ах, ах, какие они не любопытные!

III

«Чертог мадам Грицацуевой сиял...» Собрались неожиданно все: я имею в виду Ленечку Ушакова, себя, Вальку Грачева и Егора Коркина, приведшего с собой трех переметнувшихся к нему девочек – двух блондинок и брюнетку.

Мы уже курили по второй сигарете, перемыли косточки всем, кому могли, официант уже бросал в нашу сторону вопросительные взгляды, когда появилась ожидаемая нами дама – та, что «держится за руль собственного автомобиля». Она небрежно кивнула и назвалась:

– Нина Горбатко.

Красавицей, как ее разрекламировал Ленечка, она мне не показалась, но не заметить ее было трудно: женщина чрезвычайно походила на певицу Эдиту Пьеху, но была травмирована этим и сделала с собой все, чтобы не походить. Сев, она внимательно осмотрелась и остановила бесцеремонный немигающий взгляд на мне. Я ответил ей точно таким же взглядом.

– Можно начинать! – сказал кто-то.

Я заранее заказал столик и еду, обговорил по телефону все мелочные подробности.

– Ну и начали!

Я пригубил минеральную воду, с моим трезвенничеством в редакции уже смирились, надежду «распоить» меня оставили, принимали таким, каким я был в непитии, а я, представьте, пьянел от пьяности компании, чувствовал головокружение, когда понемногу напивались соседи по застолью, – это объяснялось мобильностью нервной системы, унаследованной от моей созерцательницы-матери. Мне предельно понравилась Нина, но я вспомнил Нелли Озерову, разлука с которой была долгой, изнуряющей, хотя Нелька уже стала москвичкой.

После трех-четырёх рюмок Валька Грачев вцепился в Леонида Ушакова мертвой хваткой. И тогда я понял, что Ленечка может пригодиться не только для поступления в Академию общественных наук. Пока я «отирался» по Сибирску, Валька Грачев изучал соотношение сил на местном небосклоне, разобрался во всей этой космологии и знал, что делает, когда кормил с ложечки Леонида Георгиевича Ушакова...

Нина Горбатко спросила:

– Вы действительно такой добрый, каким кажетесь?

– Только в очках. Пойдем танцевать?

В ресторане «Советский» хорошо танцевать в длинном и широком проходе между двумя

рядами столиков. Нина танцевала прекрасно, а я обнимал такую талию, что ого-го! Во время танца она, прижатая ко мне намертво, спросила:

– Этот ваш приятель, Леонид, – он что, талантлив?

– Не то слово, Нина! Он преталантливый заместитель ответственного секретаря.

– И это все?

– Ага.

После длинного застольного разговора и танца я бы мог съесть Нину с солью и без соли; она глаз не спускала с Никиты Ваганова, и мне катастрофически сильно хотелось согрешить, тем более что и квартира была: успел же я спросить, как и где живет моя партнерша? В однокомнатной квартире на Кропоткинской улице.... Со временем я стану там бывать... После танца мы сели рядом и тесно напротив Леночки Ушакова, на этот вечер для меня безвозвратно потерянного. Ну, кто меня заставлял приглашать в «Советский» Вальку Грачева? Разве не хватило бы Когиневича и его девочек? Ан нет!

– Друзья, дорогие друзья! – сладостно пел Валька Грачев. – Выпьем с теплом и радостью за нашего неповторимого Леонида. Ура!

Он, видимо, тоже вычислил доморощенную философию касательно лести и льстецов, считал, что доза лести ни количеством, ни интенсивностью не нуждается в ограничении, что льстецов журят, льстецов упрекают, но никогда не устраняют от себя даже самые сильные люди мира сего...

– Не надо убивать пересмешника! – сказал я на ухо Нине Горбатко. – И вообще, мне кажется, что вам хочется нравиться.

Она прикусила губу, подумала, затем сказала:

– Неправдочка ваша! Мне грустно и скучно.

– Лжете! Вам хочется нравиться. Так идите начатым путем. Грубите направо и налево!

– Вот как!

Блондинки повисли на Жорке Коркине. И красив он был, и добр, и весел, и трезв в пьяности, и умен, и эрудирован и – бог знает чего только в нем не было!... Это он проложит путь своим девочкам от Дома журналистов до Дома писателей, там они и останутся – повыходят замуж за пожилых и знатных писателей, сделавших счастливыми их и несчастными себя. Прекрасный конец...

А Леночка открыто страдал от материнской опеки Вальки Грачева, который – дурак! – потерял меру в том, что меры не имеет – подхалимаже. «За нашего неповторимого Леонида!» Вот и разбирайтесь, а мы... Полуобнимая Нину, я сказал:

– Зря тратите французские духи, Нина. Вы и так пахнете морозным вечером. Это не пошло?!

Она ответила:

– Пошло.

Я громко сказал:

– Любить хочется!

Блондинки всполошились. Одна буквально застонала:

– Ой, как хочется любить! Вы молодец, Никита. Молодец!

Вторая – она катала хлебный шарик – промолвила:

– Суждены нам благие порывы...

И они немножко помолчали – грустили по современной жизни, в которой, казалось им, осталось так мало места для настоящей любви. На самом деле это были бредни, это была тоска определенного круга окололитературных и околожурналистских женщин, имеющих дело исключительно с женатыми людьми. Почему-то так называемые технократы женятся позже, чем журналисты и писатели, среди них образуется холостой вакуум, а вот в журналистско-писательской среде неженатых нет. Впрочем, эти забавные наблюдения не относятся к мучениям Ленечки Ушакова, брошенного на попечение дурака Вальки Грачева. Валька пел как петух, закрыв глаза:

– Секретариат «Зари» держится на тебе, Леня! Я не знал, что делать, пока ты не пришел в секретариат. Давайте выпьем за Леонида, как за небывало крепкого работника.

Мы выпили за «небывало крепкого работника», но это не изменило соотношения сил за столом. Кто кем был, тот тем и остался! Нина откровенно льнула ко мне, блондинки обихаживали Когиновича, а Ушакову – шиш на постном масле в лице кислосонной брюнетки.

... Забегая вперед, скажу, что после вечера в ресторане «Советский» Ленечка Ушаков возненавидит Вальку Грачева; он по вине Валентина Грачева одиноко уедет на дребезжащем такси из ресторана «Советский», Никите Ваганову скажет: «Зачем ты позвал этого Грачева?» Я отвечу: «Думал, он тебе интересен!»

... Я сказал Нине:

– Может быть, исчезнем?

Она шепотом ответила:

– После танго.

– Так смотаемся?

Она прижалась щекой к моей щеке?

– Смотаемся, Никита, немедленно смотаемся!

Возвращаясь после танго к столу, чтобы бросить деньги на расчет, я подумал, что не буду добиваться постели в Нининой однокомнатной квартире, что, пожалуй, «пороманю» с нею, пока моя Нелли Озерова проводит недели в мебельных магазинах, обставляя квартиру, полученную ее «господином научным профессором».

Мы с Ниной вышли под звезды и луницу, мы попали в прохладу и благодать, нам приветливо светили зеленые огоньки такси, недорогих до Кропоткинской улицы, а то у меня просто не оставалось денег. Я же говорил, как трудно было с ними, проклятыми.

... Впоследствии, вспоминая это время, я не смогу понять, каким это образом умудрялся бросать пятьдесят рублей на ресторан «Советский»? С годами и с увеличением заработков я не буду бросать деньги налево и направо, не захочу – таков закон богатения...

Возле дома Нины мы немного постояли, несомненно, ей была понятна моя игра, и она была

благодарна, что я не тащусь за ней в дом.

Я сказал, глядя в небо:

– Любые слова сейчас покажутся пошлыми, Нина, и хорошо, если вы это понимаете.

Она сказала:

– Понимаю.

Я продолжал:

– Тогда будем молчать, если есть о чем. Ночь на самом деле преотличная. Стихотворная ночь!

– Вон мое окно! – сказала Нина и показала на шестой этаж. – Как-нибудь приглашу вас на чашку кофе.

– А давно вы живете одна, Нина?

– Недавно! Я как-то поссорилась с мамой. Вот дядя и помог мне быстро купить квартиру...

Однокомнатные квартиры, особенно на Кропоткинской улице столицы, на мостовой не валялись, и мне стало, конечно, интересно, кто этот дядя, умеющий быстро доставать однокомнатные квартиры.

– Вы его наверняка не знаете, – ответила Нина, – он не так давно переехал в Москву из Черногорской области...

Я, конечно, понял, о ком идет речь, но все-таки торопливо спросил:

– А вам полагается по закону жилая площадь?

– Естественно.

Я торжественно произнес:

– Тогда вашего дядю зовут Никитой Петровичем Одинцовым.

Нина поразилась:

– Вы знаете моего дядю?

– И довольно хорошо! * * *

... О, будь благословенна статья некоего Сиротенко, приведшая меня в ресторан «Советский» и познакомившая с Ниной Горбатко – племянницей Никиты Петровича Одинцова. Отныне умница Нина станет связующим звеном, через нее будут передаваться поклоны и поздравления, она мне будет приносить приглашения в дом и на дачу Никиты Петровича Одинцова, так как в этот – «болотный» – московский период моей жизни нас будет разделять слишком большое расстояние – социальное, не географическое. Он, крупный работник ЦК, и я, литсотрудник промышленного отдела газеты «Заря», – нет у нас точек пересечения. Никита Петрович не всегда сможет пригласить меня в свою компанию, и тогда начнет действовать его любимая племянница Нина, гостем которой я и буду считаться. И мы будем играть в преферанс, играть долго и по крупной, и для Никиты Петровича день выигрыша будет праздником с фанфарами. О, будь благословенна статья Сиротенко!..

– Ваш дядя – человек замечательный! – радостно сказал я Нине. – Это вам говорит Никита

Ваганов, тот Никита Ваганов, который опубликовал полосу, то есть пятиколонник, о лесной промышленности Черногорской области...

Она нахмурила лоб, потом воскликнула:

– Ах, вот как! Вспоминаю. Вас дядя назвал «журналистом от бога».

– Он так и сказал?

– Не так! Он произнес панегирик. – Она удивленно протянула: – Почему, интересно, я забыла, что речь идет именно о Ваганове?

– А дядя, наверное, не называл фамилию. Меня он иногда зовет Никитушкой Вторым, говоря, что не по степеням, а по возрасту делит на первого и второго. – Я радостно рассмеялся. – Как мы с ним играли в преферанс!

– Ох! Об этом тоже знаю! Он вас величал Бандитом с Кривым Ножом!

– Совершенно точно! * * *

... Судьба, сама судьба руководила мной, когда я в первый вечер, нравясь Нине чрезвычайно, не полез целоваться и обниматься, не стал проситься в ее квартиру, чтобы изменить жене и Нелли Озеровой. Все это произойдет позже и кончится для меня позорно: у нас ничего не получится, и, глядя в потолок, Нина печально скажет: «Мы – разные механизмы!» Я уже ждал отставки, но Нина только поцелует меня, и мы останемся нежными друзьями практически навсегда. А в то утро она шептала, счастливая: «Да разве в этом дело? Ох, боже мой! Я люблю тебя, Никита».

Я влюбил в себя Нину на долгие-долгие годы, сделался необходимым, удовлетворяя тоску женщины по любви. В самом расцвете нашей дружбы с Ниной Валька Грачев – конечно, он! – положит на мой стол роман Мопассана «Милый друг». Я замечу: «Дурачина и невежда! Мопассан поверхностно написал свой знаменитый роман!» Они мелко пахали, эти ребята типа Вальки Грачева, не знающие нюансов... * * *

Я оживленно сказал Нине:

– Как говорится в песне: мы будем петь и смеяться, как дети.

Она хорошо рассмеялась, умница этакая:

– А вы, Никита, еще и забавный!

– Будешь забавным, если читатели, эти значительно идейно и художественно выросшие за последние годы читатели, заметили, что имя Никиты Ваганова стало сходить со страниц газеты...

... Два с половиной года протрубил я в должности литсотрудника промышленного отдела, два с половиной года работал за медленного, как осенняя муха, Илью Гридасова, изрекающего свои бесконечные «можно»; два с половиной года я приласкивал Ленечку Ушакова, родственника могущественных людей; два с половиной года почти на все праздники бывал приглашен или Ниной Горбатко, или самим Никитой Петровичем – нет разницы.

Кажется, через неделю после «Советского» Валька Грачев пришел ко мне, устало опустился в кресло, помедлив, сказал:

– А хорошую я сам себе свинью подложил, Никита! Ушаков меня видеть не может, трясется, как паралитик.

Не умеешь подхалимничать – не берись, не знаешь дозировки – накройся шляпой и молчи. Это большое искусство – подхалимаж, и дилетантам в нем делать нечего: опасно во всех отношениях.

Я сказал, разглядывая свои ногти:

– Все можно исправить.

– Как? Как?

– Быть паинькой – это раз! Дербалызнуть Ленечку Ушакова хлопнушкой для мух по носу – это два!

Он испуганно отшатнулся:

– Ты шутишь?

– Нисколько-о-о-о-о! Зарежь немедленно его статью об отхожих промыслах. * * *

... Это пойдет на пользу Вальке Грачеву, хотя он поначалу мне не поверил, подумал, что я на него расставляю силки, хочу сбросить со счетов соперничества, черт бы его побрал!.. А что касается Леонида Георгиевича Ушакова, то он, всемогущий, продолжал роскошную жизнь. Я уже пытался объяснить, каков он, но сделал это посредственно. Понимаете, во многих организациях или учреждениях встречаются такие добрые молодцы, которые высокого служебного положения не занимают, занимать его не хотят, но живут в свое полное удовольствие, живут за счет могущественных родственников или могущественных связей. Рабочий день таких людей занят телефонными звонками по всем поводам, кроме служебного, – они делают кучу услуг для сослуживцев. Одному помогают обменять квартиру, второму – достать автомобиль, третьему – поставить телефон, четвертому – пристроить тещу в дом для престарелых. Как правило, их не любят, но помощью охотно пользуются, водят по ресторанам, поят и кормят. Таков был и Ленечка Ушаков, который наконец-то сказал мне:

– Ты и без Академии сделаешь карьеру, Вагон! С твоей пробивной силой... Ай, да черт с тобой! Поговорю с предками, учись себе на здоровье, Вагон!

И вот, вырвав из Ленечки Ушакова согласие поговорить с предками на предмет моей учебы в Академии общественных наук, я был предельно – предельно! – счастлив, так как понимал, что университет мне не дал того, что даст Академия общественных наук...

Относительно Вальки Грачева: разговор с ним продолжался.

– Зарежь статью Ушакова и – вся недолга! – повторил я с нажимом. – Ему пользительно получать шишки, идиоту, везучей скотине. И тебя он, поверь, чрезвычайно зауважает. Он слаб в ногах. Они все – такие вот! – слабы в ногах...

Валька, понятно, трусил, много усилий потратил он, чтобы все-таки «зарубить» статью, отнять у Ленечки Ушакова рублей сто двадцать «подкожных» от жены, но зато впоследствии Вальку Грачева ожидала такая же снисходительная любовь, какой одаривал прохиндей Ленечка Никиту Ваганова.... Впоследствии, через много лет, я Ленечке Ушакову добром припомню услугу, но, уплатив долги, расстанусь с ним: просто-напросто отдам в другую газету, другому редактору, несмотря на то, что вся родня Ушакова останется по-прежнему могущественной. Читателю этой исповеди или дневника уже известно, что я не боюсь ни черта, ни бога. Не испугался я и сверхмогущественной родни Леонида Ушакова и даже, напротив, заработал на этом моральный куш. Отец Ушакова скажет: «Наконец-то нашлась управа и на моего недоросля!»

Через дней десять после нашего знакомства Нина Горбатко сообщила:

– Дядя несколько суббот подряд неудачно играет в карты. По этому поводу – вот чудак! – переживает. Слушай, Никита, ты играешь в преферанс, может это вывести из себя такого уравновешенного человека, как дядя? Только не фантазируй, дружок.

Я от хронического проигрыша в преферанс суеверно терял покой, потому серьезно ответил:

– От проигрыша трех рублей – сбесишься, Ниночка! Можно очуметь, если не отыграешься.

– Твои шуточки... Вот что! Я тебя приглашаю на субботу. Кажется, нет четвертого партнера, а дядя...

– Что дядя?

– Дядя как-то сказал, что ты преферансный бог! Удивлена, что он сам не приглашает тебя играть.

Я ответил:

– Почему не приглашает? Именно приглашает, да я не иду.

– Это еще отчего?

– Сильнокалиберное начальство! Больно крупное начальство стали Никита Петрович, которого я однажды обчистил как липку.

– Не валяй дурака, Никита. Приезжай в субботу на дачу, мы все там будем. Познакомишься с моей мамой...

– Елизаветой Петровной?

– А ты откуда знаешь ее имя?

– От Никиты Петровича.

– Ты когда его видел?

– Не позже чем сегодня. И тоже получил приглашение к преферансу, но...

– Значит, будешь?

– После твоего приглашения непременно, Нина!

Таким вот образом, приглашенный Ниной, я стал почти еженедельным гостем Никиты Петровича Одинцова, который и без племянницы приглашал меня к себе, обижался, когда я демонстративно не являлся, огорчался, что меня нет за преферансным столом, где за картами сидели люди министерского уровня, а порой и повыше... Что делать среди них Никите Ваганову? Молча бросать карты и писать мелким почерком висты в пульку? Я любил играть в преферанс резко и громко, раскованно и нахраписто... * * *

... Будущее покажет, что не грех играть в преферанс с Никитой Вагановым – литсотрудником промышленного отдела газеты «Заря». Много денег я вынул из пухлых кошельков своих партнеров...

Но я и предполагать не мог, что за преферансным столом однажды появится изящный человек, тонкий, большеголовый, голубоглазый Юрий Яковлевич Щербаков – ответственный работник Академии общественных наук. Это будет такой неожиданностью, что у меня сладко закружится голова, но через полгода выяснится, что Никита Петрович Одинцов, знающий, естественно, о моем желании попасть в Академию, специально пригласил на вечер Юрия Яковлевича.

На даче Никиты Петровича Одинцова в преферанс играли на веранде, здесь начисто отсутствовали три фактора, мешающие преферансу. На печатных пуляках шутивно пишется: «Враги преферанса: скатерть, жена и шум». Скатерти и в помине не было. Жена Никиты Петровича загорала на юге, все остальное зависело только от нас, а мы были паиньками. Сдавать карты по жребию начал Щербаков, я сидел от него – тоже по жребию – с правой руки и через десять минут понял, что он прекрасно играет – большой для меня подарок. Никита Петрович, как вам известно, часто от рассеянности играл плохо. Он мог при желании просчитать все тридцать две карты, мог, сосредоточившись, играть блестяще, но редко это бывало с Никитой Петровичем Одинцовым. Я объявил:

– Пики.

– Трефи! – сказал четвертый партнер.

– Пас! – сказал Никита Петрович Одинцов.

– Трефи подержу, – сказал я и поправился: – Бубны!

– То-то же! – отозвался четвертый. – Пас!

Рассказывать об этой игре в преферанс не хочется, да и невозможно вообще рассказывать об игре в преферанс, так как для понимания нужны специфические знания, но преферанс – игра выдающаяся: человек обрекает, как говорят, себя на скучную старость, если не умеет играть в преферанс. Да что там говорить! Преферанс есть преферанс... Я катастрофически выигрывал. Все преферансные благодати были на моей стороне, и я открыто торжествовал, невзирая на своих могущественных партнеров. Не смейте и подумать, что Никита Ваганов из подхалимажа мог проиграть хоть один паршивый вист! Я играл на выигрыш, исключительно на выигрыш, и выиграл у всех троих: сгреб со стола сорок восемь рублей. Юрий Яковлевич Щербаков протяжно сказал:

– Ба-а-а-тюшки! Это не человек, а игровой автомат.

Я ответил:

– Математический склад ума. И только.

Четвертый партнер по имени Андрей Иванович усмехнулся:

– Болтовня это! Просто чертовски везет. Как там с женой, Никита?

– Полный порядок, Андрей Иванович! Верны-с.

Никита Петрович Одинцов сказал:

– Второй такой верной жены не отыщешь. Пенелопа!

Затем, голодные, мы пошли в столовую. Вот тут-то и произошло событие, которое в моей жизни сыграло важную роль. Не помню, о чем шла речь, совершенно не помню, что говорил сам, что вообще за обеденным столом происходило, но минут за пять до конца обеда Юрий Яковлевич – я уверен, что Никита Петрович Одинцов так прямо не действовал, не говорил с

ним, – вдумчиво спросил:

– А вам никогда, Никита Борисович, не приходила мысль об Академии общественных наук? Полезное дело, знаете ли.

Запоздало складывая салфетку, я ответил:

– Только об этом и думаю, Юрий Яковлевич! Не хочется быть дилетантом, ей-богу. Превеликий вакуум в голове своей чувствую.

– Так в чем же дело? – Юрий Яковлевич воодушевился. – Судя по преферансу, вы человек отменно волевой, так неужели вас не хватит на экзамены? Они тяжелые – это так, но где нам с вами легко, Никита Борисович, где и когда нам легко?

– Ловите Юрочку на слове, ловите голубчика! – засмеялся Никита Петрович Одинцов. * * *

... Юрий Яковлевич Щербаков ни на грамм не облегчил мне поступление в Академию, если иметь в виду экзамены, но уж позже вел себя по-родственному. Сдавать экзамены якобы помог мне Ленечка Ушаков. Возможно, мне казалось, что преподаватели были сговорчивы. Я неплохо подготовился к экзаменам – вот в чем штука. Короче, через два с половиной года работы в промышленном отделе ваш покорный слуга Никита Ваганов стал слушателем Академии общественных наук, которая откроет зеленый свет на пути вперед и вверх... * * *

Вечер того дня, когда я стал слушателем Академии, я провел дома, с женой Верой, сыном Костей, отцом, матерью и сестренкой Дашкой. Они накрыли стол, нагнав – вот черт! – огромную помпу, даже с черной икрой. Естественно, первую речь держал мой родной отец. Он до пошлости торжественно сказал:

– Мой сын! Мой единственный дорогой сын! Уверенно и твердо идешь ты по этой многотрудной и одновременно счастливой жизни. Приветствую и поздравляю тебя, сын мой! Но... – Он был торжествен, как пономарь. – Но, сын мой, позволь пожелать того, чего у тебя нет! – Он обвел застолье ликующим взглядом. – Позволь пожелать тебе... ошибок! Вот чего тебе не хватает, сын мой, единственный и горячо любимый! Ошибок, ошибок и еще раз ошибок!

Представьте, он заставил меня задуматься и загибать пальцы в поисках ошибок моей недлинной еще жизни, и я нашел их препорядочно. Например, мне не следовало жениться на избалованной, не знающей жизни Веронике Астанговой, претерпевшей «изменения милого лица». В девичестве она именовалась капризным ребячливым именем Ника; сделавшись моей женой и родив Костю, пожелала называться исключительно Верой. Во-вторых, мне не следовало из Сибирска возвращаться в Москву на должность литсотрудника, а нужно было прямо из Сибирска – это легче – садиться на скамью слушателя Академии общественных наук. В-третьих, мне не следовало заводить любовницу на длинные-длинные годы.

– Сын мой единственный, я раскрываю навстречу тебе свои объятия, как никогда уверенный в том, что ты сделаешь мною не сделанное. Я пью за тебя это шампанское, сын мой! Ура!

Моя жена Вера слегка округлилась, стала от этого значительно милевиднее – резкость восточных черт лица сглаживалась, и было ясно, чем кончится дело – полной фигурой, которая меня вполне будет устраивать. Она уже была той верной, покладистой, невозвращающей женой, какой я ее и хотел сделать, и по крайней странности это окажется именно тем, что было надо Никите Ваганову. Подле жены Веры сидел сын Костя с лицом павшего на землю ангела – он походил на нас обоих, он взял лучшее от матери и отца, и гулять с ним по улице было невозможно: прохожие от восхищения застывали, а он, барчук, казалось, не видел восторженных взглядов, хотя уже читал все, что попадает под руку, и со мной беседовал так: «Папа, правильно ли поступил Мартин Иден, если самоубился?» Я

отбирал у него неположенные книжки, а мамаша их возвращала.

– Сын мой, почему ты не пьешь шампанское?

А кто его знает, почему я не пил шампанское. Задумался, наверное, загляделся на полнеющую Веру и херувимчика Костю, на отца с матерью, на дылду Дашку – мою сестренку, которой каждые полгода приходилось менять все одежды. Наверное, было о чем подумать, если родной отец с таким ликованием упрекал меня в безошибочности жизненного пути вместо длинных и тяжелых дорог. Знаете, я чрезвычайно привязан к тому рудиментарному хвосту, который носит имя «семья»... * * *

... Не знаю, не знаю! Для Никиты Ваганова роль семьи будет возрастать и возрастать, пока не достигнет предела после стояния на «синтетическом ковре» перед профессорским синклитом. Понятно, каждый умирает в одиночку, но если у твоего изголовья сидит вечно бдительная жена, то умереть в одиночку – не так уж просто... Вера сейчас меня уложит в постель, накроет одеялом, сядет подле. Она просидит, если понадобится, всю ночь кряду, она не сомкнет глаз, она будет следить за моим дыханием... * * *

– Спасибо, папа! – сказал я, поднимаясь в тесноте маленького стола. – Ты, как всегда, прав, папа! Мне еще предстоит делать ошибки, и, думаю, с лихвой наверстаю упущенное. Вот уж о чем можешь не беспокоиться, папа. О моих ошибках. В них, если хочешь знать, мое будущее. Виват!

Я как в воду глядел, провидец чертов! Ведь я не делал крупных ошибок потому, что был маленьким человеком; став крупным, я начал их делать – крупные...

V

В середине первого года моей учебы в Академии общественных наук в Москве появился Егор Тимошин, продолжающий работать специальным корреспондентом областной газеты «Знамя» в городе Сибирске. До меня доходили слухи о том, что Егор закончил роман о заселении и завоевании Сибири, что Иван Мазгарев, прочитав роман, кричал: «Шедевр!» Такой всегда сдержанный, он вопил, что давно ничего подобного написано не было. Ценителем литературы я Ивана Мазгарева не считал, напротив, думал, что он совсем не разбирается в литературе, ничего иного, кроме своих пропагандистских статей, не знает и знать не хочет, и слухи – это слухи. Итак, Егор Тимошин сам захотел видеть Никиту Ваганова. Я не добивался встречи с ним, даже и не мыслил о таком ненужном варианте, но раздался телефонный звонок:

– Привет, Никита! Говорит Егор Тимошин. Я из гостиницы... Здорово, Никита!

– Здорово, Егор, рад тебя слышать.

Врал я, врал! Мне не хотелось ни слышать, ни видеть Егора Тимошина в любом временном исчислении и душевном состоянии. Разве в меланхолическом припадке раскаяния, какой-нибудь временной депрессии я мог позволить себе роскошь встречи с Егором Тимошиным, которого старался навечно стереть из памяти, но, видит Бог, мне мешал даже сам Егор Тимошин. Он продолжал:

– Я на недельку, Никита, очень хочу с тобой повидаться. Мало того... – Он замялся. – Мало того, я хочу тебе показать одну вещь.

«Вещица» тянула на семьсот страниц машинописного текста, «вещица» была только первой

частью трилогии «Ермак Тимофеевич», «вещица» была такой, что я читал ее полтора суток, так как пообещал Егору прочесть залпом – у него была такая просьба: «Залпом, непременно залпом, Никита!»... Последнюю страницу рукописи я по нечаянности уронил на пол, не заметив этого, плотно закрыл глаза. Мне не хотелось возвращаться с берега Лены в комнату, в дом, в столицу... Ржали нетерпеливые кони, бренчали уздечки, дым многочисленных костров сладко пахнул сосновой смолой, звезды были велики и казались близкими. В красном кафтане и собольей шапке сидел на пне Ермак Тимофеевич – живой и веселый... Так вот когда любимые Егором факты и фактики заставили ожить крупные общеизвестные факты! Роман был хорошим, предельно хорошим, а Егор оказался писателем милостью Божьей.

Встречу с ним я назначил в Доме писателей, куда меня пускали после того, как я выступил на вечере, посвященном публицистике. Пропуска у меня не было, но дежурная за маленьким столиком, узнав меня, закричала опричникам при дверях: «Пропустите Никиту Ваганова!» Егор Тимошин попасть в Дом писателей и не мечтал – удивленно таращился и ойкал. Маленький зал с огромным самоваром, стены, исписанные писательскими речениями, узкий катакомбовый коридор, ведущий в знаменитый Дубовый зал, где сидели знаменитости и незнаменитости. Осторожно пил шампанское и делал вид, что пьян, длинный, гибкий и по-своему красивый Евгений Евтушенко; поглаживал челочку всегда задумчивый Юрий Левитанский; немо смотрел в рюмку одинокий, как перст, Юрий Трифонов, почти не пьющий человек. Узнавая писателей, Егор Тимошин робел и запинаясь. У меня была знакомая официантка – полная и добрая Таня, фамилию которой я не узнаю до конца дней своих. Она живо нашла нам столик на двоих, не принимая еще заказа, принесла напиток и сигареты для Егора. Я сказал:

– Вот это папка... Это треть романа?

– Да!

– Ой, мамы-мамочки! Ну ты даешь, Егор!

В зале было непривычно тихо. Нам это помогло дружелюбно поговорить. Между прочим, Егор Тимошин сказал:

– Тебе не пошло на пользу возвращение в Москву, Никита! Твои материалы завяли, угасли, потеряли новизну. Это грустно!

Ему-то, простаку, не надо было размышлять на тему «посредственность и карьера», «безликость и карьера», «серость и карьера». Егору Тимошину не давали опасный урок на закрытом партийном собрании, он не висел на волоске...

– Ты даже внешне изменился! – говорил этот простак. – И очки какие-то непривычные... Многие по тебе скучают, Никита, – продолжал он, – а газета без тебя стала хуже. Кузичев говорил, что его черт попутал, когда он тебя отпустил... Он тоже по тебе скучает, Никита, говорит об этом в открытую на летучках: «Эх, нет на этот материал Никиты Ваганова!» Это так, Никита! Я за тебя спецкорство не тяну! – Он по-прежнему был грустен и серьезен, как ему, человеку без развитого чувства юмора, и полагалось. – Да и роман меня отягощает, Никита. Ночами напролет работаю, а днем – квелая курица! Естественно, для газеты остается крохотный клочок души.

Я подумал: «Если роман написан, зря ты не спишь ночами!»

– Ты написал прекрасную вещь! – сказал я. – Я бы его прочел залпом и без твоей просьбы. Поздравляю, старик!

Он сидел бледный и растерянный, он понимал, что моей оценке можно и нужно верить.... Я-то уже знал, что философии типа: «Быть или не быть?» – грош цена, так что с Вильямом

Шекспиром я обычно разделялся легко, как повар с картошкой: «Быть!» – каков может быть другой ответ! Иное дело – кем быть? Скажете: примитив, оптимист на почве прекрасного здоровья, мещанин и одноклеточный. Пусть! Гиблое дело считать жизнь пустой и ненужной затеей, гиблое и беспардонное – можете поверить человеку, стоящему теперь одной ногой в могиле, а возможно, въезжающему в жерло крематория. Я завещал себя кремировать, хотя до смертыньки напуган новым крематорием, построенным на окраине Москвы. Самое там страшное – обслуживающие женщины, формой и лицами похожие на стюардесс. Но о крематории, надеюсь, позже, много позже... Сейчас я сказал Егору Тимошину, моему сибирскому коллеге:

– Хороший роман, Егор! Сам-то ты как?

– Эх, Никита, все было бы хорошо, если бы я тянул спецкорство на твоём уровне! Меня это мучит, круглосуточно тревожит... Совсем забыл! Тебе кланяется Яков Борисович Неверов и два Бориса. Вот они – твои настоящие друзья.

Я внезапно спросил:

– А ты?

Он воззрился удивленно:

– Дурацкий вопрос, Никита! Разумеется, я твой друг. Ты сегодня какой-то не то рассеянный, не то подозрительный.

– Я скучный, Егор! – Я вспомнил два прошедших года... – Мне надоело носить статьи из отдела в секретариат и обратно. Мне надоело выслушивать серьезные замечания: "В предложении «Дождь идет» – ошибка! Дождь не может идти: у него отсутствуют ноги. Идиотика, как сказал бы Боб Гришков, оголтелая идиотика! И так – два года с хвостиком. Ты знаешь, что я сейчас делаю?

– Что, Никита?

– Учусь в Академии общественных наук! – Я грустно подпер подбородок руками. – В какой-то мере вернулась студенческая вольница, студенческая легкость, одним словом, все студенческое. Я прав, Егор?

Он воодушевленно сказал:

– Тысячу раз прав! Ты же знаешь, как я люблю питаться наукой.

Я это знал. Он был напичкан знаниями; знания из него бы так и перли, если бы Егор Тимошин имел склонность к по-ка-зу знаний. Так нет, он относился к числу тех людей, которые знаниями, то бишь эрудицией, не щеголяли, хранили их до поры до времени, на самый крайний случай. Он и сейчас снова вернулся к сибирским материям:

– Плохо без тебя и Лидии Ильиничне Тиховой. Некому наводить косметику на ее раздрызганные статьи и очерки. Просто диву даюсь, Никита, как тебя на все хватало!

На закрытом партийном собрании Егор Тимошин промолчал, не предчувствуя своего падения и моего возвышения за его счет; открыто и радостно проголосовал за мое принятие в ряды партии. Это я ему зачел на будущее, хотя... Эх, господа хорошие, рыба ищет где глубже, человек – где лучше; редкие отказываются от своего счастья, единицы способны на всепожирающий альтруизм, только единицы... А сейчас я слушал инопланетянина, так как, согласитесь, нормальный человек, написавший роман, не станет тужить по поводу того, что посредственно исполняет обязанности спецкора областной газеты «Знамя». Тяжело вздохнув, он спросил:

– Ну а что новенького у тебя, Никита, кроме некоторого минора? Впрочем, я заметил, что твой минор – обычное затишье перед мощной атакой.

Я сказал:

– Ошибаешься! На этот раз ошибаешься... Кроме Академии, я не вижу ничего радостного на затученном небосклоне, Егор. Тошненько! Я, видимо, все-таки аппаратчик или – пока еще не аппаратчик. И скудость замучила. Маленькая квартира, не хватает денег... Эх, Егор, где мои сибирские мечтательные денечки! Въехал, идиот, в столицу на бело-грязном коне! На кляче, мать ее распростав... Что касается Кузичева, то он никакой ошибки не сделал. Я бы ему наработал, я бы ему наработал! Уж такой был настрой – садиться на белого коня! Но я одному человеку говорил, что мне еще рано в Москву.

– Одинцову?

– А ты откуда знаешь?

– Все знают, Никита, что он тебе покровительствует.

А я-то, дурак, думал, что из сибиряков об этом знает только редактор Кузичев, которому после наших борений с Пермитиным я поверял все тайны, оставляя себе лишь семейные и любовные. Впрочем, Кузичев о Нелли Озеровой знал, некоторое время думал, что именно Нелли Озерова удержит меня в Сибирске и поблизости.

– Это нехорошо, Егор, что все знают! – сказал я. – То-то радуются разные охарики: «Сам Ваганов ничего не стоит, все делает за него Одинцов!» Ей-богу, неприятно!

Он добродушно сказал:

– Ты преувеличиваешь, Никита!

– Все может быть, все может быть!

Евтушенко, старательно изображая разухабистого и размашистого пьяного человека, направился к выходу; на его место живенько сел толстый и подвижный Евгений Винокуров, по слухам пропадаящий по заграницам. Отдуваясь, он громко заказал водку, всего сто граммов. Меня удивило, что Егор Тимошин уже никак не реагировал ни на Дубовый зал, ни на знаменитостей, ни на специфический шумок поэтических строк и злых ругательств. Он, казалось, находился в безвоздушном пространстве своих воспоминаний о Сибирске, который только что покинул. А я, глядя на Егора, испытывал громадное чувство облегчения. «Ну, вот оно, вот оно! – подумал я. – Я не угробил, не схарчил Егора Тимошина, а, напротив, сделал его писателем! „Ура“ и „ура“ Никите Ваганову – делателю писателей!» Моя совесть на какие-то два дня станет безоблачно чистой, чтобы потом опять замутиться воспоминаниями.

– Роман выдающийся, Егор! – И я неожиданно предложил: – Давай расцелуемся.

Я был до слез растроган праздником частичного освобождения от глобальной вины перед Егором Тимошиным... * * *

... Егор Тимошин получит за роман премию, станет видным писателем, бросит журналистику.

Я буду присутствовать на вручении лауреатской премии Егору Тимошину, буду и на банкете, который даст Егор в честь премии. Я никогда не позавидую Егору Тимошину; ни при каких условиях никому никогда не завидовал – это проистекает от моего характера, характера человека, способного лепить из самого себя все, что заблагорассудится. Нет, я был рожден управленцем, выдумщиком, фантазером в области суровых земных реалий. Делать газету «Заря», делать журналистов подлинными журналистами, рекрутировать читателей из всех

социальных слоев и прослоек – вот дело Никиты Борисовича Ваганова. И я хорошо, предельно хорошо выполнял это важное дело... * * *

Егор Тимошин сказал;

– Значит, думаешь, надо отдавать роман в издательство?

– Вот в этом ты весь, Егор; «значит», «думаешь» – что за словечки! Печатать роман в толстом журнале – вот и вся недолга!

– Где?

– Да хоть в «Новом мире», черт побери! Он еще будет мучиться с выбором журнала! Да за роман схватятся обеими руками в любом и каждом.

Я легко дышал, мыслил, видел, слышал. Знать, огромным грузом лежало на мне предательство. Много лет я мучился им, много лет просыпался в холодном поту: «Какой же ты подлец, Ваганов! Пойди к Егору Тимошину, посыпь голову пеплом, брось работу в „Заре“, добытую подлым путем!» Ничего, вот и пришел день, когда можно уже не каяться.

Глава вторая

I

Мой шеф, Илья Гридасов, пока я учился в Академии общественных наук, располнел, мучился одышкой, от всякого пустяка лицо наливалось апоплексической краснотой; промышленный отдел работал ни хорошо, ни плохо – сносно... Встретились по-дружески: часа два Гридасов рассказывал мне о делах в редакции. Удивительно, как мало было кадровых перемен: сидели на своих местах все редактора отделов, все заместители главного редактора, кроме первого, забавно, что серьезное обновление коснулось только одного «подразделения» газеты – машинистки в машинном бюро все были новенькими и молоденькими. И так, все оставалось на прежних местах, и у меня еще тогда, не оформившись в четкую мысль, мелькнуло нечто похожее на «выбивать ковры».

– Мы все были поражены тем, – продолжал между тем Илья Гридасов, – что ты ни разу не заглянул в редакцию... Четыре остановки метро...

Я ответил:

– Это не случайно. Хотелось в будущем посмотреть на редакцию свежими глазами...

Илья Гридасов, человек пастозный, ленивый, равнодушный, держался спокойно и безмятежно, как не смог бы вести себя любой другой. Рассудите сами, возвращается в отдел человек, закончивший Академию, получивший степень кандидата экономических наук, да при всем этом – его зовут Никитой Борисовичем Вагановым. Не одну ночь проведешь без сна, будешь ворочаться с боку на бок, придумывая тихий уход из редакции, с попыткой не потерять высокую зарплату и надлежащее реноме. Член редколлегии «Зари» – это не только высокое положение, но и особенное денежно-вещевое довольствие.

– Как Ленечка Ушаков? – спросил я.

– Спивается, и быстро спивается. Если ты его не видел три года – не узнаешь. Из новичков, – сказал Гридасов, – первый заместитель редактора – Коростылев Андрей Витальевич. – Подумав, Гридасов добавил: – Он в том же возрасте, что и вы: Грачев, ты...

Я слушал с таким лицом, словно узнал о нем впервые; на самом же деле Андрей Коростылев уже был моим знакомым. Илья Гридасов особенным тоном произнес:

– Выдвиженец! Человек из глубинки!

На вопрос о Главном мой шеф ответил после длинной паузы:

– Старееет! Забывает, о чем говорил полчаса назад. На летучках полюбил рассказывать анекдоты времен гражданской войны...

– Понятно! А вот ты скажи, Илья, что с собой делаешь? Тебе надо немедленно ложиться в институт питания. Прости, я по-дружески, но ты скоро не понесешь себя...

Он махнул рукой:

– А, все надоело! Правда, врачи говорят, что дальше я не пойду. Это – мой максимум.

– Ну и хреновый же максимум!

– А мне надоело на ужин есть постный творог.

Я приврал Илье Гридасову, что три года не интересовался работой «Зари». Правда, я не отирал спиной стены редакционного коридора, но с Валькой Грачевым перезванивались еженедельно, а то и чаще. Общался я и с Александром Николаевичем Несадовым: во время последних зимних каникул я с ним провел десять дней в одном доме отдыха. Ивана Ивановича Иванова, редактора «Зари», я видел месяц назад, когда он вернулся с Кавказа. Обо мне он отозвался насмешливо: «Посмотрим, посмотрим, чему тебя в этих академиях выучили. Получали мы и таких выпускников, что не могли дать информации о новом сорте конфет!» * * *

После небольших перестановок меня назначили заместителем редактора промышленного отдела, а Главный в результате короткого разговора, одними междометиями, с ходу командировал меня в область с развитым авиастроением, откуда я должен был привезти очерк примерно такого порядка: «Это произошло в городе, где две соревнующиеся бригады работали...» Иван Иванович заявил, что насчет меня у него, оказывается, есть четкая программа, но какая – не сказал... «А там посмотрим!» – неожиданно добавил он.

Было чертовски приятно, что мне дали не стул в комнате с тремя столами, а отдельный кабинет, из окон которого – вот с этим вы меня можете поздравить! – благодаря дурацкому изгибу здания были видны два льва на двух шарах. И еще одна радость: окончательно утвержден в должности ответственного секретаря Владимир Сергеевич Игнатов, близкий мне по духу и стилю работы человек. Я не удержался: вошел в открытые двери длинного кабинета, где за длинным же столом сидел ответственный секретарь и толстым фломастером что-то остервенело подчеркивал и зачеркивал на газетной полосе. Густые черные брови у него были – навсегда – сердито сдвинуты. Увидев меня, он молча показал на какой-то стул, нажав кнопку, вызвал секретаршу, протягивая ей полосу, уже читал и кромсал другую, подхватив одновременно трубку зазвонившего телефона... Я встал, чтобы уйти, но он, оказывается, держал меня в поле зрения.

– Ничего с вами не случится, посидите минуточку, – проговорил Игнатов таким тоном, словно вызвал меня «на ковер».

Наконец Игнатов подошел ко мне, железными пальцами сжал мою руку и улыбнулся так, как улыбаются японские дипломаты.

Он, помня только о деле, о моей командировке, крикнул в открытые двери:

– Шура, дайте мне бланк командировочного удостоверения... Отлично! Идите получать деньги, иначе будет поздно. Как достать билет, расскажет вам Шура: введено новое правило. Желаю творческой удачи!

До отхода моего поезда было десять с лишним часов, и я мог насладиться отдельностью моего СОБСТВЕННОГО кабинета. Понимая, как это смешно, сам себя осуждая, я позвонил по двум телефонам – отцовскому и домашнему, чтобы сообщить родственникам о том, что у меня есть... собственный кабинет. Дашка орала «Шайбу», жена Вера радостно поздравила, отец предложил собраться вечером семьей. Затем я влетел в кабинет Гридасова, сунул ему под нос командировку, сказал, что уже получил деньги, намекнул на то, что смываюсь из редакции сейчас же, так как нужно еще заехать домой за командировочным облачением. Гридасов, рассматривая командировку, с каждой секундой мрачнел: меня посылали в командировку без его ведома и согласия. Видимо, Главный и Игнатов просто забыли толстого человека, произносящего раз в десять минут анекдотическое «можно» или «не можно». Наблюдая за мной, Гридасов вдруг сказал:

– Ты здорово изменился.

– А как?

– Проще стал и добрее. * * *

... Помните, как московская парикмахерша Нина Петровна делала попытку при помощи прически приглушить мою приметность, но у нас ничего не вышло, скорее наоборот: смотрел из зеркала перспективный молодой ученый. Потом дружок-милиционер помог мне понять, в чем дело, – велика оправа очков. Я кинулся в «Оптику», перемерив пять-шесть оправ, кажется, нашел необходимое. Ходила в «Оптику» со мной Дашка – она долго, кладя голову то на правое, то на левое плечо, размышляла, потом вразяжечку произнесла:

– По-о-о-охо-ож немно-о-ожечко на Ва-а-анечку ду-у-у-рач-ка! * * *

Гридасову я ответил, подняв кулак:

– "Но пасаран!"

Мне не хотелось встречать знакомых в лабиринте коридоров: через запасной выход я спустился вниз; на улице стоял ранний солнцепек, солнце рассиялось так, что полагалось бы ходить в шортах, а ведь начался сентябрь. У памятника Пушкину я назначил свидание Нелли Озеровой; она была на месте, кинулась ко мне, так как мы не виделись почти два месяца, которые она провела на юге. Я обхватил Нельку за голову, она то плакала, то смеялась у меня под мышкой, на нас никто не обращал внимания: здесь было полно целующихся. Нелька распустила длинные волосы, стала пудриться, а может быть, просто загорела; была красива. Я от волнения начал юморить:

– Ишь ты, приехала, не заржавела, а волос у нее длинный, как фост у сороки, но сама пригожа – вот то-ко плохо у нее с зубишком-то: золота, значит, у нее нет, так она железу на зуб-то приладила. Ну, это ничё – зубов-то у ей сто...

Черт знает как я был рад Нельке, но командировка и железнодорожный билет лежали у меня в нагрудном кармане. Нелька не огорчилась:

– Это даже к лучшему, Никита! Я так измотана... – И прикусила язык. – Прости, родной!

Похудел, побледнел, сутулится. Да что они с тобой сделали в последний момент в этой самой Академии?

Я не сказал Нельке, что отказался от черноморского курорта, чтобы только скорее вернуться в «Зарю», без которой буквально пропадал, а сообщил:

– У нас с тобой теперь новая конспиративная квартира сроком на три года. Товарищ по Академии уезжает в Нигерию...

Я с трепетом вспомнил о своем страхе быть посланным корреспондентом «Зари» за границу. Я свободно «спикал», и вдруг пришла мысль: «Вот и поедешь в англоязычную страну спецкором!» Уехать из СССР, чтобы за это время Валька Грачев или Андрей Коростылев сели на место Ивана Ивановича? Лучше сигануть с моста с железякой, привязанной к шее...

– Нелька, – сказал я, – Нелька, я счастлив, но мне надо бежать домой за вещичками... Кроме того, я трушу.

– Ты? Трусишь? Давно так не смеялась!

– Нет, серьезно, Нелька. Я мог дисквалифицироваться.

– Да ну тебя, ослище!

Я и на этот раз не взял в толк, почему лгу такому близкому человеку, как Нелька. Она бы только развеселилась, узнав, что я заранее не хотел привозить

хороший очерк, чтобы не носить по-прежнему только один титул – очеркист.

Я сам удивился тому, как естественно все у меня получилось. Вернувшись из командировки, я два дня не мог начать очерк: напишу один абзац – трепотня, напишу второй – сопливая сентиментальность, напишу третий – пафосность, трибуна. Подвальный очерк, который раньше я писал часов за двенадцать, отнял у меня пятидневку, и вот тогда я впервые пожалел тех ребят, которые впопыхах, не имея призвания, бросились на журналистские факультеты. Хотеть и не мочь при том условии, что у тебя есть все для создания шедевра: белая бумага, шариковая ручка, целиком исписанный блокнот. Это большая человеческая беда, а я раньше посмеивался над несчастными... Набравшись сил, сконцентрировав всю волю на том, чтобы на лице не было и тени неуверенности, я пришел к Илье Гридасову, полубросил очерк на стол:

– Вот! Накорябал!

Он неожиданно быстро ответил:

– Главный ждет очерк. Через час заходи – прочту!

Илья Гридасов не был большим ценителем очерков, обычно мои он только просматривал, расставляя пропущенные мною или машинистками знаки препинания, но удачу от поражения отличить умел. По прошествии часа, когда я уже собрался к Гридасову, он сам вошел в мой кабинет. Тяжело дыша от полноты, Илья Гридасов сказал:

– Это плохой очерк, Никита! Даже очень плохой. – И вдруг солнечно улыбнулся. – Все будет хорошо, Никита, все будет хорошо!

Мое лицо стало трагично, губы вздрагивали от желания расхохотаться, но ничего этого Гридасов не заметил. Он дружелюбно спросил:

– А может, покажем еще кому-то?

Я сказал:

– Верни очерк. Ты прав!

II

Вот так начался в моей жизни тоскливый период хорошо скроенных и ловко сшитых статей, которые называются «постановочными» и в газете ценятся превыше всего. О неудачном очерке Иван Иванович сказал только: «Детренаж!», и жизнь плавно покатила дальше, и как будто все забыли, какие очерки писал раньше Никита Ваганов. И так, я ездил за постановочными статьями и отлично писал их. Крупными статьями я создавал себе в высших инстанциях репутацию думающего, серьезного и, несомненно, перспективного журналиста. Вот ведь как удобно устроен я, Никита Ваганов, если всем существом воспротивился несолидности очерков и несерьезности фельетонов!

... Теперь я, смертельно больной, не удивляюсь тому, что редактор Иван Иванович как бы не обратил внимания на неудачу с очерком, и вообще мои дела в газете «Заря» шли все лучше и лучше. Надев очки меньшего размера, вспомнив школу Ивана Мазгарева, всегда аккуратно подстриженный, я незаметно – простите! – становился мил коллективу немногословностью, добрым лицом, скромной походкой, редкими выступлениями на редакционных летучках. Одним словом, я навел порядок в вопросах «посредственность и одаренность», «серость и яркость»: быть как все, но самую чуточку впереди, в этой смешной гонке к двухметрового размера углублению в земле... * * *

В общем жил – не тужил, если бы не надвигалась большая забота – моя жена Вера собралась рожать второго ребенка, и мы с тревогой задумывались, как четверым разместиться в двухкомнатной квартире, чтоб я мог спокойно высыпаться. Вам эта проблема кажется простой: в одной комнате Вера и ребенок, в другой – отец семейства и первенец Костя. Так вот, знайте: спать в одной комнате с Костей – значило спать с «Вождем краснокожих» из новеллы О'Генри. Он разговаривал во сне, угрожая кому-то, пел популярные песни и, главное, ругался, как последний извозчик. Работал я, сами понимаете, от света до поздней ночи и пересаживал иногда самого Игнатова, на день рождения которому ребята преподнесли иностранную надувную раскладушку – удивительно удобную. Игнатов поблагодарил без малейшего юмора и сразу же напомнил дарителям, что номер еще «висит в воздухе». Вполне понятно, что, работая в пустой и гулкой редакции, мы забегали иногда друг к другу и очень скоро подружились, если можно назвать дружбой одну улыбку за вечер и переход на «ты», что считалось роскошью в отношениях с Игнатовым. Я научился по-игнатовски делать сразу несколько дел, все помнить, но записывать на квадратике твердой бумаги; от него я перенял манеру держать людей на некотором расстоянии от себя: «Окажется хорошим – радость, окажется дрянью – нет разочарования!»

Однажды, в глухой тиши редакции, совершенно серьезный, я составил список перемещений: вот он – Илья Гридасов уходит в какой-нибудь ведомственный журнал, его место занимаю я, затем один из заместителей тоже куда-то перемещается, и я сажусь в его кабинет. Представьте, я не заботился о превращении заместителя редактора в главного редактора – мне эта метаморфоза казалась легче ухода Гридасова, а место заместителя редактора казалось утесом, который мог на длинные-длинные годы преградить мне путь в главные редакторы. Значит, опять ждать, ждать и ждать. «Будем ждать!» – подумал я с легкостью человека, знающего, что мышь непременно высунется из норы. Кроме того, я имел огромный опыт выжидания.

Чем был силен Илья Гридасов? Он сам и его отдел никогда не делали ошибок. Сотрудники

доставляли Гридасову материал. Он трижды прочитывал его, раз десять звонил в нужные инстанции: на заводы, фабрики, в советские органы, чтобы проверить какой-нибудь пустяк; потом устраивал с автором беседу по статье, затем в его кабинете появлялся специалист той отрасли промышленности, о которой рассказывалось в статье. Остряки показывали, как некий специалист, выйдя из кабинета Гридасова, плюнул, погрозил дверям кулаком да еще и показал ядреную дулю. Перестраховка, недоверие к коллегам, приглаживание всех материалов сыграли роковую роль: совершенно разучили проверять материалы; кому охота звонить на какой-нибудь завод, чтобы, например, сверить такую строку: «...двадцать восьмой цех перешел на производство подшипников меньшего диаметра...» На этом Илья – употребляю слово, которым пользовались в редакции, – «фрайернулся»... Об этом я буду рассказывать отдельно. * * *

Я так и этак присматривался к заместителю редактора по партийной жизни и пропаганде Андрею Витальевичу Коростылеву, с которым был знаком давно, но не коротко. Однажды мой сосед по столу в академической аудитории загадочно сказал:

– Я тебе сегодня покажу такого мужичка – пальчики оближешь! И тоже журналист...

Мой товарищ жил в общежитии в комнате на двоих: вот в этой комнате я и познакомился с Андреем Коростылевым – человеком, не играющим «под мужичка», а с истинно мужицкой хваткой. Среднего роста, в башмаках на очень толстой подошве, и, как выяснилось впоследствии, не для того, чтобы казаться выше, а потому, что именно такими ботинками торговали тогда в ГУМе. Он пожал мне руку, сказал, что много слышал обо мне и хотел бы подружиться. «Преферанс? Да я от валета короля не отличу, а вот в теннис играю: не слишком мощно, но со мной можно побросать мячик до благодатного пота...» Оказалось, что Андрей, как всякий сибиряк, до седых волос не сможет обходиться без прекрасных русских слов, которые безжалостный Ожегов – нужен новый словарь, ах, как нужен! – снабдил сигнатуркой «мст.» – местное. За годы работы в «Знамени», потом – спецкором «Зари» я неплохо овладел верхушками «обского» языка.

– Да кака может быть жизнюха, кода перекреститься некода, а ты про мяч, – сказал я.

Андрей Коростылев охотно засмеялся, спросил:

– Значит, из наших, из чалдонов?

Я печально ответил:

– Коренны москвичи мы будем.

Поверите или не поверите – как вам угодно! – но с самой первой минуты знакомства с Андреем Коростылевым я почувствовал, что нам в жизни придется встретиться, вспомнить друг друга. Скажу сразу: Андрей Витальевич был помещен в «Зарю» с единственной целью – заменить Ивана Ивановича, если он выпустит из рук кормило.... Эх, и это скажу! Андрей Коростылев не знал, что его прочтат в Главные, не допускал мысли, что может занять пост Ивана Ивановича.

Я же буду со временем считать А. В. Коростылева соперником номер один...

До моего возвращения в редакцию Андрей Витальевич функционировал в «Заре» около семи месяцев: срок вполне достаточный для того, чтобы быть понятым. Меня поразило, что почти все – а это больше ста человек – говорили об Андрее Коростылеве только хорошее и отличное и, конечно, заставили меня вспомнить свое собственное положение в сибирской областной газете «Знамя», где Никита Ваганов был тоже всеобщим любимчиком. Я подумал: «Ох, это стало опасно – быть всеобщим любимчиком!»

Надо обязательно иметь некоторые недостатки. * * *

... А дни и недели шли, я приближался к тридцатипятилетию, наживал себе смертный приговор, и ничего по-ирежнему не было новенького под луной. «А скучно жить на этом свете, господа!» Говорят, что с помощью современной медицины Николай Васильевич Гоголь прожил бы до ста лет, мало того, современные препараты создали бы великому писателю хорошее настроение... На дураков, умудряющихся быть счастливыми без движения вперед и вверх, я смотрел как на богдыханов. А может быть, у меня где-то в области головы существует крохотный отросточек, своего рода аппендикс, который не дает жить тихо и чисто этому Никите Ваганову. Ну, через полгода я подсижу Илью Гридасова и буду прав: плохим работникам надо искать такую работу, которая у них получалась бы хорошо! Но ощущение радости будет недолгим: максимум трое суток... Раздумывая об этом, я шел по Тверскому бульвару, был второй час ночи или третий – не помню: так мы заработались с Игнатовым. Совершенно незаметно я оказался у памятника Гоголю – того, что перенесли на Суворовский бульвар; памятник работы скульптора Андреева... Эта согбенная спина, спина как бы без позвоночника; эта как бы перебитая шея; эта усталость, уход всех сил, доступных только гению; эти руки, из которых выпало почти невесомое перо; руки, не способные поднять и приставить к виску пистолет... Его спасли бы теперь, но он умер так же рано, как умру я, не дожив до успеха еще одного гения – врача в белом поварском колпаке... Эх! Зимнее небо было безоблачно. Я поднял голову к звездам, к вечности, к безумию бесконечности: чтобы перестали дрожать руки, мерзнуть спина близ позвоночника, нашел три ярких звезды, горящих рядом, на одной линии, точно сигнальные фонари, – созвездие Орион; летом, когда меня преследуют неудачи, его на небе нет! Эх!.. * * *

Подошел милиционер; потребовал документы, внимательно изучил, потом, смущаясь, протянул уважительно:

– Вага-а-анов! Из газеты? – и немедленно вернул документы.

Я поблагодарил, но большой или даже ощутимой радости не почувствовал. Это надо объяснить: меня никогда не привлекала собственная подпись, учиненная машиной, не трогал вал поздравлений, мне казалось, объясняется это жестким принципом: «Что сделано – умерло!» Однако эскулапы с лысынями и залысынями впоследствии объявили, что было это результатом огромного нервного напряжения. За полгода до объявления о приходе сухорукой сволочи я пойму, в чем дело: мне было плевать на имя, я жил всей газетой, начиная с первоколонной «шапки» и кончая какой-нибудь пустяковиной вроде: «Лось вышел на трамвайные рельсы, но его торжественно увели...» Слава газеты для меня была превыше всего! Если вы думаете, что я оправдываюсь, пудрю вам мозги, позвольте послать вас к черту, а коли вам услышится: «Посочувствуйте!» – я ваш жестокий враг. Не служил же я химере? Невозможно подумать...

III

Илья Гридасов медленно и верно приближался к ведомственному журналу с заковыристым названием, и, как вы понимаете, из двух слов «верно» и «медленно» мне не нравилось второе. Пришлось запускать машину, созданную и обкатанную мной в «учебные» годы работы в сибирской газете «Знамя». Было два пути: сделать что-то такое сильное, чтобы очередная встреча редактора «Зари» с Никитой Петровичем Одинцовым кончилась такой примерно фразой последнего: «А молодец наш Никита. Перспективно мыслит!»; второй путь – подвести Гридасова под монастырь, так сказать... Первый путь не вязался с уроком, данным мне Иваном Мазгаревым, второй путь... В нашем отделе полтора года работал очень

молодой литсотрудник Виктор Алексеев. За полтора года он опубликовал в «Заре» десяток информации и небольшой очерк о водолазах – это меня насмешило, ибо история с Виктором Алексеевым была повторением моей истории, когда Гридасов браковал лучшие очерки, а посредственные шли в печать. А парнишка-то был с дарованием, судя даже по «Водолазам». Я нарушил молчаливое согласие: попросил Виктора показать забракованные материалы. А через два часа сидел в кабинете Игнатова; шел первый час ночи, но я не мог ждать до утра.

– Ты только посмотри, что делается! – искренне говорил я. – Ты посмотри, какие очерки Виктора Алексеева зарезал на корню Гридасов... Ты понимаешь...

Он почти грубо прервал меня:

– Очерки – на стол! И хватит краснобайства!

Когда Игнатов читал, он упрямо наклонял голову, свободной рукой проделывал какие-то манипуляции, но сам был неподвижен, как сфинкс, – минуты полнейшего отключения от внешней среды, это было профессиональное чтение, когда читающий брал на себя полную ответственность за все последующее: публикацию и результаты публикации. Такова редакционная жизнь: прочел материал – значит дал оценку, значит включился в число тех, на кого можно указать пальцем: «Тоже читал!» После третьего очерка Игнатов поднял на меня карающие глаза, словно это я гробил материалы. Он медленно спросил:

– И этот мальчишка больше никому очерки не показывал?

– Нет, только Гридасову!

– Тогда хватит тебе разгуливать по чужим кабинетам, вычитай внимательно очерк «На коне» и сдавай в набор.

Четыре очерка он вложил в папку, аккуратно выровнял страницы и поднял на меня взгляд:

– Я, кажется, просил вычитать очерк и сдать его в набор...

Через сутки в редакции празднующиеся устраивали маленькие летучки в коридорах и кабинетах: «Клевый очерк! Этот Алексеев покажет»; «Ой, братцы, представьте, что будет петь Главный Гридасову! Не хотел бы я быть на его месте!» Редакционный народ кость обгрызает до блеска, как молодой пес, но вот на редакторской половине было тихо, хотя я знал, что Игнатов четыре ненабранных очерка отдал Главному. Реакции на рукописи не было до очередной летучки, и за это время я понял, какой сильный человек Илья Гридасов – он вел себя так, словно ничего не произошло и происходить не могло.

... Он был редактором заковыристого ведомственного журнала, когда навестил меня в больнице. После его ухода я почувствовал прилив сил: он вел себя так, точно я был совершенно здоров.

... Я не умру в такой палате, я хочу умереть дома, в обстановке, приближенной некоторым образом к редакционной... Илья Гридасов ушел только тогда, когда лечащий врач закричал:

– Вы не можете понять, что ухудшаете состояние Никиты Борисовича!

Я горячо сказал:

– Он – единственный человек, который положительно действует...

– Позвольте вам не поверить... До свидания, товарищ! * * *

Из пяти очерков Виктора Алексеева были опубликованы четыре, два из них премированы,

один долго висел на доске «Лучших материалов месяца». Виктор Алексеев оказался благодарным человеком – улучшал каждую минуту, чтобы повидаться со мной, понемножку влюблялся в заместителя редактора промышленного отдела, привез мне из командировки в Архангельск роскошный подарок – гигантского омара, засушенного, специально обработанного и пригвожденного к твердому картону. Непонятно, из какого источника это стало известно, но Илья Гридасов имел беседу один на один с редактором, а рассказывали об этом так, точно подслушали:

ИВАНОВ

(бодро, весело). Ну и как идет жизнь молодая? Материал по КамАЗу был весьма!.. Чего же ты молчишь, Илья, я же спросил, как идет жизнь молодая?

ГРИДАСОВ

(обычным пастозным голосом). Текучка заедает, Иван Иванович.

ИВАНОВ. Ну, ты скажешь! В газете не бывает текучки: она вся – текучка.

ГРИДАСОВ. Я не в том смысле...

ИВАНОВ. В том, в том... Но как же с молодой жизнью?

ГРИДАСОВ. Хм!

ИВАНОВ. Хм! Но твой промышленный отдел не радуется молодым духом и комсомольским задором, хотя в этом месяце вы отхватили первое место и по количеству опубликованных материалов, и по качеству.

ГРИДАСОВ. Спасибо!

ИВАНОВ. Своих молодцов благодари... Слушай, Илья, я с тобой, как со старым дружкой, хочу посоветоваться, и-и-и... посплетничать... Как думаешь, потянет Ваганов отдел писем? Он у нас не забюрократился?

ГРИДАСОВ. Можно... Работоспособен, словно доменная печь.

ИВАНОВ. Не понял сравнение.

ГРИДАСОВ. Доменная печь, если ее лишить топлива, навсегда выходит из строя. Это называется – закозлиться...

ИВАНОВ. Ишь ты, что знает!.. Так смотри, насчет отдела писем не проболтайся... С Вагановым-то ты не собачишься?

ГРИДАСОВ. Как можно!

ИВАНОВ. Вот это хорошо! А теперь прости: убегаю! А ты не забывай меня, старика, заходи, как выдастся свободная минутка. * * *

Кроме главного смысла этого разговора, меня поразила точность сравнения Никиты Ваганова с доменной печью. Ах, какая же ты умница, Илья! И значит, малости не хватало, чтобы чаша весов склонилась в мою сторону... Я же говорил вам, что путь от заместителя редактора отдела до редактора – самый трудный, решающий, долгий, но у меня теперь в отделе был помощник, приятель, чуть ли не кровный брат – Виктор Алексеев, со временем он станет одним из лучших очеркистов страны. * * *

Выжидать, терпеть, чтобы не «закозлиться», мне помогала на тайной квартире Нелли

Озерова, на которую Москва оказала молодящее действие – она стала выдающейся красоткой, сама над собой посмеивалась: «Вот что может сделать салон красоты!»

Мы лежали с ней на предельно широкой тахте, лениво смотрели в потолок и вообще на какой-то срок не нужны были друг другу до противности. Поэтому Нелька делала из меня «мокрую обезьяну» – из ее лексикона!

– Гигант! – говорила она. – Титан! Пермитина стер в порошок, а теперь... В кого ты превращаешься, Ваганов? И это что такое? – Она больно схватила меня за жирок на животе. – Да с кем я разговариваю? С человеком, который должен был стать редактором, а удовлетворился замишком редактора отдела... Не смей меня гладить, Ваганов, я сейчас тебя не люблю... Нет, вы посмотрите на эту самодовольную рожу! * * *

... Дома, родная жена Вера, лежа на моем плече, горько сетовала:

– Ты замордуешь себя работой! Это даром пройти не может, если человек месяцами спит по пять часов.

– А Наполеон?

– Никита, родной, милый, остановись, перестань вертеться, как белка в колесе. наших с тобой заработков хватит на самую приличную жизнь... Будь побольше с детьми, ходи с нами в кино, гуляй... * * *

Нелька презрительно говорила:

– Кишка слаба! Эх ты!

– Пошла ты... Нелька!

– Да, это, пожалуй, единственное, что осталось от сибирского орла – Никиты Ваганова. * * *

Две идиотки! Что они понимали во мне? Главного не знали они: моего виртуозного умения создавать выгодные для себя ситуации, но покрупнее, значительнее и, каюсь, почище, чем с очерками Виктора Алексева, – здесь я был обыкновенным тихим предателем. И опять приходила на ум сибирская ситуация, когда Егор Тимошин занял удобное для своего писательства место, а я – свое. Поэтому самым крупным происшествием года работы после окончания Академии я считаю разговор с Ильей Гридасовым – разговор простой, как медуза.

Гридасов писал передовую статью, дело шло туго, не хватало фактов, и когда я вошел в кабинет, он сидел в горестной позе, утомленный, с женским выражением лица. Подняв на меня глаза, сказал:

– Никита, вы не знаете ведомственного журнала, где бы требовался редактор или, на худой конец, заместитель?

Вот! Свершилось... * * *

... Теперь, когда сухорукая держит косу за моими плечами, можно признаться, что будь я греком да живи в шестисотые годы до нашей эры, придерживался бы философии Анаксимена, признающей первоосновой всего существующего воздух. Как мне его не хватало, когда начинались за грудиные боли... Существенно, что эти боли начались много позже «наших игр» с Андреем Витальевичем Коростылевым – человеком, внезапно нагрянувшим в мою «Зарю», таким же выдвигенцем с периферии, каким был и Никита Ваганов. Суровой обещала быть борьба с ним, сколько сил мне предстояло потратить! У меня тогда поседел левый висок, невозможно понять, какого черта отставал правый!... У меня поседеет и правый висок, когда я наконец-то сяду в кресло Ивана Ивановича... * * *

... Вам хочется знать, почему я считал пустячным дело перехода из статуса редактора отдела в заместителя главного редактора? Объяснение простое: редактор «Зари» Иван Иванович Иванов терпеть не мог своего заместителя по вопросам промышленности Александра Николаевича Несадова и воспользовался бы любой зацепкой, чтобы изгнать его. Редактору не нравились холеные ногти зама, его яркие костюмы – три перемены в неделю – сибаритство, умение ни часа не перерабатывать, всегда находиться в хорошем настроении. Несадов был обречен – это знал каждый, кто хоть чуточку причастен к «Заре», а Несадов посмеивался, сделав специально мечтательное лицо, говорил:

– Есть на планете много мест, где НЕ НАДО ХОДИТЬ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ...

Эх, как я завидую человеку, который мечтает о месте, ГДЕ НЕ НАДО ХОДИТЬ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! – и как мне ненавистно воскресенье, когда дома мешают писать или править; по субботам я езжу на работу. * * *

... Эти записи, надеюсь, я буду делать до самой смерти, незадолго до кончины напишу: «Прощайте!» И ясный день, день большого солнца за окнами, станет черным... Только эскулапы довели меня до того, что я попросил найти мне Библию, и, почитав немножко, я почувствовал, как меня укачивает от каждой фразы ее, и в ушах звучат колокольчики. Добрался я до Откровений Иоанна Богослова: «И живой; и был мертв, и се жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти... Итак напиши, что ты видел и что есть, и что будет после сего...»

IV

Илья Гридасов был в командировке, ему повезло – не пришлось краснеть на расширенном заседании редколлегии, когда Главный неожиданно все заседание посвятил работе нашего отдела: «Безбожно отстали от научно-технической революции! А что это значит? Это значит, что газета плетется в хвосте!» Он бушевал долго, я рисовал лошадей, коров и зайцев, у каждой животного был хитро прищуренный левый глаз. Я думал об Иване Ивановиче с юмором, представляя, что он запоем ровно через месяц!

После разносной для нас редколлегии я в своем кабинете собрал всех работников отдела – сидеть можно только троим – и с усмешкой сказал:

– Сегодня разрешается курить! Ибо мы начнем мыслительный процесс. Кто на мыслительный процесс сегодня не способен и от него пахнет перегаром, прошу выйти вон... Это первое; второе же – после келейного форума каждый из нас приносит в редакцию раскладушкл, двухлитровый термос с бульонов и пяток свежих шариковых ручек; и третье – приобретайте единые проездные билеты. Важно, чтобы пуговицы на ваших пиджаках были пришиты суровой ниткой. При входе и выходе из метро придерживайте ондатрово-пыжиковые шапки. Особо отличившимся будет предоставляться черная «Волга»... Теперь достаньте записные книжки, мистеры, куда вы будете записывать мероприятия, которые и сделают ваших жен временными вдовами. – Я поднялся, прислонился спиной к стене. – На этом треп кончен! Мы начинаем штурмовать высоты научно-технической революции, но сегодня никто из вае слова не получит. – Я вынул из большого ящика стола явно женский бювар с розочкой в верхнем углу. – Как-то так получилось, что последние пол-года я раздумывал об отражении в газете именно тех проблем, за которые нас всенародно топтал Главный. Итак, записывайте и только записывайте!

Трем литсотрудникам были поручены три главных сейчас отрасли: нефтехимия, автомобилестроение, строительство.

Лесную промышленность я оставил за собой. Это произошло шестнадцатого, и уже двадцатого в актовом зале редакции были собраны известные ученые, а двадцать седьмого пошла в номер первая статья по заводу «Пролетарский», где в спокойной, но убийственной по фактам манере рассказывалось, почему второй год не работает миллионной стоимости импортное оборудование. Через номер Виктор Алексеев принес репортаж со стройки жилого четырнадцатипятиэтажного дома – это была поражающая картина, и когда статья попала в руки только что вернувшемуся из Средней Азии бронзоволикому Илье Гридасову, он до того перепутался, что прибежал ко мне, размахивая гранкой. Я успокоил шефа:

– Главный нацелил отдел на показ научно-технической революции, и мы должны таким материалам, как «По кирпичику», открывать зеленую улицу.

Гридасов мне не поверил, консультировался с Несадовым, который уже мысленно жил не в стенах редакции, а в Бакуриани, где собирался покататься на лыжах недельку-другую за собственный счет. Александр Николаевич принял Гридасова по-родственному, увидев подпись под статьей и мою визу, начертанную твердыми буквами, сказал:

– Надо, надо подстегнуть наших славных строителей!

И ручкой с золотым пером расписался в конце статьи, которую нахально не прочел. Редакционные остряки утверждали, что по выходе из кабинета замреда Ильи Гридасов пытался прорваться к Главному, который, узнав, что в руках Гридасова гранка, повелел ему обратиться к Несадову. У меня защемило сердце, когда Илья зашел ко мне все с той же статьей в руках – вид у него был печальный. Долго я втолковывал этому тугодуму, что нужно газете от нас и что мы непременно должны сделать для газеты. Он в конце концов согласился. Кроме общего руководства, Илья Гридасов взял на себя освещение в газете вопросов железнодорожного транспорта и авиации. Не стану вам рассказывать, сколько сил я потратил на постановку в газете рубрики о научно-технической революции, но стоило лишь начать – дальше все легко и просто покатило по рельсам курируемых Гридасовым железных дорог. В нашем журналистском деле вообще материал тянет материал. Начни, скажем, любая из газет пропагандировать высаживание бахчевых, и немедленно пойдет косяк авторских материалов о бахчевых. До ста писем, случалось, получал наш отдел, а уж из этих писем мы выуживали все, что душевнике захочется. Двух месяцев не прошло, как Иван Иванович на летучке сказал с особым выражением:

– Молодцы промышленники! Меня наверху захвалили. – И легко засмеялся.

После такой фразы Главного я начал понемногу собирать вещички, чтобы оперативно занять место Ильи Гридасова, причем схема возвышения была, на мой и теперешний взгляд, не только необходимой, но и справедливой. Некто спрашивает:

– Что случилось с «Зарей»? Она превосходно освещает вопросы научно-технической революции.

– Дело в заместителе Гридасова.

– А! Вы говорите о Ваганове?

– Прекрасный журналист!

– Так надо приглядеться к нему да помараковать о месте для Гридасова...

Ко мне присматривались полтора месяца; место для Ильи Гридасова нашел Никита Петрович Одинцов, вернее – его помощник Михаил Владленович Рошин, который в моем повествовании, наверное, будет еще назван. Я все забываю сказать, что по невероятной случайности мы с Никитой Петровичем шагали вперед и вверх почти одновременно...

Прежде чем стать редактором отдела промышленности и членом редколлегии «Зари», я поставил одно условие – включить в штат отдела заведующего промышленным отделом Черногорского обкома Анатолия Вениаминовича Покрова. Мою просьбу выполнили, и значит, освещение в газете экологических проблем было в надежных руках. Возвышая меня до членов редколлегии, Главный сказал всего два слова:

– Оглядывайтесь вперед!

V

Моя жизнь сложилась бы наверняка по-другому, если бы не жена Вера. Она мне наконец поверила, а я старался не давать поводов для ревности. Успокаивало ее то, что муж работал почти сутками. Так Вера постепенно привыкла к мысли, что на белом свете нет ничего важнее газеты, а редакторский пост – самый важный, почетный. Короче, Вера уже и не пыталась остановить меня в сумасшедшем стремлении вперед и вверх, а если и пыталась, то это не выходило за рамки: «Береги себя, не забывай обедать, не сиди над работой ночами...» Я ее слушал и довольно грустно думал, что не может быть свободен тот, кто угнетает другого. Жена только лопотала насчет «не забывай обедать», а с другой стороны – с судейским свистком в руках кричала: «Шайбу, шайбу, шайбу!» – Нелли Озерова, накачивая честолюбием, которого у меня самого хватало бы на троих.

Эх, если бы кто-нибудь решился щелкнуть перед моим носом кнутом!

У Веры было одно качество, редкое в наш стремительный век: она умела слушать. Удобно садилась на кухонную табуретку, руками подпирала подбородок, а я ел яичницу и ораторствовал, сам задавая вопросы, сам же и отвечая на них.

– Если я не ошибаюсь, у человека четыре органа чувств: зрение, слух, осязание, обоняние? Так вот, мое окружение половиной этих органов не обладает. Самое сильное у них – обоняние – чувствуют, что откуда-то пахнет дымком, а откуда, при отсутствии зрения и слуха, естественно, понять не могут. Ей-богу, у дождевого червя больше чутья, чем, скажем, у Гридасова... Нет, ты мне ответь, почему они ничего не замечают?.. А я тебе скажу, почему они ничего не замечают. Они не допускают и мысли, что Никита Ваганов может стать главным редактором. Как это тебе нравится? Тебе это безумно нравится! А теперь айда спать: почти два часа ночи!

Или вот так:

– Давай разберемся в том, что такое карьеризм? Вспомним друга твоего отца Олега Олеговича Прончатова, который жестко формулирует: «Карьерист – это тот человек, который хочет занять место, не принадлежащее ему по праву компетенции!» Не джуж – не берись за гуж. А что написано на лозунге социализма: «От каждого по его способностям, каждому – по его труду!» Вот я и хочу исчерпать все свои способности... Ну, скажи, хорошо ли это, когда летчик-истребитель возит воздушную почту? Не-хо-ро-шо!

– Ты так кричишь по ночам, уж так кричишь...

– Вот! Это я вижу во сне, что не стану главным редактором... Я-то знаю, что стану им, но это дурацкое подсознание... Э, черт, обжегся!... Ну а с нашим потомством все то же: «Костик огорчает, Валюнька – радуется?» Вообще-то пора сына называть Костей. Какой-то, понимаешь, слюнявый детский сад!

Вера рассказывала о безобразиях в ее школе, а потом – какие у нее замечательные дети. «Костик, виновата, Костя всю неделю вел себя хорошо, но ничего есть не желает: перешел на мороженое! Что? Деньги ему все дают: я, ты, дедушка и бабушка...»

Вот так примерно мы и беседовали с Верой во время моего позднего ужина и спать шли всегда дружными, спокойными, родственными... Нелли Озеровой я уже давно не рассказывал обо всем, скрывал добрую половину моих дел и мыслей: «Любимая, но все равно чужая, черт побери!» Например, Нелька вся менялась в присутствии роскошного, большого, неторопливого, поджарого, но широкого в плечах Александра Николаевича Несадова...

В постели мы с Верой всегда продолжали разговор о сыне. Вырастал, а скорее всего уже вырос, лжец, барин, забияка и воришка, но такой, стервец, умный и ловкий, имеющий к каждому из нас свой ключик. Мне, если приходилось вмешиваться, он говорил с грустинкой:

– Ах, папа, ты ведь совсем не занимался моим воспитанием!

Матери:

– Мама, я все равно испорченный, займись лучше своей Валюнькой.

Деду:

– У тебя была тяжелая молодость... Дай полтинник!

Бабушке:

– Бабуль, бабуль, ты читай, читай, я сам возьму рубль.

Этот маленький сквернавец прекрасно вел себя в школе, если не считать пропусков, а не являлся он на занятия не меньше двух раз в неделю – что он делал, где был, никто не знает...

Как бы мы поздно ни уснули, утром, до моего пробуждения, Вера успевала приготовить завтрак, переодеться. Благополучное, дружное, крепкое семейство!

В крошечной темноте спальни, когда мы лежали в спокойном объятии, я рассказал Вере об исходе Гридасова.

... Он в мой кабинет вошел заметно взволнованный, но бодрый; сел, раза два внимательно взглянул на меня, проговорил:

– А ведь, по сути, Никита, ты выжил меня из газеты?

Я поднялся, сказал:

– Ай, брось эти фокусы, Илюша. Не тебя я выжил из газеты, а ты изжил себя в газете. Сам же искал журнал...

Невидимая в темноте, Вера сказала сердито:

– Ишь какой! В хорошем очерке разобраться не может, а считает, что ты его выжил из редакции! Слушай, а что это значит для нас – член редколлегии?

Я улыбнулся в черный потолок.

– Это меняет нашу жизнь, Вера! Во-первых, зарплата увеличивается, но это не все: мы будем получать особый «паек». Что это такое? Узнаешь, когда в первый раз получишь.

Я лежал почти счастливый. Каким надо быть чистым человеком, чтобы прожить годы в столице, принимать участие в редакционных празднествах, иметь двух приятельниц из журналистского мира и... не знать, что такое «паек».

Я сказал:

– Ну, мать моя, а к Новому году ты получишь подарок так подарок!

Вера не спросила, какой подарок... * * *

... Чем ближе я буду к «деревянному костюму», тем чаще я буду любить жену и приближаться к ней. Наверное, нас бы ожидала старость, спокойная, уже без Нелли Озеровой – этого дополнительного движка моего стремления вперед и вверх... * * *

– Ну, мать, пора и баиньки!

Снился мне, естественно, Илья Гридасов. Шли мы с ним по бесконечной липовой аллее, разговаривали о футболе, в котором я ни черта не разбирался, а он был докой и как-то вдруг исчез – вместо него шагал крупными шагами мой Костя и говорил обидное:

«Ты бы не лез в футбольные дела, если никогда не смотришь футбол. Ну, скажи, есть у тебя, папа, свободное время, чтобы смотреть футбол?» – «А я читаю про футбол!» – «Не ври, папка! Ты читаешь только свою „Зарю“, а ребята говорят, что она про футбол пишет фигово!» Я страшно обиделся: «А ты-то сам читаешь „Зарю“?» Он даже остановился: «Ты, папа, какой-то странный! Буду я читать твою „Зарю“, если из-за нее я тебя месяцами не вижу!» Он страстно сжал кулаки: «Да будь у меня бомба – белые тапочки напяливали бы на твою „Зарю“...» Наверное, этот сон относился к числу кошмарных, если я проснулся. Бомбу под «Зарю» – как же любил Костя меня, если вынашивал мечту об уничтожении газеты!

– Что случилось, Никита?

– Да снится какая-то чепуха. Спи, старушка!

Она сказала:

– Тебе Костя снится... Сводил бы его разочек на хоккей... Впечатлений хватит на полгода...

– Идея, мать, как только...

– Дай я тебя поцелую, а потом – мгновенно спать!

Вы ждете фразы: «Я так и не выбрал времени для сына!» Чепуха: через десять дней наши играли с канадцами, мы с Костей сидели в четвертом ряду, да так удачно, что, как сказал Костя, «можно доплюнуть до скамьи штрафников». Разобраться в хоккее было легче легкого: когда Костя орал «шайбу», я кричал «шайбу», «мазила» – я кричал «мазила», «молоток Мальцев» – я тоже кричал, что этот самый Мальцев молоток. Впечатлений было так много, что Костя дома как-то солидно сел и покашлял. Он одобрительно сказал:

– А ты, папуль, волочешь, в хоккее, я хочу сказать – сечешь.

Бедный мой Костя! Когда у меня будет побольше сил, я напишу о сыне подробнее – это очень важный разговор, но об этом позже, позже... Мы совсем забыли о моем давнем друге Валентине Ивановиче Грачеве, то есть Вальке Грачеве, судьба которого складывалась лучше бы, да некуда: он был заместителем ответственного секретаря, ездил за рубеж, но не часто бродил по Берлинам и Варшавам – боялся пропустить момент, когда в газете станут раздавать княжества. Скажу, что с той минуты, когда в редакции появился «чужак», то есть Андрей Витальевич Коростылев, мы с Валькой, тесно сплотившись, как две умные

осторожные собаки, все похаживали вокруг него, но удерживали себя на цепях. Что-то должно было случиться серьезное, чтобы мы могли дружно вцепиться в икры этого очаровавшего весь коллектив Андрея Витальевича. Наши разговоры о нем нужно было расшифровать как клинопись. Валька Грачев внедрялся в мой кабинет, барином разваливался в кресле, по-китайски церемонно извинившись, закуривал непременно американскую сигарету.

– Ну-с и как-с? – обычно начинал он. – На семнадцати банкомет останавливается, двадцать два – перебор. Это с деревенщиной бывает! Закон!

Я спрашивал:

– Сам Иван Иванович поймали? На полосе?

– Хе-хе-хе! В самый последний момент поймали, на верхней части второй полосы.

– Ну и...

– Любовь зла! Только пожурили.

– А ты не закручиваешь насчет любви?

– А у тебя или у меня было босоное детство? А ты гонял коней в ночное? А мы родились в деревнях, меж которыми всего тридцать пять километров? Натяните шляпу на нос, мистер, накройте – наша карта пока не пляшет!

Чтобы не вызвать у Вальки подозрений, что я его держу главным осведомителем, я иногда тоже выдавал информацию, естественно, мелочную, например, сообщал:

– На рыбалке вместе были!

Странно, но такая новость на Валентина Ивановича Грачева действовала более убийственно, чем им же сообщенный преважнейший факт типа:

– Секретарь горкома похвалил работу партотдела... * * *

Примерно в это же время мой родной отец торжественно принес и царским жестом раскрыл сберегательную книжку:

– Смотри, сын, смотри!

На книжке лежало ровно четыре тысячи рублей, последний взнос – сто рублей – был сделан вчера, и я, вы не поверите, отвернулся, чтобы отец не видел моих слез. Когда мне удалось справиться с собой, я – нильский крокодил, карьерист, конформист и прагматик – вздрагивающим голосом сказал:

– Папа, я даю тебе три тысячи рублей и... Сядь и слушай, батя! Эти деньги я тебе дарю, как ты когда-то дарил мне все, что мог купить... Папа, не подходи ко мне! Лучше я сам подойду, папа...

Я же говорил вам, что безмерно люблю своего отца – нелепого добрейшего человека. Я его любил больше матери, ушедшей от жизни в книги и коллекционирующей сухие листья.

В конце апреля отец купит самые дешевые «Жигули» прекрасного оранжевого цвета...

Глава третья

Удивительно, как много дала мне работа в сибирской областной газете «Знамя». Я был жадным учеником, торопился напитаться жизнью, как губка водой, я познал радость победы – Пермитин, и горечь поражения – партсобрание; многое понял, самое важное вы зубрил и мог бы сейчас изложить в двадцати словах все концепции своего мировоззрения, но в этом нет нужды: читатель сам сделает выводы... Но вот этого мне не требуется: «Понять – значит простить!..»

Итак, я возглавлял промышленный отдел «Зари», был членом редколлегии, любил двух женщин – какую больше, сказать невозможно: это все равно, что задаться вопросом: кто из писателей лучше – Достоевский или Толстой? Людей вообще сравнивать нельзя: двух одинаковых не бывает. А вот жизненные пути людей – это одно из любопытнейших явлений. Изучать их, как выражаются, – значит открывать пути в неизвестное. Потому будет, видимо, вечна литература, которая не только прослеживает жизнь человека, а еще и ставит своих героев в нетипичные для них обстоятельства. Речь идет о хороших писателях, которые понимают, что не рок – скажем мягче – не один только рок – делает жизнь человека от начала и до конца. До чего же все-таки опошлены слова: «Кто ищет, тот всегда найдет!» Быть ищущим человеком не всякому дано, человек не может стать им по желанию – вот какая петрушка! Ищущим человеком надо родиться, точно поэтом или художником. Это распространяется на все виды человеческой деятельности, от самых важных и кончая нищенством на перекрестке. Выскажу мысль: «Счастье – есть путь вперед и вверх!» Путь, запомните, путь! Что ничем не отличается от букварного: «Счастье – это борьба!» Счастье – сам процесс действования, ходьба на высоких ходулях или ползание по-пластунски к заветному. Человек велик и слаб одновременно потому, что ничего, кроме собственного, горького или радостного, опыта, не познает, стараясь не принимать опыт старшего поколения, а все сам, сам и сам. Речи, обращенные к нему, книги, написанные для него, он пропускает мимо ушей, словно слепоглухонемой. Отрицательный опыт, познание негативного – вот это ему по плечу! Все написанное Маккиавелли проникнуто презрением к человеку, но сколько ничтожеств учились у него быть тиранами! Есть жизни мещанские, прекрасно-пустые: хождение на работу, разгадывание кроссвордов, ожидание вечерней кружки пива, коридорно-туалетная трепотня с коллегами; есть жизни прекрасно-полные: человек безостановочно идет вперед и поднимается вверх; эти люди непременно одиноки, хотя, как правило, окружены плотной стеной сообщников; исключение – Никита Ваганов. Я достаточно силен, чтобы не скрывать одиночества... Однако не хватит ли примитивной философии? Пора рассказывать, как я шагнул на еще одну ступеньку вверх: редактор отдела – заместитель главного редактора...

Четыре с лишним года я проработал редактором промышленного отдела, и все четыре года развращал милого заместителя главного редактора Александра Николаевича Несадова; нужный мне процесс длился невероятно медленно, но верно. Дело доходило до курьезов: покупались, скажем, два билета в Театр па Таганке и тайно оставлялись на столе Несадова, а он становился все роскошнее, мягче и радушнее. Кажется, через месяц моей «работы Гридасовым» он выбрал деликатно-удобный момент, чтобы остаться в своем кабинете один на один со мной. Был на нем темно-зеленый костюм, зеленый же галстук, а главное – у него была такая холеная кожа и такими стали глаза, какие бывают только у праздных, взлелеянных любимых женщин. И голос – капризно-бархатный...

– Присаживайтесь, присаживайтесь, Никита Борисович.

Я давным-давно сидел, по-фрайерски закинув ногу на ногу, вызывающе держал во рту зубочистку, которыми – великолепная деталь – всегда завален стол заместителя Главного Александра Николаевича Несадова. Барин барином, он был всерьез умным человеком, однако я знал редактора областной газеты «Знамя» Владимира Александровича Кузичева, и меня трудно было удивить умом-мудростью.

– Я буду откровенен и прост, как гантели! – образно сказал он. – Вы не поверите, но я только сейчас понял, как важно иметь деятельного и талантливое редактора отдела... Жирафа, понимаете ли! В плане самокритики скажу, что был не на высоте. – И неожиданно – от переизбытка здоровья – засмеялся. – Вы, говорят, непревзойденный игрок в преферанс. У меня есть грешки и почище... Начать можно с бегов...

Он подкупал, брал в плен, делал разговор шутейным, хотя основа была чисто деловая. И я уже понимал, что с меня-то он станет три шкуры драть, если сам признается, что Гридасов был нулем. Великолепно! Я работал и буду работать, как никогда в жизни не работал; дневать и почевать в редакции; по шестнадцать часов буду работать я под бархатной рукой роскошного шефа.

– Считаю, что курс на освещение научно-технической революции вами понят досконально и футуристически. Так и будем держать! Но следует делать, конечно, шаги – время от времени – в сторону. Например, советский образ жизни промышленного рабочего. Видите ли, в чем дело, Никита...

Минут двадцать он поражал меня пониманием проблемы. Было это больше и значительнее, чем я мог ожидать от шефа. Когда он кончил, я почувствовал: Александр Николаевич Несадов на день-два станет для меня поразительной личностью, вооружившей меня уникальным наблюдением. Надеюсь, я не дурак, но шеф из полных розовых губ «выдавал» такое, что нужно было каждую фразу ценить на вес урана: он обладал завидным предвидением, пониманием завтрашнего дня. Он стал для меня загадкой, этот человек, который мог бы одновременно редактировать пять газет, написать двадцать книг, но ничего от жизни не хотел, кроме позолоченной итальянской зажигалки. Несадов оценил, как я его слушал, понял, что у меня нет и не может быть почтительных глаз, и поступил умно, сказав:

– На меня порой нападает длинноречивость, простите, Никита! Мне думается, что все это вы знаете и без меня... В век макроинформации невозможно быть оригинальным.

Я сказал прямо:

– Понятно, что Гридасов вас не воспринимал...

– Он вообще ничего не шурупил, соленая медуза! А журнал сделает хорошим.

– Я так же думаю, но не знаю – почему.

– Просто! В журнале жаждут напечататься тысячи умных парней, чтобы сделать диссертацию, а выбрать нужное поможет ему зам. Там же сидит Александр Алешкин – светлая фигура!

После беседы я часа два неподвижно сидел за столом своего кабинета, сидел неподвижно, чтобы все обдумать – все, до микроскопической детали. Если мне нельзя было ошибаться в Сибирске, то уж мои планы насчет Несадова должны рассчитываться так точно, как рассчитывается орбита спутника Земли. Кто поддерживал Несадова, кто стоял перед ним, за спиной кого он скрывался? Ведь Иван Иванович терпеть не мог Несадова... Вопросы требовали ответа, но будущее – обратите на это внимание – я просматривал отлично. Одним словом, говоря преферансным языком, карты сданы, у меня даже без прикупа девять взяток, посмотрим, купится ли десятая?

Я пригласил к себе Виктора Алексеева, разрешив ему курить, спросил:

– Когда свадьба?

Он деловито ответил:

– Через две недели.

– Ну а ваша будущая жена, она терпима к быту первопроходцев?

Бедный, он только хлопал ресницами. А мне было приятно видеть человека, похожего на Никиту Ваганова по всем параметрам: терпению, работоспособности и так далее, но не повторившего моей изначальной ошибки быть заметным с любого пункта наблюдения. Ему не надо менять прическу...

Я продолжал резвиться:

– Дано: строящееся гигантское химическое предприятие. Надо доказать: есть человек, который в боевой обстановке просидит до конца стройки, снабжая газету материалами. Ходить он будет в резиновых сапогах, спать урывками. Раз в неделю «Заря» получает материал, жизненно точный – о баях и аках! Эти материалы должны читаться, как читаются фельетоны... – Я поднялся, подошел к Виктору, серьезно сказал: – Лет восемь назад я был способен на это. Эх, Виктор, какое это было время!

Он засмеялся:

– Какое там время! Да вам же нет сорока...

– И тем не менее, тем не менее... – Я сделал паузу. – Согласие вы должны дать в течение трех дней.

Вы скажете, эка невидаль – корреспондент на строящемся объекте? Под луной вообще ничего нет нового, но года три спустя два министра признаются, что по четвергам боялись открывать «Зарю»: мы вцеплялись в строительство бульдогом...

– Значит, три дня?

– Три дня, Виктор.

– Я согласен.

– Привет!

Через пять минут на диванчике, как всегда серьезный, с выражением недовольства собой на волевом лице сидел мой заместитель Анатолий Вениаминович Покровов.

– Никита, – сказал он, – надо сделать вот так... – Он снова задумался. – Никита, надо через месяц подменить Алексеева. Нам понадобится свежий глаз, и каждый месяц... Согласен?

С этим я согласиться не мог, никакого «свежего глаза» я не хотел, и объяснялось это предельно элементарно. Понимаете, если человек еженедельно присылает корреспонденции с одного и того же объекта, дело непременно кончится тем, что он, став всезнающим, однажды пришлет материал с развесистой клюквой – это, учтите, закон! Но Анатолий Вениаминович Покровов никогда не узнает, что мне как воздух нужен был материал с такой ошибкой, чтобы она вызвала скандальное опровержение. Виктору Алексееву по молодости «прокол» простится, а вот кое-кому... Я небрежно сказал:

– Боже, да зачем эти подмены? Нужен единый стиль. Я возьму на себя руководство

Алексеевым, а вы, Анатолий Вениаминович, займитесь экономикой лесной промышленности.

Думаю, что он не понял меня, но согласно кивнул:

– Хорошо.

И немудрено: такой чистый человек, как Покровов, в мои задумки проникнуть не мог. Он ушел вполне безмятежным...

Трое суток, получив от Несадова «добро», мы с Анатолием Вениаминовичем не ходили на работу: он сидел дома, а я – за столом читального зала Библиотеки имени Ленина изучал газеты на английском, тяготеющие к экономике. Американскими газетами я не интересовался. А в среду, с утра, мы с Покрововым снова свиделись, и я гордился собой: никто, ей-богу, не мог разглядеть в сдержанном и на вид простоватом человеке Анатолии Вениаминовиче Покровове кладезь знаний современной промышленности. Значительную роль сыграло то, что промышленность Черногорской области развивалась высокими темпами, и Анатолий Вениаминович видел, как это все делается, и сам делал.

– Ну?! – произнес я, когда планы были окончательно сверстаны.

– Похоже на «ну»! – ответил он. – Однако мы всегда помним, что жизнь будет корректировать все наметки. Непонимание этого равно провалу.

– Разумеется!

У меня было восторженное состояние, и Анатолий Вениаминович укоризненно посмотрел мне прямо в глаза: «Ну разве можно быть таким несерьезным!» А мне хотелось броситься к нему на шею и по-футболистски расцеловаться – такой он был умный и прозорливый.

– Значит: «Ну!»

– Пожалуй, «ну»!

Когда Покровов вышел из кабинета, я в сотый раз сел на край стола, чтобы поразмышлять о работе республиканского Министерства охраны природы, которое возглавлял малоинициативный, недалекий человек. В доме на Старой площади это поняли полгода назад, редактор «Зари» Иван Иванович метнул уже одну стрелу в сторону министра, но тонкую и неядовитую. И вот мы включили в план две статьи: мою и писателя Александра Медведева. Понаторевший в вопросах экологии, я не оставлял и щелочки для дыхания всему министерству – без фамилии министра; писатель должен был написать свеххваляебный очерк об одном областном совете по охране природы, из которого было бы понятно, что проблемы экологии могут успешно решаться. Таким образом, мы брали министерство в вилку... Вам это ничего не напоминает?

II

В газете «Заря» наблюдались мир и покой, если смотреть со стороны. Работали непрерывно линотипы, после тяжело и солидно вращались барабаны ротации, чадолюбивой клушкой следили за материалами работники всех рангов, по утрам в кабинетах зло пахло типографской краской, было по-таежному тихо, снаружи из специальных длинноруких машин мыли окна, занимались этим девицы, и я, скучая, развел шутейные шашни с одной из них. Толстые стекла нам мешали слышать друг друга, но я сумел-таки назначить свидание подле памятника Пушкину пышной блондинке – она охотно поддержала игру, а когда я

продемонстрировал правую руку без кольца, то есть предложил руку и сердце, моя блондинка с театральным вздохом показала свою правую руку – обручальных колец такой величины я не видывал: оно покрывало чуть ли не пятую часть пальца. Впрочем, моду на толстые и широкие кольца я заметил давно, злился на мещан, а родной жене, когда она наконец-то завела речь о кольцах, сердито сказал: «Ленин обещал, что в конце концов из золота мы будем делать унитаза!» Показывая мне кольцо, блондинка словно говорила: «Где ж ты был раньше, голубчик?» Хорошая попалась девчонка – умненькая и красивая.

В этот день редколлегия не планировалась, и мне было интересно, когда же пришествует на работу мой дорогой Александр Николаевич Несадов? Когда утром я шел к себе, он уже опаздывал на двадцать пять минут, а на мои звонки к нему откликнулся лишь в половине первого. Я зашел к нему, понял, что он только из бассейна, увидел, как отменно он себя чувствует, и, почесав затылок, сказал:

– Пришлось сдать все материалы за моей подписью...

Он сказал:

– И правильно!

Я отправился «шакалить» – редакционное противное словечко – в секретариат. Сначала я заглянул к Ленечке Ушакову – этот пожал плечами: «Ничего не получается, Никита!», затем заглянул в комнату первого заместителя ответственного секретаря: «Ничего не можем сделать!» – сказала его лицо, и уж только после этого быстро, энергично, с ожесточенным лицом вошел к ответственному секретарю Владимиру Сергеевичу Игнатову: он даже головы не поднял – что-то вычеркивал на свежей полосе. Пока он это делал, я думал, что есть большая разница в теннисе в половине восьмого утра и бассейне – в полдень. Теннисные принадлежности Игнатова выглядывали из-за шкафа.

– Что? – резко спросил он, так и не поднимая головы. – Ну что?

Я дождался, когда он поднимет взгляд на меня:

– Владимир Сергеевич, статья об Уганске больше лежать не может, – сказал я зло. – Нельзя рубить сук...

Он перебил:

– А кто сказал, что статья об Уганске не идет?

– Здрате! Ее нет на полосах.

– А это что? – Он показал полосу. – Прошу не мешать мне работать!

Но когда я пошел к двери, остановил властным жестом.

– Не можете ли вы мне объяснить, товарищ Ваганов, отчего на ряде важных материалов отсутствует виза товарища Несадова? Новая система? Забывчивость? Или... дневной бассейн? Ну?!

– Ничего не могу понять, товарищ Игнатов. Простите за невнимательность, но я не заметил пропажу визы... Не буду больше мешать вам!

Только восхищение вызвал у меня этот человек, и я не удержался: снова заглянул к Ленечке Ушакову и показал ему ядреную фигу. Что он прокричал, я не слышал – уже быстро шагнул на свое рабочее место. Меня интересовал важный вопрос: поймет ли мой Несадов, что статья об Уганске раньше срока проходит благодаря Ваганову, что Игнатов ставит ее на полосу? Он

уже знал: по пустякам Никита Ваганов его отрывать от дела не будет, и, значит, верил, что статья предельно нужна газете – так это и было, товарищ Несадов, так и было! А вам давно нужно заметить, что некогда хорошо относившийся к вам Игнатов теперь мрачнеет при встрече с вами, испытывает такую же неприязнь к вашему барству и великолепной аристократической снисходительности, как и Главный, то есть Иван Иванович. Умный, отчего вы не видите, как окончательно разворачивает вас Никита Ваганов, переложивший на свои плечи три четверти ваших обязанностей? Вы молодеете, все больше и больше женских голосов воркуют в вашей телефонной трубке, неустанно удлиняется время, проведенное в роскошном бассейне с финской баней, а рабочий день сокращается. Может быть, вы находитесь под гипнотическим влиянием Никиты Ваганова, если не замечаете того, о чем громко роят в коридорах редакции?

Мой письменный стол сверху был упоительно пуст, но в ящиках стола лежали шесть готовых алексеевских материалов со строительства химкомбината и три статьи о хороших и плохих работниках. У меня не было еще достаточно материала, чтобы начать кампанию против Министерства охраны природы, так как главную статью я решил писать сам: уже приготовлена первая лихая фраза, от которой зависит успех всего материала, – это закон. Было у меня и много писем читателей о недостатках работы министерства на местах – оставалось выехать в два-три места, что я и собирался немедленно сделать, если бы не выдающийся случай, происшедший в моей семье: пришла наконец-то открытка на покупку «Жигулей». Об этом отец сообщил по телефону таким голосом, точно охрип и осип:

– Очередь! Подошла моя очередь. Никита, если можешь...

– Могу, папа! Через полчаса мы будем у тебя.

– Кто это мы, Никита, кто? * * *

Нет места более гадкого в Москве, чем речной порт, где за стеной тюремного вида продают «Жигули». Здесь от всего воротило душу: от плохой дороги; от массы людей, толпящихся у ворот; запаленно бегающих, взволнованных до пота покупателей. В самом дворе барами похаживали люди, которые якобы умели выбирать машины, а на самом деле берущие двадцать рублей «за лучший мотор», которого они и в глаза не видели. У ворот стояли женщины в брезентовых костюмах, мыли автомобили, уже кем-то купленные, – снова пять рублей. Нет, я не зря поехал выбирать машину с моим бедным отцом, взяв механика из редакционного гаража. Он, дошлый и опытный, пошел к самой ближней машине, отстранил «знатока» моторов:

– Не мешайте, гражданин, работать... А полномочиями не пугайте – посерьезнее видали!

И повел себя так, точно на заплеванном дворе никого не было, хотя стало ясно, что все равно придется выдержать все унижения: давать взятки за здорово живешь, кланяться надменному начальству. Но я, не будь дураком, захватил еще Ленечку Ушакова, сопровождаемого дамой, которую он выдавал за актрису.

Вот как действовал Ленечка Ушаков – не сходя с места, подманил к себе пальцем самое высокое начальство, не ответив на приветствие, снисходительно процедил:

– Слушай, ты, Васильев, опять выкидываешь бюрократические штучки... – И резко: – Нужны две машины в экспортном исполнении.

Васильев, труся рысцой, догнал кого-то, видимо, велел найти нужные машины – отцу и Ленечкиной даме, затем привел нас в теплое помещение, всем нашел стулья, а сам опять умчался.

Ленечка Ушаков сказал:

– Знакомьтесь! Людмила Гонец – актриса! А это, Людмила, мои лучшие друзья. Борис Никитич Ваганов и его сын – я тебе о нем прожужжал уши – Никита Ваганов.

Не прошло и десяти минут, как влетел в комнату этот самый Васильев.

– Сделано, товарищ Ушаков!

Стояли рядом две свежeweымытые машины – зеленая и оранжевая, при виде которой мой отец остолбенел, а механик из гаража, сердито глядя на Васильева, слушал мгновенно заведенный мотор: «Какую же чепуху нам подсовывают?!» Дрожащий от волнения отец внезапно приосанился, посуровел, сказал:

– Как вы угадали, что я хочу иметь именно оранжевую?

– Это же самое модное, товарищ Ваганов, – зелень и оранж.

Людмила Гонец никак не реагировала на цвет машины, и это объяснялось просто: вчера по телефону Ленечка Ушаков заказал для нее именно зеленую. Она была вообще на высоте: села в кабину, сразу завела мотор, и когда он немного нагрелся, оставила работающим на малых оборотах. За отцом, за моим отцом, наблюдать было тягостно: он снова весь дрожал, глаза запали. Он, видимо, много лет назад обдумал, как станет выбирать машину, и теперь со списком в руках то бросался под колеса, то рылся в моторе. Его остановил механик:

– Это все лишнее, Борис Никитич! Обе машины проверены.

Эх, как красиво и лихо повела машину Людмила Гонец! Десять метров задним ходом, крутой поворот, и, взревев, машина выскочила из ворот; знатоки одобрительно переговаривались, а в это время мой отец пытался и не мог завести мотор.

– Извините! – сказал этот самый Васильев и через боковое окно просунул руку к ключу зажигания. Я стал про себя считать: раз, два, три, четыре... на пятом обороте машина бесшумно заработала. На слух мотор был действительно хорош. Для нас отдельно открыли ворота, я сел рядом с отцом, и он осторожно выжал сцепление, перевел рычаг на первую скорость, еще секунда – машина взревела, дернулась и заглохла. Отец снова завел мотор – и снова фиаско. И началось такое, отчего у меня до сих пор в глазах становится темно: отец так и не смог съехать с места, дрожащий, со стыдом и страхом посмотрел на меня.

– Что же теперь делать?

Я сказал:

– Папа, не надо волноваться, вот и весь секрет... Механик доведет машину до дома, а там разберемся...

Отец замороженно следил за руками и ногами механика, двигал губами и одновременно с этим успевал с гордостью – это меня окончательно убивало – поглядывать на прохожих с таким видом, словно кричал: «Смотрите, смотрите, эта машина моя! Понимаете, эта машина моя!»

Бедный отец! Я так любил его тогда, я готов был ради него на все, бедный мой отец! А мать? Она даже не вышла посмотреть на машину, так как всегда считала правыми лионских ткачей – противников механизмов; моя мать была философом и созерцателем, она жила хоть на вершок, но над бытом и временем. Дома Дашка, восторженно принявшая «Жигули», сообразила нам на кухне обед. Отец жадно набросился на еду (так много сил было истрачено), насытившись, вздрагивающим от смеха голосом произнес:

– Дарья, ты представляешь, я даже не мог стронуться с места! Так я переволновался... – И

повернулся ко мне: – Не смешно ли, а, Никита?

В ответ я сказал:

– Папа, возле ВДНХ есть площадка для начинающих. Если хочешь, редакционный шофер поедет с тобой...

Отец фыркнул:

– Я сам теперь справлюсь с машиной!

Это было продолжением трагедии: мой отец, прошедший всяческие курсы, не сможет ездить на собственной машине, как и на любой другой: он пережил возраст, когда полагалось стать автолюбителем. Он так долго ждал автомобиля, что тот перестал быть для отца механизмом для перевозки людей, превратился в символ, тотем. История с автомобилеводением уложила отца, стыдно признаться, в больницу, со странным диагнозом, навязанным врачам мною: невроз на почве автомобильной аварии. Но в конце недели лечащий врач сказал мне:

– У вашего отца нереализованная психомания. Отчего?

Тогда я все рассказал о «Жигулях», и врач поблагодарил, сказав, что это облегчает лечение, но что менее трех месяцев папа в больнице не пролежит. Так оно и было. Два раза в неделю я навещал отца – вы знаете, как я его любил, но вам неизвестно, что некоторое время спустя я пойму, на кого из родителей похож... Бедный отец! * * *

Мою горечь, печальные мысли о жизни вообще помогла укрощать родная «Заря». Шли ровной цепочкой корреспонденции Виктора Алексеева, засланного на строительство химического комбината, не было летучки, на которой бы не говорили в восторженных тонах о рубрике «Большая химия», хвалили столь интенсивно, что я побаивался за Виктора – мог наступить законный и обязательный спад журналистской активности, истощение материала, наконец, пропажа интереса от привычной похвалы. Ждал я и математически предусмотренной мною, провальной корреспонденции, которой предстояло стать ступенькой вверх для меня, несколькими ступеньками вниз – для Несадова. Молодого Виктора Алексеева строгий выговор не повергнет в прах – у него все награды впереди. Одним словом, дела шли великолепно, и нашего шефа Александра Николаевича специально вызвал главный редактор, чтобы сказать: «Молодцы!» Вернувшись, он собрал весь отдел и тоже сказал: «Молодцы!» Примерно в это же время и я получил высшую награду от Ивана Ивановича. Он мне сказал:

– Это настоящая журналистика! Весьма!

Целый день я ходил по редакции с задранным носом, забыв все мои размышления на темы «посредственность и карьера», «серость и успех», «молчание и дело». К счастью, мало кто видел мой задранный нос, если не считать Анатолия Вениаминовича Покровова. Он прогудел дружеским баском:

– Избрали академиком? Или сделались кавалером ордена Золотое руно?

Я ответил:

– Вы близки к истине.

Он развел руками:

– Гениальным быть не запретишь. А чего стоит один заголовок! «Чадят поленья». Охо-хо!

Эта статья мне стоила месяца работы, месяца беганья по этажам Министерства охраны

природы, двух командировок и двухчасовой беседы с министром. Проверая материал, я доставал карту за картой из обшлага, а он – хоть бы бровью повел. Когда же речь зашла о кострах на лесосеках, министр печально сказал:

– Горят! Даже пылают!

Это была второсортная откровенность, и зря министр так печально хмурил брови и даже вздыхал, как старшеклассница, не выучившая урок. Я сказал:

– Горят, горят, но вот почему они горят и на тех лесосеках, где есть установки для переработки отходов? Нужна цифра, или вы ее помните?

– Цифра не нужна! – сердито ответил министр. – А вы не слишком увлекайтесь цифрами: на бетонной площадке трактор кажется исполином, а на трелевочном волоке во время дождя ему комара не убить...

Министр поднялся:

– Я вижу, что вас интересует только лесная промышленность, а это лишь один пункт работы министерства. Одним словом, прошу общаться с моим замом, который занимается вопросами использования порубочных остатков.

– Большое спасибо, Николай Осипович!

– Был рад, Никита Борисович!

К заму я и не думал идти: зама я «обработал» три дня назад, да так, что он выдал процент сжигаемых порубочных остатков – цифру астрономическую. Меня это не удивило: трудное дело рубить лес и одновременно его обрабатывать, но ведь существовали леспромхозы, которые ни веточки не оставляли на лесосеке!

Это был очередной случай, когда я статью государственного значения сдал в секретариат без визы Николая Александровича Несадова, когда материал уже встал в полосу, он его тоже не прочел. Время моего торжества приближалось.

Вскоре я положил на стол зама чрезмерно пухлую папку тщательно проверенных и обработанных корреспонденции; процентов на сорок – материалы с химического гиганта, остальное – текучка и заранее приготовленные мной отклики ученых на статью «Чадят поленья». Перед публикацией я собрал с десятков видных специалистов и поделился с ними впечатлениями о работе Министерства охраны природы. Седобородые профессора гудели, как растревоженные осы...

– Все материалы – срочные! – деловито сказал я, уходя от Несадова. – Даже экстренные материалы!

Минут через сорок ко мне вошла его секретарша, осторожно положила на стол тяжелую папку; на всех непрочитанных материалах стояла подпись Несадова, похожая на три знака параграфа, положенных набор. Я укоризненно качал головой, когда мимо открытых дверей моего кабинета деловито прошел Несадов.

Вам уже известно, чем кончается журналистский прием «вилка». Примерно через три месяца после публикации материалов о работе Министерства охраны природы министр перешел на спокойную работу. Эту весть в редакции приняли спокойно: глупо думать, что журналисты – крокодилы! Конечно, особенности второй по древности профессии на земле налагают некоторые специфические черты на носителей этой профессии, но... Не надо! Каждый случай – всегда новый случай – вот и будем разбираться конкретно.

На дворе, как и полагалось по жизненной вагановской раскладке, желтел и бордовился осенний день, то есть была осень, как известно, для Никиты Ваганова всегда победоносная, такая же рясная, как рябины за почерневшими оградами старых летних дач «Зари». От статьи Виктора Алексеева, которую я брал на дачу для работы, пахло вареньем, над которым все воскресенье колдовала Вера, насвистывая из «Евгения Онегина»... Сидя в машине, я помахивал скрученной в трубочку статьей, рассказывающей об обыкновенных, вполне заурядных трудностях на строительстве химического комбината, но испытывал такое чувство, словно пять минут назад, на даче, нашел фонтанирующее нефтерожждение. Работа Алексеева относилась к тому математически неизбежному исключению, которое объяснимо и теорией вероятностей и более элементарными вещами: усталостью Виктора Алексеева, тоской по молодой, оставленной в городе жене, наконец, приевшемуся единообразию событий, саперской привычностью к опасным фактам. Изощренным своим нюхом, всем нутром, печенками-селезенками Никита Ваганов вопреки всему, а главное – логической железобетонности статьи Виктора Алексеева «На запасных путях» чувствовал в материале громадную опасность, словно это была не бумага, а многотонная бомба с недолгим часовым заводом.

Я подгонял шофера, чтобы как можно скорее показать статью своему заму Анатолию Вениаминовичу Покровову. Почувствует Анатолий опасность или не почувствует? Если нет, то путь статье может преградить еще один человек с нечеловеческим нюхом – ответственный секретарь «Зари» Владимир Сергеевич Игнатов. Анатолий Покровов статью читал с профессиональной медлительностью, время от времени отрывался, чтобы лучше «проглотить» прочитанное, и его нельзя было торопить. Перевернув последнюю страницу, Анатолий Вениаминович сделал для меня давно привычное: начал смотреть в потолок и беззвучно шевелить губами. Пожалуй, только минуты через три он сказал:

– Виктор устал... Его надо отзывать с химии.

– Ты о статье, пожалуйста, о статье!

– Я бы ее публиковать не стал.

– Почему же?

– Опасно!

– Еще раз – почему?

– А вот этого я не знаю... * * *

... В прошлую ночь, чтобы наконец уснуть, я машинально снял с полки нетолстую, но тяжелую книгу, посмотрел: Лукреций «О природе вещей». Я отчего-то преувеличенно обрадовался.... Это, наверное, будет книга, которую найдут под подушкой только что умершего редактора «Зари» Никиты Ваганова, там же обнаружат зачитанную до дыр «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека... Руки сами, без моего участия, раскрыли страницы Лукреция, глаза, тоже действуя автономно, нашли:

... Смертные, часто притом ощущая и страх и смущенье,

Дух принижает у них от ужаса перед богами

И заставляет к земле приникать головой, потому что
В полном незнании причин вынуждаются люди ко власти
Высших богов прибегать, уступая им царство над миром...

Я сказал Анатолию Вениаминовичу как можно мягче:

– Ну, что ты такой, словно тебя из-за угла мешком ударили? Нормальная же статья, хотя...
Надо командировать молодую жену к Виктору. Стопроцентное обновление обеспечено...

Я произносил эти фальшивые слова, а сам думал, что статье «На запасных путях» газетной
полосы не увидеть – Игнатов гранку набора перекрестит красным фломастером, а черным
поставит жирный вопросительный знак. Насильственно рассмеявшись, я взял статью у
Анатолия Вениаминовича, звонком вызвал секретаршу Нину – милое, молодое, но уже
многодетное существо – протянул ей статью:

– Набор – срочный.

Мы оба проследили, как она вышла из кабинета, затем потянулись друг к другу. Покровов
сказал:

– Это первый случай, когда мы разошлись во мнениях.

– Угу!

Он поднялся:

– Мне потребуются сутки, чтобы хорошенько обдумать инцидент!

Ого, как далеко зашло дело! Я тоже поднялся, снял с лица улыбку, но взгляд оставил теплым,
ласкающим моего первого заместителя. Я добродушно сказал:

– У меня давно висело на языке, но... не решался. Толя, могу сообщить тебе, что мне активно
не нравится твоя антилопа.

Он обернулся:

– Тебе не нравится вот это: «Как бы высоко антилопа ни прыгала, она все равно опустится на
землю»? Это?

– Естественно, дружище! Нам с тобой, как Ильфу и Петрову, противопоказано ссориться –
погибнет сильный журналист-организатор...

Он гневно промолчал, что для меня новостью, собственно, не было: друзья уходили на той
развилке, где Никита Ваганов выбирал опасную тропу: «Направо пойдешь – смерть
найдешь!»

– Впрочем, у тебя есть трое суток на размышление, Толя! – сказал я. – В отделе, который мы
с тобой в муках родили, один человек может вообще не работать без ущерба делу...

Понятно, что он немедленно ушел, хлопнув дверь. Я не сразу смог устроиться в кресле и
передохнуть: таким был, оказывается, напряженным, под сердцем что-то дрожало; так
продолжалось минуты две. Потом я чуть не завопил от боли, боли действительно

нетерпимой; я распластался на столе, как лягушка, готовая к препарации. В кабинете воздуха не было, резко пахло жженой пробкой – откуда, черт возьми! – и окна казались вдвое меньшими и совсем-совсем слепыми. Я подумал теми же словами, которыми подумал бы каждый человек на земле: «Что это со мной?» Еле отдышавшись, юмористически подмигнул сам себе, скорчил клоунскую физиономию, но от стола – что, кажется, проще! – отлипнуть не мог. «Препарируйте же! – попросил я. – У меня куча дел и намечено генеральное сражение!» В этот момент в кабинет ворвалась моя многодетная секретарша, как и все люди ее профессии, через стену умеющая чувствовать и понимать состояние начальства. Она с криком бросилась к графину с водой, наверное, обученная опытом секретарств у других начальников, расстегнула мне рубашку и расслабила галстук, потом, не боясь испортить мебель, залить бумаги на столе, вылила на меня графин воды и замерла с вопросом в глазах: «Не надо ли еще одного графина?» Встрепенувшись, я успел схватить ее за оба тонких запястья:

– И ни шагу дальше, ни шагу! – приказал я, неестественно смеясь, так как стоял на краю гибели: не хватало еще того, чтобы мой сокурсник по университету и соперник по газете разнес за полчаса по всем кабинетам сенсацию: «Ваганов опасно болен! Пять минут назад у него был обморок!»

– Ни шагу дальше и ни слова – даже родному мужу! Вы поняли меня?

– Я так испугалась, что... Ой, я, конечно, никому не расскажу!

– Тогда часа на три запирайте кабинет снаружи. Незаметно принесите электрический обогреватель... Марширен! Марширен! Ни одна живая душа... * * *

... Просохнув часа за полтора от электрического нагревателя, мой заморский костюм превратился в тряпку, которую, казалось, год жевали добрые нежные коровьи губы. Не могло идти речи о том, чтобы в таком виде прошеествовать по обморочно длинному редакционному коридору. Мне предстояло просидеть под замком до тех пор, пока из редакции не уйдет последний человек. Моя секретарша, запершая кабинет на ключ снаружи, чтобы объяснить чем-то долгосидение, сказала мне по телефону, предварительно постучав в стену, что она вывалила на пол подшивки газеты «Заря» за шесть лет и будет возиться с ними хоть до утра, делая вид, что наводит порядок. На телефонные звонки, которые не сопровождались стуком в стену, я, понятно, не отвечал.

Вы не поверите, но у меня, как вдруг выяснилось, не было работы: все написал, со всеми кляузными письмами разобрался, гранки просмотрел. Пришлось лечь на диван, взять в руки «Огонек», неизвестно как оказавшийся в кабинете, да еще и с неразгаданным кроссвордом. Самый распространенный иллюстрированный журнал в стране кроссвордом меня испугать не мог, тем паче в столе лежал компактный «Атлас». Я начал прищуриваться и шептать, когда в смежную стенку постучали и тотчас же зазвонил телефон. Заранее отчего-то посмеиваясь в трубку, моя секретарша спросила:

– Никита Борисович, у вас была статья под заголовком «Железобетонный вы человек, товарищ начальник главка!»?

– Кажется, была, – неуверенно ответил я. – Нет, действительно, что-то подобное было. О каком главке идет речь?

– Сельскохозяйственных машин.

Ба! Я так и взвился над диваном. Я вскричал:

– Нина! Нина! Но ведь под таким заголовком всего два месяца назад прошла статья о том же главке! А моя статья, а моя... Дай бог памяти! Она же была опубликована чуть ли не три года

назад...

– Четыре года назад, Никита Борисович! – захохотала Нина. – В подшивке есть вещи и покурьезнее... Вот не думала, что не буду скучать над пожелтевшими листьями... Я вас не побеспокоила?

– Ни-ни! А вы не знаете, Нина, созвездие Южного полушария из пяти букв, если третья буква Р-ы-ы?

Я лег на спину, подсунул под голову древний технический справочник Хютте, закрыл глаза и стал придумывать кару для автора, укравшего мой снисходительно-насмешливый заголовок. Билеты Косте на три футбольных матча? Пять кило раков и дюжину пива самому автору? Шоколадное мороженое для всего промышленного отдела? Затем я тихонечко присвистнул: воспоминание показалось живым, близким, словно все происходило сегодняшним утром. В секретариате на специальных планках висели полосы будущих номеров «Зари», на одной из них бросался в глаза величиной заголовок: «На бумаге – ажур, на деле – развесистая клюква!» Заноминающийся заголовочек, не правда ли? Я тогда мельком взглянул на полосу, понял, что долбали управление, но какое, не поинтересовался, да и могло ли мне прийти в голову, что это то же самое управление, которое я – мастер на все руки – уже давно смешал с лавой Помпеи. «Не спеши, не суетись, думай и думай, Ваганов. Во всем этом что-то есть непонятно-перспективное. Жила это, голубчик, золотая жила, хотя неизвестно, куда вонзать алчную лопату...» Во-первых, надо немедленно выяснить, кто автору подсунул мой заголовок. Дежурный по номеру? Главный редактор? Ответственный секретарь? Сельхозотдел? Сам автор? Я требовательно постучал в стенку – телефон немедленно откликнулся.

– Нина, а Нина, богат ли улов?

– Бог знает что делается, Никита Борисович! Отдел информации три года подряд сообщает о лосе, переходящем трамвайные пути на Лосиноостровской. Это, наверное, одно и то же животное. А передовые!

– Что передовые?

– Ну, в это дело я нос совать не буду, Никита Борисович. Не по Сеньке шапка...

– Извините! * * *

В течение следующих трех-четырёх недель у меня не было времени заниматься обнаруженным плагиатом, у меня вообще не более трех секунд выдавалось для того, чтобы перевести взволнованное дыхание – такие важные и грозные катаклизмы потрясали редакцию. Стоит подробно описать, как, тщательно выбрав для визита к Игнатову самое удобное для него время, я принес и положил на стол статью Виктора Алексева «На запасных путях». Мельком взглянув на материал, он поднял на меня злые от усталости глаза:

– Эти три крючка – виза Несадова?

– Разумеется.

Через десять минут, когда статья, выпущенная из рук, мягко и плавно опустилась на застекленный стол, я увидел вместо глаз Игнатова только узенькие щелочки и заметил, как он правой рукой собрался теревить усы, но, поймав себя на этом, руку привел в соответствующее напряженному моменту положение. Ну вот совсем ничего сейчас нельзя было прочесть на всегда выразительном лице ответственного секретаря, кроме безразличия и плохо сыгранной скуки: он даже перебрал – неумело зевнул. Сквозь прищуренные веки

Игнатов, как я полагал, видел заместителя главного редактора Александра Николаевича Несадова в один из его выдающихся по пижонству и ничегонеделанию дней; например, вчера. На заседание редколлегии он пришел с опозданием, в честь осеннего листопада в песочном до желтизны костюме, влажные волосы блестели, щеки – половинки отлично созревшего породистого яблока – и весь он источал столько благодущия, изнеженности, умения наслаждаться жизнью, что в просторном зале заседания все померкло, сделалось скучным до зубной боли, сама суть редколлегии показалась жалкой и никчемной, а все мы – скучными и тоже никчемными ипохондриками... Потом, открыв глаза, Игнатов старался вспомнить, с какого времени – месяц, два месяца? – Несадов стал подписывать материалы, не читая, и, верно, вспомнил точно, так как сказал:

– Не понимаю, товарищ Ваганов, чего вы хотите от меня? Восторгов по поводу бардака на железной дороге? Или... Одним словом, не мешайте мне, пожалуйста, работать! – И неожиданно для самого себя разгневался. – Вашим консультантом, Ваганов, меня никто не утверждал! Запомните это хорошенько! Хо-о-о-рошенько!

Уходя, я – хотите верьте, хотите нет – спиной уловил короткую, как вспышка, улыбку Игнатова. Поэтому путь до собственного кабинета мне показался нескончаемым, но зато, оставшись один, я бросился ничком на диван и начал хохотать: наша брала, наша! Неприязнь Игнатова к сибариту, мужчине, покрывающему ногти бесцветным лаком, оказалась в сто крат сильнее, чем я предполагал.

Статье был открыт путь в газетный номер.

IV

Три недели с хвостиком пройдет до того часа, когда разорвется фугасный снаряд типа «На запасных путях», поэтому у меня было время, чтобы заниматься другими, еще более тонкими делами, где, например, к знанию фугасных, бризантных и других снарядов требовалось и совершенно иное, вплоть до умения... различать запахи французских духов и одеколонов..... Одним словом, по коридорам редакции, кабинетам, буфетам и лестничным закуткам прокатилась весть, что на приеме в Министерстве иностранных дел благодаря случайно сложившимся обстоятельствам Валентин Иванович Грачев был представлен Министру. Они беседовали минут пять, и Министр пожал руку Грачеву с удовлетворенной улыбкой. Мне, естественно, сразу захотелось увидеть старого приятеля, на котором я, как ни грустно, поставил жирную точку. Пари студенческих лет он, пожалуй, выиграть теперь не мог. Было время, когда Вальке Грачеву казалось, что он обошел меня на целый круг, что его путь к небрежной подписи «Главный...» короче и вернее моего: когда я вернулся в редакцию из Академии общественных наук, Валентин Иванович Грачев занимал со всех точек зрения блестящее положение заместителя ответственного секретаря. Это было время, когда мы встречались ежедневно, злословили по адресу Коростылева, строили шуточные планы его свержения, а на самом деле не спускали глаз друг с друга. Дело, понимаете ли, в том, что Грачев, как и я, поработав с Коростылевым, твердо и окончательно понял, что этому человеку никогда не бывать редактором такой газеты, как «Заря», мы об этом даже не сказали друг другу, а только однажды одновременно уничижительно улыбнулись.

Однако Валентину Ивановичу Грачеву в результате серьезных событий как-то очень быстро, для большинства сотрудников «Зари» просто незаметно, пришлось превратиться в редактора отдела социалистических стран, пришлось переменить и «географическое» положение: перейти из главного корпуса в пристройку, отличающуюся современной помпезной архитектурой. Пристройку с первого дня существования прозвали «Аквариумом». По вечерам

в ней плавали и порхали в неоновом свете длинноногие куколки, медленно двигались темные существа, похожие на жуков. Неделя понадобилась, чтобы все узнали о метаморфозе с Грачевым, ничего не поняли и только пожимали плечами, сообщая давно известное: «Способности к языкам – чрезвычайные. Английский, французский, итальянский и – несколько славянских! Чудеса!» Однажды я услышал: «Идиот! Нужен ему этот отдел соцстран! – Злобное щелканье зажигалки. – Как будто нет на свете развитых капиталистических!», и хохот, неизвестно кому принадлежащий: курильщику или его похихикивающему спутнику.

Прежде чем отправиться впервые к Вальке в «Аквариум», я ровно десять минут просидел за столом в расслабленном состоянии и с полузакрытыми глазами, чтобы привести себя в настроение, мною именуемое «рыбным», получалось смешно: аквариум, рыба, медленное движение, глубокое дыхание, и все для того, чтобы Валентин Иванович Грачев ничего не мог прочесть на моем лице...

Я, оказывается, совсем не знал пристройку под именем «Аквариум». Здесь, среди искусственной кожи, похожей на настоящую, пальм, вычурных ламп дневного света и глубоких кресел паслись на приволье красавицы на все вкусы: курили и при этом разговаривали между собой так громко, словно они и были – редакция газеты «Заря». Красавицы на все вкусы, как немедленно выяснилось, прекрасно знали Никиту Ваганова, лихо с ним здоровались и приглашали пить кофе и ананасный сок, а за колонной, слегка прислонившись к ней, стояла моя Нелли Озерова – сотрудница отдела писем, из-за которой, собственно, я и не появлялся в «Аквариуме». А она выкинула такое коленце, что ее следовало бы выпороть, – разболтанной походкой приблизилась ко мне, интимно нагнувшись, сделала вид, что просит прикурить, а на самом деле прошептала: «А ты среди них смотришься!..» «Побью!» – окончательно решил я, открывая двери в комнату за номером 464. За столом сидел Валентин Иванович Грачев с таким видом, словно секретарша доложила о моем появлении, но я секретаршу взглядом пригвоздил к месту. Тем не менее Валентин Иванович заливался:

– Ах, наконец, ах, наконец-то! Наконец-то! Сам Вагон пожаловал в мою клетушку. Нет, подумать только, сам Ваганов!

Тут-то я и понял, что пришло время научиться отличать по запаху заморские духи и одеколоны! От Вальки так славно пахло, как и должно пахнуть от преуспевающего, знающего себе цену и обладающего блестящей перспективой человека. Сын продавщицы умудрился надушиться так, как сделал бы это родовой аристократ. И Валькина комната совсем не походила на клетушку – умело обставленное единственно необходимыми вещами пространство для свободного общения интересных друг другу людей. Два газетных столика с неодинаковой высоты креслами, несколько шкафчиков с образцами изделий народных промыслов. На пол небрежно брошен небольшой ковер. Как я умудрился ни разу не побывать здесь? Я чувствовал, что у меня заныло под ложечкой – это от неудержимого стремления не удивляться всему, чем захочет удивить Валька Грачев, то есть Валентин Иванович Грачев. Судя по тому, что болело здорово, – лицо у меня было по-китайски непроницаемое.

– Ну, как делишки, Ваганов? Да ты садись, старче!

Я в это время рассматривал нарочито открытый бар с зеркальной стенкой, удваивающей количество бутылок с разнообразными, как индийские карты, рисунками на этикетках.

– Садись, садись! – приглашал Валька и равнодушно спрашивал:

– Кофе? Виски? Вермут?

Он прикусил язык, когда я с размаху сел на краешек его безукоризненного стола и поставил ногу на подлокотник бархатного кресла. Устроившись поудобнее, то есть сложив руки на

груди для большего равновесия, я задумчиво произнес:

– Побереги мое серое мыслительное вещество, Грач, изволь сам объяснить, что все это значит в переводе на русский. И не думай темнить: сам дойду, если не раскошеляешься... Ну, я слушаю, Валюн!

Он хлебосольно улыбнулся:

– А мне нечего темнить, Вагон! Здесь хорошо, или ты ослеп! Работа, как сам понимаешь, не пыльная... Материалов даем немного, все консультируются на высшем уровне, публикуются сами собой...

Я перебил его:

– А дважды два – четыре! Нельзя, Валюн, так барски-пренебрежительно относиться к вопросам друга ботиночного детства. Ай-ай, как нехорошо! Ты – бяка, Валюн!

Как бы он ни фанфаронил, уж я-то, Никита Ваганов, видел: плохо сейчас Валентину Ивановичу Грачеву, выбывшему из скачек почти на половине дистанции. Да, он обладатель десятка разнообразных талантов, был начисто лишен дара предвидения и – самое главное! – способности, предугадав, моделировать будущее. Если признаться, с болью раненого самолюбия признаться, то Валька Грачев во многих отношениях был талантливее, оригинальнее вашего покорного слуги, но тем хуже для него, тем хуже... Он даже и представить не мог, каким жалким казался мне среди своего полированного, изукрашенного, инкрустированного, овеянного тихоструйными вентиляторами кабинетного рая. «Позвольте не поверить вам, гражданин Грачев, что вы сами выбрали одеколон и галстук!» Он разозлился:

– Ты раскроешь рот наконец или будешь молчать как истукан? Палехские шкатулки никогда не видел?

– Хочу разговариваю, хочу – молчу! Мы – свободные люди!

С этими словами я пересел в кресло, поставил локти на колени, подбородок положил на развернутые ладони и печально вздохнул.

– За что же тебя так, сердешного? – спросил я и снова вздохнул. – Не признал единого и всеведущего? Растлил малолетнюю?

Он держался лучше, чем я предполагал, ступая на порог «Аквариума», и только такой близкий Вальке человек, как я, мог заметить тоску в его якобы лучившихся глазах. Я отчего-то вспомнил недавний вечер, бессонную ночь, тяжесть тома Лукреция во вздрагивающей руке... Столько все-таки связывало нас с Валентином, что я не чувствовал себя подлецом и подонком: существовали какие-то другие слова, равные по силе и карающему действию, но никто в мире не знал их, и слова оставались только словами, а действия – действиями. Поэтому Грачеву следовало бы разmozжить мне голову самым тяжелым креслом. Наверное, вид у меня был правдоподобно печальным, так как Валька Грачев – теперь уж навсегда Валька (для Никиты Ваганова) – скукожился в своем просторном кресле – маленький и бессловесный. Мне пришлось спросить:

– Что же случилось, Валентин? – И, поняв, что в кабинете ничего не услышу, резко поднялся. – Пройдемся по улице, Валюн. Я тебя про-о-о-шу, выйди со мной на улицу...

Сквозь осенний листопад и шуршание мы добрались до ближайшего сквера, сели, одновременно глубоко вздохнули – пахло увядающими акациями, пыльными листьями, специфической для осени гнилью, но все это – от гнили до бездонного неба – было мое,

вагановское, близкое и дружественное всему тому, что происходило со мной и что мною двигало. А рядом сидел человек, давно изученный и привычный, который умел оживать только весной, весна была его временем, как осень – моим... Я настойчиво повторил:

– Что же случилось, Валентин?

Глядя в землю, он почти шепотом ответил:

– Коростылев – сволочь! – И вдруг поднял на меня диковатые от тоски глаза. – Ты бойся его, Никита! Он никогда не станет редактором, знаем, но голов посрубает много. Ты не связывайся с ним, Никита!

Я отвернулся. Пуля угодила в десятку: касаясь меня плечом сверхмодного костюма, сидел побежденный и – что самое безнадежное – сдавшийся человек. Куда девался Валька Грачев? Нет, это не Валька Грачев – это его нарочно недопроявленный негатив. Выть хотелось при виде такого Вальки Грачева, выть и рвать на себе волосы... А он, оказывается, все еще говорил и даже вяло помахивал как бы детской ручонкой.

– Ты помнишь редколлегию, где Коростылев критиковал ребят за бездарное освещение событий в Палонессии?

Как не помнить. В те дни все газеты мира писали о затерявшейся на краю света Палонессии, – позволю себе в этих записках так назвать эту страну – крохотной, гористой, внезапно охваченной народно-освободительным движением. В «Правде» один за другим появились живые репортажи с места событий, много писали о Палонессии и другие газеты, и только в «Заре» пробавлялись тассовскими материалами, так как собственный корреспондент «Зари» в Палонессии Игорь Жданов растерялся, не нашел верного тона – его корреспонденции Иван Иванович, зло скомкав, бросал в большую корзину. Его дважды вызывали «на ковер», он отбивался как мог, и на очередной летучке разразился грандиозный скандал. Начал его, естественно, первый заместитель Главного Андрей Витальевич Коростылев, отвечающий за освещение в газете всех международных проблем. Срочно вызванный из Палонессии Игорь Жданов, в пути попавший под обстрел истребителями без опознавательных знаков, краснел и бледнел, жалел, наверное, что его не прошла пулеметная очередь, но так и не смог ничего толкового сказать – на диво попался бездарный парень! Освободить его от собкорства редколлегия не решилась – замены не было; разбор дела перенесли на завтра, в узкий круг редактората, и все это казалось таким тяжелым и печальным, что коридорного судилища Жданова не состоялось: самые заядлые говоруны молча разошлись по кабинетам. Я тоже забился в свою нору, но на месте сидеть не мог – метался, не зная, как осуществить финт, пришедший мне в голову много раньше, чем Ивана Ивановича впервые вызвали «на ковер» за Палонессию. Что и говорить, голова у меня работала быстро, не голова, а электронно-счетная машина, и когда шел процесс вычисления, я вел себя как машина, как бездушная машина, надо подчеркнуть... Это уже потом начиналось этакое-разное.

Я только тогда осознал, какое большое значение придаю Валентину Грачеву как сопернику, что существом на глиняных ногах я его считал от малодушия. Перед глазамиплыли ярко-красные концентрические круги. Боже! Два слова, даже не слова, а намек, взгляд, особая улыбка могли загнать Вальку Грачева навсегда в цейтнот. Напроситься к Главному и уж... Я услышал свой неестественно хриплый фиглярский смех, услышал как бы со стороны, назвал смеющегося грязной и бесполезной скотиной и, продолжая видеть себя со стороны, пронаблюдал, как собственная рука сняла телефонную трубку, как собственный указательный палец набрал номер Главного. Иван Иванович сказал, что примет меня ровно через столько времени, сколько мне понадобится, чтобы добраться до его кабинета. Бросив трубку, я замер: что должно быть у меня в руках, когда я войду в кабинет Главного? Через секунду-другую я понял, что вляпался, пропал, погиб, изничтожен. Мне нечего было нести в руках. С какой нерешенной проблемой мог бы явиться Никита Ваганов, материалы которого консультировал

не кто иной, как Никита Петрович Одинцов и весь аппарат его мощного отдела? Дурацкая строка из дурацких стихов повисла на губах: «На глазах у весны умирал человек...» А время шло, Иван Иванович знал, что мне нужно ровно пять минут на то, чтобы дойти до его кабинета, и – верьте мне! – я почувствовал себя бледным, худым, закоченевшим от холода.

Я выругался.

Все знатоки Библии сходятся на том, что Иуда был насажен на нож не позже чем через десять часов после Распятия, меня сталь пронзила еще до экзекуции на Лысой горе... С ожесточившимся лицом я бросился к кабинету Главного. Я был пьян свободой и сладкой отрешенностью, так лихо выраженной истинно русским человеком: «Пропадай моя телега, все четыре колеса!» Европейец, думаю, хоть одно колесо, но оставил бы...

Иван Иванович встретил меня у дверей кабинета, пожав руку, по-братски потрепал по плечу: «В лице ни кровинки, Никита Борисович, надо побережь себя. Вот и Игнатов говорит, что вы опасно много работаете... Садитесь, да садитесь же вы». Предположить, что я пьян, он, естественно, не мог, но понял, что случилось нечто необычное, если Никита Ваганов, умеющий безукоризненно владеть собой, садится на стул непрочно, зыбко, как молодой петушок на насест. Одним словом, волнение Никиты Ваганова было столь очевидным, что Иван Иванович – тактичный человек – преувеличенно оживленно проговорил:

– А осень-то какова, а, Никита Борисович? Еще десять-пятнадцать таких дней, и положение с уборкой выровняется, если даже... Тьфу, как говорится, три раза – не сглазить бы!

Он подкладывал под меня тюфяки, маты и поролон, был готов в равной мере на сочувствие и веселье, но все это для меня теперь не имело никакого значения: тридцать сребреников уже отсчитывались мне из кожаного мешка.

– Иван Иванович, Иван Иванович! – дважды повторил я и траурно полуприкрыл глаза. – Мне нужен ваш совет, Иван Иванович... Дело в том, что мне – втайне, разумеется – сообщили, что наверху знают о недостойном поведении моего подростка-сына... Это не только глубоко огорчает меня...

Дикая мысль пришла мне в голову, пришла и застряла надолго. «Если нет рая и ада, – подумал я, – то грешнику легче покинуть землю, чем праведнику...» Одновременно с этим я подумал: «А к психиатру тебе не следует обратиться, гражданин Ваганов?» Однако возбужденный мозг с ликованием разворачивал, резал на полосы и квадраты первую мысль, для нормального человека просто невозможную. Вопреки желанию я думал: «Грехи как-никак все-таки гнетут, чем больше их, грехов-то, тем сам себе противнее и к судьбе своей безразличнее, а вот каково праведнику, каково умирать ему, осчастливленному собственной праведностью?» Я сам себе ухмыльнулся: таким махровым фашизмом пахивало от моих шизофренических рассуждений, что степень моей упоительной сладкой свободы, нет, освобожденности, возрастала от мысли к мысли, а соответственно этому все озабоченнее делалось лицо симпатизирующего мне Ивана Ивановича. Он медленно сказал:

– Не знаю, может быть... Да нет, какая ерунда! Я почти уверен, Никита Борисович, что имя вашего сына нигде не фигурировало.

Он был «почти уверен», а я-то знал точно, что никаких-таких поступков мой бедный Костя, сейчас предаваемый отцом, не совершал. Надо быть крупной и значительной личностью, чтобы о тебе заговорили. Я с трагическими глазами клеветал на своего бедного первенца, не найдя никакого другого повода для визита в тесный кабинет главного редактора. Как последний подонок, я бормотал, изображая чадолюбивость:

– Вы, конечно, понимаете. Иван Иванович, что я пришел не защищать сына... Гм! Впрочем, кажется, его и не надо защищать, но родительская любовь... Ах, как я жалею, что потревожил

вас попусту и, как вы понимаете, без основания. Ах, как я жалею!

Только полный идиот мог примчаться к главному редактору защищать свое дите от сплетен – так получалось по раскладу, и я барахтался в собственном дерьме, как месячный ребенок, понимая, что один только мой приход к Ивану Ивановичу по такому делу уничтожает личность Никиты Ваганова, делает его мелкой рыбешкой, которую ни одна приличная сеть не возьмет за добычу. Таких, каким я был тогда, люди, сидящие в кабинетах, просят успокоиться, сочувственно кивают, но, оставшись в одиночестве, усмеваются: «А я-то считал его...» И навсегда вычеркивают из списков – личных и официальных – как человека, о котором теперь можно не вспоминать. Бог знает, как я был ничтожен, продолжая мыкать и хмыкать, и дурацкая строчка сушила мои иудины губы: «На глазах у весны умирал человек...» Героическим усилием я пытался взять себя в руки, но только сами собой стискивались губы, и раздавалось коровье мычанье – так мне казалось... * * *

... На «синтетическом ковре» своего приговора, на этой зеленой с разводами дороге в крематорий, как всякое живое существо боясь смерти, я не потеряю и сотой доли того, что потерял тогда... * * *

Для меня, Никиты Ваганова, человека, созданного безраздельно повелевать самим собой, а следовательно, и другими, собственное коровье мычанье было смертью – гражданской смертью – так сурово решил сам Никита Ваганов. Из дальнейшего я помню горячие от румянца щеки, выхолощенную до пустоты грудь и предчувствие той страшной раскаленной иглы, которая однажды пронзила меня бескровно насквозь и распростерла на собственном письменном столе в позе препарируемой лягушки.

Однако грудь оставалась пустой до прозрачности, и только после этого упала свыше – будь благословенна! – спасительная мысль о том, что я мог распластаться на глазах у Ивана Ивановича, что игла прошла буквально в миллиметре от возможной судьбы – быть убитым сегодня, и, благодаря кого-то за спасение, я, наконец, обеими руками, ногами и всем телом ощутил спасительную тягу – встать на ноги. Я сделал это, дважды крупно вздохнул, задержал воздух в груди и – «Пропадай моя телега, все четыре колеса!» – требовательно и быстро посмотрел в глаза Ивана Ивановича. Уф! В глазах, кроме легкого сочувствия к родительской бешеной любви, ничего не прочел. Тогда я понял, что все происходившее со мной не заняло и десяти секунд, что именно в эти десять секунд я крепко встал на ноги и был обыкновенным Никитой Вагановым, таким обыкновенным, каким меня всегда знал Главный. Я не помню еще одной важной подробности: спросил ли меня Иван Иванович о редакционных делишках или не спросил, но я-то говорил именно об этом, именно для этого – ответа – встав на ноги. Голос у меня был ровный и спокойный, по Ивану Ивановичу было видно, что он уже забыл о причине моего прихода, так как лицо у него было иное, деловое. А я таки выкладывал то, ради чего предал моего бедного Костю, толкая на гибель другого. У меня даже появились иронические интонации и свое – бесстрастное – лицо, когда я говорил:

– Редколлегия была не бурной, она была сумасшедшей, Иван Иванович. Так бывает, если не знаешь, как поступить...

Иван Иванович поморщился и посмотрел на часы:

– Полчаса уже, как кончилась редколлегия, а я сижу на месте... – Он улыбнулся. – Решение по Палонессии нужно сейчас, вот в эти секунды...

И по тому, как он поднял голову, я понял, кто ждет немедленного решения и почему редколлегии нельзя медлить, чтобы не накликать еще больших бед. Артист, я вдруг смешно и звонко шлепнул себя по лбу и почти вскричал:

– Помилуйте, а ведь очки-то у вас на носу, а вы их ищете в бабушкином сундуке...

Все в этой фразе было моим, интонации, немудреный юмор, обещание дать больше, чем полагалось бы незамысловато острящему.

– Как просто и ударно... Надо немедленно направить в Палонессию Валентина Ивановича Грачева. Блестящий журналист и на французском, как я на сибирском... Ну вот, как не считать, что простейшие решения – самые гениальные решения?

Выйдя из здания редакции, я остановился в самом центре проезжей части, ноги поставил так прочно, точно собирался здесь и обронзоветь, но все было проще: Никита Ваганов не знал, куда идти. Ну вот не было уголка в этом мире, куда бы он мог повести себя самого, подонка из подонков. Через два-три дня все пройдет, останется легкая непонятная усмешка, когда вспомнится визит к Главному, а сейчас – мрак, мрак и непереносимое одиночество. Нелли Озерова? Она прочтет все на моем лице и, пожалуй, даже пожалеет: «Моего маленького обидели!» Жена начнет обильно кормить, словно отбивными можно спасти Иуду от обоюдоострого ножа. Запереться в кабинете? Но как попасть в него – впорхнуть воробьем в открытое окно?

– Товарищ, а товарищ! – услышал он позади негромкое, но повелительное. – Проходите, здесь стоять не положено!

И Никита Ваганов пошел вдоль улицы. Он думал о том, что в результате непредвиденного эксперимента обнаружил в самом себе такие человеческие низины, которые не простил бы ни одному ближнему, и в дурном сне не увидел бы себя таким негодяем, и умер бы в блаженном незнании границ, безграничных границ собственной подлости. И как вы, читатель, понимаете, Никита Ваганов не мог не вернуться к мысли о вечности без ада и рая, о вечности, в которую грешнику уходить легче, чем праведнику.

Валька Грачев, то бишь Валентин Иванович Грачев, следующим утром экстренно – после специального решения редколлегии – вылетел в Палонессию, ровно через двое суток его блестящая корреспонденция пошла в номер. Одним словом, события произошли серьезные, и Никита Ваганов, предложи он не тайно, а всенародно послать Грачева на горящий островок мира, собирал бы поздравления наравне с другом школьного и студенческого времени... * * *

Сейчас же Никита Ваганов нахально сидел рядом с редактором отдела соцстран Валентином Ивановичем Грачевым, видел, что старый друг выбит из седла, сдался, махнул на себя рукой, несмотря даже на то, что недавно познакомился с министром иностранных дел и тот пожимал ему руку с удовлетворенной улыбкой. Правда, после возвращения из Палонессии, по горячим следам событий, Валентин Иванович Грачев занял свое прежнее место, но это длилось ровно столько дней, сколько потребовалось Ивану Ивановичу, чтобы сообразить, что статус-кво с любой точки зрения не лезет ни в какие ворота. Герой событий Грачев, так внезапно талантливо раскрывшийся как международник, должен сидеть в единственном из всех возможных кресел – редактора отдела социалистических стран. Мне рассказывали, что после длинной беседы с Главным Валька сутки пил горькую, затем, сказавшись больным, ушел на десятидневный бюллетень, но все же дело кончилось назначением Грачева редактором отдела соцстран. Мало того, на памяти всех журналистов столицы был еще свеж пример, когда редактор отдела социалистических стран одной из газет стал редактором не менее крупной другой газеты. Наверное, этот беспрецедентный шаг оставался тоненькой ниткой надежды друга моей молодости на исполнение мечты, безумной мечты, – так подумал я, разглядывая Валентина, который все так и сидел – в позе нахохлившейся, намерзшейся и изголодавшейся птицы. Я невольно затаил дыхание, когда Валька голосом совершенно незнакомого человека сказал:

– Ты не представляешь, как я изменился, Никита!.. Нет, я не о том, о чем ты думаешь... Я видел войну и теперь очень хорошо знаю, что это такое... Жизнь не игра и не гонки, Никита!

На меня смотрели вылинявшие глаза семидесятилетнего человека, спокойные, между прочим, глаза. От волнения я слишком громко и слишком развязно сказал:

– А как быть теперь с Коростылевым, Валька? Он остается сволочью или его надо простить перед лицом всех мировых катаклизмов?

Грачев промолчал.

V

Убийцы настигли Иуду, как им и полагалось, в душной тесноте Нижнего города, а точнее – события происходили в северной части нашей столицы... Они с полудня следили за ним, привычно терпеливые, дождались-таки, когда он вскрыл промтоварный магазинчик неподалеку от платформы Северянин; ему связали руки за спиной и, зевая от скуки, предвкушая обед, быстренько увели в отделение милиции, возле которого минут через сорок остановилась блистающая «Волга», а из нее торопливо вышел Никита Ваганов, красный не то от гнева, не то от необычной жары поздней осени. Никита Ваганов посмотрел на дежурного капитана и без приглашения сел на некрашеную, но тем не менее отполированную до блеска задами лавку и, подумав, положил ногу на ногу. Он оставил редакцию «Зари», когда начался грандиозный шум, из которого следовало непостижимое: сын главного редактора газеты Седой – что за имя? – с группой головорезов напал на кассу промтоварного магазина, грабители взяли всю дневную выручку, но Седого схватила милиция, и он упрямил оперативного дежурного вызвать отца, то есть самого Главного редактора газеты «Заря». Пока вспоминали, что, кроме двух замужних пожилых дочерей, никаких сыновей Иван Иванович не имел, из секретариата прибежала в редакторскую приемную секретарша Игнатова и объяснила, что арестован не сын, а племянник, и вовсе не при грабеже промтоварного магазина, а при попытке изнасиловать малолетнюю в тени голых парковых деревьев; еще через минуту по редакционному коридору незнакомой подпрыгивающей походкой промелькнул Никита Ваганов, скрылся в кабинете Главного, чтобы через две-три секунды выйти из него с низко и гневно наклоненной головой, сжатыми кулаками и бледным, как газетная бумага, лицом. Помощник Главного ясно расслышал последние слова Ивана Ивановича: «Выпороть мерзавца, да так, как нас батьки пороли...» Вследствие всех этих событий никто ничего, конечно, не понял, но дебатировались три версии:

1. Никита Ваганов поехал спасать племянника Главного.
2. Никакого события вообще не произошло, что-то напутала милиция.
3. В лапы милиции угодил окончательно спивающийся Ленечка Ушаков и Никите Ваганову поручено расхлебывать редакционный позор...

Дежурный капитан тупо и медленно рассматривал вольготно сидящего Никиту Ваганова, насмотревшись, перевел взгляд на Костю и тоже долго и тупо рассматривал его, будто не то сравнивал их, не то утратил от растерянности дар речи. Капитан так и не открыл рта, когда из-за вытертой занавески вышел с полотенцем в руках пожилой старший лейтенант, тщательно протерев каждый палец, небрежно забросил полотенце за спину. Было очевидно, что старший лейтенант – первое лицо, а юный капитан – второе. Они переглянулись, не сразу, а поразмыслив немного, поменялись местами, то есть старший лейтенант сел на стул капитана, а капитан занял стоячее место старшего лейтенанта. За все это время они ни разу не посмотрели ни на задержанного, ни на его предполагаемого отца. Старший лейтенант с мягкой и даже ласковой интонацией спросил:

– Значит, вы будете, гражданин, главным редактором газеты «Заря»? – И даже не сделав паузы, чтобы выслушать ответ, что-то записал очень крупными буквами на очень большом листе бумаги. – Так, гражданин Ваганов. Сын грабит магазины, а отец...

Из левого затененного угла на Никиту Ваганова глядели кристально-чистые, ничем не замутненные, безбоязненные и одновременно кроткие глаза его Кости, бедного, бедного Кости!

– Ты почему выдал меня за главного редактора? – спросил Никита Ваганов, хотя секунду назад этого вопроса задавать не хотел, точно зная, что услышит в ответ. – Разве ты не знаешь разницы между редактором отдела и главным редактором, а, Костя?

– Знаю! – ответил сын и подкупающе улыбнулся почему-то капитану. – Это они, папа, в таких делах не разбираются, а уж я-то хорошо знаю, что ты – самый главный редактор в «Заре». А сейчас будешь врать, что вовсе не главный, чтобы тебе не попало от начальства... И если хочешь, я тоже буду говорить, что ошибся, ты не главный...

Старший лейтенант вразяжечку произнес:

– Разго-о-о-ово-о-рчки! Так вот и говорю, гражданин Ваганов-старший, не монтируется, нет, не монтируется... – После этого, изменившись до неузнаваемости, старший лейтенант тяжело повернулся в сторону Костиного угла, нашел взглядом его ангельский взгляд и заговорил просто, спокойно, почти доброжелательно: – А ну, сыночек, расскажем отцу, за что нам связали руки и привели в милицию. Что произошло в магазине?

– Где?

– В магазине. Что там произошло?

– А ничего там не произошло, гражданин старший лейтенант! Я ждал Мишку, а вот этот придрался: «Зачем вскрыли замок?» А его никто вскрывать не собирался. Я все Мишку ждал...

– Это записывать?

– А как же, гражданин старший лейтенант, обязательно записывать...

Никита Ваганов сидел неподвижно, по-прежнему спокойный до уровня специфического психоза. С ясностью он думал о том, что его семья, начиная с матери, ушедшей от жизни в шелестенье листьев, до девчухи Вальки, сделавшейся кумиром, фальшива, безнравственна, и возглавлял эту семью он, Никита Ваганов – человек с добрым лицом, если на него не позабыли надеть очки. Иной не могла быть семья, глава которой, теперешний глава Никита Ваганов, точно так, как отец на покупку «Жигулей», все поставил на карту будущего редакторства, освободив себя от элементарной человеческой необходимости жить сегодня, сейчас, вот в эту самую минуту.

А старший лейтенант просто, спокойно, почти доброжелательно продолжал разговаривать с Костей так, что это совсем не походило на допрос. Старшему лейтенанту, надо полагать, давно надоели эти кинематографические допросы с подначками и эффектами, ему чаще приходилось общаться с преступниками, чем с порядочными людьми, и он выработал самую легкую, неутомительную, не требующую больших нервных затрат манеру разговора с такими, как Костя и все другие, вплоть до убийц.

– А настоящий фашистский кастет тебе подложили? – разговаривал капитан. – Ну, ну, подложили, и нечего волноваться... А газовый пистолет, который ты пытался незаметно выбросить возле промтоварного, он тоже того... подложенный!

– Гражданин старший лейтенант, газовый пистолет не подложенный, а подброшенный...

Газовый пистолет я привез сыну из Дании, чтобы моя плоть от плоти, робкая от рождения, не боялась после вечернего кино возвращаться домой ближним переулком, где «пап, столько разного хулиганья, что ты просто не поверишь. Все деньги отберут да еще и часы снимут!»

Костя горько-горько заплакал. Руки ему давно развязали, но он специально не вытирал слезы, а их было столько, что все лицо, казалось, источало жидкость. Он плакал молча, крупно вздрагивал от плача, и было понятно, что слез ему хватит ровно настолько, насколько хватит выдержки у старшего лейтенанта, который уже начинал ерзать на стуле и нервно покашливать. Он, несомненно, сильный человек – этот пожилой и усталый старший лейтенант, и, как все сильные люди, не любил и боялся слез, особенно таких, какими заливался маленький негодяй, – это были предельно искренние слезы отчаяния, большого горя и непереносимых страданий. Он был артистом, как всю жизнь играющая тургеневскую героиню бабушка, как отец с его обширным комедийным и трагедийным репертуаром...

Я сидел и думал, что умру легко, скорее всего с иронической по отношению ко всему белому свету улыбкой, которая так и замрет на холодеющем лице... И действительно, на «синтетическом ковре» своего одиночества я сначала подумаю об Егоре Тимошине – первенце моей подлости, а закончу воспоминанием о том, как плакал сын Костя, вооруженный мной мощным арсеналом человеконенавистничества.

Я сказал:

– "На глазах у весны умирал человек..."

– Что? – встрепенулся старший лейтенант, а Костя на секунду прервал плач. – Что вы сказали, гражданин Ваганов-старший?

– Я спросил, что надо сделать, чтобы взять сына на поруки?

– А мы его и без этого отправим с вами. Разумеется, до того часа, когда прокурор подпишет ордер на арест...

Мы уже выходили – плачущий Костя и я, когда старший лейтенант, спохватившись, суетливо спросил:

– Так как вас правильно записать? Главный редактор или просто редактор?

– Главный редактор! – сквозь слезы крикнул Костя. – Вам же каждый скажет, что главный!

Спустившись с крыльца, Костя вынул из кармана аккуратно сложенный платок, старательно вытер слезы и – у меня заболело в горле – взял меня за руку, чтобы идти так, как мы ходили, когда он был совсем маленьким: рука в руке, но подальше друг от друга, «чтобы, папа, не получалось, как у девчонок...». Мы сделали несколько шагов под ясным небом, по светлой осенней земле, и Костя задумчиво сказал:

– Они смешные, эти милиционеры, пап! Отчего это районный прокурор будет подписывать ордер на арест, если он Мишкин отец... – И по-настоящему тяжело вздохнул. – Придется твоего любимого Ленечку Ушакова просить, чтобы помог вернуть газовый пистолет... Как-никак твой подарок... * * *

... История с ограблением сойдет Косте с рук – его взяли фактически до грабежа – Никита Ваганов об этом позаботится: ему только не хватало сына, сидящего в колонии... Когда Костю предупредят: еще раз попадешься – колония, Костя ответит:

– Любопытно будет познакомиться...

Два типа счастливых людей живут на нашей планете: дураки и фанатики, и поверьте, если бы у меня было право выбора, я бы ушел в дураки, победно-издевательски смеясь над фанатиками. Но ни мы выбираем мать и отца, не мы подбираем по своему вкусу генетический код, мы рождаемся такими же, какими и умираем, сколько бы там ни толковали о влиянии среды, воспитания и прочих мудростях. Дураком мне родиться не посчастливилось, родился я фанатиком, что легко доказывалось почти в каждой – мелкой и крупной – жизненной ситуации. Полюбуйтесь-ка вот, как предельно мало мне понадобилось для того, чтобы из глубоко несчастного человека с отполированной лавки в отделении милиции превратиться в обыкновенно-счастливого Никиту Ваганова. Я усадил Костю в свою машину и отправил домой – услышалось, как нежно посвистывает ветер в голых ветвях берез, а сам на такси добрался до здания «Зари» – и настроение скакнуло вверх, как пинг-понговый мяч; я встретил в коридоре роскошного Несадова – целительный юмор залил мелкие трещинки на поверхности моего несчастья часовой давности. Я сел за рабочий стол – мир сузился до размеров листа писчей бумаги: я поднял трубку, ответил на звонок из секретариата, и теплая волна привычного счастья работы с восхитительной неторопливостью – кайф-то, кайф какой! – залила грудь.

Ответственный секретарь «Зари» Игнатов сказал:

– Статья Виктора Алексеева «На запасных путях» идет в текущий номер...

Из кабинета выйдет он, обычный Никита Ваганов – в меру энергичный, в меру веселый, в меру серьезный, в меру суровый, и, как всегда, добрым будет его лицо в очках даже с небольшой оправой... Часа с хвостиком хватило мне на то, чтобы счесть болезненными бреднями все те мысли, которые я тяжело перемалывал в лопающейся от напряжения голове, сидя на милицейской лавке. Честное слово, я был твердо уверен, что все это – милиция – происходило не со мной, а с отдаленным знакомым человеком. Такова сила фанатизма, такова его способность делать иллюзорными даже горы, если фанатику хочется, чтобы гор не было. Что, собственно, случилось в этом лучшем из миров, какого черта блестящий журналист и великолепный организатор решил возглавить своей фигурой безнравственную семью? Что он нашел плохого в поэтической меланхолии матери, способной найти все радости жизни в форме, расцветке, запахе кленового листа; весь двадцатый век сходит с ума от автомобилей, все более похожих на ракеты, – почему отца нужно обвинять в бездушном накопительстве? Не каждый ли третий журналист – фанатик, если сама работа в газете невольно требует от честно работающего человека почти ритуального служения ей; кто втайне не мечтает стать во главе газеты, чтобы получить возможность самовыражения, реализации всех своих творческих сил? А Костя? Занятая своей школой мать, соблазны столицы, случайное знакомство с дурной компанией – много ли надо мальчишке с живым воображением, смелому, предприимчивому, любознательному?

Вошел Анатолий Вениаминович Покровов, молча сел, начал собирать и разбирать шариковую ручку, пока не потерял стремительно выскочившую пружинку. Она закатилась под диван, он же искал ее взглядом под моим столом.

– Черт с ней! – сказал Покровов. – Черт с ней!

Было абсолютно ясно, что Покровов боится или стесняется встретиться взглядом с Никитой Вагановым, что он растерян до беспомощности и что еще не раз прочел статью Виктора Алексеева – гранка торчала из бокового кармана пиджака. Анатолию Вениаминовичу Покровову, такому человеку, каким он был, невозможно было понять образ действий Никиты

Ваганова, но прошло уже достаточно много времени совместной работы, и если сегодня еще дело не дошло до беспрекословного подчинения, было ясно: до диктаторства Ваганова оставались не годы, а недели. Покровов сказал:

– Через полчаса полоса пойдет на матрицирование...

Вот такой же добряк-праведник сидел в крохотной комнате областной газеты «Знамя», с ног до головы обвитый бесконечной гранкой, улыбался детской улыбкой, а потом едва-едва не погубил Никиту Ваганова. Это он, Мазгарев, снискавший славу добряка и гуманиста, НАРОЧНО не подал руку Никите Ваганову тем льдыстым утром, когда они случайно встретились возле редакции. Добряки, гуманисты, праведники – вот уж такие фанатики, в реальность существования которых так же трудно поверить, как в непорочное зачатие! Разве не стала бы вся жизнь Никиты Ваганова непоправимо несчастной, если бы не четыре голоса, которые помешали Мазгареву поставить к стенке молодого, неопытного, открыто уязвимого журналиста... И этот тоже – испортил прекрасную шариковую ручку, сам не знает, какого лешего сидит на диване перед Никитой Вагановым, боясь встретиться с ним взглядом.

Я поднялся, обошел свой письменный стол, наклонившись, достал пружину от шариковой ручки, протягивая ее Покровову, холодно сказал:

– Вы мешаете мне работать, Анатолий Вениаминович, по непонятному мне поводу... Кто вам дал право сомневаться в доброкачественности статьи Виктора Алексева? У вас есть факты, опровергающие ее? Нужны факты и только факты! Они у вас есть?

– Мне остается единственное: удалиться.

– Разумеется! Удалиться, чтобы не терять драгоценной минуты рабочего времени... Не забудьте сегодня сдать материал о нефтяниках Сургута.

Он, как вы помните, просил три дня на раздумья, а что дали эти три дня, кроме пружины от шариковой ручки, залетевшей под мой письменный стол? Ноль целых и ноль десятых – вот что дали ему три дня тягостных принципиальных раздумий! Он поймет, – и это полезно! – что из двух точек зрения – моей и своей – надо придерживаться первой, не то придется искать более демократическое начальство. С другой стороны – было прекрасно, что Анатолий Вениаминович Покровов втянут в дело публикации сомнительной статьи: на вопрос «Читали ли вы статью?» он же не ответит, что читал, но она ему как-то не понравилась... «Что значит – „как-то“? Значит, у вас были сомнения, но вы не удосужились заняться проверкой статьи?» Анатолий Вениаминович достаточно умен, чтобы сказать: «Читал! И ничего особенного, естественно, не заметил!» А потом дойдет очередь и до Александра Николаевича Несадова...

«Однако становлюсь свиреп!» – с насмешкой над собой подумал я, по существу грубо выгнавший из своего кабинета Покровова. Впрочем, и прежде замечал за собой этокое начальственное «распсиховался». Как относиться к этому, я еще не знал – просто не было времени на внимательное обдумывание. Наступило время позвонить домой, где, конечно, ничего не знали о Костиных делах, но то, что я услышал, превосходило все ожидания. Недавно вернувшаяся из школы Вера с упоением рассказывала, как хорошо ведет себя в детском саду Валюшка, какой стих она выучила, но чемпионом на этот раз был Костя: пять пятерок в дневнике за один день.

– Вот какие у нас дела! – нежно шептала в трубку Вера. – И как было бы хорошо, если папочка провел бы сегодня вечер с нами... Правильно, Валюнчик? Скажи папе в трубку, чтобы он пришел домой пораньше...

Я буркнул в трубку:

– Приду очень поздно...

Никита Ваганов, то есть я, собирался не покидать здание редакции до той секунды, когда уже никакие силы, в том числе и небесные, не смогут выбить из номера статью Виктора Алексея «На запасных путях». Ротация должна начать выдавать тираж, а грузовики развозить тюки «Зари» по громадному городу, вокзалам и аэропортам. А уж потом – нет, не домой – к Нельке... Да, многими часами ожидания располагал я, но думать я мог и должен был только об Андрее Витальевиче Коростылеве, для читателя этих записок полузабытого, а для меня обязательного для раздумий каждый день, как молитва для ревностного верующего. Интересная особенность: пока еще здравствовал и сидел на месте заместителя редактора Александр Николаевич Несадов, который в ближайшем будущем вынужден будет уступить этот пост мне, раздумья, наблюдения, сравнения, относящиеся к Андрею Витальевичу Коростылеву, носили несколько отвлеченный характер, не были облачены живой плотью и кровью, чем, собственно, и сближались с раздумьями верующего. Яснее: первый заместитель Ивана Ивановича еще дислоцировался на столь отдаленном рубеже, еще так хорошо был прикрыт грудью Несадова, что не мог стать объектом ни тактических, ни стратегических замыслов, – вот потому и приходилось мне рыться-копаться пока только в душевных особенностях предпоследнего противника. Как только я начинал думать о Коростылеве, меня охватывали совершенно неожиданные покой и равновесие, в природе которых я разберусь значительно позже, а теперь я мог только удивляться тому, что стоило возникнуть в моей памяти Коростылеву, как сразу начинала приглушаться суетность конца двадцатого века, мысли текли медленнее, сердце – это-то отчего? – биться ровнее, такие славные вещицы, как зависть, раздражение, гнев, охотно прятались в свои тайные закутки. Я понимал, что ко мне приходила мудрость, опять же не зная причин появления этого лучшего из лучших состояний. Напомню, да и читатель, наверное, не забыл, в какие острые штыки мы с Грачевым встретили появление в редакции нового зама из глубокой провинции, и вот все это куда-то ушло, рассосалось, перестало кровоточить злой завистью и душной ненавистью.

Жизнь Андрея Витальевича Коростылева заслуживала уважения. Родился в такой глухой деревне, какие даже не наносят на карту области, сын солдата, погибшего в первые ноябрьские дни наступления под Москвой. Работал и учился, заочно кончил с отличием педагогический институт, был партийным работником, наконец, получил незнакомое дело – редакторство газеты «Вперед» в отсталой, далекой от шумных автострад и железных дорог области; работал до седьмого пота, вгрызался в дело крепко, наконец полюбил журналистику. Внешне он был такой, каким я его уже описывал: с приятной неторопливостью, чуть-чуть чрезмерной вдумчивостью; он умел говорить, когда необходимо, молчал, когда разговоры были пусты; сослуживцам улыбался легко и открыто, правда, с одним изъясном – всем на один лад. Словом, так был приятен в обращении, что кто-то хихикнул: «Чичиков!», но его не поддержали; не привилось прозвище «Младший советник посольства», то есть просто «Советник», хотя внешний лоск, манеры, улыбки Коростылева действительно напоминали начинающего и поэтому очень старательного дипломата.

Вот мы и подошли к той черте характера Андрея Витальевича Коростылева, которая в высокоэрудированном коллективе «Зари», процентов на шестьдесят рекрутированного из коренных москвичей, могла нанести существенный урон авторитету первого заместителя главного редактора – выдвигенца из провинции, то есть варяга. Андрей Витальевич Коростылев во всем, что бы он ни делал и что бы он ни говорил, был самую малость серьезнее, чем того требовал стиль человеческих отношений в несомненно охочей до юмора газете «Заря». Смешноватая старательность Коростылева была универсальной – хоть днем с огнем ищи, нельзя было отыскать щели в этой старательности – в редакционном бытии вещь решительно несовместимая с шутливыми словами. Он и улыбался старательно, и руку пожимал собеседнику старательно, и шагал по длинным коридорам старательно, именно при этом – шагании по коридору – наиболее похожий на разудалого косца из стихов Кольцова, одетого в современное платье и образованного на уровне Академии общественных наук.

Одним словом, старательность Андрея Витальевича Коростылева вела начало от незабытой деревенской старательности, непременно для «самостоятельного» мужика. Для более пронизательного и зоркого человека добродетели первого заместителя были понятны и в их развитии. Старательный и работающий Коростылев, опираясь опять же на практичный деревенский разум, тщательно отобрал из сложного мира то, что ему самому казалось непременно нужным, что составляло внешний и внутренний портрет теперешнего Андрея Витальевича Коростылева. Никита Ваганов же мудро полагал, что запрограммированность собственным выбором добродетелей для сосуществования с миром в конечном итоге сделает Коростылева скучным для всех человеком, а возможно, и смешным. Речь идет об опасности стать смешным только оттого, что трагедийный исход Коростылеву не грозил – так была крепка цитадель выбранных им правил и свобод от правил. Нет, смех и только смех мог снять с лица Коростылева старательно слепленную маску праведника, человека, живущего, скажем, по тридцати пяти принципам, добровольно отобранным из тысячи возможных. Ключик «Старательность» подходил ко всем замкам Андрея Витальевича Коростылева. Постепенно узнавались пристрастия и отрицания первого зама Главного. Об одном из пристрастий стоит поговорить отдельно.

Еще в те времена, когда Валька Грачев и во сне не мог видеть себя зарубежным корреспондентом, когда отрицание Коростылева процентов на восемьдесят было от ярости и зависти беспомощных, друг школьных и студенческих лет смог-таки принести в кабинет Никиты Ваганова информацию смешную и, значит, опасную для Коростылева. Год или два после института Андрей Коростылев по путевке райкома комсомола возглавлял сельский клуб, воспоминания о работе в котором, как оказалось, были самыми светлыми в его дальнейшей судьбе. То ли уж по-особенному красиво повисали над неподвижной рекой плакучие ивы, то ли местные девчата были хороши, веселы и певучи, то ли сам Андрей Коростылев только начинал по-настоящему жить и лихо кровь играла, но два года клубного заведования стали пунктиком, на котором кончался обыкновенный Коростылев и начинался этакий разукрашенный сентиментальностью гармонист и всем на свете радостно пораженный парень с полукрытым ртом.

Количество коростылевских клубных историй увеличивалось, с монументальной постепенностью из них вырастал образ Андрея Витальевича Коростылева, слегка чокнувшегося – у кого нет своего пунктика? – на клубной работе и на всем том, что окружало ее, сопутствовало и даже отдаленно касалось. Признанные редакционные остряки-анекдотчики рассказывали тринадцать коростылевских клубных историй так, что от первой до последней трогательность возрастала почти до скупых мужских слез. Конечно, было весело, когда в редакции появился раздел практической клубной работы – руководитель А.В. Коростылев. Это действительно смешно: «практической клубной работы», – и целых три дня не спохватились, над «практической клубной работой» успели повеселиться досыта. На беду, клубной работой в свои очень отдаленные молодые годы занимался и главный редактор «Зари» Иван Иванович, его первому заму удалось расшевелить какие-то крохотные остатки девичьих песен и звонких тальянок, и в «Заре» появились два или три читательских письмеца с пародийно звучащими в конце двадцатого века заголовками типа: «Клуб на замке» или «Хозяева клуба – мыши!»...

Не забыть сказать, что смех над клубной страстью Коростылева был легким, беззлобным, скорее приносил пользу, чем вред, так как в насмешках непременно проскальзывало: «А он славный, этот самый Коростылев!» А женщины однажды назвали первого зама Душкой, что и стало его прозвищем в дамской части редакционного коллектива... * * *

Рассказывая мне об этом новом прозвище, Нелли Озерова, пришел к которой я все с теми же думами о Коростылеве, от восторга никак не могла расстегнуть тугую крючок на юбке, когда же я ей помог и юбка плавно спустилась к ее загорелым ногам, она поцеловала меня в нос и сказала:

– Ну и везет тебе, Ваганов! На этот раз я даже разочарована.

Сегодня ей полагалось выдать за штучки в «Аквариуме» по первое число в чисто профилактических целях, и я стал глядеть на Нельку так, точно ей вовсе и не стоило раздеваться. Мгновенно почувствовав мой взгляд, она поежилась и злобно крикнула: «Отвернись!», на что я не обратил внимания, а сказал:

– Ты на самом деле глухая деревенщина, Нелька, если Москва придала тебе апломб. Она, видите ли, не только раскусила Коростылева, но и запрограммировала его финал... Вот этого мне еще не хватало: надутых губок и обиженных глаз. Я сейчас научу тебя приличному поведению.

Схватив Нельку, я стряхнул с нее остатки одежды, бросил на застонавшие пружины, мгновенно закутал от подбородка до пят в одеяло и сел плотно, то есть придавил ее к противоположной стенке. Это называлось «разговаривать с куколкой». Я сказал:

– Есть в редакции люди, которые знают, что мы – любовники?

– Есть.

– Так какого дьявола ты каждый раз выстраиваешь насмешливую физиономию, когда упоминается Коростылев? Ну, отвечай.

– А я не знаю, как отвечать... Улыбка сама выстраивается...

– Тогда я тебе объясню, отчего она выстраивается. Ты считаешь Коростылева чуть ли не ничтожеством, что, впрочем, было тобой подтверждено пять минут назад...

– Ну и что из этого?

– А то, что Коростылев – выше на три головы всех моих бывших, настоящих и будущих противников. Я бы мог объяснить почему, если бы твой бабий ум хоть чуточку походил на мужской... Я тоже хочу под одеяло, мне холодно...

Нелька поняла это по-своему: полезла целоваться и обниматься, на что я никакого внимания не обращал – все старался сообразить, а сколько человек из мужской части коллектива относятся к Коростылеву так же, как Нелли, и, видимо, все ее дамское окружение, и нисколько не удивился, когда таких не нашел. У него было весьма и весьма достойное положение. Когда я размышлял об этом, вид у меня, вероятно, был настолько озабоченный и тревожный, что Нелька, пощекотав мое ухо теплыми и нежными губами, прошептала:

– Клянусь! Никаких насмешливых физиономий больше выстраиваться не будет... Поцелуй за это послушную женщину, ты, мужчина... * * *

Когда я уснул, Нелли Озерова бесшумно встала с постели, вынула из пиджака Никиты Ваганова свежий, то есть завтрашний, номер газеты и трижды прочла статью Виктора Алексеева «На запасных путях». Она разочарованно пожала плечами: вот уж совсем непонятно, какой криминал содержится в обыкновенной, довольно сухо и чуть злобно написанной статье? Она, наверное, подумала: «Он прав! Мы, женщины, мыслим совсем по-другому!»

Глава четвертая

Третьего льва в моей короткой жизни я увидел много позже – лет через пять после окончания Академии общественных наук, перед моим назначением на должность заместителя главного редактора «Зари» по вопросам промышленности, то есть вместо Александра Николаевича Несадова, переведенного в газету чисто промышленного уклона, заведующим отделом капитального строительства. Было это в последнюю декаду мая, пока не жаркого, но по-московски пыльного и суетливого. Меня сопровождала Нина Горбатко, мы ехали на служебной машине «Зари» с удобными номерами – чуть ли не сплошные нули – на дачу главного редактора «Зари» Ивана Ивановича Иванова, где я еще никогда не был, хотя приглашали, но я как-то ловко избегал... В армии подполковничье звание – человек носит на погонах с двумя просветами две достаточно крупных звезды, но это всего только подполковник – человек, далекий от полковничьей папахи, как Земля от Марса. Меня назначали одним из заместителей главного редактора Иванова, мне предоставляли множество благ, привилегий и прав, но заместитель главного редактора и главный редактор – это подполковник и полковник. У полковника мерлушковая папаха, у подполковника – цигейковая, у полковника сукно знатно дорогое, у подполковника на мундире – сукнишко. Да что говорить. Главный редактор – это главный редактор, заместитель – это заместитель, и при кажущейся близости они проживают в разных социальных слоях и геологических эпохах.

В тот майский день на дачу главного редактора мы были приглашены по поводу дня рождения Ивана Ивановича, должен был присутствовать и Никита Петрович Одинцов; моя восточная жена на торжество не пошла: возилась с нашей дочерью Валькой – славной, вечно хохочущей куколкой. Провожать меня, естественно, вызвалась Нина Горбатко, тоже званная на день рождения Ивана Ивановича.

Примерно в тридцати метрах от редакторской дачи, на лужайке лежал небольшой аккуратный лев с хвостом, заброшенным на спину, кончик хвоста походил на кисточку для бритвы; лев был ленив и благодушен, но клыкаст, в пустой левой глазнице сидел воробей, отчего лев казался кривым на один глаз и смотрел на меня внимательно: «Вот ты и пришел, голубчик! Где же ты так долго-долго шлялся, когда знал, что я жду тебя, что я давно жду тебя, голубчик?» Действительно, мне казалось, что я давно знаком с кривым львом, ждал встречи с самого детства, как и лев ждал встречи со мной, – интерес обоюдный... Нина за моей спиной сказала:

– Какая отвратительная морда! Ф-рр! Почему его не выбросят?

– Наверное, льва просто не замечают. И ты несправедлива, Ниночка, – лев по всем статьям хорош. Я его назову «львом на лужайке». Знаешь, старушка, по моей жизни отчего-то постоянно шастают львы. Все началось со льва на стене, которого нарисовал неизвестный художник...

Потом я сказал:

– Беда с этими львами, Нина! Будь добра, повнимательнее присмотришься к этому. Ты скажешь: «Хорош!», если дашь себе задание внимательно его рассмотреть.

Она присмотрелась и сказала:

– Хорош!

– Ну вот видишь, а ты хаяла такого славного, доброго льва. Стыдно, товарищ Горбатко,

предельно стыдно!

Я не очень хорошо помню подробности вечера, посвященного семидесятилетию со дня рождения Ивана Ивановича Иванова, хотя в памяти сохранились такие отдельные зрительные картины, что их можно было перенести на полотно. Так вот, вечер на даче Ивана Ивановича мне запомнился не кратковременным присутствием крайне высокого начальства, не речью главного редактора «Правды», не шутками главного редактора «Известий», а самим собой и Ниной, которая была подле меня. Память, точно фотоаппарат, зафиксировала подлый и мелочный момент моего пребывания на даче Ивана Ивановича: я с поднятым бокалом тянусь рукой к бокалу высокого начальства, смотрю ему прямо в глаза и думаю о том, что вот оно, свершилось: бывший мальчишка с улицы Первомайской чокается с сильными мира сего и не испытывает при этом никакого трепета, так как надеется со временем из подполковников стать полковником в мерлушковой папаше. Этот выпуклый зрительный образ соседствует с еще более отвратительным образом моих обрядовых поцелуйчиков с Иваном Ивановичем, когда я произнес короткий, как залп, тост. И полез целоваться к старику, думая при этом: «А ты догадываешься, кто займет твое место? Никита Ваганов займет твое место, старче!..» Память сохранила и зрительный образ моего лобзания с Никитой Петровичем Одинцовым – вот уже этого никто не мог ожидать!

Нина потянула меня за рукав:

– Сядь и не функционируй, добрый молодец! – Она шептала мне на ухо. – Умный же человек, и раньше никогда не высывался...

Правильно она меня осаживала, верно поступала, но судьба распорядилась так, что именно такой Никита Ваганов понравился высокому начальству, проведенному на дне рождения Иванова всего полчаса. Он запомнил меня, стал узнавать на приемах, и, видимо, все это произошло в тот момент, когда я по-русски размашисто целовался с Никитой Петровичем Одинцовым...

Нина шептала мне:

– Дядя тоже расхотелся и пьет – с его-то желудком. Нет, Никита, я сейчас прикрою эту лавочку, мне хоть Разыван Иванович! Сейчас я эту лавочку прикрою...

Она отняла у дяди очередную порцию спиртного, шуганула соседа, который подливал Никите Петровичу, уняла и самого Ивана Ивановича, воззрившегося после этого на меня восторженно: «Какая прекрасная у тебя жена, Никита! Да это сокровище, а не жена». И при этом блаженно щурился и покачивался из стороны в сторону, как при молитве, умильный старикашечка.

– Садитесь лучше играть в карты, – вернувшись из спасательного рейда, сказала Нина. – За картами у тебя, по крайней мере, нет таких голубых жандармских глаз...

– Каких?

– Жандармских. Подхалимажных. Тьфу!

– Неправдочка ваша! Я не подхалим.

– Это тебе только кажется, дорогой!

И здесь наше уединение нарушила толстая тетка, кажется, из Министерства культуры; внушительная тетка из числа друзей Ивана Ивановича. Говорила она густым мужичьим басом, глаза у нее были умные и красивые – на дряблом-то и старом лице. Она трубно сказала:

– У нас с подхалимажем сильно напутали и здорово перегибают! – И, увидев наши пораженные физиономии, басом расхохоталась. – Много подхалимов развелось, добровольных, без смысла и цели подхалимов. Вы правильно заметили, Нина, про голубые жандармские глаза. У Никиты они десять минут назад были именно такими. – Она совсем развеселилась, эта тетка. – По статьям и очеркам Никиты и не догадаешься, что он способен голубеть глазами, – прекрасные статьи, прекрасные очерки! В них читается сто степеней свободы.

– Спасибо, Лидия Витальевна, спасибо! Но неправдочка ваша насчет голубых глаз. Они у меня стальные, ей-богу!

В очках у меня доброе, даже немного детское лицо, таким оно и останется на долгие-долгие годы, и мадам из Министерства культуры, надеюсь, было ясно, что перед нею добрый и умный человек, умный и добрый. Она продолжала:

– Все говорят, Никита, что вы – потенциальный главный редактор. Говорят, что и сам Иван Иванович...

Я перебил:

– Лидия Вита-а-а-а-льевна, побойтесь бога!

– Ладно. Побоюсь. Но ведь вы, Никита, будете прекрасным главным редактором...

Нина мне на ухо шепнула:

– Бежим? Она тебя погубит!

И мы бежали на большую солнечную веранду, где стоял пинг-понговый стол, лежали целлулоидные мячи и ракетки.

Нина села на стол. Она была черт знает как красива, здорова, элегантна. О такой жене или любовнице можно только мечтать...

Нина задумчиво кивнула:

– В твоей жизни может случиться такое, что ты потеряешь все-все... Может! * * *

... Я теряю больше, чем «все-все», я теряю саму жизнь... Но Нина и Нелька ошибались, когда думали, что Никита Ваганов в такой сложной партии, как карьера, может делать ошибочные ходы и терять «все-все». Что за бабские восклицания?! Точно так же, как при игре в пинг-понг, я наносю по жизни удары разной силы и разного качества: косые, прямые, подрезающие, крутящие, вертящие, бог знает только какие! Меня трудно загнать в угол, меня вообще трудно победить, раздавить, уничтожить. И с Сухорукой я еще поборюсь, я еще с ней схвачусь так, что Сухорукая попятится, закутается в туман, зашипит, как гаснущая головешка. Никита Ваганов – это Никита Ваганов и пишется Никита Ваганов... * * *

Я тоже сел за пинг-понговый стол. Из гостиной-столовой доносились праздничный шум и отдельный голос дамы из Министерства культуры. Иногда выплывал и низкий хриплый голос «виновника торжества». Я рассеянно прислушивался.

– Что ты ко мне привязалась, Нинка? Будто я знаю, что будет дальше. Я кто? Бог? Патриарх всея Руси? Главный редактор? Да я простой советский человек...

Трава слева от моего льва была примята, пролегли две широченные колеи, самые широченные: здесь останавливался мощный ЗИЛ, пробывший полчаса.

– Лезет целоваться, а мой дядюшка... Вот уж не представляла дядю целующимся с женщиной!

II

Одновременно со мной, то есть спустя всего два месяца, как-то неожиданно был назначен заместителем главного редактора по вопросам партийной жизни и пропаганды и Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев, не окончивший Академию общественных наук, но воспользовавшийся годами моей учебы для делания карьеры, карьеры, подпорченной периодом заведования отделом соцстран, но, как вы видите, громадной – согласно положению, он был более важным заместителем, чем я, Никита Ваганов. Партийная жизнь и пропаганда... В день назначения Валька Грачев зашел в мой небольшой, но отменно уютный кабинет. На нем был серый костюм и красный галстук, что шло к его бледной физиономии делового американца средних лет и средней зажиточности. Он сказал:

– Ходить будешь подо мной, Никитон! Каштаны из огня будешь носить мне в зубенциях. Алле гоп! Ты никак обижаешься, Никитон?

Я сказал:

– Ах-ах! Они сильно много о себе понимают... На них можно обижаться. Умолкни, тля! Я схамаю тебя, как бутерброд, понял, Грач? У меня школа Сибирска, понял?

– Понял.

– А что ты понял, Грач?

– Что ты меня схамаешь, как бутерброд.

– Правильно! Молодец! Дыши.

В обозримой перспективе, идя курсом на редакторство в газете «Заря», я мог длительно терпеть Валентина Ивановича Грачева как заместителя главного редактора по отделам партийной жизни и пропаганды: у него было чутье, умение схватить, если так можно выразиться, нужный момент в нужной струе. Он разбирался в нюансах партийной работы: знал неизвестные мне тонкости, понимал, куда что направляется и торжественно шествует. А сегодня он мне сказал:

– Смешно, однако, наш спор решается нулево. Вот мы с тобой, Никитон, и заместители главного. Конечно, я важнее, но это мелочь, пузатая мелочь.

Я ответил:

– Задаесси, Грач, много о себе понимаешь. Ох, найду я на тебя управу! Я базис, ты – надстройка, нечто непонятно, Грач?

– Понятно.

– А что тебе понятно?

– А то, что и тебе понятно. * * *

... Мне будет не до шуток, когда чаша весов Судьбы качнется в сторону Вальки Грачева, когда настанет такой момент, что не меня, а его могут вызвать на собеседование, решая

вопрос о главном редакторе газеты «Заря». А я заклинился на редакторстве, я не видел на этой теплой и круглой земле ничего интересного, кроме редакторства, – такая вот околесица, словно нет закатов и восходов, рек и морей, кроссвордов и телевизионных передач «Следствие ведут знатоки». Весь подлунный мир сконцентрировался для меня в редакторстве, и это не моя ошибка, это моя беда, моя беда. Восемнадцать часов в сутки стану я проводить в стенах «Зари», буду работать на износ и разгон, потеряю к чертовой матери здоровье и сон. Никакие снотворные сейчас не помогают мне, никакие снотворные не дают возможности уснуть, забыться, отключиться – эти записи я пишу в четвертом часу ночи, когда под окном уже вжикают метлами дворники и ворчит поливальная машина на моей Большой Бронной. На даче, на моей даче, где лежит лев на лужайке, я теперь совсем не бываю, опасаясь, что «скорая помощь» не придет туда, хотя это бред сумасшедшего. Отчего бы ей не прийти, этой дурацкой «скорой помощи», на мою дачу? Я понимаю, что она придет, но я панически боюсь ВСЕГО. Например, вжиканья метлы за окном, фурчання поливальной машины, света в окне соседнего дома, громадности Москвы, истончающегося месяца, похожего – прав писатель! – на турецкий ятаган. Я всего боюсь, запомните, мой читатель, хотя с Сухорукой борюсь отважно. Весь лживый профессорский синклит придет в изумление, когда я проживу на год больше, чем мне положено по их учебникам и рефератам, они начнут перерывать и перероют всю свою науку о крови, когда я проживу три лишних года, работая и живя, живя и работая. Сейчас на моем столе лежат гранки, не менее двух десятков гранок самых ответственных статей; время от времени я изучаю эти гранки, они завтра-послезавтра превратятся в газетные публикации – нюх у меня на актуальность собачий, будьте уверены, что ни один материал и часа лишнего не пролежит, если он – материал, а не шелуха... * * *

Вальке Грачеву я сказал:

– Ах, бросьте ваших заблуждений! Важно, что мы с тобой члены редколлегии и можем реально влиять на газету...

Он, шкодничая, ответил:

– Не валяй дурака, Никитон!

Вот что нас отличало, меня и Вальку Грачева: он делал карьеру, и я делал карьеру, но при этом я хотел и добивался процветания газеты, что Вальку Грачева совсем не интересовало – он был только и только карьеристом и никогда не делал ничего, если это не способствовало карьере, – голый человек на голой земле. Это не значит, что он работал мало, он работал бешено, жрецом служил карьере, которая в наши дни требует грандиозной самоотдачи. Однако я работал на газету «Заря», а Валька Грачев на карьеру – есть существенная разница, которую бог знает как уловит высокое начальство, от которого будет зависеть все...

– Не люблю твою пафосность! – сердито сказал Валька Грачев. – Можно придуриваться и придуриваться, но не бесконечно же, Никитон. Хочешь реаль?

– Хочу.

– Поздравь меня – и хватит трепаться!

Я ответил:

– Как прикажете, сир, как желаете, сир.

Он еще больше обозлился:

– Да ну тебя к...

– Куда, Валюнчик?

– Туда, где кочуют туманы.

– Понятно! Затаим в душе некоторое хамство. Слушай, Валюн, мне нужна новая хавира, знаешь адресочек?

– Знаю. Красная Пресня. Могу заделать, но без звуков, понял, Никитон?

– Понял.

– А что ты понял, Никитон?

– Что нельзя издавать звуки. А он, любовный лепет?

– Лепет можно. Только без любовного скрежета.

– Что же это получается? Комната в общей квартире? Ну знаешь, дорогой, такого добра...

Он меня перебил:

– Отдельная, отдельная однокомнатная квартира, но за стеной – знаменитый фотокорреспондент гражданин Кригер. Хороший мужик, но шума не любит... Знаешь, Никитон, твоя Нелли Озерова на меня производит неизгладимое впечатление.

– То-то же, карьерист несчастный! Между прочим, у нее появилась чернобровая подруженция, тебе мы можем услужить.

Он родился трусом, жил трусом и помрет – много позже меня – трусом. Валька Грачев как бы рассеянно сказал:

– Да ну ты, Никитон, твои шуточки...

– Хороши шуточки, когда подруженция поливает себя французскими духами.

– Чего?

– Кандидат экономических наук, работает в сфере торговли, некрашенная блондинка, кожа замечательная, талия – сорок шесть, не более. Не будь Нельки...

– Ты нарвешься, Никитон!

– Не пужай, Грач, ты не можешь понять душу тонкого человека. О ты, зловещий эмпирик и вульгарный материалист! * * *

... Я шутил, но дело так и обстояло. Работая только и только на карьеру, он не сумеет сделать из жизни роскошный пир труда во имя благородной цели – газеты «Заря». Ему будет, в сущности, скучно жить, моему другу Вальке Грачеву, и я ничем не смогу ему помочь. Ничем! Он ведь считал, что я всегда придуриваюсь, сам дурак несчастный! А я всю жизнь острил, чтобы скрыть свою глобальную серьезность, – вот какое дело! О моей серьезности можно поговорить отдельно, это тема для разговора, и пресерьезнейшего разговора. Нет, моя внутренняя серьезность – моя добродетель. Можно обвинить меня в семи смертных грехах, сказать: серьезность – свойство глупости, качественная недостаточность человека как мыслящего существа и так далее и тому подобное. Юморить я умею, однако моя способность к юмору ограничена, сам знаю об этом, но не понимаю, где начало моей ограниченности, – это, наверное, и есть предел моей самообороны. Несколько раз в жизни я терял чувство юмора, но только не на «синтетическом ковре» моего диагноза, – слишком часто, кажется, я об этом вспоминаю. Короче, с чувством юмора у меня неблагополучно. Сам себя клянусь за это... * * *

– Не испытывай судьбу! – вдруг пафосно сказал Валька Грачев. – Какие-то икарийские игры...

Я сказал, глядя Вальке в переносицу:

– Не учите меня жить, парниша. На этом кончается мой интеллект... Теперь поговорим за жизнь, Валюн. Ты хочешь, чтобы я шестерил под тобой, – это первый вариант. Второй: хочешь ли ты шестерить подо мной? Все-таки базис, понял?

Он сказал:

– От перемены... Никита, я же просил тебя не придуриваться, надо и границу знать, ей-богу. Хоть пять минут побудь серьезным.

Я и в самом деле сделался серьезным. Он сказал:

– И все-таки ты играешь с огнем, Никита! Иван Иванович Иванов не терпит супружеской неверности. Твой кобеляж тебе выйдет боком – это-то ты понимаешь, легкомысленное существо?

– Ах-ах, сколько слов на одну паршивую мысль! Заткнитесь, Грач, без советов обойдемся... – Он предупреждал меня, он играл в открытую, чтобы впоследствии объявить войну, чтобы спекулировать на моей любви к Нелли Озеровой...

Я сказал:

– Ты отстал от эпохи, Грач, ты от нее безбожно отстал, и ничем я тебе помочь не могу при всем жарком желании. Ты – архаизм. Так веди себя соответственно, помалкивая в тряпочку.

Он бледнел и краснел, он только и только делал карьеру, а его философская эрудиция была так оторвана от жизни, что ее можно было применять только для горстки избранных эрудитов же. Я со сдержанным торжеством сказал:

– Можешь утереться своей эрудицией, а мы как-нибудь проживем Академией общественных наук. Я теорию сдавал на сплошные пятерки. И хватит!

– Чего хватит?

– Дурацкой полемики. Мы были друзьями и останемся друзьями, если не схватимся за бутерброд с маслом с двух концов, понял?

– Ничего не понял.

– Вот оно, абстрактное мышление. Ей-богу, тебя надо переучивать. В чистый лист превратить и переучивать... Кстати, как Ксения?

Он помрачнел:

– Плохо, Никитон! Давление нижнее – сто, кружится голова, ничего не может делать по дому... Думаю отправить ее в Карловы Вары.

– Прекрасно! За чем же дело стало?

... Ксения, жена Вальки Грачева, вернется с известного курорта совсем больной, что-то в ней надломится, и она на долгие годы останется медленной и недейственной; слава богу, дочь Вальки Грачева станет вести его сложное хозяйство, так как Валька в быту сибарит, и крупный сибарит: любитель деликатесов, белейших рубашек, костюмов без единой пылинки, блестящих туфель и так далее. Замашки у него чисто плебейские – вот так история... Я

сказал:

– Ты бы не тянул с Карловыми Варами?

Он ответил:

– Послезавтра уезжает.

... Со своими оторванными от жизни знаниями, больной женой, Валька Грачев, мне тогда казалось, не представлял серьезной опасности. Как я ошибся! И все самонадеянность, переоценка собственных сил, вагановское зазнайство, не знающее границ реальности! Я еще потом хлебну лиха, когда придет пора ждать вызова на собеседование...

... Со временем в Карловы Вары поеду и я, и не потому, что могут чем-то помочь: просто мне захочется пожить в Имперiale, спустаться на фаникулере, стоять на берегу Теплой, наблюдая, как в воде ходят небольшие, но сильные рыбы. Будет и тихо и курортно, у меня хватит времени на мысли, обдумывания, размышления, на арифметические расчеты, сколько я еще протяну на этой теплой и круглой земле. Я успокоюсь в Карловых Варах, найду равновесие, чужая природа знаменитого курорта убедит меня в том, что можно расставаться с миром, полным рек и озер; правда, однажды тихонько заплачу: произойдет это, когда мне попадет на глаза картина Левитана «Вечерний звон». Вот что мне не захочется покидать, каким бы я ни был сверхжелезным парнем... «Вечерний звон» вызывает мысли о бесконечном отсутствии в этом мире, о вечности смерти – это сверхбольно, это трудно пережить... * * *

Между тем жизнь продолжается, я сижу в кабинете с Валентином Ивановичем Грачевым, Валькой Грачевым, и соображаю, на что он годен с его переизбытком знаний партийной работы и работы по отделу пропаганды? Незнание жизни – вот что его подведет в обозримом будущем, так-то вот.

Но надо было кончать беседу с Валькой Грачевым:

– Наше пари продолжается, если ты не возражаешь.

Он ответил:

– Естественно! – И славно улыбнулся. – Мы идем ухо в ухо.

Я рассмеялся:

– Мотри, Мотря!

III

Чувствуете, мне не о чем стало рассказывать, как только я занял, простите, пост заместителя главного редактора газеты «Заря» – так, чепуха какая-то, шиш на постном масле, а все потому, что начались будни, еще более скучные и суровые, чем те, когда я работал литсотрудником промышленного отдела. Тогда я хоть стремился попасть в Академию общественных наук, а сейчас – болото, истинное болото, о котором рассказывать нечего и страшно неинтересно. Все равно что тереть редьку о тупую терку. Ну, я постепенно входил в общество Никиты Петровича Одинцова, становился своим и нужным человеком – так это вещь сама собой разумеющаяся, иначе и быть не могло.

Да, совсем забыл! Мне довелось выступить против валовой продукции промышленных предприятий, как оценки их деятельности, а проще – работы. Статья образовалась огромная, на два подвала, мне пришлось ее подписывать полным титулом – Ник. Ваганов, кандидат экономических наук. Каково! Это в родной-то газете? Но выхода не было, Иван Иванович шутливо сказал:

– Дождусь ли я, когда вы станете доктором наук?

Я ответил:

– Конечно, конечно, Иван Иванович! * * *

... Он проживет долго, я буду редактором «Зари», а Иван Иванович Иванов станет приезжать почти каждую неделю. Старик будет здорово скучать по работе в «Заре», я пойму его тоску и никогда не дам старику понять, что он – лишний. Буду проводить при нем любое совещание или собрание, мало того, время от времени спрашивать:

– Так ли, Иван Иванович?

Расцветая, он станет отвечать однообразно:

– Подкованно... * * *

Моя статья о валовой продукции и о том, что хватит деятельность промышленных и прочих предприятий измерять валом, наделает много разнообразного шума: противников будет не меньше, чем защитников, но победа придет, не сразу, конечно, но будет праздник и на нашей улице, прав же я был в конце-то концов! Иван Иванович меня настырно спросит:

– Везде проконсультировал?

– Иван Иванович, вы ее сами консультировали где только можно. У меня буквально не осталось вариантов. Никита Петрович Одинцов сам бы поставил подпись под этой статьей... Кстати, мы с ним обговаривали каждый абзац.

Иван Иванович по-стариковски негромко рассмеялся. И сказал:

– Да, по вашим статьям босиком ходить нельзя!

– Вот именно! Особенно если статья – украшение газеты!

– Уж так и украшение.

– Брильянт, Иван Иванович, алмаз, Иван Иванович!

– Уж так уж и бриллиант?

– Утверждаю авторитетно. * * *

... Статью обсуждали на самом верху – вот какая получилась петрушка. Правда, меня отчего-то не пригласили, хотя оснований для неприглашения, на мой взгляд, не было, но начальству, ему виднее. Приглашать меня наверх будут часто, как только я стану редактором «Зари», – такой заделаюсь важной персоной, в чем нет ничего удивительного: покорный ваш слуга Никита Ваганов шел в редактора и, как говорится, дошел, чтобы вскоре предстать на «синтетическом ковре» перед профессорским синклитом. Теперь я вам скажу, что пережил диагноз уже на четыре года, что я до сих пор в форме, что собираюсь и дальше бороться с Сухопарой, а также Сухорукой – наименование значения не имеет. Она у меня, проклятая, попятится назад и в тыл – такая вот история человека с нечеловеческой настырностью. Моя

фамилия Ваганов – так и запишите... * * *

Я ходил на работу с четкостью хронометра, я работал чуть меньше суток, я делал все плюс еще немножко, и мной, будьте уверены, были довольны в редакции «Зари», и если случалось важное дело, отправляли меня, а отнюдь не Валентина Ивановича Грачева, то есть Вальку Грачева. Не имея никакого отношения к иностранным делам, именно я поехал на Кубу, потом в Испанию – при самой сложной обстановке – и все сделал так, как велит сам бог, наш господь. Иван Иванович от удовольствия бесшумно, по-стариковски смеялся, говоря:

– И дипломат, и дипломат!

– Рад стараться, Иван Иванович! Во имя «Зари», только во имя родной моей «Зари».

– Мне и патриотизм ваш нравится, Никита!

– Рад стараться, Иван Иванович!

Моя испанская миссия – опять без меня! – обсуждалась на самом верху, и вот здесь я рассвирепел: почему не пригласили? Я же ездил в Испанию, а не Иван Иванович, какая неблагодарность, черт меня совсем побери! Я там так старался, что можно было и пригласить, но – увы. Виноват в этом я сам: написал такую докладную, к которой, как говорится, ни прибавить, ни убавить. И поделом старательному дураку! Не просят – не пиши трактат, вместо записки на четыре с половиной страницы.

Мои добродетели однажды обернутся против меня: случай, когда я перестарался насчет полосы «Народного контроля». Я ее перенасытил проблемами, суждениями, предложениями, да так, что Иван Иванович вызвал меня, не глядя в глаза, начал вещать:

– Хотел бы я знать, кто способен выполнить все аспекты вашей полосы «Народного контроля». Перестарались? Или недомыслили? Спрашиваю: недомыслили?

Я ответил:

– Иван Иванович, вы слишком пессимистично смотрите на вещи. Я все возьму на себя.

– Не глумите, Ваганов! Не надо брать на себя невозможное, чтобы оправдаться! – Он обозлился. – Я вас больше не задерживаю, Никита Борисович!

Это самые яркие воспоминания из тех лет: самые яркие, можете себе представить, а все остальное – будни, обыкновенные будни, даже не суровые будни. Я, правда, немножко поджал хвост после выволочки у главного редактора, я резонно считал, что он, Иван Иванович, здорово будет влиять на назначение своего преемника, но, как покажет будущее, Иван Иванович начисто забудет историю с полосой «Народного контроля», а я, признаться, побаивался его памяти. Ну вот и все, что я могу рассказать об очередном скучном, будничном промежутке моей жизни.

Глава пятая

I

Я не знаю, погубил ли, вознес ли на высоты моего шефа Александра Николаевича Несадова, лишив его места в «Заре». Рассмотрим первый вопрос: за три года работы со мной он до того разленился, обарился и приучился к кайфу безделья, что в конце концов из пяти материалов подписывал три, не читая. Два он читал так – первую и последнюю страницу. Первую он деловито, нахмутив светлые брови, читал с напряжением редакционной коллегии ревизора, последнюю открывал для того, чтобы якобы дочитывать статью при появлении в кабинете любого человека, даже курьера. Сделал его отъявленным лентяем, естественно, я; заместителю редактора однажды не здоровилось – я написал передовую, как-то день и вечер был по горло занят – я же писал передовую, и он, чистоплюй и барин, передавал мне гонорары за написанное, точно егерю за хороший гон. Так было...

Валька Грачев пришел ко мне в кабинет и начал резвиться:

– Никитушка, накатай за меня разгромную статью о работе отдела культуры. – Он шутил, он резвился, но Ваганов есть Ваганов и пишется Ваганов. Я спросил:

– Факты тщательно проверены?

– Все на гербовой бумаге с собственноручными подписями.

– Неси! У меня хоть маленькая, но семья.

Я в этом случае, как и в несадовском, мало интересовался деньгами, а брал Грачева в полон, заставлял бояться меня, поддакивать на каждом выступлении. Ведь голь на выдумки горазда и хитра. Валька выносил горшки за каждым, кто мог о нем отозваться плохо... Выносил ли я горшки за Никитой Петровичем Одинцовым? Да! Единственный, но внушительный «раз». Всю брошюру о лесозаготовках в Черногорской области когда-то написал я, собственной рукой, при праздном сидящем Никите Петровиче: он только иногда подбрасывал мне сверхнужные факты.

Само собой разумеется, деньги за брошюру – и немалые – получил тоже я, но с условием купить себе новый костюм. Ах, ах! Я чуть не сошел с ума, когда услышал от Никиты I, что костюм Никиты II немоден, висит мешком и вообще отжил свой срок. К моему удивлению, он и правда повез меня в один «хитрый», небольшой, до отказа освещенный лампами дневного света магазинчик, в котором, однако, – ого-го-го! Мы купили на гонорар мне серый финский костюм, подлюжины рубашек и такую косметику для Веры, что и я от нее не мог оторвать глаз. Никита Петрович, человек солидный, купил только спиннинг и прочие рыболовные принадлежности.

– Старый костюм – на помойку! – скомандовал Никита Петрович. – И как можно скорее... Будьте добры, покажите-ка вот эту шляпу!

Я завизжал, как поросенок, я наострил лыжи, чтобы удрать из этого самого скучного вещевого лабиринта в мире, но Никита Петрович смилостивился: мы попали в отдел канцелярских принадлежностей, и вот тут-то я озверел! Паркеровские ручки, немецкие ленты для пишущих машинок – запомните, они лучше японских.

Я набил всякой чепухой откуда-то притащенный девушками-продавщицами ящик. Ох, как хороши были фломастеры по семьдесят два в одной коробке! А какие ручки я купил!

О-ля-ля! Девушки вынули из-под прилавка тогдашнюю новость: портативную югославскую машинку «Унис» с добавочкой: «Люкс», и всего – машинка для журналиста никогда не стоит дорого! – за двести сорок рублей. Я онемел. Одинцов посмеивался.

– Беру, беру! Какие есть цвета?

– Красные и черные.

– Красную и только красную!

Счастливым, как младшеклассник, которому купили наручные часы, шагал я за Никитой Петровичем, и сейчас мне было абсолютно ясно, что я стану главным редактором «Зари» – с такой-то машинкой, ручкой, карандашами, ластиками и улыбками Никиты Петровича. Я действительно был первоклашкой, когда набросился на канцелярские товары, и Никита Петрович, как он потом признался, испытывал желание поцеловать меня в лоб и назвать Никитушкой... Я сварливо сказал:

– Мы тоже можем покупать...

– ...даже фломастеры, – добавил Никита Петрович, – папки, блокноты. О-ох! – печатные машинки.

– Это вы от зависти... – уязвил я его, дурачась. – Влиятельные люди, чай, на «Чайках» ездят, а вам и «Волгу»-то дали потрепанную...

Мы сели в машину, я, попросив заехать в спортивный магазин, аккуратно разложил покупки на сиденье, а Никита Петрович, поддерживая мою шуточку, спросил:

– Где, черт возьми, «Чайка»? Может, ее открепили?

Шофер тонкоголосо рассмеялся:

– Вы чего это, Никита Петрович, сами же «Волгу» велели...

– А!

Мы подъехали к спортивному магазину, возле которого стояли человек двести в ровной, тихой, привычной очереди; человек сорок читали, кое-кто отгадывал кроссворды, остальные подремывали.

– Сейчас узнаем, Никита Петрович!

Шофер вышел из машины и тут же вернулся:

– Финские лыжи... – И вдруг зашептал мне: – В очереди будем стоять или к директору...

Я сказал:

– Никита Петрович, а надо бы зайти к директору. Интересно, сколько лыж он оставил «корешкам».

Мы еле протискивались сквозь горы ящиков, я чуть не порвал брюки, но достигли кабинета директора – возле него стояло человек пятнадцать, спрессованные, как кильки в банке. Я, разозленный до черных точек в глазах, тараном пробил привилегированную кашу, не постучав в дверь, громко сказал:

– Товарищ Одинцов, проходите!

Директор магазина, важный, как министр, сразу не узнал Никиту Петровича и поэтому накинулся на меня:

– Извольте выйти. Займите очередь у дверей, если у вас есть записка...

Я в мгновение пригласил в кабинет первоочередного.

– Извините, великодушно, товарищ! Где вы работаете и чем занимаетесь... Перед вами член ЦК КПСС Никита Петрович Одинцов, ну и я – журналист Ваганов!

Не знаю, не знаю, что больше повлияло на директора: «член ЦК» или «журналист» – не будем мелочными.

Никита Петрович отстранил меня, он что-то хотел сказать, но не успел – с приветственным ревом директор бросился к нему, побледнел, затрясся, судорожно поправляя галстук, – он пропал на глазах, этот цветущий человек. Оправдываться он начал так:

– Пришлось разделить очередь на профессиональных спортсменов и на любителей...

– Так где вы работаете и чем занимаетесь, товарищ?

– Товаровед в магазине «Весна», старший товаровед...

– У вас есть записка. От кого она и что в ней написано?

Я прочел: «Игнат! Отпусти ему финский комплект». Подпись была совершенно непонятна, но мы заставили расшифровать ее: Коробцов – директор магазина «Весна». А директор спортивного магазина Усальцев умирал заживо, а член ЦК смотрел на всех как на чудо морское, но потом признался, что знал о сфере неформальных отношений в продуктовых магазинах, при покупке автомобилей, но...

– Милиционера! – распорядился я.

– Да, да, надо пригласить милиционера! – подхватил Никита Петрович.

– Милиционера! Немедленно милиционера!

«Милиционер» вышел из машины, стоящей за черной «Волгой». Он вразвалочку вошел в кабинет и сунул под нос директору такое удостоверение, что у того застучали зубы. «Милиционер» сказал:

– Это не мое дело, извините, Никита Петрович, но я уже позвонил куда надо...

Если «милиционер», естественно, был в штатском, то два вызванных детектива ввалились в полной форме. Они вытянулись и хором сказали:

– Извините, товарищ Одинцов, за опоздание... Мы этот магазин давно держим, но не дают брать.

– Кто?

– Того мы вам не можем сказать...

Гарун аль-Рашид из «Тысячи и одной ночи» не шутил, когда переоделся в рубище. За ночь он узнал о своей стране то, чего не узнал бы никогда от своих визирей и стражников. Мне было больно смотреть на человека, который строил комбинаты мирового значения, но впервые увидел своими глазами, как на улице Горького идет взяточничество, махровым цветом распускается блат. Он не мог смотреть мне в глаза. Я незаметно скрылся в машине, и шофер немедленно сказал:

– Зря вы это! У Никиты Петровича дела покрупнее...

В это время, опечатав кассу и закрыв магазин, вышли веселые милиционеры, за ними согбенно шагал Никита Петрович Одинцов. Он был совсем убит – вялый, постаревший, с опущенными на асфальт глазами. Его можно было и не узнать.

– Куда, Никита Петрович?

– Домой! – И обернулся ко мне: – Поедешь?

– Конечно, поеду. Вам нужен собеседник этак часа на полтора...

II

Шариковая ручка отказывается, автоматические ручки не спускают чернила, как только начинаю писать об Андрее Витальевиче Коростылеве – противнике сокрушающей силы. Я всякие байки рассказывал только для того, чтобы отвлечься, забыть его имя! Имя – Коростылев. Андрей Коростылев звучит как музыка, как грозный – это мне, конечно, мнится – органнй аккорд. И внешне хорош. Все в нем было правильное, нужное, кроме роста, но ведь поговаривают, что люди небольшого роста талантливы и работящи.

Редактор – человек влюбляющийся – все еще переживал медовые месяцы с Коростылевым, наверное, и голоса сверху подливали масла в огонь. А вот мне Коростылев казался легковесным, хотя улыбался и смеялся я, а он серьезничал.

Как заместитель главного по промышленности, я все силы бросил на промышленный отдел: хотелось посмотреть, что они будут делать "с" и «без» Ник. Ваганова. Месяца три я работал на промышленный – очерки, передовые статьи, а потом, «крупно разболевшись», поехал хлебнуть кислороду в Сосны – наш дом отдыха... Вернувшись же через десяток дней, я без очков – острота! – заметил переполох в промышленном отделе. Конечно, немедленно собрал работников и спросил по-иезуитски:

– Что случилось в промышленном отделе, где я зарабатываю деньги?.. – Они молчали, они правильно молчали – в их отделе ничего не случилось, просто некто взял да и уехал в Сосны. – У меня давняя любовь к промышленникам, вот и спрашиваю, что случилось?

Два заместителя редактора сидели в комнате. Веселый и загорелый Ваганов, бледный и расстроенный Коростылев. Я обратился к нему:

– За самоуправство прошу прощения, но, видимо, что-то случилось?

Он сказал:

– Случилось гадкое... Устроена итальянская забастовка. Но будем работать без Ваганова – это написано на каждом молчащем лице...

Я сказал:

– Детский сад! Хамство и беспардонность!

И вышел из кабинета с разъяренным лицом, чтобы забежать в отдел писем, – почему-то казалось, что Нелька еще не вернулась из Сосен: мы решили ехать обратно в разные дни. Ничего подобного, она трудилась, увидев меня, сделала условный знак: «На прежнем месте, через час!» Мне нужно было обсудить с ней вопрос об итальянской забастовке. И мы этот вопрос обсудили – дивное дело! – без споров и ругани. В заключение она мстительно сказала:

– Помолчи еще месяц! Пусть поймут, кто делает дело. Помолчи, ладно, милый?

Последним по возвращении из Сосен я сделал визит, который полагалось делать первым, – предстал перед светлы очи Ивана Ивановича Иванова. Он завопил:

– Ага, голубчик, доотдыхался! Промышленный отдел первый сзади! А! Нет, нет, голубчик, я меняю свое отношение к вашим руководящим способностям. Написать статью – это вы можете, а настроить человека на интересное полотно, воодушевить его – этого, получается, вы не можете... Так получается?

– Простите, белиберда!

– Что вы сказали?

– Белиберда! Когда я взялся – до десятидневного отпуска – за промышленный отдел, появилось три очерка – не моих – и две прекрасных статьи. Не стоит мне выговор делать!

Он до того удивился, что начал заикаться:

– Я-я-я в-ввам не выговор дел-л-лал! Я выг-гг-гова-ривался.

– И тем не менее вы плясали на мне. До свидания!

– Никита Борисович, а Никита Борисович!

Не слушая его, я вернулся в свой кабинет.

III

Во второй раз льва на лужайке я увидел, когда был лично приглашен на дачу редактора «Зари» Ивана Ивановича Иванова, и, конечно, был взволнован: немного поводов дал я Главному для того, чтобы вновь стать его дачным гостем. Вел я себя после ссоры с ним паинькой, вперед нос не высовывал, последних два месяца газета почти каждый день печатала «промышленные» материалы, которые на «летучках» считали удачными. Нет! Что-то хорошее ждало Никиту Ваганова на даче Главного, но повод для приглашения был хамским. Редактор, как оказалось, захотел выяснить, почему я никогда не употребляю спиртных напитков, тогда как в хорошей и дисциплинированной газете «Заря» осторожно, но систематически попивали... Одним словом, я куксился, но через окно льва на лужайке разглядывал охотно: он мне предельно нравился. Хороший такой лев, домашний, добрый, но себе на уме.

– Так, Ваганов! – Иванов с любопытством посмотрел на меня. – Прошу шествовать на веранду пиршества... Прошу покорнейше садиться и отвечать зрело на вопрос, пока моя половина готовит разносолы... – Он расплылся в доброй улыбке. – Почему вы совсем не пьете? Здоровье? Хитрость? Расчет? Или питье, как говорится, под одеялом. Мне нередко приходилось наблюдать ваше помятое лицо...

Я сказал:

– Думаете, вам все прощается? Ля-ля! Будь вы помоложе... * * *

Мне пришлось ловить такси: дача со львом на лужайке находилась далеко за чертой города, но я не только расплатился, еще и бросил таксисту рубль на чай, чего почти никогда не делаю и никому не советую – плебейская и трусливая привычка.

Видимо, здорово взбесил меня Иван Иванович Иванов, если я без тягостных пауз и трагических раздумий отправился сводить счеты со своим родным сыном Костей. Он шлялся по скверу, у нашего дома. Я взял Костю за руку, повел к удобной металлической скамейке.

– Как будем жить дальше, Костя?

– Хорошо, папа!

Я спросил:

– Ты воруешь у мамы деньги?

– И у тебя, только ты не замечаешь. И у дедушки. А что это вы мне даете ломаные гроши?

– Пять рублей на неделю – ломаные гроши! Он – сумасшедший!

– Так нельзя говорить ребенку, папа! У меня может образоваться комплекс неполноценности. Ты еще набегаешься по больницам.

И это говорил ученик школы, еще и не нюхавший жизнь, но прочитавший груду книг безобразнейшего выбора. Мне не хотелось с ним больше разговаривать, хотелось надавать пощечин и подзатыльников, но великовозрастный ребенок Костя сказал бы, что так нельзя обращаться с детьми, – это меня чрезвычайно связывало, хотя я понимал, что необходимо что-то делать. Ведь мой сын Костя, мой бедный Костя, может превратиться на самом деле в неполноценного человека...

– Уходи, Костя!

– Дай денег – уйду!

Мой бедный Костя! Ни лаской, ни криком, ни упрямством искушенного воспитателя – моей жены Веры – не удастся предотвратить неотвратимое; и фатальность этого я понимал, когда выдавал Косте очередные несправедливые рубли. Забегая вперед, скажу, что сам Костя никогда и ни при каких условиях, даже уйдя из дому, не будет считать себя несчастным человеком. Выглядеть он будет оборванцем но здоровым, розовощеким оборванцем и, что странно, будет любить меня и мою жену – такой ласковый тленочек! Особенно он будет дружить со своей сестрой Валентиной. Однажды выяснится, что Костя работает грузчиком в мебельном магазине и зарабатывает побольше академика... * * *

По-прежнему разозленный хамской беспардонностью Ивана Ивановича, я ринулся в редакцию, позвонил заместителю председателя горсовета. Я равнодушно сказал:

– Обещанного три года ждать, но... Единственный из заместителей главного редактора проживает в двухкомнатной квартире на четырех человек, причем двое разнополых детей. И все это у черта на куличках! Как же так, Михаил Сергеевич?

Он в присутствии ему ворчливым и небрежным тоном ответил:

– Никита, все будет сделано! Я готовлю для тебя апартаменты в самом центре. Ты их заработал. Можно встречный вопрос? Какого дьявола ты взялся сам за улучшение жилищных условий? Я проспорил.

– А что?

– Держал пари, что ты никогда не будешь радеть за самого себя.

– Ну, помоги мне, Михаил Сергеевич! С Костей предельно плохо, возможно, центр города

окажет благотворное влияние.

– Ни о чем не беспокойся, Никита Борисович! Привет!

Что мне еще оставалось делать после хамского ухода с дачи всемогущего редактора «Зари»? Свирепеть и функционировать – так и произошло: с ходу я зарезал две почти кондиционных статьи на промышленную тему: переписал целиком свою собственную передовую, но и на этом не успокоился, думая, что совсем не понимаю Ивана Ивановича Иванова, когда мне раньше казалось, что я его вижу насквозь и глубже. Я не собирался с ним мириться, чего бы мне это ни стоило. Никита Ваганов умел писать, делал это блестяще – какие еще могут быть вопросы? Четыре сотни в месяц я всегда заработаю, хоть посади меня в зачуханную многотиражку, хоть пошли в шахтную газету Воркуты. Вот уж там я, кстати, развернусь, небу будет жарко... * * *

Я встретился с Иваном Ивановичем, естественно, на заседании редакционной коллегии, надо было видеть, как робко и искательно ловил он мой взгляд, как дважды и без всякой нужды похвалил освещение в газете вопросов промышленности, как вкусно и звучно произносил мое имя: Никита Борисович. Мой вечный конкурент Валька Грачев ревниво морщился: не понимал, чем я вызвал у главного редактора прилив отеческой любви. Но я принял твердое решение не потрафлять ухаживаниям главного редактора – пусть поищет более важные причины для установления контактов.

... Впоследствии, два-три года спустя, мой конфликт с главным редактором выльется в одну его решающую фразу: «Глубоко принципиальный человек! Бескомпромиссный!», что, конечно, повлияет на назначение Никиты Ваганова главным редактором газеты «Заря»...

Редактор центральной газеты «Заря», заглаживая свою вину, будет делать несколько заходов, неловких заходов, чтобы как-то ублажить меня, но ничего не сделает без участия Никиты Петровича Одинцова. Должен сказать, что к этому времени Никита Петрович поднялся еще выше на одну ступень и никак при этом не изменился – был прост, добр и по-прежнему проигрывал мне в преферансе. Примирение произошло чрезвычайно просто: пришла в редакцию Нина Горбатко, не здороваясь, покрутила пальцем, приставленным к виску, положила ногу на ногу.

Она сказала:

– Или очень хитришь, или играешь дурака! Немедленно мирись с Ивановым! Дядя активно хочет, чтобы ты помирился с Иваном Ивановичем, хотя дядя...

– Что дядя?

– Вот уж кто не умеет рассчитывать... Если быть сверхобъективным, то вы с дядей здорово похожи. Тебе ведь только кажется, что ты умеешь создавать ситуации...

Я сердито сказал:

– Сядь поскромнее...

Отвернувшись друг от друга, мы долго молчали, потом Нина сказала:

– По-моему, дядя видит тебя на месте Иванова. Прямо он не высказывался, но намекал на такую возможность... А ты, дурак, не устанавливаешь контакты с Ивановым! С его мнением при назначении преемника будут здорово считаться. Пойми: здорово считаться! И я уверена, что Иванов вызывал тебя, чтобы хорошенько посмотреть на собственного преемника.

Я, Никита Ваганов, делал карьеру по советам женщины и через женщину: более позорного явления не знаю... Я сказал:

– Плевал, понятно? Не хочу, чтобы ты мной дирижировала.

Неужели Нина Горбатко, такая женщина, не понимала, что эпизод с конфликтом нужно было бы создавать, но Иван Иванович опередил меня. Представляете, подхалим чеховского толка Валентин Грачев и неподкупный Никита Ваганов!

Нина Горбатко ругалась на чем свет стоит, и, если бы не лень, я рассказал бы племяннице, как она не знает жизни и газеты, как далека от повседневности, а еще пыжится, так сказать, «глобулять». Она разорялась необыкновенно долго:

– И эта твоя домашняя рабыня-жена, и эта твоя житейски-сверхмудрая Нелли – дуры одного и того же порядка: они думают, что тебе нужен редакторский пост, а тебе необходимо только и только редакторское состояние. – Она прищурилась. – Ты помолодеешь, покрасивеешь, купишь пару хороших костюмов и... Никита, что мы сделаем еще?

– Купим запонки.

– Ура! Мы купим запонки!

– И носки.

– Боже великий, о носках я не подумала! – Она вскочила. – Мы купим тебе дюжину прекрасных разноцветных и однотонных носков. Причем носки мы будем покупать вместе.

Я развалился в низком кресле, положил ногу на ногу, сделал вид, что изо рта торчит толстая «гавана», рассеянно прищурился. Нина сникла.

– Вот всегда ты так! – сказала она. – Топишь все светлое и прогрессивное. У, прагматик!

... Меня любила, любит и будет любить почти по шариату жена Вероника, меня по-своему любит Нелли Озерова, но такую любовь ко мне – любовь платоническую – я получил только от Нины Горбатко, и незадолго до моей смерти она, наверное, шепнет уже лежащему Никите Ваганову: «Спасибо!» Два человека поверят и поймут, что мы не любовники: моя жена Вера и Никита Петрович Одинцов...

– Сама купишь мне носки, – сказал я. – И не дюжину, а всего две пары... Думаю, на этом твоя покупательная страсть удовлетворится...

Я пошатнулся, схватился за грудь; перед глазами покачивался океан, словно консервная банка, набитый креветками; верхняя часть океана казалась расплавившейся; что-то кричало прямо в мое лицо, но слов в крике не было, и потому это мог быть и волчий вой... Очнулся я на диване с перевернутым надо мной лицом Нины. Я просительно и нежно произнес:

– Нина, милая, об этом нельзя рассказывать никому. Твоему честному слову я поверю! Даешь честное слово?

Бледная и дрожащая, она ответила:

– Даю слово! * * *

... Я должен умереть и умру... Хотя врачи впервые мой диагноз назвали смешным по звучанию словом, им самим, казалось, непонятным. Я немедленно прочел все книги и учебники и теперь приватно знаю о болезни все. Любое мое слово – даже нечаянное – приобретает реальный вес исповеди, и не потому, что мне нечего терять, а потому, что все рассказанные мною истории имеют неизвестный мне конец. Где здесь причины, где следствия – мне и самому не очень понятно, но главное в том, что я все равно не добьюсь даже маломальской степени объективности. Человеку хочется казаться лучше, чем он есть

на самом деле, и вот я с прискорбием обнаруживаю, что, умирая, пытаюсь рисовать портрет совсем не того Никиты Ваганова, который существовал на белом свете...

Глава шестая

I

Вы меня спросите, где рассказ о редакционных страстях, где борец направлений в области публицистики или, скажем, очерка, где развертывающиеся под эгидой заместителя редактора по промышленности взрывы, находки, скачки вперед? Вместо всего этого я вас пичкаю амурными похождениями, ссорами, недоразумениями и прочей дребеденью. Неужто, подумаете вы, ему опять скучно до того, что зевота сводит рот клещами и не хочется смотреть на свет белый? Не остановился ли Никита Ваганов в своем стремлении вперед и вверх, не поверил ли в то, что центростремительная сила сама поможет одолеть последнюю ступеньку – стать редактором «Зари»? Вот уж и нет! Более напряженной жизнью, чем в эти дни, я жил только тем весенним утром, когда точно узнал об афере с древесиной в Сибирске. Теперь я ложился спать с мыслью: «Как и что делать?», спал с этой же мыслью, просыпался: «Как и что делать?» С конца сосновой ветки свисали елочными игрушками «Как?».. «Что?», дымок автомобильного выхлопа завивался «Как? и Что?», разноцветные таблички над дверями темного кинотеатра маячили: «Что?» и «Как?», на газетной полосе употреблялось столько этих вопросов, что я сатанел и не мог внимательно читать материал – мне уже деликатно указали на невнимательность, а я словно не слышал, ополоумев и озверев от напряжения. Еще не было никаких признаков ухода Ивана Ивановича, еще газета «Заря» цитировалась на всех углах и перекрестках, но – готов дать голову на отсечение – призрак ближайшего падения витал над фронтоном здания редакции, залегал горькими складками на мордах гранитных львов, и, честное слово, львы казались меньшими, чем были на самом деле.

Очередной ночью я медленно проснулся, открыл глаза так легко, словно и не спал; прижатый к стене Верой, чувствовал себя как бы невесомым, сквозным, до стеклянности прозрачным – это было блаженным состоянием, но, повторяю, не было сном или продолжением сна. Я подумал: «Беда в остановке!» И сразу все сделалось до смешного понятным: такой сложный многообразный организм, как редакция «Зари», пока еще незаметно для других топтался на месте, изобретал изобретенное самим собой, пестовал себя своими прелестями с превеликой нежностью.

– Запеленались и баюкаемся!

Мгновенно проснулась Вера, и это было то самое просыпание, когда при самом легком шевелении ребенка просыпается мать, которую только что не разбудил взвод танков, прогрозивших под окнами с беспорядочной пальбой. Повернувшись ко мне жарким телом, она спросила:

– Болит голова?

С таким же успехом она могла поинтересоваться, болит ли живот, не ломит ли поясницу, не разболелся ли коренной зуб. Бог мой! Любимый неверный муж, двое детей, еженедельные письма матери: «Слушайся Никитушку...», вечный бедлам московской школы, невозможность

добиться правды в школьных коридорах и учительских – образовалась, самовоспиталась образцово-показательная жена, без которой этот мир оказался бы пустым, как луна, но что могло быть скучнее жены, спрашивающей тебя ночью: «Болит голова?» И сколько надо воли, чтобы желчно не шепнуть: «Спи, черт тебя побери!»

– У Никиты Ваганова голова не болит! – сказал я. Теперь мне уже казалось, что торможение газеты я чувствую давно, сам вместе с нею сделался замедленным и стареющим, распухшим от почестей и похвал, как грудь ветерана от орденов; холодок остановки делал сухим сердце... Моя жена Вера снова спала тихо и мирно, как дисциплинированный ребенок в пионерских лагерях: на спине и с руками, сложенными на груди. А я знал, что не усну: в такие ночи не спят; ходят по комнате, курят одну сигарету за другой; чело нахмурено, зубы стиснуты – одним словом, классическое зрелище: человек, принимающий самое ответственное решение в своей жизни. Неплохо также, если позади, шурша шелковыми плащами, при шпагах, разгуливают адъютанты. То ли Аустерлиц? То ли Ватерлоо?.. Я чувствовал неестественность и натянутость собственного юмора: все-таки это нездоровая картина, когда взрослый, рано седеющий мужчина просыпается среди ночи и не то грезит, не то живет более полнокровной жизнью, чем днем.

Прошедши в ванную, сбивая пену для бритья – четвертый час ночи! – я разговорился с зеркалом: еще один признак невменяемости. Малосимпатичный шатен без очков смотрел на меня откровенно-подозрительно, скривив губы и надменно подняв подбородок.

– Ну? – спросил я малосимпатичного шатена. Он ответил распространенно-охотно:

– Пошел – иди! Стоило стоять на сквозном ветру, разговаривать мысленно с Мазгаревым, чтобы потом не знать, отчего тебе не подали руку?

Он продолжил:

– Все началось с той минуты, когда Мазгарев не подал тебе руку!

Зеркальный Никита Ваганов подмигнул:

– Не путай причину и следствие!

... Чем ближе я оказываюсь к «синтетическому ковру», тем меньше иллюзий остается насчет прелестей и радостей этой серой, в сущности, вещи – жизни, тем больше нагнетаются скрытые гнев и неприязнь к земному существованию, и тем более – вот что особенно странно! – томит жажда этой самой презренной жизни... Может быть, это происходит оттого, что растет уверенность: не может же быть в конце-то концов все так серо и буднично, что именно за кажущимися серостью и будничностью скрывается доступный взору не каждого остров с зеленой травой, яркими цветами и голубыми облаками, плывущими так быстро, как вращается ваша карусель. И все небо в алмазах. Как бы все упростилось, знай человек точно, чего он хочет! Убежден, что если человек не амеба, он не может желать просто денег, просто славы, просто власти. Что-то еще скрывается за всем этим, что-то большее – значительное, если хотите – биологическое. «Человек не живет – человек выживает!» – это так старо и банально, однако я откровенно подумал, что биологической системе «Никита Ваганов» на роду было написано выживать именно в такой последовательности, в какой складывалась моя биография и как я сам СОЗИДАЛ себя, повинувшись опять же силам биологического выживания. Биология делала меня, я делал свою биологию, общественные силы корректировали наличием ограничений в человеческом обществе – социальное благодное равновесие... * * *

Наутро я забрел как бы ненароком в кабинет Вальки Грачева. Он удивленно воззрился на меня, затем многозначительно приподнял левую бровь и звучно щелкнул себя пальцем по горлу. Значит, вид у меня был – краше в гроб кладут. Под глазами синяки, нос заострился и

потел под дужкой очков, губы отливали синюшностью, а главное – под стеклами очков – стеклянные же глаза. Типично похоронно-похмельный вид. Валька Грачев сказал:

– Позвонить в поликлинику?

Я ответил словами и тоном родной жены Веры:

– Болит голова?

Против окон кабинета Вальки Грачева вертел глупой страусиной головой башенный кран, здесь второй год строилось еще одно здание редакций, редакций журналов, приложений, путеводителей, реклам, и огни сварочных агрегатов, должно быть, делали мое лицо совсем мертвленным. Сдерживаясь, я сказал:

– Я не поеду в командировку с Главным – это во-первых! Во-вторых, я отказался от содоклада и предложил твою кандидатуру на совещание. А в-третьих, Валька, я кончился раньше, чем начался. Так что тебе я не соперник... Алле гоп!

Он смотрел на меня с беспокойством, сочувствием и легким испугом, рука продолжала лежать на рычаге телефона местной связи, по которой можно было позвонить в ведомственную поликлинику. Чего я ему только не нагородил: командировка, содоклад, сдача на милость победителя! Человек с менее устойчивой нервной системой, чем у Вальки Грачева, давно бил бы во все колокола, а этот все еще приглядывался, приносивался – темная лошадка Ваганов! Странного в этом ничего не было. Слишком хорошо знал меня Валька Грачев, чтобы по крайней мере не насторожиться, и все-таки он надеялся на праведные синяки под моими глазами и синюшные губы.

– Я провожу тебя в поликлинику, Никита! Встали – пошли!

«Встали – пошли, пожалуйста!» – я внутренне посмеивался тем сомнениям, которые испытывал мой старый заклятый друг. Будьте уверены, я-то уж не пошел бы с Валькой Грачевым в поликлинику, если бы он даже грохнулся в обморок возле моих ног: сто раз подумал бы, для чего это ему, классному теннисисту, понадобилось? Другое дело, когда он подкатывался мне под ноги, чтобы я оказался на собственной футбольной площадке. «Валька, я кончился раньше, чем начался!» – расскажите это вашей маме, всю жизнь проторговавшей билетами...

– Сейчас тебя примут, Никита! Только выйдет больной... * * *

– Легкий катар верхних дыхательных путей, – сказал пожилой врач и, подумав, неуверенно добавил: – Желательно снять нервное перенапряжение...

Вновь поездка в уютные Сосны, крохотный отдельный коттедж, куда беспрепятственно вхожа Нелька, а главное – думание, думание, думание: предсказать и взвесить, напроорочить и рассчитать, разглядеть ближайшую линию фронта и расставить в единственно возможном порядке пушки. Так острил я, изучая дрожащую руку пожилого, неуверенного в себе врача, породы людей, мне непонятных и, как всегда это бывает, неприятных непонятностью. «Желательно снять нервное напряжение!» – стоило для этого коптить шестьдесят лет небо, чтобы все-таки не знать: желательно или нежелательно? Между прочим, количество нерешительных людей плодится, так как двадцатый век с его скоростями и ускорениями заставляет принимать все большее количество непредвиденных решений, и не миллионами исчисляются те люди, кто в полном вооружении встретил век молниеносных решений. Тихая полуулыбка, затуманенные глаза, обмякший рот – знакомая картина на фоне летающих спутников Земли... Было интересно, поджидает ли меня в больничном коридоре Валька Грачев. Врачу я жалобно сказал:

– Нужно снять нервное перенапряжение! Непременно!

И через минуту, размахивая бумажкой в фиолетовых печатях, я вышел в коридор, где меня бдительно ожидал чуткий и отзывчивый товарищ Валентин Иванович Грачев, то бишь Валька Грачев. Он сразу понял и про Сосны, и про то, что я сам атаковал нерешительного врача, и что мне все это зачем-то понадобилось. На лице Вальки я прочел: «Увидел, раскусил, но не ведаю, к чему разыгрывается вся эта комедия?» Я на его месте – Валька менее темпераментен – при виде бюллетеня с сиреневыми печатями вообще объявил бы общую тревогу и, как выражаются пожарники, сбор всех частей. Я подлил масла в огонь, сказав:

– Да и да! Страсти в разгаре, а я... Меншиков в Березове.

Не мог же он, черт возьми, не поверить бюллетеню, которым я размахивал, как флагом! И все-таки считал происходящее игрой, им пока не разгаданной и, значит, тем более опасной, и было видно, как тяжело Вальке Грачеву думается: на лбу набухла и змеилась красная жилка, а мне было легко, очень легко и даже нос под дужкой очков не потел.

– Спасибо, Валюн, за внимание, – тепло проговорил я и обнял товарища за жесткие плечи прирожденного спортсмена. – Без тебя бы я совсем растерялся... Сниму нервное напряжение!

– Тебе известно, Валюн, – прежним тоном произнес я, – что фаворитами не становятся, ими рождаются?

Он откровенно-настороженно следил за мной, и я был вынужден, как это ни забавно, произнести мысленный панегирик в свой адрес: «подающий надежды», «перспективный», «постоянно растущий», «ищущий», «талантливый», «обладающий неповторимым стилем» и все такое прочее, что давным-давно растаяло, как утренняя розовая дымка, сладостная и этим слегка печальная... И очень скоро на «синтетическом ковре» смертного приговора я подумаю, что только жизнь повинна в рассеивании грустной розовой дымки – она, представляете, движется, эта самая жизнь. Как хорошо быть лейтенантом! Нет, на самом деле, как хорошо быть лейтенантом!.. Тяжелые и большие звезды навешивали на мои погоны... «Крепкий руководитель», «человек действия», «перспективная личность», «общественно полезный ум», «вожак масс» – каких только эпитетов не набросают люди постепенно в мой адрес... * * *

– Фаворитами не становятся, ими рождаются!

Нет ошибки большей, чем уверенное ожидание неременной удачи; такая же крупная ошибка – постоянная настороженность, когда опасность мнится даже в самом ярко освещенном месте и, как всегда, не там, где может возникнуть. Кажется, это круг, выход из которого один: самому создавать ситуацию.

Искусство создавать ситуацию – это искусство опережать хоть на мизинец события, какими бы они ни были: позитивными или негативными.

Короче, я рвался в бой, предчувствуя, что это последний серьезный бой в моей жизни, что после него кривая круто пойдет вниз..... Так круто, что ниточка ее оборвется возле «синтетического ковра» Центральной клинической больницы...

II

В Сосны я приехал пораньше, чтобы сразу искупаться, а потом поиграть в теннис. Тройка

неопасных тучек шлялась по небосклону, солнце освещало деревья по-шишкински; слоями песочного торта залегали земные отложения, камыши важно кивали, хотя ветра не было, по песчаному дну речушки перекатывались энергичные, как шарики ртути, мальки; один из них, побольше, уставился на меня типично рачьими глазами с рачьим же вопросом: «Смотришь?» Было, честное слово, хорошо, как на другой планете, и я, конечно, по первому плану подумал: «Вот где настоящая жизнь!», и тут же устыдился самого себя. «Черт знает что делается!» Мой шофер уже купался и фыркал, как лошадь. Я барахтался в воде бесшумно, нырял до боли в глазах, переплыл туда-обратно реку, ориентируясь по ветлам на берегу. Когда уехал шофер, перегрузивший из машины в мою комнату семь годовых подшивок газеты «Заря», я распаковал вещмешок с теннисными принадлежностями, счастливый тем, что в Соснах никто не знает Никиту Ваганова, небрежной теннисной походкой направился на корт. Мне выпало играть с мужчиной лет на пять старше, однако он внешне был в такой форме, что мог позавидовать сам Валентин Иванович Грачев, то бишь Валька Грачев. Мяч просвистел и гулко ударился о корт...

Я выиграл три сета, изнуренный, трудно дышащий, но безмерно счастливый, сказал партнеру такое, за что десятью минутами позже по-черному ругал себя, но сказанного не вернешь. Сжимая руку партнера, не в силах сдержать улыбки торжества, я проговорил:

– Вы сами не знаете, что сейчас для меня сделали. Я выиграл больше, чем партию. Спасибо!

Никаких суеверий и – полная голова суеверий! Я загадал на выигрыш, выиграл, и теперь уже ничто не могло остановить мою изощрявшуюся годами мыслительную машину. Купание, теннис, прогулки – все побоку, вся жизнь направляется в одно русло обдумывания сегодняшней и дальнейшей судьбы моей любимой газеты «Заря», подшивку которой за целых семь лет я «временно позаимствовал». Все учесть, предусмотреть, проанализировать, ничего – ну абсолютно ничего! – не пропустить.

Я занимался только мартом первого анализируемого года, когда двери в коттедж вкрадчиво открылись, ко мне медленно-медленно подошла Нелли Озерова – моя любовь. Нелли тихо спросила:

– Делаешь карьеру через племянницу Одинцова?

Трудно поверить, но эта маленькая женщина ударила меня так, что я свалился со стула, а как только поднялся с чернотой в глазах и колокольным звоном в голове, словно издалека услышался новый вопрос:

– Пропадаешь у нее на квартире? Ну нет! Я тебе не Вера!

И новый удар, буквально ошеломляющей силы, да такой, что на этот раз я с полу не поднялся, лежал, постанывая, а Нелли бабьим движением села на стул, пропустив его для этого между ног, подбоченилась и стала разглядывать меня точно так, как утром меня разглядывал головастик: «Смотришь?» Я подумал: «А как выходят из подобных дурацких положений?» Естественно, ничего придумать не мог и только саркастически улыбнулся, точно хотел сказать: «Вот видишь, лежу на полу. Боюсь, как бы под глазом не вспух синяк!»

– А ты чего хотел? – по-прежнему воинственно отозвалась Нелька. – Мне на твои большие чины – плевать! Ты мне нужен, и не частями, не частями, голубчик!

Наконец мне удалось рассмеяться. Это при мысли о том, что с Ниной Горбатко у нас любви не вышло и что скорее виновным в этом был я, а не Нина. Господь бог так устроил Никиту Ваганова, что суждено ему было любить двух женщин, причем одновременно любить, а на большее природа, такая щедрая ко мне во всех других отношениях, не пошла, и, признаюсь, я не сетовал, видит бог, не сетовал.

– Больше не будешь драться? – спросил я.

– Сегодня... не буду! Но запомни, голубчик, со дна морского достану, если фокусы повторятся... Вставай! Кому говорят: вставай.

Стоило всю жизнь ломать копья и быть самым Никитой Борисовичем Вагановым, чтобы под насмешливым взглядом собственной любовницы – любовницы длиной в жизнь – по частям подниматься с пола! Да на такие вещи распрекрасно годился и слесарь дядя Петя, периодически вытаскиваемый ревнивой женой из дома дворничихи Кати. Надбровная дуга болела, я осторожно пощупал ее и сказал:

– В данный текущий момент я раздумываю об относительности величия. Выводы неутешительны! – Я расвирепел. – Да ты понимаешь, чудовище, что у меня под глазом вырастет фингал?

– Припудрим. Есть тон цвета загара.

Она вдруг совсем изменилась. Стройные ноги в брюках вишневого цвета целомудренно были сжаты в коленях, покатые и даже на взгляд мягкие плечи покорно опущены, глаза устремлены долу – не хватало только ладошек, чинно сунутых между коленями. Абитуриентка на собеседовании. Я сказал:

– Свою задачу ты выполнила добросовестно, но теперь тебе придется уехать... – И опять не выдержал: расвирепел. – Ты думаешь, я ради Нины Горбатко уединился в Соснах! Пожалуйста, отчаливай...

Мои записки отличаются тем же недостатком, каким и все записки такого рода, – в них не вмещается и миллиардная доля мыслей, которые хочется высказать, в них – космическая пылинка тех наблюдений, которые мог бы я поведать читателю. Я, кажется, предельно много писал о женщинах, но до сих пор – вы это сами понимаете! – не сказал о них ни слова. Что известно о Нелли Озеровой? Не умеет писать, смазлива, приспособленка, расчетлива, любит Никиту Ваганова, а вот я вам сейчас расскажу о такой Нелли Озеровой, которую вы не узнаете, да и я, признаться, буду поражен открытием. Нелли сказала:

– Об отчаливании не может быть и речи... Начинается передача «Хочу все знать!». Ну! – добавила она. – Ну?!

Каким чутьем надо было располагать, какой интуицией, чтобы действовать так уверенно! Мгновенно взяла короткий отпуск без содержания, бросила на произвол своего «господина научного профессора», ныне, как частоколом, обнесенного учеными степенями и званиями, примчалась в эти самые Сосны, расправившись со мной за мнимую измену, окапывалась в коттедже, как в долговременной огневой точке.

– Купался?

– Купался.

– Играл в теннис?

– Играл.

Она наклонилась ко мне и притронулась пальцем к брови.

– Никита, синяк все-таки... Нет ли медного пятака?

Я оттолкнул ее:

– Дура! Медные пятаки, настоящие, кончились вместе с царским режимом. И вот что, голубушка, тебе все-таки придется уехать! – Я торжествующе подмигнул. – Ножками по тропке и этак – автобусом!

Как раз в это время она вынула из сумочки коробку спичек, чиркнула, прикурила. Под сердцем заняло, грудь опоясала волна нежности, благодарности за возможность прошептать: «Ты велела, я сделаю!..» Я придвинулся к живой, сегодняшней Нельке, щекой потерся о ее бархатную щеку... Возможно, во сне нашей последней любовной ночи я проговорился о том, что газета «Заря» давно остановилась, что мы не движемся вперед, а поедаем самое себя, что под румянами бодряческого лица «Зари» скрывается начинающая дряблеть кожа; вполне возможно также, что все эти мысли я высказывал и наяву, давно привыкнув при Нельке мыслить вслух. Какое все это имело значение, если Нелли Озерова поняла, что в жизни любимого человека наступал такой ответственный момент, когда его нельзя было оставлять одного. Нелька сказала:

– А теперь ты мне все подробно расскажешь...

– Хорошо. Я все расскажу.

Мой читатель должен знать, что не все тайны моей любимой газеты «Заря» я могу ему доверить, хотя, кажется, какие тайны могут быть у печатного органа, читаемого миллионами. И все-таки мое перо связано, и связано крепко. Газета тесно сопряжена с народным хозяйством – подспудное течение дел газете известно более, чем читателю; газета отражает, корректирует и направляет жизнь – читатель не знает и сотой доли социальной перестройки. Есть и еще одна святая святых в работе каждой крупной газеты: социологические исследования, отражающие отношения газеты с самим читателем. Спрос, читательский возраст, партийность, чтение по интересам и так далее. Все это сведения закрытого порядка, и только поэтому о дальнейшем я расскажу скороговоркой.

– Я избрал самый простой путь, Нелька! – сказал я. – Решил досконально изучить подшивку газеты за семь лет. Чудо, что это раньше никому не пришло в голову, но уже в начале первого года я обнаружил статью сегодняшней свежести. Причем ее можно считать гвоздем номера! Каково?

Она деловито сказала:

– Мы можем работать сообща. Ты читаешь левую полосу, я – правую, и не думай, что моя память короче... Дай-ка я полистаю подшивку... Минуточку, минуточку! Ты имел в виду свекольную проблему? Ну, вот видишь, чего стоит твоя Нелька!

Мы начали работать сообща, на следующий день мы искупались, но не играли в теннис, днем спуская и не купались, и не играли – мы не вылезали из коттеджа, спали по шесть часов, любовью не занимались совсем, а только заполняли мелкими словами и четкими схемами четыре толстые тетради, купленные специально на железнодорожной станции Сосны. Все мои предположения и предчувствия оправдались: газета, как слепая лошадь в молотильном колесе, ходила и ходила по кругу. Я сказал:

– Вот такая разблюдовочка!

Нелька ответила:

– Н-да! Дела и делишки!

Мы полувопросительно-полусмущенно улыгнулись друг другу, так как еще вчера, за сутки до окончания работы, временами чувствовали неуверенность и связывающую робость, хотя никто из нас не мог бы объяснить, где была зарыта собака. Почему движения становятся все

более вялыми, отчего шариковые ручки уже сами не бегут по бумаге, отчего листы подшивок не шуршат уже грозно, а шелестят? И мы все чаще останавливались, все чаще бесцельно смотрели по сторонам, чтобы потом вновь пересилить себя и приняться за работу. Я не очень понимал, что именно делать, хотя подумал: «Теперь надо запускать машину!»

Нелли Озерова сказала:

– Черт знает какая пустота!

Точнее, пожалуй, выразиться было нельзя: звенящая пустота светилась во мне, когда я держал в руках четыре густо исписанные тетради; я был более пуст, чем воздушный шарик, легче дыма, бездумнее гранитной тумбы. Слишком большую и сложную операцию произвели мы с Нелькой над любимой «Зарей» для того, чтобы оставаться и трезвыми и думающими, а главное – чувствующими, но стриптиз не прошел даром, стриптиз газеты выжал нас до ниточки, опустошил до изнеможения и неспособности к думанью. * * *

... Перед профессорским синклитом последний день пребывания в Соснах я вспомню, как вспышку острой боли, а себя и Нелли Озерову увижу, как двух маленьких, мелких мстительных воришек – к тому же еще трусливых воришек, не знающих, что делать с бесцельно награбленным... * * *

– Что будем делать? – с тихим испугом спросила меня Нелли Озерова, осторожно кладя на кровать одну за одной тетради. – Ты умнее меня. Ты должен знать, что с этим делать. – И так как я тупо молчал, повысила голос: – Ты это начал делать – должен же ты знать, для чего делал?

– У меня разламывается голова! – пожаловалась Нелька.

И произошло чудо. Загрохотали доски крыльца, наотмашь откинутые, стукнули двери, раздалось сопенье, кряхтенье и чертыханье; в комнате потемнело, точно от грозовой тучи, стало горячо – это явился живой и здоровый, во всей красе своей могучей плоти Боб Гришков. Казалось, две арбузные доли присобачили к щекам, маленькие пороссячи глазки пели: «Красотки, красотки, красотки кабаре!» И в руках он держал портфель, который был вечен вопреки всеобщей тленности мира; в портфеле, конечно, позвякивало и побулькивало, пахло из портфеля, как всегда, чесноком и застарелым сыром.

III

– Вот вы где окопались, оглоеды! – трубно прокричал Боб Гришков, и мне на мгновение показалось, что закричало все то, что я всегда чувствовал в самом Бобе Гришкове, за его спиной и впереди него; сейчас все это воплотилось в небольшой островок земли по имени Сосны. «Вот где вы окопались, оглоеды!» – протрубил Боб Гришков, и это было не только его открытием. Меня и Нельку, бледных и отупевших от газетных подшивок, нашла река, в которой я только два раза искупался, обнаружили деревья, под которыми мы ни разу не полежали, отыскиали пески, похожие на слоеный торт. Нас нашла жизнь – и не придумаешь мысли банальней, но и точнее. А какой контраст, какой контраст! Мы – согбенные и растрепанные, Боб – свободный, брызжущий весельем, распахнутый, то есть застегнутый всего лишь на три брючные пуговицы. Можно было представить, как он схватил в кассе Аэрофлота первый попавшийся билет – Москва или Ленинград, какая разница? – заигрывая со всеми подряд стюардессами, еле втиснулся в самолетное кресло, подмигнув, показал соседу на раздувшийся вечный портфель. Он не переставал пить – легко, умело, беспохмельно, весело для окружающих, пить так, что самый строгий блюститель нравов не

мог упрекнуть его в пьянстве: «Выпивает! Любит опрокинуть стаканчик! Жизнелюб!»

– Похороны по первому разряду? – потешно спросил Боб Гришков. – Проиграли финальный матч канадцам? Слушайте, я хочу с вами общаться. Я хочу петь и смеяться, как дети. Эй вы, упыри!

... Верша суд на самим собой, откладывая в одну сторону белые шарики, в другую – черные, я буду вспоминать прожитую жизнь совсем не в такой последовательности, как может показаться читателю этих беглых, путаных и порой невразумительных заметок. Да, я подставил под удар прекрасного человека Егора Тимошина; да, я сыграл на благоприятной конъюнктуре, сложившейся на лесозаготовках Черногорской области; да, я сумел стать приближенным лицом Никиты Петровича Одинцова; да, я доказал, что последние семь лет газета «Заря» топчется на месте, но ни один из этих черных шаров не брошу первым на весы моей обреченности, на скорое угасание жизни. Сейчас, сегодня я не решаюсь называть имя черного шара, так как это и для меня страшно...

– Проклятый трезвенник! – ворчал Боб Гришков, не глядя в мою сторону, но с надеждой косясь на Нелли Озерову. – Дураку известно, что вино создано для того, чтобы его пить... Ах, какой умница его придумал!

Из вечного портфеля извлекались богатства. Килька пряного посола, названный уже застарелый сыр, твердокопченая колбаса, плавленый сырок, шмот явно деревенского сала, совершенно еще свежий пшеничный хлеб, громадные помидоры и крохотные огурцы. Все это на свет божий извлекалось медленно. Великое блаженство было написано на лопающемся от здоровья лице Боба Гришкова, человека, первым выболтавшего мне подозрения по утопу леса на реках Сибирской области и, конечно, не предполагавшего, что можно извлечь из этого знания.

– Я очень надеюсь на тебя, Нелька! – обеспокоенно проговорил Боб, разложив по всему столу свои богатства. – Если ты не выпьешь со мной, произойдет землетрясение в Чили, а ты бы ведь не хотела еще одного несчастья многострадальному народу... – Он разбросил в стороны руки, сладко потянулся. – Эх, ребятки, как хороша эта жизнь, за исключением Синей Лошади! – Он спохватился. – Боже, да они не знают, кто такой Синяя Лошадь? О, в таком случае вы просто ничего не знаете. Синяя Лошадь – это Синяя Лошадь. Во! Они ничего не поняли...

Выяснилось, что примерно полтора года назад заместителем редактора газеты «Знамя» стал некий Аксюткин Николай Григорьевич – человек внешне тихий, незаметный, вежливый; бывший редактор газеты соседней области. Ровно полгода Аксюткина не было ни слышно, ни видно, ровно полгода он на летучках и собраниях забивался в угол и преспокойно помалкивал. Потом начались события – около семидесяти процентов газетных материалов всех отделов пошли через кабинет первого заместителя редактора, и начала работать на полную мощь адская кухня, хотя на первый взгляд ничего особенного Николай Григорьевич Аксюткин не совершал – он обсуждал материал, лежащий перед ним на столе. Боб Гришков потрогал рукой воображаемые страницы, мечтательно откинувшись, с клокотаньем в горле проговорил:

– Преамбула вашей статьи оставляет желать лучшего, констатирующая часть посильнее, но нуждается в некоторой расшифровке. Что касается нагнетающей середины, то ее следует выстраивать по преамбулической части. – Боб Гришков пожевал губами и совсем низко опустил подбородок. – Чего бы нам с вами хотелось, коллега? Естественной гармонии всех трех частей, иными словами – триединости.

Мы с Нелькой уже улыбались.

– Но всего смешнее этот паразит выглядел в эпизоде, после которого его и прозвали Синей

Лошадью... Он разбирал очерк Ваньки Ануфриева о зареченских колхозах, где сохранились сельхозработы на лошадях. – Боб поднялся, задумчиво скрестил руки на груди, подбородок косо уткнулся в ключицу. – Ваш очерк, коллега, много теряет оттого, что художественные детали не срослись в единый костяк с тканью сюжетного повествования, то есть не стали единым целым на всем полотне. – Боб многозначительно прищурился. – Не хватает вам, коллега, и художественной смелости. Вот ваш пейзаж: «Гнедая лошадь осторожно спустилась к воде...» Почему именно гнедая лошадь? Петров-Водкин подарил нам Красного коня. Низкое спасибо ему за это, но почему вы не хотите разнообразить и свою палитру? «Синяя лошадь осторожно спустилась к воде...» Повторяю! Синяя лошадь!

Мы уже не улыбались, мы хохотали. За длинными реками и широкими морями жила областная газета «Знамя», там оставалась наша молодость с ее черемухой, теплой береговой галькой, юной любовью, волнующим по молодости лет запахом типографской краски. И вот этот, всегда дурманящий, аромат прошлого проник и наполнил банальнейший коттедж, заставил жадно раздуваться наши ноздри, просто сделал голодными, а какими далекими и ненужными показались вдруг наши проблемы, если на белом свете существовал смешной человек по прозвищу Синяя Лошадь! Забавно все, игрушечно, школьно, кроме, естественно, того, что лежало и стояло на столе: можно было думать о прошлогоднем снеге или повторять про себя таблицу умножения; можно было сжечь к чертовой матери все семь грозных подшивок вкупе с четырьмя тетрадами да и забыть о сожженном. Все было возможно, если жил на земле человек по прозвищу Синяя Лошадь!

– Вы мрачные и опасные люди! – с пафосом заявил Боб Гришков. – То, что вы заговорщики, мне ясно с первого взгляда, а вот почему вы перестали любить друг друга, этого я еще понять не могу... А теперь прошу к столу, и смотри, Нелька, ты изопьешь со мной зелена вина...

Я набросился на еду так, словно не ел неделю...

IV

По закону бутерброда на следующий день после возвращения из Сосен в редакционном коридоре я встретил Валентина Ивановича Грачева, бодро размахивающего вишневой папкой. Если вдуматься, в этой встрече ничего необычного не было: мы всегда первыми приходили в редакцию, уходили – последними. Он жадно смотрел на меня. «Где след загара, где отблеск зеленых вод заштатной речушки? Зачем ты все это проделал?» – было написано на лице Вальки Грачева, и можно было себе представить, как он мучился, пока я сидел в Соснах, на его глазах удалившись туда явно для криминальных целей.

Он спросил:

– А синяк под глазом?

– Наткнулся на ветку.

Я тоже изучал Вальку Грачева внимательно, как полководец карту боевых действий. Какие подвиги он успел совершить за неделю? Снял еще одну статью промышленного отдела? Блеснул материалами из области партийной жизни? Сделался единственным доверенным лицом Ивана Ивановича Иванова?.. Я разглядывал моего вечного соперника Вальку Грачева, претендента на кресло главного редактора газеты «Заря», и сейчас, в отдалении – по прошествии двух суток, – четыре тетради мне не казались такими уж тяжелыми на вес, как в сосновском коттедже.

– Зашиваюсь! – думая о своем, сказал Валька Грачев. – Главный требует все укрупнять и укрупнять вопросы, а корреспонденты дальше цеховой партийной организации не идут... Кстати, вчера на редколлегии по промышленному отделу обсуждался боевой материал «Твое рабочее место». Хорошо написано и на ярком жизненном материале...

– Я просто знаю эту жизнь.

Сто юмористов и сто серьезных писателей описывали редакционную жизнь; по их мнению, Содом и Гоморра – спокойное место по сравнению с тем, где и как производится обыкновенная газета. Эти вечно спешащие курьеры, скептические метранпажи, опаздывающие хроникеры, взлохмаченные редактора – все это не из теперешней жизни, а из старых анекдотов, придуманных самими журналистами. Истинная жизнь газеты нашего времени тяжела, скучна, однообразна; день ото дня ничем не отличается, если не считать газетного номера с какой-нибудь смешной или, наоборот, тяжелой ошибкой. А будни серы! Газета распланирована на два-три номера вперед, заведомо известно, например, что в среду пойдет материал на морально-этическую тему, в субботу газета расскажет о народных промыслах или художественной самодеятельности, в воскресном номере появится фельетон.

– Скучотища здесь у вас кромешная! – сказал я и театрально длинно зевнул. – Закисаете, товарищи, понемножку закисаете?

Четыре серых тетради лежали в моем портфеле, на бумаге в клеточку было все, чтобы почувствовать себя сильным, и я мог слегка поддразнить Вальку Грачева, и без того убежденного в том, что фокус с Соснами разыгран с далеко идущими целями; только он никак не мог понять, для чего мне надо было удаляться, когда по его логике нужно, наоборот, приближаться к месту, где скоро начнется раздача слонов. Мне вчера, например, по домашнему телефону сказали:

– Иванов уходит на пенсию!

Звонила, естественно, Нина Горбатко, сведения она, естественно, получила от неизвестного человека, и предназначались они только мне. Моему возникновению в городе и голосу Нина чрезвычайно обрадовалась, рассказала ворох новостей, сообщила, что дядя без меня проигрался в преферанс и вообще был не в духе.

– К Прибытковым на вечеринку, – смеялась в трубку Нина, – все дамы явились в длинных туалетах... Я? Как всегда – ультра-мини... Со мной перетанцевали все модные женихи. Слушай, может быть, мне выйти замуж? Есть вариант... Фу-ты-ну-ты! Сразу три года в Дании... Госпожа советница!

Мудрецы утверждают, что нереализованная любовь обращается крайним равнодушием, даже ненавистью. Наши отношения с Ниной оставались чудесными, мало того, они улучшались, и каждый разговор с Ниной давал мне, банально выражаясь, «заряд бодрости». Она умела смотреть на жизнь одновременно и серьезно и шутливо, умудрялась самую сложную проблему расчленить на ряд легких. Мою болезнь она, казалось, совсем выбросила из памяти. «Слушай, может быть, мне выйти замуж?» – и она проделала бы это с равной долей серьезности и несерьезности. Таких людей, как Нина Горбатко, я еще не встречал, подозревал, что она знает о жизни что-то такое, чего никто не знает. Я сказал:

– Дядя не собирается в субботу играть в преферанс?

– Ого! И обязательно ждет тебя...

Она тихо засмеялась в трубку:

– Знаешь, Иван Иванович никак не может понять, почему ты обиделся на него. Уверяю, в редакторской практике Ивана Ивановича встречались пьющие заместители и вот он... – Мне показалось, что она дразняще высунула язык. – Ты бы должен радоваться, что Иван Иванович подвергает тебя всестороннему изучению. Подвергайся! Терпи! – Она открыто засмеялась. – Ну а пока ты только выиграл.

– Каким образом?

– А вот таким... Иван Иванович говорил у Прибытковых, а я подслушала, что ему очень нравится независимость Ваганова и начинает надоедать один осторожный подхалим...

– Он так и сказал?

– Он именно так сказал. Держи хвост пистолетом, Никита Ваганов!... Ой, слушай, у Прибытковых женят сына. Мордашка из американского кино, получукчанка, воспитана, как в институте благородных девиц, но мужа обещает держать в руках... Прибытков, к удивлению многих, потирал руки от удовольствия: «Нужен, нужен прилив свежей крови!..» Я не заболтала тебя, Никита?

Главный редактор «Зари» открыто – жертвуя левой рукой! – назвал осторожным подхалимом Вальку Грачева. Я не испытывал торжества и не буду его испытывать впоследствии, так как точно знал, что из Валентина Ивановича Грачева получился бы хороший редактор газеты, пожалуй, самый лучший, но после меня...

Газетный бог – это же я, Никита Ваганов!

V

Может быть, не рождаются цирковыми наездниками или шоферами, но я глубоко убежден, что редакторами крупных газет рождаются. Особый склад мышления, мироощущения, восприятия, чувствования – все это от природы принадлежит человеку, обязанному сделаться редактором. Умирая от коварной болезни, разглядывая пристально прожитое, анализируя каждый свой день и каждый шаг, я заносчиво говорю: «Природа создала меня редактором и не поскупилась при этом!» Это Никита Ваганов в крошечном жизненном явлении умел разглядеть впечатляющую общую картину, это Никита Ваганов выхватывал из жизни проблемы, которые были важны для каждого читателя. Я, как сказал когда-то редактор областной газеты Кузичев, обладал собачьим нюхом на ремесленную подделку в газете. Любому журналисту известны материалы, в которых правда так ловко смешивается с литературщиной, что материал кажется реальнее реального, – я, Никита Ваганов, безошибочно откладывал такие в сторону. В предвидении событий я, случалось, опережал самые компетентные органы. Наконец, я, Никита Ваганов, до последних дней своих останусь пишущим человеком, не могу не писать, и, по всеобщему признанию, писать хорошо, а ведь это не часто бывает, когда статью о проблемах молодых строителей автомобильного завода подписывает редактор такой могущественной газеты, как «Заря». Я говорил уже, что подлинная жизнь большой газеты скучна, сера и однообразна, – все эти ощущения не относились к Никите Борисовичу Ваганову. До сегодняшнего своего дня я сохранил молодую любовь к запаху типографской краски, с удовольствием разворачиваю гранку, раскладываю перед собой оттиск полосы – ощущение первозданности не покидает меня при этом; так называемые обязательные материалы я читаю как землепроходческие, как самым увлекательным кроссвордом занимаюсь перестановкой материалов на полосе и среди полос; особое удовольствие доставляет мне придумывание заголовков, и эта работа – работа в радость! – дает превосходный результат. Я никогда не уставал править материалы, всегда

умудрялся находить наиболее короткие, но емкие формулировки, не искажая ни стиль автора, ни его мысль, мне удавалось выжимать максимум с такой тесной газетной площади... Не спешите, вы скоро поймете, отчего автор поет себе панегирик! Потерпите... Итак, господь бог, если он существует, запроектировал и создал меня главным редактором или просто редактором, но отчего тогда мне приходилось тратить столько сил, чтобы занять принадлежащее мне по праву рождения место? Почему я должен терзаться сомнениями, сверять свои поступки с так называемой совестью, если мне богом предназначено высокое положение в газете? Концы с концами не связывались, не сходились... * * *

Позже я спокойно и отчужденно пойму, что пугало меня тогда: непредвиденность действия четырех тетрадей. Как должен был поступить я, член редколлегии по принципу справедливости? Элементарно! Доложить о моих изысканиях редакционной коллегии, так сказать, в рабочем порядке рассмотреть серьезнейшие недостатки в работе газеты, чтобы – путь критики и самокритики – общими усилиями вернуть «Зарю» на истинные рельсы. Как все кажется просто! А вот живет на земле Иван Иванович Иванов, человек проработавший редактором «Зари» около восемнадцати лет, имеющий незамутненный славный послужной список. И вот – взрыв, катаклизм, катастрофа, иначе не назовешь то действие, которое должны произвести на руководящие органы четыре тетради.

Зачем я разыграл утомленного труженика, зачем взял семь годовых подшивок газеты, какого черта поехал в треклятые Сосны? Мое искреннее и безупречно преданное служение «Заре», наконец, – об этом надо сказать прямо, – мои связи и мой авторитет в руководящих органах медленно, но совершенно верно вели меня на пост главного редактора «Зари» – чего мне не хватало?! О Никите Ваганове как о самом вероятном редакторе газеты «Заря» говорили давно и упорно на всех уровнях. Кто меня взял за шкуру и потащил в Сосны? Наконец, нужно это понимать, в четырех тетрадях лежал порядочный заряд динамита и против заместителя главного редактора по вопросам промышленности Никиты Борисовича Ваганова. Я хватался за голову, когда ловил самого себя на материалах, необходимых газете, как прошлогодний снег, я краснел, когда находил две зеркально подобных статьи...

... Словечко «конформист», печать «прагматик» преследовали меня из десятилетия в десятилетие, и в эти месяцы, умирая, я стараюсь найти повод к своему поведению в той или иной обстановке, я хочу иметь право знать, где я – настоящий, где я – ненастоящий, где я – это я, где вместо меня – сумма обстоятельств. Можно свободно подвесить меня за ноги в эпизоде с Егором Тимошиным и четвертовать за тетради из Сосен, но я вызвал к себе огромное уважение Ивана Ивановича, покинув его дачу даже без «до свидания!». Если конформист – состояние, черта характера, то что это – вся моя жизнь? Если бы вы знали, как хочется наконец понять самого себя!.. Я вызвал Покровова, вяло сказал:

– Думаю, Анатолий Вениаминович, нам с тобой на днях придется засесть вплотную и посмотреть на нашу работу и в разрезе и с высоты птичьего полета. Что-то мы живем ни шатко ни валко... Взорим, знаешь, воспарим, знаешь ли так, гордо!

Он улыбнулся:

– Ох, и любишь же ты перетряхивать перины!

– А иначе нам удачи не видать.

Нет, не расскажу я сегодня и никогда Анатолию Вениаминовичу о четырех тетрадях. Никита Ваганов еще не знает, что можно сделать с этими тетрадями, он по-прежнему немного испуган выводами, сделанными из штудирования подшивок за семь лет работы газеты «Заря».

Я подумал: «Если совершаю поступки вне зависимости от моего желания и совести, то конформист и прагматик Никита Ваганов все равно возьмет верх над нормальным

человеком...» Мысль показалась мне такой забавной, что я вслух рассмеялся, на что глаза Анатолия Вениаминовича привычно ответили: «Между тем в жизни нет ничего особенно забавного!» Такой уж это был человек!

Он сказал:

– Я побреду.

– Так днями посидим?

– Посидим. * * *

... Стоя одной ногой в могиле, на вопрос, кто ты такой, Никита Ваганов, я отвечаю: «Не знаю!»... Егор Тимошин с его страстью к собиранию фактов и фактиков рано или поздно узнал бы об афере с утопом древесины, тогда моя роль в тех событиях была бы равна нулю; редактор газеты «Знамя» Кузичев боролся бы с Пермитиным иными методами – мне не пришлось бы раскрывать карты Пермитина Кузичеву. Да, я ищу и буду искать объяснения своих поступков, хотя бы для того, чтобы понять самого себя. Егор Тимошин написал роман «Ермак Тимофеевич», редактор газеты «Знамя» Кузичев процветает, но мучается в поисках самого себя Никита Ваганов, принужденный судьбой подводить итоги прожитого, находясь в здравом уме и светлой памяти... * * *

– До редколлегии! – уходя, сказал Анатолий Вениаминович.

Я ему завидовал, как завидовал множеству людей, чья жизнь мне казалась безупречной. У него не было портфеля, в котором лежали четыре тетради, ему не надо было решать, как поступить с этими тетрадями...

Читатель моих исповедальных строк ошибется, если подумает, что я стремился к власти и связанным с нею почестям, – мне нужна была газета и только газета. Каждая точка и запятая в ней должны были быть поставлены с моего ведома и согласия, каждая статья обязана пройти через мои руки – похоже это или не похоже на карьеризм? Я так долго и трудно шел к намеченной цели, что она, пожалуй, превратилась в идею фикс, стала моей подлинной сущностью, то есть движителем всех поступков и дум. Не один раз глубокой ночью я просыпался в холодном поту от мысли, что остатки дней своих мне доведется провести вне стен редакторского кабинета. Я думал: «Психоз!» На другом конце города тревожно спал на утлой кушетке мой отец, человек, лишивший себя всего или почти всего из-за «Жигулей» – заветной мечты всей жизни. Не его ли гены у сына вызвали неодолимое желание стать Главным редактором – не отцовские ли это «Жигули»?

Глава седьмая

I

И все-таки был сделан шаг вперед, если я начал таскаться с тетрадями и мысленно грозить ими Главному. Какие-то процессы во мне происходили, а главное – ревность. Не надо забывать о Коростылеве... Я бледнел, когда видел весело разговаривающими редактора и Андрея Коростылева, у меня летели искры из глаз, когда он подвозил сестру своего первого заместителя. В такие моменты папка с тетрадями нагревалась в руках и норовила выпасть.

Я зверел. Я зверел.

Я стоял на месте, ждал, ждал, ждал. Кроме того, после коллективного выезда за город мы с Коростылевым слегка подружились. Обнаружилось много самого противного в нем – не доброты, а сентиментальности/

Сентиментальность и доброта – как часто их путают! Был ли я добр? Всю свою зрелую жизнь я слыл недобрый человеком. У машинистки опасно больна мать, все охают, а «черствый» Ваганов не выпускает телефонную трубку из рук, и когда мать укладывается в больницу – доброта приписывается тем, кто охал и ахал, а обо мне печально говорят: «Не способен!» Я к этому относился как к прошлогоднему дождю. Моя концепция добра исходила только и только из действия, и если ко мне со своей проблемой приходил человек, я напряженно раздумывал, смогу ли помочь, а потому молчал и часто прямо говорил: «Ничем вам помочь не могу!», редакцию немедленно обегала весть о моей черствости; потом разносился слух, что тот же Коростылев «обещал помочь» – меня считали деревяшкой. И никто не обращал внимания на то, что «обещавший» помочь ничем не помогал. «Сухой», «бессердечный», «насмешливый», «ироничный» и так далее, а я – чтоб им неладно было! – я массу времени тратил на помощь сотрудникам, отработывая за это ночами и седея раньше срока. Но я знал – люди путают добро с сентиментальностью, и был спокоен: «Когда-нибудь поймут!» И поняли – даже не подумая рассказывать, как это произошло. Человек выходил из моего кабинета сияющий: «Все в порядке!», или сумрачный: «Ничем помочь нельзя!..» Мое добро не было добром с кулаками – таким добро не бывает, мое добро – хвастаюсь! – было молчаливым. Оно иногда приобретало странные формы: я прощал трехдневное пьянство умеющему и любящему работать, но хватался за маленький промах лентяя и знал, что о «Заре» говорят: «Там работают!» * * *

Никита Ваганов – знайте это! – оставался прежним, может быть, чуточку стал сдержанней, что выражалось иногда в самом себе неприятной полуулыбке, но переменить лица уже не мог, печально думая: «Возраст!» Все остальное было при мне и во мне... Никита Ваганов входит в кабинет Владимира Сергеевича Игнатова, замирает на пороге в скорбной позе. Оба настороженно молчат. Наконец Никита Ваганов обреченно машет рукой, что уже само по себе значит: «Все! Конец!» Игнатов все еще настороженно молчит, но не выдерживает:

– Ну что там?

Пауза. Тяжкий вздох.

– Тебя переводят в «Социалистическую индустрию»!

– Что?!

Идет напряженная мыслительная работа: «Зря по отделам Ваганов не шляется, дел у него – по горло, с другой стороны – бледный и растерянный». Медленно встает, брезгливо морщится.

– Не мешай работать!

– За что это тебя? – спрашиваю угасающим голосом.

– Я прошу вас, Ваганов, не мешать мне работать!

– Не зря говорят, что у вас, Владимир Сергеевич, нет сердца!

Медленно повертываюсь и тихонечко бреду в свой кабинет, чтобы быстренько снять обе трубки – городского и внутреннего телефонов, а сам занимаю такую позу: прячу лицо в ладонях. Минут через десять дверь резко открывается, на ходу Игнатов издает такие звуки,

точно на нем скрипят офицерские ремни. Я не двигаюсь. Он стоит мертво. Наконец слышу:

– Это серьезно?

Теперь наступает самое главное: надо поднять на него лицо с налитыми влагой глазами. Накручивая себя, поднимаю; он сереет, а я чуть не плачу:

– За что это тебя?

Он недоуменно отвечает:

– Ума не приложу.

Все! Он пойман, встревожен, спутан, и теперь главное для меня – спастись, ибо таких экспериментов Игнатов над собой делать не позволяет. Я раздумываю: «Не даст ли он мне по очкам, когда...» Он говорит:

– Пока – никому! Понял?

– Понял, понял!

И он, «скрипя ремнями», уходит. Теперь я дорого бы дал, чтобы превратиться в человека-невидимку. По складу характера он ни с кем не поделится, ни с кем не поговорит, а будет только нервно поднимать трубку телефона: вдруг это оно и есть? Ну-с! Что прикажете делать? Меня охватывает настоящий стопроцентный страх.

Вызываю к себе «младой талант» – Виктора Алексеева. Он еще в дверях охает:

– Что случилось?

– Что случилось, что случилось, все случилось...

– Разыграли кого-нибудь и не знаете...

– Кого-нибудь? Игнатова.

– Ого!

– Вот именно: ого! Сказал, что его переводят в «Социалистическую индустрию»...

– Ого-ого-огоо... Что же делать?

– А я знаю? Погибать, и без музыки. Схарчит?

– Схарчит, Никита Борисович, этим пахнет. В прошлый раз обещал руки-ноги оторвать, а теперь дело серьезное.

– Сам знаю, что серьезное. Он эту газету...

– Ох, придумал, Никита Борисович. К Игнатову пойду я, а там... Я знаю, что делать!

– Что?

– Не скажу! Побежал!

Они возвращаются вместе: тихие, грустные, усталые, садятся на кушетку, переглядываются. Если бы мне было разрешено хохотать – умер бы от хохота. Можно дать миллион за то, чтобы увидеть такого Игнатова! Виктор – та еще бестия! – траурно произносит:

– Редакция «Зари» понесла бы громадный урон, если бы из-за пустяка поссорились Владимир Сергеевич и Никита Борисович. Я знаю, как вы любите «Зарю», и понимаю, что нелады с Никитой Борисовичем нанесут газете непоправимый урон... – он жестикулирует, как на трибуне. – Да, какая-то сволочь пустила слух, но сволочь – есть сволочь. И Никита Борисович счел нужным поставить вас в известность.

Игнатов теперь смотрит с подозрением на всех – на меня, Виктора, полированный стол, портрет Маркса. Я поднимаюсь, потом становлюсь на колени:

– Все придумано мною!

И происходит такое, что трудно объяснить психологически. Все мы неожиданно чувствуем, какие мы вообще-то хорошие ребята, если сохранили до сих пор способность разыгрывать и разыгрываться.

– Змей подколодный! – говорит Игнатов. – Стоять тебе на коленях пять минут.

А сам в это время запирает двери. Пять минут проходят в молчании, затем Игнатов отпирает двери, и мы опять садимся на кушетку. Он говорит:

– Со злости написал полпередовой...

Игнатову под пятьдесят, мне – под сорок, Виктору – под тридцать... Они, наверное, будут жить долго, по крайней мере дольше меня, и пока они ходят по коридорам «Зари», память обо мне не заглохнет; даже знаю, как будут вспоминать меня, но это неинтересно: «А вот Ваганов!..» Мне от этого страшно... * * *

Мне редко бывает страшно, когда я думаю о смерти. Я натренирован без страха думать о ней. Я умею думать о ней. По-моему, хороший писатель Леонид Андреев страдал самой страшной болезнью на земле – он неотступно думал о смерти, его организм был лишен каких-то тормозящих веществ или датчиков, которыми мы снабжены все. Его жизнь и его работа в такой жизни – подвиг, равного которому нет на земле. Пьяного Андреева боялся Горький – трактор перед велосипедом. Мой тренаж безбоязненности смерти я начинал с дум о бесконечно великом и бееконечно малом. Это удивительно просто: одна Вселенная плюс еще одна Вселенная и так далее. С отрицательными величинами сложнее: надо искать предмет такой малости, какой можно еще рассмотреть, а уж потом – идти проторенным путем. Итак, не бояться Бесконечности-плюс и Бесконечности-минус. Там дело пойдет проще: слова «никогда» и «бесконечность» одинаковы... Вот уже и половина дела. Надо медленно, если есть время, разлюбливать жизнь. Начинал я – не улыбайтесь – с пищи. Делал ее все проще и, значит, обильнее: тарелка мятой картошки с маслом, но без лука. Самое простое – разлюбить любовь. Позже я вам, наверное, покажу, как это делается. Далее надо гасить энергию тела; потихонечку да помаленечку. А там только начни – сам будешь по-стариковски волочить ноги. Работать надо двадцать пять часов в сутки – это одно из главных условий привыкания к смерти. Не верьте чепухе: «Я только тогда живу, когда работаю!» Он не умеет работать, игрунчик этакий. Работаю – значит не живу, отданный на откуп воодушевлению – подобию смерти – эйфории от работы.

Я начинал, скажем, работать в шесть вечера, по какой-то причине отвлекался – на часах одиннадцать, в груди тепло и просторно. Этого я не добивался, таким я родился. Маленькое усилие – опять текут строчка за строчкой в блаженной подвижности времени. Отучить себя от мыслей о близкой смерти – дело возможное, стоит только отдаться течению времени, сопряженного с действием. Еда – напряженная работа, чтение – тяжелая работа, ходьба – наказание. «Не думай о голой обезьяне!» Я делал маленькую поправку: думай об обезьяне вообще. Этот несложный трюк непременно уводит в сторону – что и требовалось доказать.

Есть в ожидании близкой смерти – благодатная вещь. Свобода! Головокружительная,

отчаянная и пьянящая свобода, отдаваться которой надо умело: соблюдать все вышеперечисленные условия. Говорят, что свободен только тот человек, который не считается с мнением общества, которому наплевать на мысли о нем ближнего. Вот это невозможно, я иногда даже думаю: какое лицо у меня будет в гробу... Нет, свобода достигается другим – отторженностью от общества. Все время понимаешь, что ты не такой, как ВСЕ. Отсюда рукой подать до «пропадай моя телега, все четыре колеса!». * * *

Я обнаруживаю себя стоящим возле окна, в кресле сидит первый заместитель главного редактора Андрей Витальевич Коростылев, и «лик его ужасен». Мне еще жить и жить до страшного диагноза, но бывали такие минуты, когда нечаянно наблюдавший за мной человек испытывал ужас, не зная почему. А я думал о какой-нибудь самой пустяковой вещи. Говорят, что перед боем на лицах солдат сто сороковым чувством можно прочесть обреченность. Не это ли испытывал Коростылев задолго до моего диагноза? Я же клянусь: возле окна о смерти не думал.

– Что ты тянешь? – наконец говорит Коростышев. – Надо идти на планерку...

Самая моя большая ложь – приятельские отношения с Коростылевым, которого я ненавижу так, как меня ненавидел Леванов. Общась с ним, я чувствую фальшь каждого своего слова, движения, улыбки. Это так утомительно, что больше часа общаться с Коростылевым не могу: нахожу предлог для расставания. Он, дубина, ничего не чувствует, а я возвращаюсь в свой кабинет взмыленный и такой усталый, что минут пятнадцать сижу в неподвижности. Знаете, у него на носу растут коротенькие светлые волосики... Почему мы приятели? Виноват он – привязался ко мне, и я понимаю, что нравлюсь ему весь – от пяток до макушки головы. Он верит мне. Он... Когда я заболею, мой первый заместитель Коростылев будет носить за мной горшки, а я, скотина, не смогу забыть прошлого и буду его ненавидеть с прежней силой...

Мы идем на планерку. Садимся по рангу. Иван Иванович в центре, слева – Коростылев, справа – Ваганов. У меня сегодня нет ни одной мудрой мысли, выступить не буду. Иван Иванович недоволено кашляет и хрипло говорит:

– Вы думаете, в руках у меня пропагандистская статья? Это писанина для «Мурзилки»...

Все остальное известно. Сейчас он минут на пятнадцать займет нас рассказом, как он готовился к докладу в юбилейный День Победы. Мы это выучили назубок и начинаем заниматься своими делами: дочитывать материал, рисовать в блокноте чертиков, дремать. Я тоже занят: разглядываю люстру и стараюсь вспомнить, сколько было планерок, когда мы не слышали о подготовке к докладу. Пожалуй, через три раза на четвертый... Я лет двадцать, наверное, не доживу до тех времен, когда можно будет рассказывать на планерке все, что захочется... Коллектив в редакции сплоченный, подхалимаж не в фаворе, и все слушают редактора с нескрываемой скукой. Есть и бойцы – те демонстративно зевают и переговариваются. Через десять минут после повествования о докладе планерка кончается – народ в «Заре» нетерпеливый. Это поставить в номер. Это не ставить! Привет!

Беда в том, что Ивана Ивановича любят. Он добрый и отзывчивый. С ним легко работать, интересно разговаривать, коли речь не идет о подготовке к докладу. Он так много знает, что диву даешься. Он осторожен, но не труслив, иногда умеет предвидеть. Он хороший редактор, но он стар, и это отражается в тысяче мелочей, в каких – и объяснить-то невозможно. Стар, и все.

Когда мы теснимся в дверях зала, Иван Иванович жестом приглашает меня остаться. Вот еще одна его странность: не терпит собственный кабинет, любит ходить по отделам, просто гулять по коридору. Если ему срочно звонят, помощники и секретари Ивана Ивановича обшаривают всю редакцию и не всегда находят – кто догадается, что редактор сидит в машбюро! Мы занимаем прежние места за столом президиума. Он строго и деловито

осматривает меня, но говорит неожиданное:

– Молодец! Хорошо выглядишь!

Сам он выглядит плохо: мешки под глазами, одышка, синюшность кожи, но глаза бойко поблескивают. Он говорит:

– Слушай, а не ждут ли тебя в Комсомольске-на-Амуре? Связь времен, связь поколений. А? Выпишем командировочку? А?!

Это надо было сделать год-два назад, материал так и просился на полосу. Две газеты сделали то, что сейчас мне предлагал Иван Иванович, но сделали плохо, по-школярски, в духе тридцатых годов. Выдать полосу лучше их – раз плюнуть... Глаза Ивана Ивановича продолжают светиться елочными звездами, он ждет от меня бурного одобрения, и я подыгрываю старику, которого за что-то почитаю.

– Прекрасно! – говорю я. – Мне нужен пустяк – газеты тридцатых годов.

Иван Иванович смеется так, точно выиграл у меня в преферанс пятьсот вистов. Он говорит:

– Лежат, голубчики, у меня на столике, тебя дожидаясь. – Ребенок, ей-богу! Как это всегда бывает, с бухты-барахты в голосе его вдруг звучит металл: – Это должен быть не осенний теплый дождичек, а гроза. – Он откровенно счастлив. – Лежат, голубчики, у меня на столике!

II

Я и предполагать не мог, что полосу «Вечно молоды» прочтут наверху и скажут: «Хорошо!», а Иван Иванович приплетется ко мне в кабинет и облобызается со мной. Я надеюсь, что читатели исповеди-исследования – одновременно читатели и подписчики «Зари», и не сомневаюсь поэтому, что они помнят полосу «Вечно молоды». Маленький шедевр, хоть казните меня за хвостовство! Полоса незатейлива, проста, как морковь, но все было подлинным. Меня, знаете ли, премировали – сто рублей. Мне позвонил один крайне значительный человек, он поздравил и простецки пригласил забегать, когда буду в доме на Старой площади. Я спросил:

– Это обязательно?

Он развеселился и сказал, что вот теперь – после нахального вопроса зазнайки – обязательно, и он мне покажет кузькину мать. Мы положили трубки с хохотом. Все было отлично до семи часов вечера, пока не пришло известие, что Костя, мой бедный сын Костя, смотался в неизвестном направлении. Записка меня ошеломила: «Я не был и не буду мещанином». Это не могло относиться ни ко мне, ни к матери, ни к деду, ни к бабушке... Он совершил преступление, расколотил молотком пианино и сжег все ноты, кроме одного листа: «Главное, ребята, сердцем не стареть...» Поразмыслив, я приказал своим не искать Костю. Я сел в кабинете – теперь у меня был домашний кабинет – и стал раскладывать пасьянс «Наполеон» – ничегошеньки не сходилось, и я в последний и окончательный раз решил Костю не разыскивать и домой не заманивать. А вот кроссворд в «Вечерке» я отгадал от начала до конца.

– Эрудит, твою мать! – зло сказал я, после чего лег и мгновенно уснул. Уверен на сто процентов, что ко мне никто не заходил.

Снились мне Коростылев и отцовские оранжевые «Жигули». Это я обнаружил в четыре часа

ночи, проснувшись счастливым и бодрым, как школьник в первый день каникул. Я принял душ, сел за стол и до прихода машины в девять тридцать написал передовую. Что хотите со мной делайте, но на работу я прибыл счастливым – передовая удалась...

День обещал быть хорошим – первой сквозь стеклянные двери прошла женщина...

Часов через пять узналось, что потерялась моя жена Вера, я помчался домой, были подняты все силы, чтобы найти ее, и я – это, к сожалению, объяснимо – представлял ее не случайной жертвой города, а добровольной. Когда поиски были в разгаре, Вера пришла вместе с Костей, спокойным и прилично одетым: на нем был новый костюм. Усталая Вера сказала:

– Он сам тебе все расскажет, а я должна проспать сутки.

Косте шел тогда шестнадцатый год, походил он лицом на мать, фигурой на меня, а манерами на бабушку – этакая вдумчивая медленность. В нем не было ни грамма суетности, которая все-таки есть в каждом из нас. Он захотел разговаривать со мной почему-то в моем кабинете, а не в своей комнате. Позже я понял причину. Он любил меня и думал, что в кабинете ему будет легче скрывать любовь. Он шел первым, я позади, поражаясь, что он в пятнадцать лет был на полголовы выше меня, и в каждом его движении чувствовалась зрелая основательность.

Он сел, скромный и спокойный, значительный и сильный. Было понятно, что он первым разговор не начнет, а мне что делать? Спросить: «Ну, как дела, сын?» или: «Как ты смел, как ты...?» Смешно! Эх, если бы он знал, какой его отец был в пятнадцать лет! Я походил на бочку с порохом, которая должна вот-вот взорваться! И все-таки я нашел, с чего начать.

– Костюмчик клевый, Костя. Где дают?

Он принял мой тон.

– Хошь достану?

– А мой размер ты знаешь?

Костя засмеялся:

– А ты, папа, безразмерный.

Вот так. Спокойный, скромный и – любящий, поверьте мне, чувствующий ко мне родство, уверенный в ответной любви. Ни разу в жизни я его не ударил, даже не закричал как следует. Воспитывала Костю мать, а я трудился, трудился и трудился, чтобы Константин Ваганов ни в чем не нуждался, носил самые «фирменные» джинсы и куртки на ста замках-молниях, чтобы, наконец, называя свою фамилию, сын мог произносить ее громко, если ему это понадобится. Я сказал:

– Ну ладно, ты меня оскорбил, сделал мне больно, и я, наверное, имею право тебя спросить: за что ты меня презираешь?

Он ответил:

– Папа, я тебя не презираю, а жалею за то, что сам не умеешь жить и другим мешаешь...

– Факты, Костя, факты!

Он по-мальчишески тяжело вздохнул:

– Эх, папа, если бы были факты! Но я чувствовал, что мы живем неладно. – Он вдруг жалко

улыбнулся. – Ты всегда был справедлив ко мне, я у тебя учился мужеству, трудолюбию. Я во многом завидую тебе – например, твоему чувству юмора. Оно тебя так украшает... – Он обнял меня, «пободался», как мы называли это с ним раньше, а сказал, в сущности, страшное: «Ты сам не живешь и другим не даешь жить...»

– Костя, послушай, Костя, тебе пятнадцать лет, а ты говоришь как тридцатилетний. Может быть, ты знаешь, как надо нам жить?

– Если бы я знал, я не ушел бы из дома. По-моему, нам надо всем посоветоваться с бабушкой. Сесть как-нибудь и попросить: «Бабуль, научи нас жить!..» Кажется, я нашел сравнение: ты похож на жреца, служащего самому жестокому божееству... – И опять пободался со мной. – Вот ты какой престашный, папуль! У! И никто лучше меня не знает, какой ты умный. Если мама учила меня быть добрым и держать вилку в левой руке, то ты научил меня думать и говорить... Поэтому я и ушел из дома.

Все мне было ясно, кроме одной детали. Я спросил:

– Может быть, ты все же знаешь, как надо жить?

Он приподнял меня, посадил на письменный стол, приговаривая:

– Вот какие мы хорошие, вот какие мы послушные, вот какие мы умные... Но не знаем, как жить! – Он забавно вытаращил свои восточные глаза. – Между прочим, школу мы закончим – это вас пусть не беспокоит!

– Значит, не вернешься домой?

– Да, папа!

Мне надо было выяснить еще один вопрос:

– Скажи, Костя, я давлю на окружающих?

– Па-па! «Давлю»! Ты соковыжималка, а не человек. Как только ты появляешься в комнате, в пианино сама собой звучит басовая струна... Мама мне всю жизнь объясняла, что это от твоей сосредоточенности. Фигушки! Ты напрасно стараешься казаться не тем, кто есть!

– Это мне надо объяснить, Костя!

– Пожалуйста. Тебе хочется играть в лапту, а ты вместо игры в лапту играешь во взрослые солдатики... Врать не буду: это не моя мысль и не моя фраза. Так сказал о тебе однажды здорово пьяный дядя Боря.

Я поднялся, я сказал:

– Правильно, живи отдельно... А теперь пошли в кухню. Может, нашакалим пельмени.

– А зачем шакалить? Я знаю, где лежат пельмени...

Этот щенок знал даже, где лежат черный перец и бутылочка с уксусом. Потом он объявил, что научит меня есть пельмени в майонезе – пальчики оближешь! Вообще у газовой плиты он себя чувствовал как за школьной партой. Он нацепил материнский фартук с цыплятами и сделался смешным до чрезвычайности. Я отсмеялся и сказал:

– Н-да! Сфера обслуживания занимает все большие интеллекты...

В это время в кухню вошла Вера, абсолютно спокойная и предельно устроенная. Лицо у нее было помято, она зевала, и у меня, выражаясь по-сибирски, «захолонуло в сердце». Что с

Верой? Она приняла новый образ жизни сына или уже договорилась с ним о возвращении? Она сказала:

– Нужно положить в воду лавровый лист...

– Маман, протрите глазки. Там бушель лаврового листа,

Был ужин, был какой-то смешной разговор по поводу Валюшки, вернувшейся из школы то ли без передника, то ли без пальто. При виде Кости она показала ему язык и сказала:

– Блаженненький дурачок!

Я так и не узнал в тот день, что Костя, скрыв возраст, уже работает грузчиком в мебельном магазине, зарабатывает в среднем не меньше меня, живет на квартире интеллигентной бабули и собирается учиться на вечернем...

III

Никита Ваганов не мог без дрожи в руках видеть Коростылева – потому и прятал их в карманы; таким образом, за все тысячу и одну ночь в ожидании желанного финала он ни разу не обменялся с Коростылевым рукопожатием, чего первый заместитель редактора так и не заметил. Знал Коростылев все и – еще немножко! И, как ни странно, при всех этих достоинствах и преимуществах был и оставался на диво провинциальным. Это было видно по костюму, по манере ходить не по центру коридора, а по стенке. Наконец, никакая высшая и сверхвысшая школа не могла выбить из Андрея Коростылева грамотную речь: он употреблял такие словечки, что «ложить» казалось баловством, и слова-словечки отнюдь не были блестящими забытой русской речи: такую жирную печать оставили детство, юность и отрочество Андрея Коростылева в провинциальном городе средней полосы России.

Не прошло и месяца, когда самые толковые журналисты «Зари» поняли, что и свою газету, то бишь «Зарю», первый заместитель хочет видеть провинциальной – край занавеса чуть-чуть приподнялся еще на первой беседе, которую Андрей Витальевич устроил в своем кабинете. Поначалу дело шло сверхнормально, так как первый заместитель коротко и точно определил международное положение: здорово чувствовалась Академия общественных наук, но речь была живой, образной; глухой провинциальщиной повеяло в то мгновение, когда речь пошла об освещении партийной жизни. Он, как прикованный цепью Прометей, все ходил вокруг да около действенности партийных собраний и проверки решений партийных собраний; когда же это кончилось, он вдруг сделался еще серьезнее, чем был, и безо всякой нужды заговорил о клубах и о клубной работе. Ох, эти клубы! Читатель, я думаю, помнит о клубной «мании» Коростылева...

На первой беседе он заливался тетеревом не меньше часа, открывая нам бесценные кладовые, упрятанные за знаменитое: «Клуб на замке!» А мы, добрые и великодушные, только поддакивали, не чуя еще опытными носами, какая идея или часть идеи кроется за клубными «песнопениями»... * * *

Я уморил вас, вы готовы бросить рукопись и бросили бы ее, если бы вас не интересовал большой для вас вопрос: как будет умирать Никита Ваганов? Счастливыми дураками миллионной степени были бы вы, мои читатели, если бы, ложась спать, не думали, что вот прожит еще один день, вот он прошел, больше не вернется, и легкая грусть на мгновение не охватила бы вас, дай вам судьба долгой жизни и легких болезней!... На смертном одре я вспомню, что первым нащупал «клубную болезнь» у Андрея Витальевича Коростылева,

нащупав же ее как серьезную слабинку, довел до абсурда и вышиб из боевого седла такого цепкого всадника...

Однако, прежде чем рассказать об этом, нельзя не вспомнить, как на закрытом партийном собрании чуть-чуть не втоптали в грязь самого Никиту Ваганова. Они, втоптывающие, были, наверное, сто крат правы, но ведь втоптывали! До этого партийного собрания Никита Ваганов был мягче и добрее, умел ласково шутить, хорошо улыбаться, а главное – был самим собой. Сто сорок минут закрытого партийного собрания пусть не совсем переделали меня, но на мир я стал глядеть по-другому. Это катастрофа, что партийное собрание сделало меня злым и беспощадным на подобного рода собраниях, мало того, как это часто бывает, я пошел дальше учителей. А это надо уметь – пойти дальше зверствующих Василия Леванова и Виктории Бубенцовой! «Изгнать из партии! уволить! растоптать!» Вы ошибетесь, посчитав меня человеконенавистником: со мной произошло худшее – я стал подозрительным, немислимо подозрительным, как домовая крыса... Вы, думаю, тоже знаете, какая это страшная вещь – подозрительность. Она заставляет в золоте видеть медь, а в алмазах – стекляшки; подозрительность делает красивых женщин искательницами денег, подозрительность всякого мужчину изображает с камнем за пазухой, подозрительность заставляет брать с ночной тумбочки сильное снотворное, чтобы забыться наконец, не думать о том, что значат слова Ивана Ивановича: «Во всем выглядишь молодцом! Ну хоть в редакторы толстого журнала!» – сказанные им мимоходом, ради шутки, ради любви Главного к Никите Ваганову... Подозрительность превращает масло в маргарин, небо делает блеклым, а воду всегда холодной.

Я до сих пор не понимаю, до сего дня поражен тем, что человечество не поставило во главу всех своих неисчислимых пороков подозрительность, а ведь это она нажимает спусковой крючок винтовки: «А вдруг они начнут первыми?!» Поверьте: инстинкт самосохранения я сделал бы производным от подозрительности. Считайте себя Эйнштейном, если вам удастся найти социальное явление или человека, которых хоть краем ножа не полоснула подозрительность! Животные лучше нас; они не подозрительны, они просто и разумно осмотрительны, вооруженные всякий на свой лад, так сказать, локатором опасности, а человек – подозрение, в большей или меньшей мере – это уже несущественно. Итак, я подозрителен, чудовищно подозрителен и не разрешаю себе быть иным.

Но вдруг в памяти всплывает знаменитая моя зарисовка под открытым названием «Современники»:

«Константин Симонов писал так: „Есть у меня хороший друг, куда уж лучше быть, но все, бывало, недосуг мне с ним поговорить...“ В девятнадцать лет мне эти стихи нравились, ибо я, как все молодые люди, считал сдержанность признаком мужества. А вот теперь сдержанность в дружбе кажется лишней. Понимаешь, какая петрушка получается? Вот мы с тобой живем на земле в одно и то же время, мы с тобой – современники. А ты думал о том, какая это ответственная вещь – современники? Я всегда могу отыскать на этой теплой и круглой земле тебя, ты – меня. Современники! Подумай только: современники! Земля теперь – маленький дом, и скоро родятся люди, которые никогда не смогут встретить на дороге меня, а я – их. Вот какая история! Современники! Черт возьми, надо же понимать, как это ответственно! Как это здорово! Как это фатально! Мы с тобой пришли на землю в одно и то же время, мы уйдем с матушки-земли почти одновременно... Какое право в таком случае мы имеем быть невнимательными друг к другу? Бессмертие – умение оставить часть себя людям, а мы к современникам иногда повертываемся спиной. Плохо, если человек, живущий для будущего, не понимает, что будущее начинается с сегодняшнего рукопожатия. Современники должны носиться друг с другом, скучать друг без друга, помогать друг другу. Человек конечен, посмертная слава – вещь заманчивая, но современники-то – это ведь мы с тобой. Не можем поэтому мы друг друга дружбой обделять, не имеем права на сдержанность. Да, да и еще раз да! Если я сегодня не посижу с тобой вечером, если я тебе все хорошие слова, которых ты достоин, не скажу, то через... надцать лет будет поздно. Современники!.. Ты сейчас хорошо

улыбаешься, дружище, ты трогательно улыбаешься. Спасибо тебе за это, так как второго такого вечера в нашей жизни, может быть, и не выдастся. Смотри, какая, брат, лунища на небе, гляди, какие тени лежат на земле от тополей, послушай, как поет твоя соседка Роза Петровна: „Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь...“ Кроме нас, Розу Петровну никто услышать не может, через двадцать лет – ей, кажется, под шестьдесят – через двадцать лет Роза Петровна уже не будет петь о вальсе, и только мы, понимаешь, только мы слышим ее голос, ибо мы – современники. Давай жить открыто, как современники, как жильцы одного большого дома, которым выезд из помещения назначен примерно на один и тот же день. И давай-ка говорить друг другу хорошее и правдивое, а то опоздаем, а то опоздаем, дружище ты мой!» * * *

А! Вались все к чертям собачьим. «Вороватый контингент!» – так сказал я однажды о рабочих близко расположенного от города Сибирска сплавного участка, которые соревновались – кто больше и нелепее построит дом. «Подозрительный контингент» – эти существа с двумя гнущимися отростками, чтобы ходить, двумя – чтобы хватать; с головой, набитой страхом и подозрительностью, трусостью и жадностью, с двумя отверстиями, чтобы все-все видеть, и тридцатью двумя зубами, чтобы перемалывать даже баночное стекло. С другой стороны, человеческое существо рождается голым и в отличие от всего дышащего так и остается незащищенно-голым до конца жизни: может быть, от этого и идет томящая подозрительность homo sapiens? Подозрительность, а не лень – мать всех пороков, подозрительность, а не праздность рождает такой порок, как знаменитая обломовщина, – это ясно, как дважды два – четыре. Обломов – мудрец, если все время старался уйти в свою раковину от мира, который не обещал ему никаких благ, ничего, кроме страданий. Человек без кожи, он быстро погиб бы от подозрительности, которую гнал от себя, как черта ладаном. Умный, мягкий, добрый, нежный человек не мог пастись среди крокодилов, если каждое прикосновение себе подобного снимало бы с него очередной клочок кровавой кожи. Понимая Илью Обломова, я не люблю его, но еще больше ненавижу деятельного немца за то, что похож на него... Стыдно поднять глаза!.. Исчезни окружение сделайся пустынной планета, Илья Ильич, так и не заметив этого умер бы спокойной голодной смертью.. И позже немца! Почему? Этого я и сам себе объяснить не могу! Наверное, тот отравился бы мхами и лишайниками, пытаюсь сделать их съедобными...

Помните: царствовать можно только над пустыней! Великим из великих был Обломов, владея пустыней своего одиночества среди живых; все его несчастья начинались, как только он высовывал нос из-за тяжелого занавеса... Что они творили, эти существа с четырьмя отростками и шаром наверху, покрытым ненужной растительностью! Боясь одиночества почти так же, как смерти, они бог знает что творили!..

Вы еще не знаете, что в один из весенних вечеров, когда пылили тополя, за чтением очередного номера «Иностранной литературы» странной смертью умрет моя мать: она закроет лицо развернутым журналом, уснет и не проснется. Здоровые сердце, легкие, желудок, ни морщинки страдания на мертвом лице – все это поставит в тупик широколобых профессоров. Вскрытие тоже ничего не покажет. Наверное, был прав отец, когда, по-женски рыдая, выкрикивал: «Ей было скучно! Ей было скучно! Ей было скучно! Я так и не вывез ее на природу на собственном автомобиле!» Дашка ухаживала за отцом, как за малым ребенком; он враз постарел и скукожился, в черном костюме походил на отощавшего муравья.

Мне не довелось похоронить мать, редакция тогда загнала меня на атомный ледокол уникальной конструкции... * * *

Старик каур, что когда-то в сибирские времена вез меня по Нижней Лене, вынимая из силков зайца, легонько протыкал ему концом остря ножом ноздрю, заяц дергался и умирал, а старик говорил всегда одно и то же: «Пошел родной мать искать, но не найдет». – «Почему не найдет, дядя Иван?» – «Потому что там – все мать, все отец, все брат, все сестра, все сын, все дочь! – И, поглядев на низкое тусклое солнце, показал ряд огромных желтых зубов: –

Этот заяц сильно довольный будет: его голодные люди съедят, силы себе шибко прибавив, большого зверя убьют – значит, заяц самый сильный...» Убив с первого выстрела пулей-жаканом вожака волчьей стаи, старик, танцуя, приседая и прищелкивая языком, пел: «Хороший был заяц, ах, какой хороший: сразу вожаку в лоб попал!»

А старик каюр, дядя Ваня «с огнем на языке», все вез и вез меня на своих олешках, прославляя теперь в песне волка-вожака, которым насытилась вся стая: «Зубы у тебя острые, а сердце большое, загривок у тебя страа-а-а-шный, а мясо жесткое и невкусное, но твоя стая не умрет от голода...» Старика каюра звали дядей Ваней «с огнем на языке» потому, что умел, сделав язык лопаточкой, налить немного спирту и поджечь его... Мне было, кажется, двадцать пять, когда каюр меня вез по торосистой Лене, но я – будьте вы прокляты, предчувствия! – не боялся смерти, пока о ней пел или говорил дядя Ваня «с огнем на языке». В двадцать пять лет о смерти уже думается реже, чем в пятнадцать, когда ночами при мысли о неминуемой смерти от страха прерывается дыхание; в двадцать пять уже подумывается о том, что смерть где-то там, далеко-далеко, где не существует отсчета времени; в двадцать пять смерть скорее символ, чем реальность, и думы о ней можно прогнать чрезвычайно легко, например, увидеть за окном красивую девушку или вспомнить очередной анекдот. И все-таки я – трижды будьте вы прокляты, предчувствия, – и в свои двадцать пять слишком часто думал о смерти, чтобы с жадностью не учиться отношению к костлявой у дяди Вани «с огнем на языке». Мир, как разверстые и вечно жующие челюсти, показала мне еще школа на уроках биологии, наблюдения над жизнью леса подтверждали пессимизм преподавателей, но главную роль здесь все-таки сыграли зайцы, волки, песни и рассказы моего каюра дяди Вани... Мы лежали под открытым небом на теплых углях, мы смотрели неотрывно на близкие по-северному звезды, когда одна из них покатила, вспыхнула и погасла, оставляя видный дымный шлейф. Дядя Ваня минут через пять молчания сказал:

– Еще одна люди стала лошадью! – И завистливо вздохнул. – Трава там больно густой и вкусный, всегда тепло...

Я уже знал, что в стране оленей и ездовых собак, именно в племени каюров, лошадь считалась если не священным животным, то уж по крайней мере – счастливицей. Может быть, еще не утратили воспоминаний о хрипящих, с оскаленными зубами лошадях татаромонголов? Кто знает, если дядя Ваня радовался за «одна люди, что стала лошадью», и за зайца, съеденного хорошими людьми... * * *

– Ей было скучно, ей было невыносимо скучно со мной! – рыдал отец, держась обеими руками за грудь. – Это я заставил ее уснуть, это я, это я...

Я думал, что мама не могла не проснуться перед смертью, но пробуждение было, видимо, таким коротким, что лицо хранило обычное выражение созерцательности, но о чем или о ком подумала мама, когда на мгновение проснулась и почувствовала, что умирает, – это случается с каждым, кто отправляется бродить по райским Елисейским полям. Неужели за эти мгновения перед ней, как пишут повсюду, пестрой лентой промелькнула вся жизнь? Не верю этому, не могу поверить, никогда не поверю, если не испытаю на самом себе...

IV

Андрей Витальевич Коростылев казался настолько солидным человеком, что обязательные для редакции клички долго на нем не висли. Месяц-полтора еще можно было услышать «Избач», некоторое время продержалось «Душка», но и это как-то непонятно быстро и бесследно прошло, никакого постоянного прозвища за Коростылевым так и не закрепилось. Только один человек в редакции – естественно, Никита Ваганов – не спускал с него кошачьих

глаз и мало того: умело культивировал, заботливо поддерживал, поливал и пасынквал необходимое ему растение – пунктик первого зама насчет клубов и прочей самодеятельности. Уж будьте уверены, по епархии Никиты Ваганова любое письмо, имеющее хоть маломальское отношение к клубам и самодеятельности, пройдя тщательную стилистическую обработку, ложилось в аккуратной папочке на стол первого заместителя главного. И вообще в скромно подстриженной голове Никиты Ваганова зрел план – настолько же серьезный, насколько и смешной – под кодовым названием «Большие Васюки сиречь малая Москва». Знали о нем только двое: Никита Ваганов и Нелли Озерова, которая к этому времени сделалась редактором отдела писем «Зари» и работала прекрасно, лучше, чем ожидал Никита Ваганов. Гигантский город, Москва надежно хранила тайну их длинной любви, в редакции за Нелли приударяли несколько вполне солидных жеребчиков, надежно камуфлируя их любовные отношения. Нелли дарила многозначительные улыбки и даже по-особенному глядела в переносицу, что каждый мужчина принимал как обещание. Ее муж – «господин научный профессор» – стал действительно академиком, очень, очень постарел, переложив весь любовный груз на плечи Никиты Ваганова, который из каждой любовной битвы выходил торжествующим победителем: «Ты прекрасен, ты прекрасен, мой любимый!» Она, правда, не знала, что на следующий день у победителя как-то мелкостно и осторожно болела голова – и он глушил себя анальгином.

О Нелли Озеровой я заговорил не потому, что до сих пор люблю ее и готов – больше не с кем – долго беседовать о ней с самим собой, а потому, что представился случай, когда я не мог обойтись без любимой. На тайной квартире – сотня в месяц – Никита Ваганов одним движением бровей отложил главную часть их свидания на потом, Нелли уютно устроилась с ногами на короткой кушетке, сделавшись серьезной, вопросительно посмотрела на возлюбленного, хмурого и далеко ушедшего в себя. «Только уши торчат!» – говорила по этому поводу Нелли Озерова, но к умению Никиты Ваганова сосредоточиваться до того, что он казался отсутствующим, относилась с большим почтением. «Знаешь, Никита, в „Психологии творчества“ приводятся слова какого-то ученого, я, как всегда, не помню фамилии... Так вот он утверждает, что гениальность – это умение в возможно короткий промежуток времени бросить на решение проблемы все силы, как умственные, так и физические... На свой бабий лад я это перевела так: если посредственность, скажем, умеет приводить в рабочее состояние пять миллионов мозговых клеток, то гений за это же время – миллион миллионов. Понимаешь?» Тогда Никита Ваганов, кажется, согласно, кивнул, сегодня же он не услышал бы Нелли – так глубоко «нырнул» в самого себя. Наконец он медленно, растягивая почти каждый слог, спросил:

– Сможешь ли ты с нового, предельно современного завода, лучше сибирского, организовать материал об ультрабезобразной постановке культурно-массовой работы... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю: клуб на замке, Дворец культуры еще в проекте, а от заводской проходной до водочного отдела гастронома – рукой подать...

Она спросила:

– Письмо для «Избача» должно быть доставлено не позже пятницы? Так? Четверга? Не позже четверга! М-да! Бу сделано.

Нелли Озерова набрала номер междугородной связи:

– Ася Ивановна, это ты! Здравствуй, милая! С ходу запомни: собкор «Зари» о нашем разговоре ничего знать не будет... Bravo, милая! А нужно вот что... Злой материал о постановке культмассовой работы на бульдозерном, вплоть до фельетона... Ну, ты это умеешь делать, милая! А теперь не падай в обморок! В четверг ты должна послать материал...

Положив трубку, Нелли насмешливо сказала:

– Лоб разобьет!

– Кто такая?

Нелли захохотала:

– Секретарь многотиражки «Экскаваторщик»!

Они нарочно неторопливо разделись...

А в четверг Никита Ваганов собственноручно делал из четырех тетрадных листов двести строк газетного набора, включив себя в дело на все скорости и умения. Получилась разносная, но совсем не злая корреспонденция под заголовком «Бульдозером не сдвинешь!» с забавной подписью корреспондентки А.Ляповой. Нелли Озерова сама пришла за корреспонденцией, прочла, хихикая, и понесла драгоценные страницы в секретариат, где, пробежав корреспонденцию глазами, Игнатов равнодушно до обиды спросил:

– Чему же отдадим предпочтение? Группе А или Б? Вы свободны, товарищ Озерова... * * *

Когда Нелли слово в слово пересказала разговор Никите Ваганову, то есть мне, я, по-барски развалившись в кресле, позволил возлюбленной, прислушиваясь к шагам в коридоре, поцеловать меня, на что тоже ответил поцелуем – благодарным, сообщническим, любовным. Она ушла, полная моей радостью будущего торжества и вообще праздника жизни.

Я не сразу понял, вернее – постыдно долго не мог понять, что все-таки мешает моей любви длиною в жизнь быть целиком и полностью счастливой. Понимание пришло неожиданно, в неожиданном месте – у подножия египетских пирамид, где пребывала наша журналистская группа... Водили плешивых верблюдов арабы в нищенской одежде, ранний месяц висел почти на рогах, то есть не так, как привыкли мы, ноги арабчат были растресканными, как и земля, американский турист в шортах влез на верблюда, жена американца зажужжала кинокамерой, оба ослепительно улыбались. Я повернулся, чтобы посмотреть, как это действует на Нелли – она глядела на пирамиду Хеопса, лицо у нее было несчастным, и я понял почему. Мои странствия по свету давно приучили спокойно переносить наглый обман. Падающая башня в Пизе вблизи казалась не такой уж падающей. Собор Парижской богородицы – блеклым; Ниагара – просто большим шумом, обманывали повсюду и по-всякому, например, устраивали фальшиво-торжественное ночное представление возле разговаривающих друг с другом пирамид, а они все равно оказались меньше воображаемых, такими их не могло представить самое бедное воображение. Грязная вода в Грандканале Венеции, грязные и мятые шляпы на гондольерах... Я взял Нелли за руку, нежно сжал:

– Не горюй, Нелька! – сказал я. – Один очень умный человек давно написал, что из всех интересных мест в мире ему хотелось бы посетить только остров Робинзона Крузо, Таинственный остров, остров пингвинов да мельницы, с которыми сражался Дон Кихот Ламанчский... Не печалься, ты все-таки видела эти чертовы пирамиды!

Ох, какой понятной после этого мне стала Нелли Озерова. Как многие красивые женщины, она хотела взять от жизни больше, чем жизнь могла дать. Она и от любви хотела большего, так никогда не поняв, как плохо – неэстетично и оголенно – господь бог придумал атрибуты любви; ему нельзя отказать в рационализме, господь бог, пожалуй, до сих пор остается умельцем соединять, казалось бы, несоединимое: он никогда не создавал множества конструкций; например, где полагалось быть трем трубчатым конструкциям, обходился одной, особенно если это относилось к венцу его творения – человеку... Жадность к жизни, детская уверенность, что каждое утро – счастливое, мешали ее простому жизненному счастью... Придется повторить, что я, на ваших глазах отхватывающий от жизни все большие сладкие кусочки, не был жизнелюбом, не гонялся за удовольствиями, брал от жизни только две вещи – работу и постоянную любовь к двум женщинам. Я почти не ездил на курорты, оставил

квартиру предельно малым количеством мебели – недорогой, отечественной, с годами становился все неприятнее в одежде, пока не надел на веки веков кожаную куртку. Одно желание, одно крупное желание стать редактором «Зари» отнюдь не означало моей жадности: я собирался взвалить на свои плечи такое, что сами главные редакторы спокойно и покорно называют «каторгой». И все-таки я искал счастья, хотел его и имел много-много на протяжении столь недлинной жизни. * * *

Что есть счастье? Мы отвечаем: борьба. Заблуждение на почве самообмана... Мне надо отдохнуть, бросить перо, но опять всплывает в памяти старушка с Первомайской улицы, девичье лицо убийцы, скрежет разбитых стекол пенсне об асфальт. Почему они скрежетали, почему я до сих пор не знаю, спас старушку или оставил мертвой на грязно-осклизлом асфальте? Ну, вы же помните. Если острая половина стекла пронзила глаз старушки, она еще и ударилась теменем о трамвайную подножку... Почему я до сих пор не нашел эту голоногую девицу с лицом душителя, почему она до сих пор закрывает двери перед старушками с синими лицами?.. Я начал поиски толстоногой вагоновожатой и старушки в перчатках-митенках много позже возвращения моего в Москву, когда девица со старушкой начали буквально преследовать меня – и днем, и ночью, когда все это начинало походить на манию преследования; меня бросало в пот, и начинали дрожать руки, я видел острый конец стекла, торчащий из глаза старушки, я просыпался и слышал непонятные глухие удары, словно кто-то забивал молотком огромный гвоздь, плотно обернутый тряпками. Вера просыпалась тоже, говорила, что ничего не слышит, но я уже догадался, что это такое: билось мое сердце. Поиски старушки я, таким образом, начал поздно, но она прожила рядом со мной почти всю мою жизнь – это с воспоминания о ней начинался отсчет грехов и прегрешений и, конечно, временное освобождение...

... Получалось, что все-таки я разбил школьный аквариум – тонна воды! – но ведь противная мелюзга пролила в него столько чернил, что рыбы плавали вверх белыми брюшками;

...никто в целом мире не знал, кто это сделал, когда в классе, где три дня не работало отопление, не осталось ни одного целого стекла – все они были заклеены бумажными полосками и аккуратно выдавлены;

...никто не мешал Егору Тимошину разведать дело с утопом леса, но он ничем не интересовался, кроме своего «Ермака Тимофеевича»;

...в газете нельзя быть таким медлительным, как Илья Гридасов; мне его пришлось незаметно и без шума спровадить;

...заместитель главного редактора Несадов охотно сибаритствовал, эксплуатируя нас, как негров, ему тоже пришлось освободить место для более активного человека;

...Андрей Витальевич Коростылев хотел сделать из моей любимой «Зари» добротную провинциальную газету – и я не допустил этого;

...и, наконец, я совершил поступок, о котором стоит рассказать отдельно... * * *

Держа в мокрых от пота руках папку с четырьмя клеенчатыми тетрадями, привезенными из Сосен, я вошел в кабинет редактора, заранее зная, что положу документы на левый край. Положил их, вытерев пот с лица, деловито почесал затылок, искоса наблюдая за редактором, который, естественно, не знал, о чем идет речь в этой папочке, – сотни бумаг за день кладутся, лежат, исчезают. Дело в том, что на письменном столе Ивана Ивановича канцелярская кнопка не поместится, а на левом краю стола было чистое пространство. Кладя папку, я наконец облегченно вздохнул, так как половина дела, собственно, была выполнена: ход назад невозможен.

Вернувшись в свой кабинет, я подошел к телефону и набрал номер Одинцова:

– Никита Петрович, сделайте вашу попытку... Иванов, он на меня однажды кричал... Сделайте свое дело, а я помогу документами атомной мощи... Простите, Никита, за тон!

Так я впервые называл Одинцова по имени, так я его втравил в дело, которое он мне сам предлагал, но я гордо отказывался... Вот погоди уж: посмотришь на четыре клеенчатых тетради! И если ты, Иванов, порядочный человек, сам подашь в отставку... Никита Петрович Одинцов ответил на мое «Никита»:

– Спасибо!

– Это вам спасибо!

– Завтра – преферанс?

– А как же!

– Пока, Никита!

– До завтра, Никита!

Иван Иванович на летучке в конце недели мельком посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он тут же спрятал взгляд, чтобы не прочли очевидное. Я перестал дышать, но уже знал, что зря порчу легкие... * * *

... Итак, наконец, как человек порядочный, Иван Иванович Иванов сам ушел на пенсию, освобождая тем самым пост Главного редактора «Зари» для Никиты Ваганова... * * *

... С чего я начал, что подвинуло меня на тему ухода Ивана Ивановича на пенсию? Мысли мои путаются так, как путались совсем еще недавно тонкие, частые волосы. От египетских пирамид до разбитого аквариума, от Егора Тимошина до старушки – ох, как тяжела ты, шапка Мономаха... * * *

... Запахло старой кожей и древней пылью; голова Спасителя без нимба из-за стирающейся от времени позолоты казалась головой умирающего нищего; под сводом собора загадочная темень покачивала что-то живое в руках, состоящих из пыли; а на боковой фреске голова Иуды была заботливо укутана тенью, словно спасая предателя от простуды; летали трещащими стрекозами воробьи – такова была звуковая особенность собора... Я влез под умирающую кожу исповедальни, встал коленями на специальную скамеечку, сложил ладони, воздел лицо – выяснилось, что я попал в западню: тело не хотело принимать никакого другого положения... не было ли оно лучшим?... Мой невидимый исповедник положил невесомую руку на мою голову, которая, казалось, тоже сделалась невесомой. «Грешен, сын мой?» – «Грешен, святой отец!»... Холод храма и страх заползали за воротник моей кожаной куртки, страх делал все тяжелее и тяжелее прежде невесомую руку на моей тогда тоже невесомой голове... «Все правда, святой отец, все грешно, святой отец, но ты милостив и знаешь мои добрые деяния...» – «Сейчас же забудь о них, грешная душа, о них Он знает! Выброси из головы!» – «Выбросил, святой отец!»... Я протяжно подумал: «Доигрался, черт тебя побери, неврастеник!» И явственно услышал: «Смири гордыню...»

Эге, это уже настоящие галлюцинации: в темноте исповедальни, похожее на негатив, появилось лицо Андрея Витальевича Коростылева – страшное, как всякий негатив. Меня обдало жаркой волной, наверное, такой, какие путешествуют над песками Сахары; жаркая волна обожгла мое лицо, мои глаза, мои уши, мою шею, и эта же мучительная волна, казалось, принесла слова: «Остановись, сын мой, остановись...» И негатив Коростылева пропал...

Испытывая громадное сопротивление, я вырвал себя из-под дряблой кожи исповедальни и

первому же встречному из нашей туристической группы озлобленно сказал:

– Кто это придумал путешествия по храмам да соборам?

– Ты придумал!

Я?! Вот странно-то! * * *

... Все! Конец! Эй, кто там есть, не мешайте мне читать «Бравого солдата Швейка»!..